

РЛ  $\frac{1}{192}$   
X

В "ад" и  
МЕА  
не выдается  
4659.27 мм.

$\frac{1}{192}$



Экз. напечат.

16. 4. 85

Борова



P4 1992

P4 1992

3

6

**М. ФРОЛЕНКО**



**ЗАПИСКИ  
СЕМИДЕСЯТНИКА**



**МОСКВА 1927**











ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН  
И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

---

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА  
ЖУРНАЛА „КАТОРГА и ССЫЛКА“

ВОСПОМИНАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ  
И ДР. МАТЕРИАЛЫ ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОН-  
НОГО ПРОШЛОГО РОССИИ

КНИГА XX—XXI

---

МОСКВА



М. Ф. ФРОЛЕНКО

Р4/192

# ЗАПИСКИ СЕМИДЕСЯТНИКА

С ДВУМЯ ПОРТРЕТАМИ  
НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ

1137/3



ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ  
ИСТОРИЧЕСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА РСФСР

*м*

4659  
18-5-1927



Москва. Главлит № 78.654.

4.000 экз.

«Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9.



## ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
Предисловие . . . . .	7

### ЧАСТЬ I.

I. Из далекого прошлого. 1. Ранние годы. 2. Революционные воспоминания. . . . .	9
II. Движение 70-х годов . . . . .	86
III. Хождение в народ 1874 года . . . . .	107
IV. Маликов и маликовцы . . . . .	113
V. Побег «Алеши Поповича» . . . . .	119
VI. Как я был тюремным надзирателем . . . . .	129
VII. Подкоп под Херсонское казначейство . . . . .	153
VIII. Липецкий и Воронежский с'езды . . . . .	156
IX. Возникновение «Народной Воли» . . . . .	176

### ЧАСТЬ II.

I. Процесс 20-ти . . . . .	185
II. Милость . . . . .	189
III. Шлиссельбург . . . . .	202
IV. Свобода . . . . .	260
V. На воле . . . . .	284
VI. Памяти отошедших. 1. Сергей Жебунев и Кобиев. 2. И. М. Ковальский. 3. М. Р. Попов. 4. Воспоминания о П. А. Кропоткине. 5. Т. И. Лебедева. 6. В. Д. Лебедева. 7. Из воспоминаний о В. И. Засулич. 8. А. И. Зунделевич. 9. Мих. Вас. Новорусский . . . . .	295
Указатель имен . . . . .	331







## ПРЕДИСЛОВИЕ.

Революционная судьба Михаила Федоровича Фроленко была в некоторых отношениях совершенно исключительной. Вступив в революционное движение 70-х г.г. на самой первой его стадии, в эпоху подготовки хождения в народ, он затем, не будучи ни разу арестован, принимал участие во всем его последующем развитии и был захвачен правительством только после 1 марта, когда высшая точка революционного напряжения была уже достигнута и начиналось снижение движения. Такая необычно долгая революционная карьера была бы менее удивительной, если бы Фроленко принадлежал к второстепенным деятелям,—но он как-раз все время был в первых рядах, на самых опасных постах. В числе первых пионеров революционного народничества отправляется он в 1874 г. в народ, избравши себе Урал, в надежде сформировать там революционный отряд из беглых. Затем он энергично действует с южными бунтарями. В 1877 г. Фроленко благополучно увозит из Одесской тюрьмы среди белого дня революционера Костюрина. В 1878 г. он совершает один из удивительнейших актов революционной эпопеи 70-х г.г.: поступив в Киевскую тюрьму надзирателем, он освобождает оттуда трех видных революционеров. Затем он принимает участие в вооруженном нападении для освобождения Войнаральского. В 1879 г. участвует в подкопе под Херсонское казначейство. В том же году, по поручению «Земли и Воли», он об'езжает ряд городов, чтобы созвать революционеров на Воронежский с'езд,—а также и на предшествовавший ему «нелегальный» Липецкий—и принимает участие в обоих с'ездах. После раскола «Земли и Воли» на «Народную Волю» и «Черный Передел» Фроленко становится одним из энергичнейших борцов «Народной Воли». Под Одессой он готовит взрыв царского поезда, поступивши сторожем в железнодорожную будку. 1 марта на Михаила Федоровича возлагается чрезвычайно ответственная роль: если бы царь поехал по Малой Садовой, то взорвать мину, проведенную из знаменитой сырной лавки Кобозевых, должен был бы он. Последнее обстоятельство, тщательно законспирированное в течение долгих лет, стало известным только недавно.

Попавши в руки врагов, Фроленко был посажен в самые надежные царские тюрьмы. После суда, с первоначальным смертным приговором,



он два с половиной года провел в Алексеевском равелине и двадцать лет—в ужасном Шлиссельбурге. А всего с предварительным заключением—24 года тюрьмы, в том числе—ряд лет в полном одиночестве. И здесь опять—некоторая исключительность судьбы Фроленко: более сильные физически товарищи погибли—умерли от чахотки и других болезней, покончили с собой, сошли с ума. А Михаил Федорович, вовсе не отличавшийся телесной крепостью, с молодости слабогрудый, одно время в тюрьме больной, казалось бы, совершенно безнадежно, выжил и оказался в числе тех немногих, которые в 1905 г. вышли из Шлиссельбурга на волю. Крепкий духом, он никогда не терял надежды преодолеть все, получить в конце-концов свободу—и преодолел.

Человеку, прожившему такую жизнь, есть что рассказать, и на нем прямо-таки лежит долг передать другим повесть своей жизни. Михаил Федорович этот долг выполнил. Уже вскоре по выходе из Шлиссельбурга он начал делиться своими воспоминаниями то об одной, то о другой стороне своей жизни революционера. Совершенно просто, безыскусственным языком он рассказал в своих статьях о том множестве людей из революционного лагеря, которых он знал, о разных эпизодах нашего революционного прошлого.

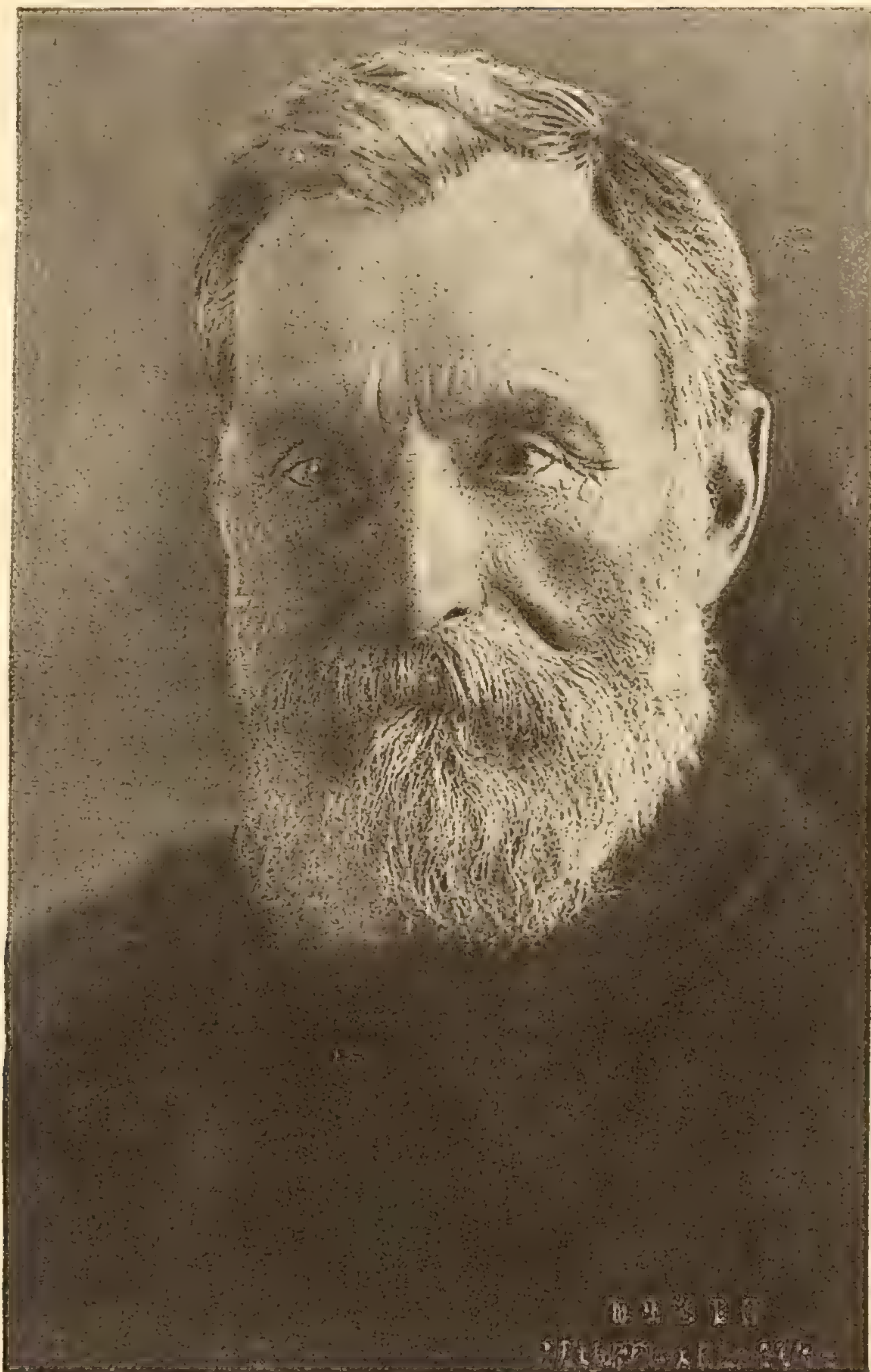
В настоящей книге все статьи М. Ф. Фроленко собраны воедино. Первоначально они печатались в разных изданиях—в «Былом», «Минувших Годах», в сборнике «О минувшем», в «Вестнике Европы», «Русском Богатстве», «Современнике», «Каторге и Ссылке». Впервые появляется большая статья «Шлиссельбург», очерки «Маликов и маликовцы», «Процесс 20-ти». В статьях, написанных на протяжении большого времени, при чем некоторые представляют обзоры революционного движения 70-х г.г. в целом, а другие рисуют более детально то или другое отдельное явление или лицо, неизбежны повторения. Отчасти они устранены, но не целиком. Редакция сознательно допускала повторения в тех случаях, если устранение их повлекло бы за собою потерю в тексте некоторых деталей, столь драгоценных для читателей в богатых содержанием воспоминаниях Михаила Федоровича Фроленко.

*Редакция.*









1926 r.



## I. Из далекого прошлого.

### 1. Ранние годы <sup>1</sup>.

Родился я в Ставрополе Кавказском осенью 1848 года на Третьей Солдатской слободке—ныне Ольгинская улица; там у нас был свой дсм.

Мой отец, отставной фельдфебель, отказался от офицерского чина, чтоб не продолжать службу, и поступил смотрителем на каменно-угольные шахты. Эти шахты разрабатывались казной и находились в 150 верстах на юг от Ставрополя, в десяти верстах за укреплением «Хмара».

Лица отца я не помню: он женился уже пожилым и умер, когда мне было лет 6—7, не более. Это был большой, добродушный человек—по словам матушки; временами он пил запоем.

Матушка смотрела на запой отца, как на болезнь, и раз подходил такой период, она, не тратя лишних слов, старалась лишь об одном—удержать отца лаской дома, не лишая его даже водки, но зато усиленно отпаивая его при этом сывороткой и молоком. Отцу нравилось, что его дома не ругают, даже не выговаривают, когда он придет подвыпивши, и он сам под конец стал спешить к дому, раз замечал, что наступает кризис. Таким образом, вред запоя значительно уменьшался, а, главное, период запоя продолжался тихо, мирно. «Ни разу в продолжение восьми лет я не слышал от него не только никаких ругательств, но даже и просто грубых слов»,—не раз говорила нам матушка, рассказывая о прошлом.

Матушка, бывшая уже второй раз замужем, была моложе отца, но он уважал ее и слушался. По своему развитию она была выше его, и мое воспитание всецело шло под ее влиянием. О ней, поэтому, я скажу больше.

Родившись в Тифлисе от бедных родителей, она с шести лет была отдана ими в люди—нянчить чужих детей. Здесь немало, конечно, пришлось ей переносить всяких невзгод. Это всякий поймет, если

<sup>1</sup> Первоначально было напечатано в «Минувших Годах», 1908, №№ 5-6,7. В настоящем издании автором внесены значительные добавления.—Ред.



вспомнит, что дело происходило сто лет тому назад, но зато на ее долю выпало и счастье попасть в одну хорошую семью какого-то военного. В этой семье хозяйка обратила внимание на умную, работающую и веселую девочку. Приласкала ее, стала вскоре обращаться с ней, как с родной. Занялась ее воспитанием. Девочке уроки пошли впрок и засели у ней глубоко в голове еще и потому, что в самой семье, в отношениях между собой и с посторонними, она не видела расхождения между словом и делом.

Так прошло несколько лет. Офицер с семьей уехал в Россию. Девочка пошла по другим местам, но то, что она усвоила от жены офицера, осталось навсегда.

В 18 лет матушку выдали замуж, продав, собственно говоря, за 50 рублей<sup>1</sup>. Жениха она мало знала и не успела полюбить, но ей предстояло одно из двух: выходить замуж или снова идти в люди. В людях под конец ей стало настолько тяжело, что она чуть не дошла до самоубийства, и потому решила попробовать замужества. Первый муж матушки был инструментальный мастер при военном госпитале. Он кончил курс где-то в Питере. Поэтому одевался по-питерски, носил даже цилиндр и вообще держал себя по-столичному; хотя он сильно пил, но оказался недурным человеком; матушке в конце-концов удалось справиться с его слабостью к вину. Жили они сначала в Тифлисе, но потом, соблазнившись выгодными предложениями Ставропольского госпиталя, переехали в Ставрополь. Сюда манил мужа матушки один его приятель, говоря, что недалеко от Ставрополя у него есть на виду возможность открытия серебряного рудника, и приглашал его в сотрудники. Вскоре по приезде в Ставрополь он заболел, едва успев купить на слободке клочок земли и начав стройку дома. Его больного увезли в госпиталь, в это же время заболевает матушка и один ее ребенок. В Ставрополе тогда появилась какая-то эпидемия. Когда матушка очнулась, то прежде всего заметила, что у нее была обрита голова и около нее лежит уже мертвая ее девочка. Заглянули соседи и добились окончательно известием, что ее мужа нет уже на свете: «горячими ваннами в госпитале уморили», — объясняли они ей в утешение. Дом был еще не отстроен, но уцелели у соседей двое детей, взятых ими к себе. Сама она была молода, а, главное, очутилась одна на чужбине без родных, без близких знакомых, и, конечно, без средств. Неудивительно, что все это подействовало на нее угнетающим образом, и она впала в какое-то туманное, безразличное состояние. Она ходила, работала, делала все, на что ей указывали другие, но относилась ко всему пассивно, бессознательно. Личная воля пропала.

Так прошел целый год. Соседи начали ей внушать, что ей необходимо выйти снова замуж, что нужен ей защитник, кормилец. Она

<sup>1</sup> В то время на Кавказе было очень мало русских, и девушками дорожили. Женихи не только не требовали приданого, но еще сами платили родителям.



согласилась. Является мой отец в штатском костюме<sup>1</sup> с дядей. Начинается сватовство, выхваливание жениха... Он родным дом построил, кормит мать, сестру, человек положительный, смирный. Что он пьет, что имеет подругу, что он солдат в отставке—все это умалчивается, а матушка, при своем состоянии, и не подумала разузнавать подробнее и, веря в доброжелательство соседей, дала свое согласие. Вот и день свадьбы наступил. Жених со своими родными в новом мундире, с медалями на груди, первый прибыл в церковь. Привозят матушку, она входит и видит вдруг: вместо жениха в штатском костюме, как она привыкла видеть его, стоит какой-то солдат. «Батюшки! Не хочу! Не хочу!»—раздается раздирающий крик. Все бросаются к ней, узнают, в чем дело, и начинаются уговоры. «Чем же он виноват? Ведь его насильно брали в солдаты. За что же его обижать?» и т. д.

В конце-концов матушку обвенчивают, однако, на другой же день она заболевает. «Испортили»,—пошел говор, и стали указывать на подругу отца, как на виновницу порчи. У подруги вскоре родился ребенок, и она не раз устраивала отцу драматические сцены на улице перед нашим домом. Затем также оказалось, что отец пьет запоем. Но матушка скоро успела справиться с бедой. Она, кроме того, уговаривала отца бросить место на этапе, где он служил и где питье водки было чуть ли не обязательным. В 150 верстах к югу от Ставрополя, на берегу Кубани, среди мирных черкесских аулов, недалеко от Хмаринского укрепления, найден был каменный уголь. Потребовался смотритель. Предложили это место отцу. Он согласился и сначала поехал один, а потом, вернувшись, захватил с собой матушку и меня.

Вот с этой-то поездки у меня и начинает работать проснувшаяся память. Со слов матушки я знаю, что у нас было хозяйство: корова, лошадь и все прочее,—но сам я этого совершенно не помню. Зато кибитка, прощание с соседями, с сестрой, просьбы присмотреть за нашей коровой и хозяйством,—все это ясно сохранилось и до сих пор в моей памяти... Поехали. И опять—острог, баня. Ночевали мы в степи, среди большого обоза. Разводили маленький огонь; огонь помню, а варили ли что—исчезло из памяти. После этого—Баталпашинск, житье там, большая широкая река, какой мне показалась Кубань. Все это я запомнил. За Баталпашинском поразила меня чистота и прозрачность одной горной речки, затем игрушка довольно больших размеров, поставленная на горном ручье. Вода вращала колесо, а колесо своей шестерней двигало взад-вперед двух деревянных пильщиков так, как-будто они перепиливали полено. Игрушка блестя новизной и показалась мне замечательно хорошо сделанной. На обратном пути я все ручьи потом внимательно осмотрел, но, к великому моему огорчению, уже нигде ее не нашел.

<sup>1</sup> Надо сказать, что матушка, хотя она сама была дочерью солдата, очень боялась солдат и относилась к ним с предубеждением, как к низшим каким-то существам.



Поселок, куда мы прибыли, представлял собою двор, огороженный плетнем с двумя высокими воротами; через двор шла проезжая дорога в черкесские аулы, и ворота служили заставой-таможней, где бралась, конечно, незаконная пошлина натурой с провозимого сена, дров. В'ехав во двор, налево всякий видел только высокую скалу, но в ней, оказалось, вырубил нишу в два отделения и, заделав камнями передний фасад, поместили в одной нише-казарме роту солдат, в другой—артель каменноугольных рабочих. Направо же от дороги, против казарм, выстроено было небольшое продолговатое здание с земляной крышей в три комнаты. В одной помещался отец, в другой—письмоводитель, в третьей—еще кто-то. Был еще и сарайчик для лошади, амбарчики для провизии, небольшой огород, и все это, в свою очередь, обнесено было плетнем. За огородом текла речка, а за ней недалеко расположился аул мирных черкесов. Днем они настолько были мирны, что мы с матушкой ходили однажды без провожатых в гости к одной княжне, и мне запомнились медовые пряники, ковры и маленький медвежонок на цепи. Сакли устроены были так: большой плетень из орешника ставился высоким конусом и обмазывался глиной; дверь завешивалась ковром, посередине разводился огонь, и дым шел через отверстие в верху конуса. В других, более мирных аулах я встречал уже и настоящие домики, но у нас были одни конусы. Были мы с отцом однажды у черкесов на их празднике. При переходе по бревну через речонку у меня закружилась голова, и я очнулся лишь на площади, где происходила джигитовка молодежи: на земляных больших тумбах, обнесенных плетнем, стояли группами молодые черкешенки и били в ладоши, припевая, а перед ними гарцовала верхом на лошадях и показывала свою ловкость и удаль мужская молодежь. Раз утром мы с отцом ходили в лес любоваться красотой искрящегося Эльбруса. Ночью, как только наступали сумерки, уже никто из нас не решался и во двор свой показаться. Днем ворота всегда были затворены, и, чтобы их отворили для проезда, надо было уплатить сеном, дровами, если везли их. Ночью хозяевами делались черкесы. Всю ночь они свободно ездили, скакали туда-сюда, лазили по крыше, тащили все, что лежало плохо, но однажды и сами притащили к воротам убитого ими дикого кабана и на другой день лишь попросили за него немного соли и чурека, т.-е. белого хлеба.

Угольная шахта находилась вне поселка. Сначала заметили уголь на береговом откосе Кубани, почти на уровне воды. Отсюда и повели выломку, при чем рабочие лежали на боку, подмачиваемые текущей из-под камня водой. Когда мы с отцом пошли осматривать добывание угля, то с реки прекратили уже работу. Нас спустили в шахту; сырость, грязь, всюду сочившаяся вода, арапы с белыми глазами<sup>1</sup>,—

<sup>1</sup> На лице углекопов особенно выделяется белок глаз, так что он кажется весь белым.



все это так меня поразило, что я быстро запросился на воздух. Это—первая поездка и то, что осталось от нее в памяти.

Возвращаясь, я так засмотрелся и замечтался при под'еме на высокий откос Ставропольского плоскогорья (800 ф.), что выпустил вожжи из рук и только благодаря отцу не подвергся крушению. Чтобы облегчить лошади под'ем, отец и матушка вышли у подошвы возвышенности из кибитки, в которой мы ехали, и вожжи передали мне. На половине под'ема отец вдруг заметил, что кибитка, вместо того, чтобы двигаться в гору, начала катиться вниз. Лошадь сначала пятилась назад, но потом решила лучше повернуться, и тогда она, подгоняемая кибиткой, бросилась бы вскачь под гору. Отец, поняв опасность, бросился бегом ко мне, подобрал с земли вожжи и успел во-время остановить лошадь, когда она уже стала поворачиваться.

Немного спустя меня отдали в школу. На нашей слободке находились жандармские казармы с манежем. При казармах была школа, учил писарь. В нее-то я и попал поначалу. Учили аз, буки, веи, глаголь и т. д. Такое учение давалось с трудом, и притом учитель писарь почти всегда отсутствовал, поручая ведение обучения старшим, которые и сами-то плохо еще усвоили грамоту. Это особенно сказалось, когда от заучивания букв перешли к слогосложению и чтению отдельных слов. Слогосложение мне не давалось, но когда старший подходил спрашивать урок, я без запинки прочитывал ряд заданных слов, сообразив, что старший сам не умеет читать. Моя проделка всякий раз удавалась, и я даже, придя как-то домой, за обедом начал этим хвалиться. Матушка ничего мне не сказала, но на другой же день отвела к одной жене доктора, где я быстро понял суть слогосложения и начал читать не фиктивно, а по-настоящему. Эта докторша оказалась и умелой учительницей и хорошим, разумным человеком. У нее мое учение пошло очень быстро, и я бы с ней живо усвоил и разные науки. Но ее мужа потребовали в Тифлис, и я остался лишь при грамоте.

Тут мы—я, отец и матушка—отправляемся снова на Хмару. Из этой поездки осталась в памяти ночевка в доме мирного черкеса. Это был уже настоящий дом в несколько комнат с разными хозяйственными постройками, со двором, обнесенным забором. Мы приехали поздно, к тому же еще был сильный дождь, и мы поспешили в комнаты, забыв про кур, которых везли из Ставрополя в клетке на крыше кибитки; утром всех их нашли уже мертвыми: их залило дождем.

Селение, где мы заночевали, находилось в предгории, и чтобы попасть на Хмару, надо было выехать как можно раньше, чтоб горы и опасные в них места миновать днем; ночью, как я сказал выше, наступало царство черкесов, и тогда легко было попасть к ним в плен или быть убитым. В виду этого мы чуть свет начали собираться в путь. Но отцу понадобилось повидаться с каким-то знакомым; он ушел и пропал. Вернулся поздно и навеселе. Стали уговаривать отло-



жить поездку до другого дня—не тут-то было: хмель подсказал, что еще успеем добраться до дому во-время, и мы покатили, изо всех сил гоня лошадей. Вдруг грах... и наша кибитка на бок, а мы на землю: передомилась ось. Нужно было вернуться, но отец и тут не образумился. Заменяв сломанную ось новой, мы все-таки поехали, хотя на прилаживание новой оси ушло немало времени. До гор мы доехали благополучно, но когда начался под'ем, стал накрапывать дождь, дорога делалась все трудней и трудней: чем выше поднимались, тем дождь становился все сильнее и сильнее, а к тому же надвинулась ночь. Отец давно уже сошел с кибитки и вместе с лошадью еле-еле тащил ее. Мы с матушкой сидим и заливаемся слезами. Дорога пошла по крутому берегу Кубани; она узка, и при малейшем сдвиге вправо мы могли легко полететь с кручи, а тут вскоре,—мы это знали,—дорога подходит к одному самому опасному месту. Большой камень-скала свалился на дорогу и служил обычным для черкесов местом засады. Спрятавшись за камень, они поджидали офицеров, едущих в Хмаринскую крепость или возвращающихся оттуда, и нападали на них.

Приближаясь к этому месту, я и матушка от слез вскоре заснули. Рано утром, на рассвете, я сквозь сон увидел, что меня вытаскивает из кибитки какой-то громадный человек в папахе и черкеске. «Черкесы в плен тащат»,—мелькает в голове, но мне все равно, и я снова засыпаю и просыпаюсь, когда солнышко уже ярко освещает нашу комнату, отца, мать, сидящих за столом, за чаем. Оказалось следующее. Накануне ехали офицеры, и на них из-за упомянутого камня черкесы сделали нападение. Начальство переполошилось и приказало казакам каждую ночь посылать об'езды. Об'езд, несмотря на дождь, отправился в путь, но вместо черкесов наткнулся на нас в самый критический момент. Лошадь наша выбилась из сил и от понуканий только пятилась или норовила в бок—и могла и сама свалиться и нас увлечь с кибиткой. Казаки ее выпрягли, заменив свежей, и проводили нас до самого нашего жилища. Казака-то, значит, я и видел сквозь сон.

В первый приезд в Хмару я не помню, чтобы, кроме меня, были другие дети, во второй—их появилось двое или трое. За нашим двором нагромождены были камни, так что получались в некотором роде пещеры. Туда мы стали забираться для игр. Разводили огонь, варили в жестянках кашу пшеничную, ели, боролись, бегали наперегонки и т. д. Вдруг однажды, видим, подбирается к нам черкес на лошади; как воробьи, бросились мы к дому и забежали в огородик. Смотрим, черкес, вместо дороги, направляется по руслу ручья, что протекал за огородом, опять к нам. Если в первый раз мы могли еще сомневаться, то теперь для нас стало ясно, что он или напугать нас хотел или утащить нас. Убежав в дом, мы долго после этого боялись далеко отходить от него. Кража детей, лошадей была обычным делом в то время, и когда происходил такой случай, то сейчас же обращались к мирным черкесам с обещанием выкупа, если уворованное будет возвращено. Посредники начинали с того, что уверяли в своем полном



неведении, в трудности узнать, где находится украденное, хотя, наверное, сами же участвовали в предприятии; но через некоторое время, когда точно выяснялась цифра выкупа, на которую согласен пострадавший, приводились лошади, возвращались дети и т. д.

В этот свой приезд в Хмару я впервые познакомился с различием во взглядах на воспитание у отца и матушки. Отец купил мне у черкесов очень острый, хороший ножичек их выделки и сказал, чтоб я с ним обращался как можно осторожней. Я же это предупреждение быстро забыл и, увлекшись обделкой какой-то палочки, так себе резанул руку, что шрам и до сих пор еще виден. Матушка натолкла угля, набрала паутины и быстро засыпала и перевязала рану, не говоря ни слова. Отец же взял длинную розгу и хотел, было, ею поучить осторожности, раз не слушаю слов. Розга поднялась, но быстро полетела в окно вместо того, чтобы опуститься на меня,—это матушка вырвала ее у отца и выбросила вон. Она, несмотря на простое происхождение и грубость тех времен, каким-то образом усвоила себе очень много разумных гуманных приемов. Нас, детей, она никогда не била, не ругала, а при какой-нибудь нашей провинности старалась прежде всего растолковать, в чем заключается худое в нашем поступке. И удивительное дело! Мы больше боялись ее простого неудовольствия, чем дети наших соседей, крики которых ежедневно раздавались много раз на дню,—розог. «Маменька, простите! Мамашенька, не буду!»,—то и дело, бывало, слышишь слезливые крики нашаливших детей, которых мамашенька—жена довольно видного военного чина—лупила напропалую за всякую шалость. У нас не было ничего подобного.

Очень мирными были и отношения матушки с соседями. Я не знаю ни одного случая, когда бы она ссорилась с ними, кричала на них. Со всеми мы находились в хороших отношениях. Несмотря на бедность, матушку уважали и относились к ней не как к жене фельдфебеля, а как к человеку благородному в лучшем смысле этого слова. Мой отец выстроил хатку в две комнатки с камышевой крышей. Ежегодно матушка сама ее обмазывала глиной и белила известью как внутри, так и извне. Известь раз'едала ей руки, пальцы, но это ее никогда не останавливало. Работы она не стыдилась и не боялась. Пол содержался у нас всегда в замечательной чистоте; белье, костюмы были чисты, зачинены. Это требовало большого труда, времени, зато, идя в церковь, ей не раз приходилось слышать завистливые возгласы по поводу дочери, которую она наряжает, как барышню. Между тем, вся нарядность ее заключалась лишь в том, что ее ситцевое платье, юбки, чулки были хорошо вымыты, хорошо накрахмалены и без всяких дыр. Правда, простенькая шляпка при хорошеньком лице (сестра была довольно красива и высокого роста) придавала ей вид барышни, но тут она была уже не при чем, так как и не думала изображать из себя барышню, а выходило это само собой.



Однако, я несколько забежал вперед. С шахт в Ставрополь мы возвращались без отца. Немецкие колонисты привозили в крепость разные припасы, и один из них, возвращаясь обратно, с охотой взял нас. Горы мы проехали благополучно, засветло, и только пугач (Филин) своим криком—пу-гу—напугал всех при выезде из гор. Кричал он где-то далеко в ущелье, но при начинавшихся сумерках, впечатление получалось неприятно-тоскливое, страшное. Тут в селении, где когда-то сломалась у нас ось, нам следовало бы остановиться, но немцы, особенно наш хозяин, торопились попасть в другое село—подальше. На юге переход от сумерек к ночи происходит быстро. Наступила сильная темнота. Дорога стала не видна—ведь по ней редко кто ездил. Наш хозяин каким-то образом, ища дорогу, отбился от других товарищей, и мы вдруг очутились среди черкесской степи, не зная куда двинуться. Кругом попадались лишь одни стога сена—дороги никакой. Немец наш выбился из сил, бегая в поисках ее. Мы остановились. Что же делать? Ехать дальше было бесполезно и опасно: можно было легко наскочить на черкесов. Решили пристать к первому попавшемуся стогу и тут заночевать, хотя это мало нас гарантировало от черкесов. В страхе, рисуя себе ужасы плена, я и матушка опять прибегли к спасительным слезам, лежа на фургоне. Сон, однако, сильнее страха, и мы скоро уснули. На утро наш немец, осмотревшись, очень скоро нашел дорогу, и мы покатали далее уже без всяких приключений.

По приезде я теперь попал в ученье к одному отставному чиновнику, выгнанному за пьянство. Он брал по рублю в месяц с ученика, однако, относился очень добросовестно к своему делу, хотя часто и запивал, лучше сказать, пропивал все полученные рубли, предоставляя жене с больной рукой кормить и себя и трех детей. Сам он кончил гимназию, был еще не стар, и у него мое учение быстро пошло вперед. Чтение, письмо, арифметика, грамматика—разбор велся на бумаге,—все это он сумел так просто и толково повести, что я потом по знанию арифметики и грамматики постоянно брал верх при дальнейшем учении и в уездном училище, и в гимназии. При чем все это давалось быстро и легко.

Отец в отсутствие матушки запил, товарищи поддержали, и его вскоре не стало. Лошадь, кибитка, все имущество при нем как-то исчезло бесследно, и мы получили лишь одно его предсмертное письмо; как видно, он ясно понимал приближение смерти и причину ее. «Видел во сне,—писал он,—что потерял сапоги, видно, приходится умирать; будь здесь ты, дорогая Лизанька, конечно, этого не случилось бы: ты удержала бы меня от питья, а приятели только подливали». Таков был общий смысл письма. С этим письмом в руках вышла матушка, а за ней—сестра и я, в наш сад и долго-долго, заливаясь слезами, смотрели мы трое на Эльбрус. Из нашего сада видны две его вершины, а недалеко от него, мы знали, находится и тот поселок, где умер отец. После отца осталось нас трое: матушка,



сестра и я. Доходов же получалось 2 рубля пенсионных и 7—8 рублей от квартирантов. Этого, конечно, было недостаточно, и матушка пополняла дефицит работой на более зажиточных соседей. Никакой работы она не боялась и не стыдилась, поэтому наша жизнь в посторонних и соседях возбуждала даже зависть. В доме тишина, порядок, чистота. В будни все одеты опрятно, в праздники—прилично, однако, избегая всего лишнего, показного. Матушка предпочитала лучше больше тратить на пищу, на то, чтобы дети были сыты, чем на наряды. Она умела хорошо готовить и, несмотря на скудные средства, ухитрялась делать два сытных блюда, а в праздники иногда даже целых три.

Хождения по соседям и сплетен матушка не любила, и мы трое отлично чувствовали себя и дома, когда после обеда собирались все в одну комнату.

Я учил уроки или читал что-либо вслух, сестра вышивала, матушка, убравшись по дому или покончив с мытьем чужого белья, присоединялась тоже к нам, взявши теперь уже чистую работу: шитье, вязанье. Читали и перечитывали басни Крылова, хрестоматию Филонова, а по праздникам евангелие. Мне евангельские изречения, как—«Положи душу свою за други своя» или «Блаженны изгнанные правды ради» и т. п., глубоко проникали в душу.

Иногда, вместо моего чтения, матушка принималась рассказывать нам про свое детство, переезды по Закавказью, о том, что видела, что испытала, или напевала песни. Книг у нас было мало, и ее рассказы отлично пополняли этот недостаток, тем более, что в ее рассказах всегда проводилось какое-нибудь моральное правило и указывалось на более достойное человека поведение. Поучала нас она не заповедями, не запретами и не угрозами наказания, а на примерах и фактах, взятых из жизни.

Мать не только не стесняла меня с сестрой в играх, но еще иногда и сама принимала участие в них. По вечерам, особенно зимой, наша комнатка оглашалась тогда звонким смехом, хохотом, борьбой. Это мы с сестрой нападали на матушку, забрасывая ее подушками.

Так проходили будни. В праздник программа изменялась. Утром шли в церковь, оттуда изредка к родным моего отца или звали к себе кого-либо из них. Знакомства с посторонними у нас были наперечет, и мы в год раз—два обменивались посещениями. Чаще видались лишь с семьей одного отставного капитана. Они были приезжие, имели мало знакомых и наиболее подходили к нам. У них, к тому же, обучалась и жила моя сестра, когда мы с матушкой ездили к отцу на Хмару.

Матушка ни за что не хотела отрывать меня от учения, хотя ей и предлагали отдать меня в лавку или в другое место. «Нет! лучше я еще больше буду работать, а он пусть учится!»—говорила она и тянулась из последнего, чтобы добыть для учителя рубль в месяц, и я продолжал учение. Но вот пройдена и вся грамматика—учитель решается и без атласов и без книг приступить к географии. У него



была большая черная доска. Прихожу как-то и вижу—стоит он у доски и тщательно вырисовывает земной шар при помощи куска мела, привязанного к нитке, укрепленной в центре. Я сразу понял в чем дело, несколько пугаясь новой науки, и принялся за обычный письменный грамматический разбор, и нет-нет да и посматриваю, как он старается красиво суживать шар у полюсов. Вдруг приходит какой-то прилично одетый господин, подходит к учителю и начинает его расспрашивать об учениках, их успехах, о назначении его рисунка на доске. В это время все прочие ученики сидели еще на азбуке. Учитель обрадовался вопросу о шаре и принялся говорить обо мне, о том, что мне для дальнейшего учения нужны книги, что я уже хорошо усвоил арифметику и грамматику. Пришедший взял мою тетрадь, просмотрел письменное решение задач и разбор—остался доволен и, обращаясь ко мне, заметил: «Приходи ко мне в уездное училище. Я велю выдать все нужное». Это, оказалось, был смотритель училища, и ему была поручена ревизия всех частных школ.

Вскоре, нарвавши крупнейшей черной черешни с единственного дерева в нашем саду, я с полной тарелкой быстро очутился в училище. Смотритель немножко смутился и сначала не хотел принимать моего дара, но я категорически заявил, что ему посылает это моя матушка, и я ни за что назад не понесу. Пришлось ему уступить, но, чтобы не оставаться в долгу, он дал мне 20 коп. на покупку конфект и пряников. Затем он принялся экзаменовать меня. Экзамен я выдержал на полные пять; тогда он предложил поступить в училище, обещая дать все необходимые книги. Я сказал, что спрошу матушку, и с этим ушел.

Ни я, ни матушка не имели понятия об условиях учения в училище. Спросить было тоже не у кого, и мы с радостью пошли на предложение смотрителя, во-первых, потому, что это сохраняло нам рубль, во-вторых, открывало, как нам казалось, путь к дальнейшему учению, более солидному, чем у учителя: громадное заблуждение и ошибка, которая задержала мое учение на много лет. Программы гимназии и училища не были согласованы так, чтобы, кончив училище, можно было бы продолжать учение в гимназии в соответствующем классе. Напротив, курс училища был таков по русским предметам, что равнялся 4 классу гимназии, но из-за языков и естествознания, проходившихся тогда в гимназии со 2 класса, мне, когда я кончил училище (хотя и с похвальным листом), пришлось все-таки поступить только во 2 класс и опять тянуть лямку целых пять лет еще, когда бы я мог кончить за три года. Это же обстоятельство помешало мне и вообще учиться хорошо и отравило, можно сказать, все пребывание в гимназии. Зная еще из училища русские предметы, я уже и не думал просматривать уроки дома, а ограничивался беглым прочтением на переменах. Таким образом, пропадала перемена и получалось неполное знание уроков, а отсюда неловкое, тягостное



состояние, как бы не вызвал и не спросил учитель. Третье (и тоже важное обстоятельство) было то, что благодаря греческому и латинскому языкам, по которым я плохо учился, я кончил лишь четвертым, а мог бы кончить и первым, так как по математике я разбирался лучше первого ученика, хотя и не всегда знавал уроки. То же, что я не кончил одним из первых, привело к новому неприятному обстоятельству: я не получил права на избавление от призыва на военную службу, при чем я обязан был приписаться в какое-нибудь податное сословие и от него уже добиваться освобождения меня от воинской повинности<sup>1</sup>. Не зная же этого, я чуть не попал под суд за уклонение от этой повинности, когда уже учился в Петровской академии. Мне пришлось тогда приписаться в мещане Сергиевского посада. Как бы там ни было, я, к великому огорчению моего первого учителя, бросил его и поступил в училище. Книжки мне выдали, но учительского руководства я лишился. Предоставленный же самому себе, я на первых порах не знал, как и взяться за учение. По книгам я еще не учился, а к тому же меня и не спрашивали почему-то, и только на грамматическом разборе я показал, что знаю его, но этого было мало для перехода в следующий класс, и меня оставили без экзаменов в том, в какой я поступил. Поступил я в конце учебного года, и теперь два года пришлось пробыть в этом классе.

Наступили каникулы. Я перестал ходить в училище. Матушка, полагая, что меня попросту выгнали, сейчас же снова отвела меня к старому учителю. Тот несказанно обрадовался и живо принялся за переплетание подаренных мне книг. Учение стало налаживаться, но тут каникулы кончились, и я снова начал ходить в училище и тянуть лямку. В каждом классе полагалось пробыть два года. Классов было два, и то, что я у учителя прошел бы в год, в полтора—тянулось четыре года.

Во многих воспоминаниях авторы как-то больше останавливаются на учителях отрицательного, карикатурного свойства—злобных или с чудачествами. Ничего подобного ни в училище, ни в гимназии, особенно в низших классах, я не встречал. Напротив, эти учителя, хотя и кончили всего лишь гимназию и не имели университетских дипломов, за что их потом поувольняли из гимназии, по-моему, были в большинстве случаев хорошие люди и весьма опытные и умелые педагоги. Они как-то умели войти в положение ученика, растолковать ему понятно, чего он не понимал, поделиться с ним, рассказать что-либо интересное из жизни, внимательно следить, занимается ли мальчик, поощрять его, а не забивать, не отпугивать. Так, в училище учитель русского языка и исто-

<sup>1</sup> До 1874 г. армия пополнялась рекрутскими набсрами среди крестьян и мещан. Образовательный ценз среднего учебного заведения освобождал от рекрутчины крестьян и мещан. Дети солдат освобождались при окончании средне-учебных заведений с полным баллом в 4½.



рии, чтобы выгадать время на чтение и беседы, придумал такой прием: он поручил нам самим спрашивать заданный урок друг у друга во время перемены, а когда приходил он, ему лишь говорили отметки, которые он ставил в журнал. Мы старались быть справедливыми, и все шло хорошо, но вот однажды выдался как-то день, что все приготовили уроки плоховато. Приходит историк, начинает вызывать по алфавиту и спрашивает про отметки. Первый, смотрим, немного поколесавшись, поставил больше, второй тоже, и так пошло до конца. Мы не сговорились, вышло это как-то само собой, но учитель, вероятно, заметил нетвердость в голосах и решил проверить. Вызвал меня. Я ответил, но с запинками. Пяти не стоило. Однако, учитель моей отметки не исправил. Поняв сразу в чем дело, он даже не стал больше и спрашивать, видя испуганные, смущенные наши лица, и, задав новый урок, принялся за чтение, но нам ясно было, что про нашу проделку он догадался и не хотел лишь нас конфузить больше. Зато и мы, испытав страх и боязнь потерять его доверие, уже больше ни разу, ни по соглашению, ни по наитию, и не подумали его обманывать.

В то время правительство само еще очень заботилось о просвещении и всячески хлопотало об увеличении количества учеников, не требуя ни платы, ни разных формальностей. В училище меня, например, приняли без просьб, без документов, без хлопот матушки. То же потом вышло и при поступлении в гимназию. Приезжает как-то в училище ставропольский губернатор. Посидел в нашем классе час на русском языке, пришел потом и на географию. И там, и тут пришлось отделяться мне, как первому ученику. Губернатор похвалил, но учителю географии захотелось отличиться. Не довольствуясь тем, что я по карте хорошо указал на все наши каналы, города, реки, горы, он вдруг велел мне еще наизусть нарисовать на доске и все границы России. Таковой способ изучения географии тогда только-что вводился, и большая часть из нас никак не могла справиться с береговой линией морей, заливов, полуостровов. У меня это получалось немного лучше, так как, не имея атласа, я несколько раз снимал через окно карту России и запомнил контуры недурно, но учитель никогда не требовал ни рек, ни городов. И тут, когда меня вызвали к доске, я тщательно постарался лишь вывести все заливы, бухты, моря, полуострова, но внутри все было пусто. Губернатор обратил на это внимание и спросил: «А реки знаешь, как текут?» Учитель переполошился: он от нас этого не требовал. Однако, хотя плохо, но все-таки я его выручил. Я их никогда не рисовал, но знал, что одни текут на юг, другие на север и с.-з. Долго не раздумывая и не останавливаясь на том, где какая река изгибается, я взял и повел от середины России одни реки на юг в Черное и Каспийское моря, другие—в Балтийское, третьи—в Белое. Все они вышли у меня без всяких колен, почти прямыми, с маленькими зигзагами, но и учитель, и губернатор остались вполне довольны. Это было незадолго до



окончания курса. Поэтому губернатор, разговаривая, между прочим, спросил меня, не хочу ли я продолжать учение в гимназии. «Хочу, но туда меня не примут»,—отвечаю ему.—«Нет, примут, только скажи, что губернатор прислал!». Ничего не зная о том, как принимают в гимназию, я, конечно, принял его слова всерьез и, когда пошел потом в гимназию, то так и сказал директору. Тот улыбнулся только, но, расспросив подробно, велел за каникулы подготовиться несколько по французскому языку и началам зоологии, дабы попасть хоть в 3-й класс. Я попросил товарища-соседа помочь мне: он был уже в гимназии и перешел в третий класс. Стали заниматься, но ученье, понятно, плохо налаживалось, и я за все каникулы, пройдя 20 параграфов из Марго<sup>1</sup>, не умел даже читать по-французски и на экзамене срезался на 21-м параграфе. То же вышло и с зоологией и даже с арифметикой, что немало удивило меня. За одни каникулы я, действительно, забыл действия с именованными числами, а знал хорошо раньше, и когда заглянул дома в учебник, то вспомнил все отлично, но это уже было поздно, и мне пришлось поступить во 2 класс, и опять-таки без всяких формальностей. Раньше в гимназию принимали одних лишь дворянских детей, которых мы называли «обрезной говядиной» за красные околыши на фуражках. Теперь стали всех разночинцев принимать. Не зная этого, я и сомневался, примут ли меня, и пожалуй, если бы не губернатор, я очутился бы в школе топографов. У нас был знакомый топограф, и с ним у матушки не раз заходила речь об этой школе и о том, как попасть туда.

Учение в гимназии давалось мне, конечно, легко, и я быстро попал в число первых учеников, имевших право сидеть на передней скамье. Однако, я остался на том месте, где первоначально сел. Один учитель по какому-то случаю заметил на этот счет: «Да, это хорошо: не место красит человека, а человек—место». Учителя в этом классе все были бездипломные, но обучение вели толково, просто и понятно, не придираясь, не запугивая. Странностей больших за ними не помню, и только учитель немецкого языка, русский, высокий добродушный человек, удивлял нас своей охотой читать басом, и притом очень громким, апостола в церкви. Голос у него был надорванный, грудь слабая, и нам всякий раз, слушая его, казалось, что вот-вот лопнет у него жила в горле и польется кровь. Являлась боязнь за него, и потому мы с опаской ждали: хоть бы поскорей кончал! Учитель французского языка Люран плохо владел русским языком. Он постоянно лечился, принимая пилюли даже во время класса. Это для некоторых служило поводом к шуткам. Запасшись пузырьком или маленькой бутылочкой с водкой, они ждали и, как только он клал в рот пилюли, принимались булькать водой. Я не помню, чтобы у нас, приходящих, выходило с ним какое-либо столкновение, но в пачсионеров—при гимназии для инородцев и черкесов существовал

<sup>1</sup> Учебник французского языка.—Ред.



пансион—это бывало. Француз при пансионе исправлял должность и воспитателя, и надзирателя. Ему приходилось ловить воспитанников и на тайном курении, и на других проделках. Тут он позволял себе пускать в ход руки. Зато и ему влетало. В то время у нас немало было силачей из великовозрастных, которые дальше второго, третьего класса не двинулись; они составляли «камчатку» и обычно кончали тем, что шли к священнику, всучали ему три—или больше, но не меньше—рубля, получали за это от него удостоверение, что хорошо знают закон божий и все, что полагается доброму христианину, и с этим поступали в юнкера на военную службу. С таких, как говорится, взятки были гладки, и мне пришлось слышать, как такая молодежь, остановив однажды на улице карету с архиереем, заставила его выйти из экипажа и велела протанцовать перед ними. Это был архиерей, про которого ходили слухи скабрёзного свойства, и потому-то с ним и проделали такую вещь. Об этом говорили, как о делах давно минувших лет.

Во время моего пребывания в гимназии она пережила целый ряд изменений: то исключались одни науки, как гигиена, зоология, законоведение, то вводились другие; то она делалась чисто классической гимназией, то классическо-реальной; то носили форму и фуражки с красным, то со светло-синим околышем. Потом форму отменили, и все приходящие оделись в черные сюртуки и черные фуражки; когда же я дошел до 6 класса, снова ввели форму и фуражки с лаврами, но, к счастью, нам, старикам, уже позволили доносить свои черные костюмы до окончания курса. При этом менялись постоянно и заменялись одни учителя другими. Бездипломные оставались за штатом. Дипломные—все молодежь—не сразу приобретали навык. Отсюда выходило то, что многие ученики стали как-то плохо успевать в учении и резались на экзаменах. Ни один товарищ из 2 класса из приходящих не дошел со мной до 7 класса. Каждый год я их терял и терял то во 2, то в 3, то в 4, а дальше их уже не стало, и мне все почти время приходилось заводить новые и новые знакомства. Поэтому тесной дружбы так у меня ни с кем и не состоялось. Лишь во втором классе я хорошо сошелся с одним, по фамилии Росляков. Он был добрый, хороший парень, но любил охоту больше учения. Я к нему очень привязался и, перейдя в третий класс, на каждой перемене спешил всегда к нему наверх: их класс находился во втором этаже, и там была открытая галерея, 3 же класс помещался в нижнем этаже. Потом я перешел в 4, а он снова остался во 2, и так как ему уже нельзя было оставаться в гимназии, то он вышел из нее и вскоре, поступив в юнкера, скрылся из Ставрополя. Впоследствии я узнал, что он упал с лошади, расшибся и умер. Для меня потеря его была очень чувствительна, и я потом ни с кем не мог сойтись так близко, как с ним, тем более, что начнешь только сходиться, вдруг наступают экзамены, глядишь—твой товарищ и остался в прежнем классе; опять надо заводить нового, а это далеко не легко. Кроме того, отдален-



ность нашего дома от центра города, где жила большая часть гимназистов, тоже имела немалое значение. Разгуливать было некогда и далеко, и я оставался одиноким. Зимой сидел дома, водил голубей, летом же часто с ружьем бродил по лесу, по полям, нето возился в саду и в огороде.

В гимназии, еще с 3 класса, у меня откуда-то взялся и глубоко засел взгляд, что не стоит много хлопотать о хороших отметках. Достаточно трех: лишь бы переходить да знать предмет. Старые бездипломные наши учителя смотрели иначе, и раз, бывало, им плохо ответишь, они, хотя и поставят единицу или двойку, но на другой, третий день снова переспросят и, если хорошо ответишь, то в месячных отметках выставляют высший балл. Не то у меня вышло с одним молодым учителем геометрии—остзейским немцем Краузе. У него была такая манера: в первую треть он всем, перешедшим в следующий класс, ставил по 5, хотя бы ни разу не спросил. Это потому, объяснял он, что если кто перешел, то он, значит, знает все предыдущее хорошо. Так было и со мной. Не спрашивая, он поставил мне 5 за первую треть. Наступает вторая. Случился урок о равенстве пересекающихся диагоналей в квадрате и параллелограмме. Геометрию я знал еще из училища и потому никогда не заглядывал в книгу. Вызывает Краузе одного ученика и предлагает доказать это равенство в параллелограмме. Тот выходит к доске, чертит фигуру, проводит диагонали, но дальше молчок... Вызывает второго, третьего—четвертым оказался я. Смело иду к доске, и уверенный, что сумею доказать, беру два соседних треугольника и пускаюсь в доказательство, но сразу вижу, что таковое не выходит. Стоило учителю намекнуть или дать как-нибудь понять, что надо взять не соседние, а противоположные треугольники, и я бы блистательно доказал теорему, но вместо помощи он поставил единицу. Поставил ее потом в трети и за весь год больше не вызывал. Я мог легко ему доказать, что знаю геометрию хорошо, но, задетый тем, что сам он не пытается проверить мои знания, я не подумал добиваться лучшего балла. Зато на экзамене получил полное удовлетворение, когда учитель при ассистентах пришел в крайнее недоумение, услышав ответ на полные пять, и не только на вынутый билет, но и когда спрашивал, гоняя по всей геометрии.

Другой—словесник, который опять-таки заменил бездипломного, еще лучше проделал со мной. До него мы мало еще занимались писанием сочинений. Он же, как появился в 3 классе, так сейчас же задал нам написать: в чем заключается бедность и богатство крестьянина по стихотворению «Что ты спишь, мужичек?». Так как литературству нас до сих пор не учили, то я взял это стихотворение и выбрал из него лишь то, что указывало на бедность и недостаток и причины их. Прибавлять что-либо лишнее от себя не находил нужным, да и мне казалось, что нельзя было отступаться от того, что сказано в стихотворении. Вышло две странички, и только. Словесник прочел, поставил единицу и возвратил с надписью «пере-



делать», не объясняя, что же ему собственно нужно. Посмотреть в тетради других мне как-то не пришло в голову. Пришел домой, взял стихотворение, снова начал искать ответа, снова написал почти то же. Учитель снова закатил мне единицу—и опять без объяснений. При чем этот балл поставил и в трети, не спросив грамматики, которая проходила у нас в 3 классе и которую я знал хорошо. Эта единица отняла у меня возможность, во-первых, быть переведенным в 4 класс без экзамена (тогда впервые пробовали такую систему), во-вторых, я решил, что совершенно не гожусь для писательства, и с тех пор ни в гимназии, ни в Петровке, да и в дальнейшем еще долгое время не брался за писательство. Только лишь в Шлиссельбурге мало-по-малу начал: то переводил с французского учебник по земледелию, то стал записывать погоду и свои опыты по огородничеству. Для этого у меня отводилось время после ужина, когда наступала полная тишина, и как-то скоро вошло в привычку проводить час-другой за писанием. Потом уже я стал понемногу писать про матушку, ее детство, дальнейшую судьбу и т. д. Два маленьких рассказа: «Надя» и «Буйволы» попали даже в наш журнал, издаваемый Лаговским в Шлиссельбурге. Их хвалили, а по выходе из Шлиссельбурга взяли у меня «Надю» для напечатания в настоящем журнале<sup>1</sup>. Словом, если бы словесник не окатил меня холодной водой в третьем классе, я, быть может, смог бы и лучше писать. От нас этого учителя вскоре взяли, но недобром я его и до сих пор вспоминаю. Ему ничего не стоило растолковать нам, что нет нужды строго держаться текста одного лишь стихотворения и что можно добавлять и то, что самому известно.

Учитель латинского языка—он даже говорил на нем—был иного сорта человек. У него мои дела шли хорошо, и он вместо спрашивания урока вызывал меня постоянно к доске писать перевод, задаваемый им к следующему дню. Рассчитывая на это, я однажды плохо приготовил разбор, надеясь не быть спрошенным. Вдруг ему захотелось проверить, как я знаю урок, и он прежде, чем, по обыкновению, вызвать для перевода, спросил разбор. Я попался, получил единицу, но к доске все-таки был вызван, чтобы писать урок на следующий раз. Своим провалом я был очень сильно сконфужен, было стыдно за то, что захотел надуть учителя, и я, придя домой, сей же час принялся за ученье как следующего урока, так и того, что не выучил накануне. Учитель каким-то чутьем понял, что я так сделаю, и в следующий раз прежде всего спросил старый урок, а потом уже новый. Единица была переправлена на 4, и между нами установились прежние отношения. Уроки теперь все учились исправно. Оставайся этот учитель и дальше, латинский не был бы у меня камнем преткновения в будущем, но его перевели в другую гимназию, и в 4 классе

<sup>1</sup> Очерк «Надя» напечатан в сборнике «Под сводами» (Сборник повестей, стихотворений и воспоминаний, написанных заключенными в стар. Шлиссельб. крепости. Сост. Николаем Морозовым). Москва, 1909 г. Изд. «Звено».—Ред.



у нас оказался новый преподаватель. Это был учитель Ставропольской семинарии. Когда я еще учился в училище, он тогда там был смотрителем и знал меня. У него мы даже стали отвечать урок полатыни и прочли Цезаря. Но, к несчастью, ему тоже нехватало диплома, а с пятого класса дипломный латинист совершенно нам набил оскомину толкованием различных значений слов и выражений, в том или другом случае употребляемых Цицероном и другими писателями. Притом он читал и задавал нам отдельные отрывки из речей Цицерона и других; в то время, как мы с трудом справлялись с Цезарем, с его простым и понятным описанием походов, что все-таки представляло и некоторый интерес. В речах же мы плохо разбирались и, конечно, не могли оценить их по достоинству и помаленьку, так как учитель почти никогда не спрашивал, стали отлынивать от ученья. На выходном экзамене я только на том и выехал, что запомнил из 4 класса перевод Цезаря. Время, потраченное на латынь в 5, 6 и 7 классах, так и пропало даром. Я не только не запомнил красивой или сильной фразы римских ораторов, писателей, но совершенно забросил учение по этому предмету, едва вытягивая на три, чтобы не оставаться в классе на второй год.

С греческим языком у меня вышла та же история, хотя и по иной причине. Первым учителем оказался у нас горький пьяница. Придя на урок, он сам стал нам писать на доске буквы азбуки и при этом выкрикивал их названия каким-то особенно пискливым, высоким голосом. Он был низенький, толстенький, с широким нездорово-пухлым от питья лицом, и когда дошел до омеги, то произнес ее с ударением, еще больше повышая голос. Вышло очень смешно, и у кого-то невольно вырвалось: «сам ты омега!». Так это название за ним и укрепилось, оно очень подходило к его лицу. Однако, у него учение пошло недурно, но тут приехал из Германии выписанный доктор латинского и греческого языков. «Омега» нас покинул, и немец вскоре поставил нас в очень затруднительное положение и тем у многих отбил охоту к этому языку. Вышло это так. И «Омега» и он поначалу задавали уроки по переводу, сами быстро его прочитывали нам и говорили значение слов. Эти слова мы записывали, выучивали дома наизусть, и перевод нам давался без особенного труда. Переводили Анабазис—отступление греков по берегу Черного моря—это было интересно, и учение шло хорошо. Продолжайся оно так и дальше, мы, пожалуй, и взаправду стали бы греками, но немец этого не сообразил и выписал громадные словари, стоящие пять рублей экземпляр, сумма немалая, и многие приходящие очутились в критическом положении. Купить словарь не на что, а Гумель—фамилия учителя—перестал говорить значение слов, заставляя искать их в словаре. По его мнению выходило, что искание слов по словарю лучше способствует их запоминанию. За неимением словарей, на первых порах цепляясь еще за учение, мы доставали греко-латинский словарь у семинаристов и, собираясь группами, пытались



находить значение слов таким кружным путем, т.-е. с греческого переводили на латинский и уже с латинского на русский. Работа каторжная, и мы мало-по-малу начали остывать, несмотря на остроты Гумеля.

Ленились, конечно, не все, и к экзамену не трудно было добыть у товарищей и слова, и переводы и подготовиться к экзамену как следует. Однако, Гумель раз на экзамене срезал почти весь 5 класс и оставил на второй год. За это, правда, ему же влетело: он получил выговор. Однако, своей системы не изменил и только, махнувши на нас рукой, стал смотреть сквозь пальцы на наше плохое учение, ставя три в месячных и годовых, и на экзаменах не резал. За все это он уже зато весь год и отводил свою душу, остря постоянно на наш счет. Он вообще о нас и наших знаниях и по другим предметам был самого невысокого мнения и ужасно удивился как-то, будучи ассистентом по истории, когда я ему очень хорошо рассказал про французскую революцию и про Дантона, Марата, Робеспьера. Таких знаний он никак не ожидал от русского. Он не раз потешался даже над незнанием нами русского языка, например, спрашивая: «ну, а что значит—через, сквозь, под, над?» и т. д. Учитель русского языка, да и мы сами никогда не задумывались, конечно, над этим, но для правильного перевода это было необходимо, и вот тут-то он нас ловил и глумился, но не злостно, а довольно добродушно посмеиваясь.

Третий учитель, помешавший мне хорошо кончить курс, был историк. Он только-что недавно кончил курс в университете и у нас в 7 классе повел дела на университетский лад. Читал нам целый урок лекции, вертя конспект в руках, и очень редко спрашивал. Приходит время ставить за треть отметки, как тут быть? Тогда он вызывает неспрошенных им ни разу за три месяца и говорит: «Приготовьте к следующему уроку все пройденное, я спрошу и на этом основании выставлю баллы, они потом пойдут и в годовые!». В числе неспрошенных оказался и я. История еще из училища была мною хорошо усвоена. В четвертом классе знающий учитель ее подновил, и мне нетрудно было ее приготовить. Ответ у меня вышел на полные 5. Но учитель, извиняясь, что он еще не знает меня, сказал, что вместо пяти поставит лишь 4. Мы, как я сказал, не понимали важного значения отметок, не гнались за ними, и я сразу согласился. Между тем, вышла такая вещь. Заглянув в журнал и видя у меня по греческому и латинскому языкам плохую отметку, он почему-то испугался и вместо 4 поставил мне 3 как в месячных, так и в годовом отчете. Только на экзамене узнал я про его проделку, и хотя тут получил 5, но в среднем получилось все-таки 4, а это понизило и общий итог, и вместо  $4\frac{1}{2}$ , как требовалось для избавления меня от солдатчины, я получил лишь 4 с какой-то небольшой дробью. Вероятно, учитель—его фамилия Воскресенский—и не подозревал, какую он со мной проде-



лал штуку, а между тем это маленькое обстоятельство повернуло всю мою будущую жизнь совершенно по другому пути.

Относительно чтения дело стояло у меня плохо. В училище; например, хотя и была небольшая библиотека, но из нее выдавали книги лишь на каникулах. Здесь я познакомился с мелкими рассказами Гоголя и полным «Робинзоном», прочтенным с захватывающим интересом. Дома для сестры приходилось переписывать «Демона», слушать чтение и самому читать «Путь ко спасению» (жития святых) и евангелие. Вот и все пока.

В гимназии из библиотеки стали, было, как-то выдавать книги, но быстро прекратили, и я запомнил лишь о Гарибальди и его подвигах.

В третьем классе гимназии товарищи-пансионеры затеяли, было, свой журнал и по вечерам стали собираться в одном классе для чтения книг. Попал и я туда. Походил вечера три, а там дело расстроилось и больше не возобновлялись. Журнал замер. После этого, вплоть до шестого класса, книги, попадавшие мне, были наперечет. Это—несколько книг журнала «Библиотека для чтения», если не изменяет память, басни Крылова, Смайльс, путешествия к северному полюсу и—самое главное—хрестоматия Филонова. Это была моя настольная литературная энциклопедия, по которой я знакомился со всеми поэтами и писателями. Шильонский узник, Полтава, Мцыри и—особенно—Тарас Бульба перечитывались много раз.

С Достоевским, Некрасовым и Тургеневым началось знакомство в шестом, седьмом классах. Газет я не читал до самого Питера. Из журналов попадались отдельные экземпляры «Отечественных Записок» и «Вестника Европы». Последний показался сухим и скучным, ученым. Забыл еще одно. В шестом классе одно время явилась возможность добывать переводные романы. С жадностью набросившись на них, скоро я настолько набил ими оскомину, что долго потом с предубеждением встречал всякий новый иностранный роман, предпочитая простой русский рассказ, повесть или роман—переводным, иностранным.

К концу моего гимназического курса и в Ставрополе завелась городская библиотека, где легко можно было бы добывать книги и журналы, но у меня не было сильного влечения к ним и, к тому же, не имелось и денег на плату. Поэтому-то до самого конца курса книги попадали ко мне случайно—от товарищей, от знакомых.

И не в них суть. Лучшей книгой был переживаемый момент. Освобождение крестьян, реформы, обещание новых, затем попятное движение,—все это возбуждало толки, надежду, критику, разочарование. В обращение поступила масса хороших новых мыслей, передовых идей. Все это носилось в воздухе, усваивалось и оставалось надолго в душе. Все это заменяло мне книгу в моем развитии.

Только этим, да тем воспитанием в детстве, о котором сказано выше, мне кажется, и можно легко объяснить то обстоятельство, что я без всякой ломки, как бы естественно, вошел потом в ряды револю-



ции, начавши еще в гимназии неглубоким, малопродуманным нигилизмом.

Отрицательное отношение к дипломам, к карьере, ко всему показному; простота в одежде, в жизни, честность, неопределенное стремление послужить народу, стране, любовное отношение к угнетенным; неверие или, лучше сказать, лишь отрицательное отношение к обрядам церкви—вот и все, с чем я вышел из гимназии<sup>1</sup>.

Кончил я гимназию в 1870 г. четвертым по классическому отделению. В нашей гимназии было два отделения: классическое и естественное. Последнее было введено, когда я был уже в шестом классе; мне, как слабогрудому, легко было бы получить разрешение на переход в него, но я не позаботился об этом и остался на старом, хотя ни греческим, ни латинским не занимался уже в этих классах, держась лишь тем, что сохранилось от предыдущих годов.

После гимназии надумал я поступить в Константиновское военное училище в Петербурге, и вот почему. Меня тянуло в Питер, и только в Питер. Университет, профессора, наука, литература, сам город,—все это казалось в Питере лучше, выше, перворазрядней, чем в других городах. Только в Питере можно было получить настоящее знание, стать вполне образованным человеком, думалось мне. Но ехать в университет или другое питерское учебное заведение средств не было, я и выбрал Константиновское училище, где содержание было казенное. Осталось добыть денег лишь на дорогу, и только, а там, мол, прокормят. Одно время явилось сомнение, примут ли? Но тут узнаю, что из нашего же Ставрополя один молодой человек—и тоже сын фельдфебеля—кончил в этом году Константиновку и выпущен офицером. На всякий, однако, случай собираю пораньше все документы и, как только заполучил гимназический аттестат, посылаю просьбу в училище за два месяца до приема, а сам остаюсь в Ставрополе ждать ответа. Проходит месяц, и другой уже к концу близится: до приема остается менее трех недель, ответа нет. Значит, принят, решаю я и, собрав денег на дорогу, пускаюсь в путь<sup>2</sup>.

По приезде, на другой же день, бегу в училище, отыскиваю генерала-директора, выясняю ему свои средства и прошу зачислить меня сейчас же с тем, чтобы немедленно перейти на житье в училище. Директор—человек обходительный и мягкий—принимает меня сеплечно, вполне входит в мое положение, готов бы сделать все, но... «Уж как-нибудь перебейтесь две недельки, а 15 августа приходите, и мы тогда в тот же день вас примем».

Делать нечего, иду, отыскиваю небольшую комнату под самой крышей с потолком, напоминающим крышку гроба, уславливаюсь на

<sup>1</sup> Настоящего негерия в ту пору еще не могло быть,—оно пришло позднее, когда я познакомился с историей, с наукой.

<sup>2</sup> От Ставрополя до Ростова ходил тогда дилижанс. Вперед, вне кареты, взято было для меня место рядом с кондуктором. Ночью кондуктор дал мне бурку, благодаря этому можно было дремать, сидя в ней, не боясь упасть.



две недели и начинаю изучать от нечего делать маршировку в комнате или хожу по Питеру.

Наступает 15 августа. Все поступающие собрались в зале и прежде всего занялись вопросом, кто в какую роту попадет; меня по росту определили в первую.

Скоро начался вызов в отдельную комнату для медицинского осмотра. Дошла очередь до буквы Ф. Смотрю, других вызывали, а меня нет и перешли дальше,—что за диво? Неужели забыли, пропустили? Вот позвали и последнего, а я все стою в зале и с замиранием жду своей фамилии, но вызова нет, как нет. Вероятно, пропустили, решаю я, и с этим иду сам без зова в ту комнату, где происходит прием. Там уже закончился осмотр последних, и те одевались. Я раздеваюсь и подхожу к столу; за ним директор, доктор и еще кое-кто. Все с недоумением, вопросительно смотрят на меня.

— Как ваша фамилия?—откуда-то издали послышался голос.

— Фроленко,—говорю.

— Да ведь вы не приняты, и ваши бумаги мы даже отослали в Ставрополь на-днях!—выкрикивает тот же голос издали.

— Как же так — обращаюсь к директору. — Я уже был у вас, и вы мне велели приходить 15-го.

— Да, да, но... я... вас нельзя принять: вы сын фельдфебеля!..

— У вас же кончил наш ставрополец, и тоже сын фельдфебеля,—замечаю ему.

— Вот из-за него-то и вышла вся беда! Его мы приняли, а когда дело дошло до производства в офицеры, тут и оказалось, что производить нельзя. А между тем государь уже поздравил всех кончивших курс юнкеров с чином. В числе прочих был и ваш ставрополец, значит, во что бы то ни стало его надо было произвести. Его произвели, но нам был выговор, поэтому мы и не можем вас принять.

В виде утешения директор подробно раз'яснил мне все это.

— Как же мне быть? Что же я буду делать? Почему же заранее не ответили?—вырвались у меня отдельные возгласы.

Директор вспомнил, верно, наш прежний разговор, понял мое положение.

— Вот что мы сделаем,—заговорил он снова,—пусть вас освидетельствуют; затем мы вам поможем составить прошение к военному министру. Он принимает по таким-то дням. Перепишите получше прошение и сходите к нему; может, он и примет:

Доктор был немножко недоволен моей грудью, но свидетельство выдал тут же. На другой день в канцелярии было составлено прошение общими силами с участием директора, я переписал дома набело и двинулся к министру.

— Сегодня нет приема,—отвечает на мой вопрос швейцар, оглядывая мое длиннополое пальто. Я смущаюсь, чувствую сам, что в таком костюме не пристало, как будто-бы, добиваться приема, ухожу без возражений и скорей к директору. Тот утешает, советует еще



раз попытать счастье, но про главное-то умалчивает, что надо было дать швейцару на чай до приема, а не после приема, как я наивно полагал.

Проходит два дня. Побывавши в эти дни в Николаевском инженерном училище и получив тоже отказ, снова иду в указанный директором день к министру и снова получаю решительное: «Нет приема». В отчаянии бегу к директору. Все уже средства мои почти иссякли. Что можно было заложить, продать—заложено, продано. Жутко становилось при мысли очутиться на улицах Петербурга без места, без денег, без знакомых. Один директор, казалось, принимает некоторое участие, к нему потому и направился опять. Раньше, получая отказ и в принятии в училище и в приеме министром, я как-то мало останавливался над своим положением, мало думал о нем. Казалось невозможным, невероятным, чтобы все это было, действительно, серьезно. Во всем этом виделось какое-то непонятное недоразумение,— и только. Вот-вот раз'яснится оно, и я окажусь в училище. Дни проходили в ожидании, в полусознательном состоянии, но последний отказ как-то сразу заставил очнуться, сбросить дремоту и ясно представить себе весь ужас моего положения. Страх невольно охватил всего, голова заработала, ища выхода, и, уйдя весь в свои мысли, я не заметил, как очутился на Обуховском мосту. Тут недалеко—Константиновка и Технологический институт. Направо училище, налево институт. Ноги сами направляются уже направо, как вдруг окрик какого-то знакомого голоса заставляет приостановиться, оглянуться.

— Здорово! Куда бежишь?

Смотрю, со стороны Технологического института спешно подходит один товарищ по гимназии нашего же выпуска, и мы бросились друг к другу, как два путника при встрече на необитаемом острове. В гимназии мы не были друзьями, так как он поступил очень поздно к нам и мы не успели еще сойтись, но тут бросились друг к другу, как завзятые друзья. Начались, конечно, спросы, расспросы. Я сообщил о своих злоключениях...

— Пустое, брось ты военщину! Лучше поступим в Технологический... Тебя освободят от платы, у меня ежемесячно будет 25 рублей от отца. Проживем!

К военной службе у нас в гимназии вообще было критическое отношение, и только крайность заставляла избирать ее. То же было и со мной. Поэтому на отказ со стороны военного училища я теперь посмотрел, как на благо, и на другой же день был уже технологом. Впрочем, мы с товарищем предварительно еще сходили в Институт путей сообщения, но он нам не понравился казенщиной, военщиной, и тогда мы двинулись в Технологический, куда и поступили оба. У товарища была уже нанята хорошая, светлая комната на Фонтанке за 10 рублей в месяц. Там мы и зажили с ним.

Началась обычная студенческая жизнь. Утром уходили на лекции, потом обедали, шли домой или в Публичную библиотеку. Раз



хозяин квартиры повел нас знакомиться с хорошими питерскими трактирами. При такой жизни 25 рублей нам бы хватило вполне на двух, тем более, что я скоро стал находить себе переписку, а потом получил и урок в 20 рублей; квартира стоила 10 руб., стол от 4½ до 6 руб., чай, сахар и прочее—пустяки, я не курил. На нашу беду отец товарища, чтобы приучить его к самостоятельности, высылал не ежемесячно, а по третям, т.-е. по сто рублей сразу. Получив такую уйму денег, товарищ накупал вещей, книг, химических приборов, а тут скоро нас еще отыскивали земляки нашего выпуска и познакомили с «казанкой».

— Как, вы не знаете еще, что такое «казанка»?—удивились они, когда на их предложение отправиться туда мы спросили их, что это за штука...

У Казанского моста, если идти по Невскому от вокзала Николаевской дороги к Адмиралтейству, была, не доходя моста, направо по каналу, пивная с бильярдом в подвальном этаже. В ней, будто бы, когда-то собирались студенты и тут устраивали сходки, заседания, сговоры. В наше время это была обычная, довольно грязная пивная, где, кроме пива, можно было заполучить и графинчик водки. Никаких тут собраний быть не могло, мало и студентов было видно, но рассказы о прошлом всегда почему-то вызывали у нас, когда мы забирались сюда, разговоры на радикальные темы, споры<sup>1</sup>. Наши земляки—их было двое—были люди более развитые, более начитанные, чем я, их у нас считали наиболее передовыми. Они-то и взялись за наше просвещение. В результате—все вещи, купленные товарищем, очутились скоро в ломбарде, и нам пришлось урезывать себя в пище. Между тем, в Питере появилась холера и схватила меня. Дело вышло ночью, у нас были земляки в гостях. Бросились двое из товарищей за докторами, но ни одного не нашлось дома. Тогда хозяин квартиры сам пошел в аптеку и добыл там чего-то, а в это время хозяйка, их жилица, товарищи, нарезав кусками грубое черное сукно, принялись тереть меня изо всех сил. Уже в ногах появился, было, холод и стал медленно подниматься выше и выше, но потом остановился. Принятое лекарство и усилия, особенно женщин (товарищи скорее умаялись), заставили холеру отступить, появилась испарина, и я, хоть и с ободранной кожей—это так усердно терли сукном—к утру заснул уже в полной уверенности, что холера прошла.

Мы жили у корректора «Полицейских Ведомостей». На рождество он достал работу мне: писать адреса подписчиков на отдельных

<sup>1</sup> Я редко говорил, больше слушал споры, разговор товарищей, но раз меня что-то задело сильно, и я заговорил. «Тише, тише, что ты! разве можно громко такие вещи говорить!»—набрсались на меня товарищи. Теперь я уже забыл, что это было, но с этого дня можно считать начало моего радикализма.



бланках. За тысячу адресов платили 2 рубля. Дело показалось легким, со мной пошел в редакцию и товарищ, но для нас, не знавших города и названий его частей и улиц, вышла большая трудность. А тут товарищ задел как-то чернильницу; чернила залили зеленый стол, товарищ сконфузился и—бежать. Я остался и в три дня едва написал тысячу; под конец дело пошло быстрее, но тут и подписка кончилась, и материал иссяк, кто-то другой перехватил. Однажды приходит наш хозяин, дает адрес и торопит итти по нему.

— Ищут репетитора... Спешите, пока не вышла газета,—говорит он.

Я пошел, была обычная слякоть, калош у меня не было. Посмотрели на мои сапоги хозяева...

— Нет,—говорят,—мы уже нашли учителя.

Зато неожиданно получилась переписка лекций, но это не могло давать много, и нам пришлось перейти на более дешевую квартиру в 7 рублей. Мало этого, товарищ увлекся одной финнкой и в несколько дней неожиданно спустил все деньги, полученные на новую треть. Пришлось нам заложить вещи и в том числе одно пальто, и выходить мог теперь только один. Другой сидел дома. Вдруг получаю приглашение на урок в дом князей Г... Надеваю сюртук товарища, который был вдвое толще меня, и иду. На уроке, видя неуклюжую фигуру, стали торговаться, но меня предупредили, чтобы я просил больше и не уступал: тогда скорее возьмут. Так я и сделал, упершись на 20 руб. «Хорошо, мы подумаем и дадим вам знать»,—закончили торг, отпуская меня.

Прихожу домой, говорю товарищу.

— Жди теперь. Дурень, чего не сказал, что и за 15 возьмешься?—напустился на меня товарищ.

Я бы взялся и за 10 рублей, но тот, кто отыскал мне этот урок, твердо стоял на высокой цене. Прошел день—никаких писем. Мы уж ожидать перестали; вдруг на третий день письмо: на цену согласны и просят начать скорей уроки.

— Эх, ты! Чтобы просить 25 рублей-то!—не удержался товарищ, полушутя, полусерьезно.

Учеником оказался крестьянский парень, в нем княжна увидела художественный талант и хотела подготовить для поступления в академию. Для нас с товарищем этот урок оказался очень кстати, хотя, в ожидании получки, целый месяц мы просидели на двух фунтах черного хлеба в день и двух кровяных колбасках по 3 копейки каждая, т.-е. в день на обед и ужин тратили по 10 коп. на двоих. Чай и сахар были куплены до растраты.

Технологический институт постепенно все больше и больше забрасывали, лекции мало интересовали нас, и только на некоторые ходил я исправно, да еще в чертежные залы. Со студентами мы не сходились близко, благодаря этому и в бывших собраниях, дозволенных начальством, мы участие принимали больше в качестве зрителей, хотя дело



шло о кассе вспомоществования бедным. В конце зимы к нам в компанию вступил еще один ставрополец—один из упомянутых выше руководителей. Он внес к нам любовь к чтению газет, книг. Он был студентом Лесного института, но так же, как и мой товарищ, совершенно забросил лекции, и оба они целыми днями сидели за чтением, стараясь и меня присоседить к себе. Это было нелегко: с утра уходил я то на урок, то в институт, потом обед; меня интересовал город, каналы, Финский залив, и я после обеда принимался бродить по разным местам, нето идешь в чертежный зал Технологич. института. Вернешься домой, и скорей на постель: не до чтения тут газет. Товарищи сначала трунили, упрекали в отсталости, потом примирились: «ну, ладно, лежи, только не спи, мы будем читать вслух»,—порешили они. С этим я согласен, обещаю не засыпать. Начинается чтение, я внимательно вслушиваюсь, желая добросовестно исполнить свое обещание, все так ясно, понятно, но вот начинает теряться смысл, торопишься изо всех сил припомнить начало, чтобы связать с концом. Начало как-будто и вспомнил, но чтец уже читает дальше, и опять непонятно, опять надо вспоминать предыдущее, опять напряженно-тягостное состояние. Вдруг раскатистый хохот прерывает этот полусон-полудремоту, просыпаешься и начинаешь заверять, что не спал, что все слышал. «А на чем остановились?»,—допытываются мучители. Говоришь им... и опять смех. Или это из начала чтения или просто то, что слышалось, казалось, сквозь сон. Поднимается спор, сонное состояние проходит, и тогда только сам присоединяешься к чтению, к разговору о читаемом.

К концу года Технологический был окончательно заброшен, я даже подарил свои чертежи одному товарищу по курсу. Их полагалось сделать известное число, чтобы перейти на следующий курс. Вдруг на первого моего товарища напала охота к химии. Получены были деньги на треть от отца. Закупили приборы, разных кислот, солей. Переменили квартиру, чтобы иметь отдельную комнату для опытов. Запахло уксусом, пробирки наполнялись разноцветными жидкостями. Товарищ целыми днями возился. Но прошла неделя, и все это было заброшено. Нашлось и оправдание: квартира была холодная, ноги зябли. Надо было сидеть с ногами на диване или на постели, нето лежать, укутавшись потеплее. Хозяева решили взять другую квартиру; с ними и мы перешли туда, но попали из огня, да в полымя. Новая квартира всю зиму не была топлена. Поэтому довольно долго никак не могли натопить ее. Холод был такой, что днем все разбегались кто—куда. Товарищи даже в греческую церковь стали ходить. Летом решили жить в Лесном и первого мая перебрались туда. Урок мой кончился, и с Питером теперь было покончено. Надо добавить только о театре. Туда мы ходили сравнительно мало. В оперу трудно было доставать билеты, в Александринке были несколько раз, но не увлеклись, балет с первого же раза забраковали. К этому должен сказать, что вообще мы мало выказывали как-то любопытства. В Ака-



демию Художеств и в Эрмитаж еще сходили раза по два, ну а в другие места и не подумали. Живя в Лесном, однажды вдруг решили компанией отправиться путешествовать пешком по Финляндии. За решением и дело последовало. Денег было очень мало, к ходьбе непривычны все, но это не остановило, и, пообедавши, двинулись в путь. Погода выдалась сухая и нежаркая. Первые версты прошли в толках, где и как будем привал делать. Воображение рисовало живописные берега озер, поляны в лесу, но прошел час, другой, и разговоры сами собой прекратились, глаза всех искали удобного пристанища, поселка, где бы можно было отдохнуть, напиться чаю. Вдали показалось озеро, но не оно оживило путников, а трактир, стоявший недалеко от озера, отдельно от поселка; туда и бросились все. Напились чаю, полюбовались озером, поглядели в сторону Финляндии и, как-то без всяких разговоров, молча и единодушно, двинулись после чая не вперед, а назад. Ночью были уже дома и больше не поднимали разговора об этом путешествии.

Снова скоро наступил денежный кризис. В Лесном была студенческая кухмистерская, где за 4 коп. можно было иметь тарелку супу, без говядины, с хлебом. Товарищ предпочел сидеть дома на хлебе с чаем, я же стал ходить в кухмистерскую и брать суп. Не знаю почему, но ежедневно делали только перловый суп с кусочком лимона. Мне пришлось целый месяц довольствоваться им, и в конце мне это так надоело, что много лет потом я не мог видеть этого супа без неприязни. Попробовали мы, было, улучшить пищу ловлей карасей, но и это не вышло. В Лесном много маленьких прудочков. В них мы заметили карасиков и руками принялись их ловить, когда они подплывали к берегу и начинали тереться там. Караси оказались малы, да и не так их много было, чтобы стоило возиться с ними. Поэтому, раз попробовав, бросили. Кроме растрат на покупки, с товарищем вышел раз такой случай. Предвидя скорую присылку денег, он заказал себе хорошие, дорогие ботфорты. Деньги пришли. Товарищ дня на два куда-то исчез, получив их, а потом вернулся; пришел сапожник и принес сапоги. Смотрю, товарищ начинает, к моему удивлению, критиковать, браковать очень красивые сапоги, отказывается их брать, явно из-за нежелания платить за них или за неимением денег. Пропадал задаток, но товарищ наотрез отказался их брать. Сапожник унес сапоги с удивлением. Подходит обед. Я в его отсутствие нашел новую, дешевую столовую; направляюсь туда.

— И я с тобой,—говорит он.

— Ты же хотел попитаться после получки малость получше,—возражаю ему.

— Нет, я раздумал... пойдем вместе: мне деньги нужны на другое.

Я не стал допытываться. Дня через два товарищ снова пропал на ночь, а потом скоро, когда я однажды пришел рано с урока, он вдруг просит отнести его сюртук и еще что-то в ломбард и заложить.

— Да где же твои деньги?—спрашиваю его.



— Улетели!

И тут он признался, что спустил их, желая спасти одну финнку от разврата. Познакомившись перед этим, он стал ходить к ней и, чтобы избавить ее от других кавалеров—она жила у какой-то хозяйки и должна была принимать их,—принялся выплачивать хозяйке за отказ им. Однако, его 100 рублей хватило ненадолго, и финнке пришлось таки принимать гостей. При чем на беду она заражается и попадает в больницу. Деньги, полученные за сюртук и пр., теперь понадобились и на то, чтобы сколько-нибудь усладить ей пребывание в больнице. Относить сласти и еду пришлось уже, конечно, мне, так как товарищ остался без сюртука. Спасение падших в то время было в ходу, и тот же мой товарищ позднее спас-таки одну. В Юсуповском питерском саду гуляли раньше и днем такие. Заходит отдохнуть товарищ как-то в сад. Садится, к нему подсаживается барышня, начинается разговор. Из него товарищ узнает, что барышня—дочь простых людей, что сами же родители посылают ее зарабатывать таким путем деньги. Ей это противно, но работы нет никакой, а родители пугают изгнанием, если она не будет им помогать. Вид, голос—все говорило об ее искренности, и товарищ, недолго думая, предложил ей замужество, как выход из положения. Она спросила родителей. Те согласились, хотя товарищ был только студентом I курса университета и получал лишь 25 рублей в месяц. Свадьба быстро состряпалась, и молодые зажили на славу. Она оказалась милой, разумной женщиной и хозяйкой, принявшей тотчас же за свое обучение и развитие. Всему этому много помог другой наш же ставрополец-неудачник, не попавший в университет за неимением гимназического аттестата. На второй год он не захотел оставаться в 7 классе, а выдержать экзамен в Питере ему и подавно не удалось. Он кой-как пробавлялся уроками, пил по ночам отчаянно, но нашей молодухе помог много, и преподавая ей науки, и читая с ней. Мой же товарищ, обзаведясь женой, пустился в добывание средств к жизни, берясь за самые дешевые уроки. Университет был заброшен, и все уходило на добычу рубля. От отца он скрывал свою женитьбу, а потому попрежнему продолжал получать лишь 100 рублей в треть. Поздней ему пришлось бросить Питер и зарыться где-то на Кавказе. Но он, все-таки, не каялся в своем поступке. Уже будучи нелегальным, я однажды жил у них недолго, приезжая в Питер, и видел, как дружно, хорошо они живут. У них был уже ребенок, но товарищ продолжал по-старому еще мечтать об общественной деятельности.

Итак, год прошел у нас совершенно безрезультатно и без определенных заданий насчет будущего. Летом начался процесс нечаевцев. Появились отчеты, началось усиленное чтение газет, толки о нечаевцах, об их деле. Всем захотелось попасть на суд, посмотреть, послушать. Про некоторых говорили, что они, будто, даже спали на дворе



суда, лишь бы попасть в очередь, так как без билетов пускалось очень небольшое количество <sup>1</sup>.

Наша компания из Лесного предпочла встать пораньше и чуть свет отправилась в город. Еще в трактирах не начиналась жизнь, когда мы подошли; пришлось поднимать сонных половых. Но когда мы пришли во двор суда, там уже была значительная кучка студентов. В очередь мы все-таки попали, но очутились в конце залы, битком набитой. Где-то вдаль неясно видны были судившиеся и защитники их; я несколько лучше разглядел лишь Прыжова и Спасовича. До нас долетали только отдельные фразы из речи Спасовича, уловить смысл всего было трудно. То же повторилось и с Прыжовым, который в это заседание говорил что-то. Если к этому прибавить духоту, тесноту, то понятно будет, почему мы больше не стали ходить на суд, а предпочли сидеть дома и следить за процессом по газетам и обсуждать нечаевское дело, а вместе с тем ставить себе вопрос уже чисто практического свойства, какую же лучше выбрать нам деятельность, как и каким образом нам приносить пользу народу, стране? Уже в гимназии, как я говорил, у нас был осужден карьеризм и жизнь только для себя. Теперь толки о нечаевцах и их делах заставляли ясней поставить вопрос, в какой форме можно больше сделать для страны.

## 2. Революционные воспоминания <sup>2</sup>.

### I.

В выборе учебного заведения мы останавливаемся на Петровской академии и едем туда. Нас привлекает она и своими порядками и той культурной ролью агронома, которую мы в своем воображении рисовали. Не меньше влечет нас, конечно, желание посмотреть на места разыгравшихся там событий—драмы с Ивановым.

Действительно, лиственная аллея, сад, поля с роскошными хлебами, маленький изящный дворец, чудный парк, пруд,—все это на первый раз удивляет, восхищает нас. Увидав какой-то грот у пруда, мы сейчас же предположили, что это и есть ивановский грот, и внимательно всматривались во все надписи, царапины, ища во всем следов драмы. Вечером над гротом запел в кустах соловей.

<sup>1</sup> Дело нечаевцев разбиралось Петербургской судебной палатой с 1 июля по 27 августа 1871 г. Всего было привлечено 87 человек, разделенных на несколько категорий. Главные обвиняемые были приговорены к каторжным работам: Успенский на 15 лет, Кузнецов—на 10 лет, Прыжов—на 12 лет, Николаев—на 7 лет и 4 месяца. Защитниками выступали многие известные адвокаты: В. Д. Спасович, Стасов, Халтулари, Герард, Ольхин, и др.—*Ред.*

<sup>2</sup> Первоначально было напечатано в сборнике «О минувшем». Спб., 1909.—*Ред.*



— Это душа Иванова поет!—замечает кто-то из нас полусерьезно-полугрустно <sup>1</sup>.

Так проходят несколько дней. Мы начинаем заводить знакомства, узнавать о порядках, и сразу холодная струя действительности разбивает все наши мечты, иллюзии. Петровка—уже не та Петровка, куда мы стремились. Она преобразована в высшее учебное заведение — с курсами, аттестатами и т. д. Наш ивановский грот оказался самым обыкновенным гротом, а ивановский был в другом месте.

Хотя Петровка была преобразована, хотя большая часть старых студентов принуждена была бросить академию, но все-таки дух революционный в ней остался, и вскоре, осенью 71 года, это обнаружилось.

По политической экономии в академии не было профессора. Явилось два кандидата: Посников и Фукс. Посников только-что кончил где-то за границей и считался нами прогрессистом. Фукс учительствовал в Москве, и ему протезировал наш директор Королев, которого мы недолюбливали за строгое проведение реформ. Он это знал и всегда ходил с толстой палкой, боясь нападения. Назначен был день для защиты диссертации кандидатами. В зале академии за столом поместились профессора, председательствовал Королев; студенты и два-три приезжих из Москвы составляли публику. Первым выступил Посников. Профессора, сделав два-три возражения на его диссертацию, признали ее годной. Выступил Фукс, и с ним повторилась та же процедура. Вдруг один из приехавших из Москвы попросил у председателя слова. Ему позволили. Он заговорил, но как-то очень уж издалека, так что я, как еще незнакомый с политической экономией, ничего не понял. Королев тоже остался им недоволен и попросил его поскорей перейти к делу.

— А кто должен определить, что к делу, а что нет?—огрызнулся приезжий.

— Да вы же,—злобно отвечает Королев.

Приезжий снова заговорил и снова продолжал попрежнему. Королев вскочил, зазвонил, но тут и все студенты застучали стульями, затопали ногами. Профессора, кандидаты, Королев быстро скрылись в другую комнату, мы все вышли в коридор.

Заседание вскоре возобновилось, но нас уже не впустили туда. Один из студентов вступил в пререкания с Королевым по этому поводу и был в это же заседание исключен за дерзкий протест: он наговорил директору целую кучу грубостей. Пострадали и оба кандидата; хотя их диссертации и были одобрены, но никому из них не дали

<sup>1</sup> 21 ноября 1869 г. в одном из гротов Петровско-Разумовского был убит слушатель академии Иван Иванов. Инициатором убийства был знаменитый С. Г. Нечаев, соучастниками его—Прыжов, Успенский, Кузнецов и Николаев. Мотивом для убийства было то, что Иванов, тоже участник организованного Нечаевым тайного общества, не подчинялся партийной дисциплине.—



у нас свободной кафедры, и мы остались без политической экономии. Собралась в лесу сходка, и решено было устроить подписку и просить Посникова читать нам ее частным образом в Москве. Подписка состоялась. Посников был непрочь от чтения, но почему-то из этого ничего не вышло. Посникова, кажется, пригласили в Ярославль. Так кончилось наше первое столкновение с Королевым. Второе вышло из-за репетиций и столовой.

Начальство, чтобы заставить нас внимательней относиться к лекциям и учить их не только к экзаменам, но и в продолжение года, придумало ввести репетиции, названные им беседами профессора со студентами о прочитанном. Умные профессора, назначая дни для этого, так и заявили: «кто чего не понял, пусть спрашивает, будем толковать тогда». Другие же прямо стали говорить: «приготовьте к такому-то дню все читанное мною, я спрошу, и это будет принято во внимание».—«Значит, нас будут спрашивать, как учеников, гимназистов, будут ставить баллы? А без этого станут резать, дожимать на экзамене?»—спрашивали мы друг друга и возмущались. Собралась сходка, на которой решили не репетироваться у тех профессоров, которые смотрели на них, как на экзамены по третям. Против собеседований, однако, не возражали. На сходке была небольшая часть студентов, но с решением ее согласились все, кроме двух бедняков, получавших даровые обеды. Боясь потерять эти обеды и не придав как-то большого значения решению, состоявшемуся без их личного участия, они пошли репетироваться и были очень довольны своими удачными ответами. Сияющие вбегают они в столовую и бросаются веселые к знакомым, чтобы поделиться своей радостью. Вдруг останавливаются среди залы, оглядываются, опускают руки и садятся тихо за другой стол, а не там, где обычно обедали и где были их более близкие товарищи. Никто им не подал руки, никто не поздоровался.

Это неожиданное отчуждение так подействовало, что потом, несмотря на то, что студенты сами находили репетиции полезными для себя, они еще много лет продолжали бойкотироваться.

Вскоре после этой истории началась новая, из-за столовой. Под столовую академия отводила отдельный 2-этажный особняк с кухней и полным оборудованием, отпускала дрова и, кроме того, платила небольшое жалованье заведующей. По условию, плата за два блюда должна была быть не более 25 коп. За чай, если кто пил, платили особо. Заведующая была вполне добросовестная и кормила недурно, т.-е. отпускала такие порции, что некоторые на демократическом столе—был стол и аристократов, т.-е. более богатых студентов—удовлетворялись и одним блюдом, поедая массу хлеба.

По непонятной для нас причине Королев сменяет нашу заведующую и передает столовую своей знакомой попадье-вдове. У той обеды стали хуже и порции меньше. Раза два студенты относили Королеву



показать мясо с душком, но он не обратил на это внимания, объясняя каверзами против него. Решено было действовать. Собрали поздно вечером на одной даче большую сходку. Вдруг получается известие, что директор, узнав о сходке, послал за жандармами. Это, однако, не испугало. Собравшиеся, напротив, услышав об этом, как-то особенно воодушевились и загорелись большой решимостью. Споров не было. Был поставлен вопрос—как быть? «Бросить ходить в казенную столовку!»—вылетает возглас из толпы.—«Ладно, согласны!».—«Кто против?» Никого.—«А как быть с теми, кто получал от академии даровые обеды?».—«Сами будем за них платить»,—снова дружный крик, и—никого против.—«А где будем столоваться?»—«Есть знакомый повар, он согласится за те же 25 коп. кормить нас»,—отвечает кто-то. Единодушно решаем—переговорить с ним и тотчас же прекратить хождение к попадье. Производится выбор лиц, которые поведут все дело, и сходка быстро расходится, не дождавшись жандармов, которые, вероятно, и не собирались к нам пожаловать. Попадья и Королев узнали-таки о нашем решении. Однако, обед готовился, и нас ждали и радовались, видя, что в обеденный час толпа направляется с лекций, по обыкновению, в столовую. Но около столовой дорога поворачивала налево, на Выселки, где наш повар уже приготовил обед, и туда-то вся толпа, к великому огорчению попадья, направилась. Лишь один ассистент физики обедал в этот день у попадья, хотя на сходке была только часть студентов, а не все. Бойкот столовой прошел замечательно гладко и единодушно. Целый месяц мы ходили на Выселки обедать, и только тогда Королев решил отказать попадье и передать столовую в другие руки. Бойкот кончился, и, хотя обеды не стали лучше, мы, считая перемену заведующей победой, снова стали обедать в академической столовой. Вышло с Королевым еще одно столкновение. На этот раз дело касалось лишь второкурсников. В начале года появилось объявление от канцелярии, что некоторые предметы, как механика, геодезия, читавшиеся на втором курсе, не обязательны для перехода на третий курс: их можно будет сдать и в другое время. Это все запомнили хорошо, и даже прилежные решили воспользоваться случаем пораньше сдать обязательные экзамены и поехать на каникулы домой. Объявление, повисев немного, исчезло. Никто не обратил на это внимания. Подошли экзамены. Один из прилежных, некто Васильев, сбыв обязательные, бежит в канцелярию и просит отпуск.

— А механику, геодезию сдали?—спрашивает секретарь.

— Нет! да я успею их после сдать.

— Нет! так нельзя. Вы их должны в этом году сдать, — говорит секретарь, сам же писавший объявление.

Он теперь стал от него отказываться и уверять, что ничего подобного не могло быть. Васильев пошел к Королеву, тот тоже требовал экзаменов и отрицал существование объявления. Это взбудоражило весь курс. Выбрали нескольких депутатов переговорить еще с Королевым и потребовать секретаря на допрос. Королев заявил, что секре-



таря нет, что он в Москве на суде. Разошлись. Передали другим о неудаче, о том, что секретарь в Москве.

— Какой там в Москве! Да я видел его сегодня выходящим из бани, когда вы были у Королева,—заметил один из присутствующих.

— Не беда! Завтра снова двинем в канцелярию к Королеву.

Назавтра собралось еще больше народу. Насели на Королева и долбили ему, что было объявление за подписью секретаря.

— Где секретарь?

— Его нет,—опять стал уверять Королев и категорически заявил, что никого не пустит в отпуск, пока не будут сданы механика и геодезия.

Мы вышли, все еще<sup>1</sup> надеясь, что секретаря зазрит совесть и он при Королеве нас оправдает. Некоторые пошли в парк (он начинался сейчас же за домом, где жил Королев и была канцелярия). Глядят, а вдали из калитки сада Королева, что примыкал к парку, выходит секретарь и быстро исчезает из виду. Дело ясно: Королев нарочно прячет секретаря. Нечего, значит, с Королевым больше и толковать. Собрали сходку и решили сначала сходить к профессору механики (вскоре должен был быть его экзамен), объяснить дело и попросить его заболеть и тем самым отложить этот экзамен, а если он откажется, то всему курсу не держать его. Профессор, конечно, отказался. Тогда мы, как решили, так и сделали, позволив лишь одному студенту — ассистенту механики — экзаменоваться. Да еще один чудак — Кошурников — заявил, что он не хочет подчиняться общему решению, но на это не обратили внимания, зная, что он в продолжение года плохо слушал лекции и теперь лишь иногда заходил к ассистенту и кое-что проходил с ним. При переходе с первого на второй курс Кошурников тоже не занимался, но ему тогда повезло: он выдержал по всем предметам.

Настал день экзаменов. Пришли профессора, Королев и мы все. Королев знал уже все и особенно повышенным голосом стал вызывать по алфавиту. Вышел товарищ на «А» и заявил, что держать экзамена не будет, ибо не подготовился. Вызвали на «Б» — та же история. Королев встает и грозно спрашивает, кто же желает экзаменоваться? Вышли ассистент механики и Кошурников. Взяли билеты. Кошурников, уткнувшись в билет, пошел к окну обдумывать, ассистент сразу стал отвечать. Не успел он еще кончить, как Кошурников подходит к столу и просит позволения взять другой билет. Ему позволяют. Он уходит опять к окну, но скоро возвращается и заявляет, что не знает и этого. Королев, приняв это за выходку, вскакивает и убеждает. Тогда Васильев поднимается и объясняет профессорам причину, как и почему мы не подготовились. Все расходятся. В Питер летит телеграмма к министру Зеленому<sup>1</sup>. Вечером мы узнаем, что утром его ждут в академию. Решаем переговорить с ним раньше, чем он увидится с Королевым. Домик, где он останавливается по обыкнове-

<sup>1</sup> Министр госуд. имущ. Александр Алексеевич Зеленой, ген.-ад'ютант (1819—1880).—Ред.



нию, находился в начале нашего парка. Рано утром мы рассыпались по парку и стали ждать условного знака от разведчика, которому прислуга скажет, что министр встал и может нас принять. Знак подан. Мы быстро стягиваемся к дому, входим, начинаем об'яснять наше дело, но тут является Королев и, обещая якобы уладить дело, выпроваживает нас в парк. Выходим в парк и ждем. Скоро показывается и Королев и начинает нам дружелюбным тоном говорить, что он упросил министра отложить нам механику.

— Да мы не одну механику, а и геодезию не учили!—замечаем ему.

— Ну, хорошо, хорошо! Я переговорю, улажу! только расходитесь, пожалуйста!

Мы отлично понимали, что сам министр идет на уступку, а вовсе не Королев, но толковать с ним не стали и разошлись, довольные новой победой.

Эти протесты сильно подняли дух и помогли быстро сбросить с себя то кошмарное, подавленное состояние, в каком была академия после нечаевского разгрома. Оставшиеся старики, приспособившись к новым порядкам и успев несколько передохнуть, понемногу снова стали выдвигать и литературные вечера, и нелегальную библиотеку с лавочкой и распространением книг, вошли в сношение с Питером.

В это время в Питере организуется дело распространения легальной литературы. Мы, в Петровках, в свою очередь начинаем покупать ее и рассылать своим родным и знакомым. Эта рассылка быстро прекращается, и тогда мы всецело уходим в чтение, в литературные вечера, в выработку более сознательных взглядов. Лекции были оставлены совершенно, и благодаря этому весной у меня полный провал на экзаменах. Товарищи же, и не пытаюсь их держать, уезжают.

Я остаюсь, но остаюсь из-за стипендии. Ради нее же мне все лето пришлось зубрить, чтобы выдержать осенью передержку, а это привело к тому, что я как-то пассивно относился к новому течению и не пытался войти в него. В Питере решили к этому времени, вместо интеллигентской книги, распространять народную, и мне дали спрятать целую кипу «Дедушки Егора»<sup>1</sup>. Я прячу, но о распространении пока и не думаю: экзамен важнее. Он выдерживается, я перехожу на второй курс, и тем заканчивается первый год. В продолжение его как у меня, так и у некоторых других из вновь поступивших в 1871 году зарождается более радикальное настроение, но оно носит еще очень неопределенный характер. Кроме того, и вообще петровцы за прожитый спокойно год немного отошли, сбросили с себя страх, нагнанный разгромом после нечаевского дела. Второй год начался, прежде всего, с того, что заговорили о возобновлении своей, студенческой, библиотеки и лавочки. Книги хранились у разных лиц. Их теперь решено было собрать в одно место и для заведывания выбрать библиотекаря.

<sup>1</sup> Произведение М. К. Цебриковой. — *Ред.*



В библиотекарю попадаю я, но не потому, чтобы считался более годным, а просто потому, что другие, кого выбирали сначала, все отказывались, а я не отказался.

Из-за библиотеки мне пришлось переселиться в казенные номера. Тут, на ряду с библиотекой, я устраиваю еще продажу чая, сахару, бумаги, перьев. Моя квартира превращается в сборный пункт; сюда приходят, уходят, ждут лекций, обедов или отдыхают после них. Происходят постоянные разговоры, споры, чтение вслух. Идет критика существующего строя, в частности—производящихся реформ, с их неполнотой, незаконченностью, с явными попытками вернуться к старому. Наши соображения подтверждаются новыми и новыми фактами, указаниями в литературе. Все это ведет к неизбежному заключению, что «заплатами» горю не помочь, что необходима радикальная ломка, нужна революция.

Такая деятельность, как земская, культурная, устройство ассоциаций, артелей по типу Шульце-Делича, нас уже не удовлетворяет. О Пугачеве, Стеньке Разине, французской революции перечитываем не раз, но впечатления не выливаются пока ни в какую практическую программу. Мы остаемся в области мечтаний: горю, очевидно, может помочь одна революция, но как ее произвести, вопроса не ставим. Мало того, в этом году даже лекции я посещаю сначала более исправно и только дома попрежнему не читаю их. Между тем в Питере от распространения книг переходят уже к занятиям с рабочими; узнав об этом, я также решаюсь заняться с рабочими, имея в виду, однако, лишь простую грамоту.

Победа, которую мы одержали над начальством в борьбе из-за столовой и из-за необязательных экзаменов, сильно объединила всех, подняла дух, а радикалов сделала более способными к переходу на практическую почву. [Революция, которая до сих пор была лишь в области желательного, становится целью, которую надо осуществить поскорей, не откладывая в долгий ящик.] Путь к этому очень прост: народ недоволен, положение его тяжело, стоит с ним поговорить по душе, и он быстро сам поймет, что только бунт, революция могут ему помочь. [Надо только суметь подойти к мужику, и лучше всего это сделать при помощи городских рабочих, обучив их, развив, сделав сторонниками своих взглядов.] В Питере такой вывод делается раньше, и потому там и занятия с рабочими начинаются раньше; до меня же сначала слух об этом доходил в неопределенной форме, и лишь позднее заговорили как-то у меня на квартире, что и в Москве предполагается нечто подобное. Однако, в это время я не считал себя еще в праве вмешиваться в этот разговор, не расспрашивал и оставался пока лишь при своем намерении заняться самому на каникулах с рабочими.

В Москве у меня был знакомый на Прохоровской фабрике; к нему я хаживал в гости и у него познакомился с несколькими молодыми рабочими с той же фабрики. Они были безграмотны. У меня перво-



начально и явилась мысль обучать их грамоте. На мое предложение они согласились охотно, и мы отложили это дело до каникул. Но вот, незадолго до этих каникул, один из радикальной компании вдруг обращается ко мне и предлагает переехать в Москву, устроить там квартиру и начать заниматься с рабочими. Я ему ответил, что у меня есть уже ученики, и что я сам это предполагал сделать. Мы разговорились, и в результате он ведет меня в Москву к одному старому петровцу, там меня знакомят еще с новыми, и через несколько времени я делаюсь членом организации чайковцев. Это произошло летом 1873 года, и с этого времени, можно сказать, начинается моя радикальная жизнь.

В Москве, однако, мне не сразу удалось приступить к занятиям. Мои знакомцы разбрелись по разным фабрикам, и собрать их было трудно. К тому же, не зная этого, я нанял квартиру около их старой фабрики, на противоположной стороне города. Других рабочих я не стал заводить: мне обещали передать одну артель, где занимались уже и где учитель должен был скоро уехать. Гюка суд да дело, я, по переезде, занялся подготовкой к осенним передержкам. Весной я снова не выдержал по некоторым предметам, и у меня отняли стипендию. Теперь я и засел, чтобы вернуть ее. Но это оказалось не так легко. Мне ее не возвратили, хотя я и хорошо сдал экзамен. Директор воспользовался тем, что весной я не сдал всех экзаменов, и передал мою стипендию другому, а мне теперь пришлось хлопотать о новой, кавказской. Ее мне дали, но на хлопоты ушло несколько месяцев, и за это время не раз бывало крутенько. Я однажды даже целых два дня проголодал, и только случайная находка двух рублей избавила от продолжения голодовки. У меня в это время в Москве было уже немало знакомств, но тут-то, когда не бывало денег, и нападала какая-то особенная щепетильность. Не только попросить денег, но даже нарочно, бывало, уходишь в то время, когда люди собираются обедать или чай пить. Брать из кружковой кассы, не имея еще занятий, я стеснялся, работа—переписка—давала мало.

К осени, сдав и библиотеку, и лавочку на руки вновь выбранному библиотекарю, я покончил с Петровкой, продолжая лишь поддерживать знакомство с более радикальными студентами. В Москве же скоро получаю и артель на свои руки. Переселяюсь я к ней поближе и принимаюсь за обучение. Артель состояла из 10—12 человек. Жили они на хозяйской квартире в одной большой комнате, недалеко от Хитрова рынка. Грамота, начатки русского языка, арифметика и география—вот с чего пришлось начинать.

Устраивая такие занятия как в Питере, так и в Москве, имели в виду выработать себе надежных помощников из самого же народа, чтобы потом с ними идти в деревню на пропаганду. Предполагалось, что мы—сами по себе—и не сможем заговорить на более понятном для крестьянина языке, и что он, пожалуй, отнесется недоверчиво к чужому для него человеку, не поверит и его словам, а его проповедь



примет за новый подвох бар. Другое дело—рабочий. В деревне он свой человек, его там знают и, конечно, станут слушать; он сможет заговорить понятно и сможет затронуть самые существенные вопросы. Ему скорее поверят. Следовательно, надо обратить прежде внимание на рабочих, их подучить, развить, сделать из них себе главных помощников. В Питере, где имели достаточно времени, это и удалось. Получилось несколько замечательно ценных личностей. Но когда дело расширилось, оно стало известно и полиции; пришлось с занятиями конспирировать, пришлось торопиться, захотелось получить результаты скорей. Тут неожиданно натолкнулись и на то, что рабочий—человек обыкновенный и, как таковой, прежде всего ищет для себя, где лучше. В рабочих замечено было сильное стремление, при помощи знакомства с грамотой, занять лишь места повыше да выбиться из своей среды, которую они считали и грубой и низкой. О том же, чтобы идти поднимать народ, стать пропагандистом, рисковать собой,—на это самостоятельно не заявлялось охотников. Таковых надо было вырабатывать (и вырабатывать долгим путем), а, между тем, время не ждало. По мере того, как количество развитой, уже готовой молодежи росло и увеличивалось, медленная работа развития рабочих многим все более и более стала казаться малопродуктивным, затяжным делом, хотя за это еще держались.

Начинается спор, раздвоение, искание новых путей. Двое из чайковцев—Кравчинский и Рогачев—наряжаются в крестьянские костюмы, идут в одну деревню, обучаются и делаются пильщиками. В этой роли они принимаются за пропаганду, и она отлично им удается; крестьяне слушают, понимают, относятся с похвалой. Скоро арест прекращает начатое дело, но Кравчинский и Рогачев бегут с дороги, являются в Москву и тут рассказывают про свои успехи. Вероятно, и в Питер об этом было сообщено. Опыт показал, что пропаганду можно вести помимо всяких посредников, непосредственно всем и каждому; тогда и подавно является мысль,—зачем тратить время на подготовку посредников, достаточно надеть на себя простой костюм, изучить какое-нибудь ремесло, и дело в шляпе.

В Москве у меня происходило то же. Начав с азов, так сказать, я прежде всего попытался определить стремления, желания самих рабочих, и меня удивило, что все они относятся к деревне, к мужику как-то иронически, свысока, считая себя выше, умней. О том, чтоб, научась, пойти потом в деревню и сделать там для нее что-либо, и в мыслях ни у кого не было. С ними я даже не решался и заикаться пока о чем-либо помимо обычных разговоров. Был только один, с которым я рассчитывал начать читать о Стеньке Разине, Пугачеве.

В это время, незадолго до появления Кравчинского и Рогачева, неожиданно приезжают в Москву из Швейцарии Сергей Жебунев и Кобиев, мой товарищ по гимназии<sup>1</sup>. Он и в Петровках был со мной

<sup>1</sup> О них см. отдельный очерк в этой книге. — *Ред.*



одно время. Из разговоров с ними узнаю, что их целая компания возвратилась в Россию и хочет, заняв места народных учителей, повести в деревне пропаганду. Условившись насчет переписки, они уезжают, зачислив, как оказалось потом, меня в члены своей группы. А я даже не решился сказать им, что занимаюсь с рабочими, но то, что они прямо отправляются в деревню, меня сильно заинтересовало. Вскоре вслед за ними появляются и Кравчинский с Рогачевым и, рассказывая про свои успехи, подливают масла в огонь. Смысл занятий с рабочими исчезает все больше и больше. Из Питера присылают Кропоткина потолковать, расспросить, узнать, как стоит дело у нас с рабочими, находим ли мы нужным продолжать занятия. В Питере начались аресты, и дело это стало очень рискованным. Кропоткин сообщил о своих наблюдениях, выводах, мы—о своих; в общем, они оказались одинаковыми, и с этим он уехал обратно. Скоро получилось общее решение, и занятия постановили прекратить, а вместо этого начать обучаться какому-нибудь ремеслу, а затем в качестве рабочих идти прямо каждому в деревню и самолично приняться за проповедь.

В виду этого решения я оставляю рабочих и переселяюсь еще с двумя товарищами на другую квартиру. Наши добывают столярный станок с инструментами, покупаем лес и начинаем обучаться столярничеству. Один из рабочих, ушедший из Питера от арестов, живя у нас, дает нам уроки столярного ремесла.

Но, оставив систематическую подготовку рабочих, в общем их не бросали. С ними стали практиковать иную систему: высматривались более толковые, уже немного грамотные, и с ними начинали прямо с пропаганды и снабжали подходящими книгами. Кой-кому удалось в качестве учителей поступить в фабричные школы. Здесь являлась возможность широкого знакомства, и сами рабочие обращались за книгой для чтения. Высмотреть, сделать выбор стало нетрудно, и таких приглашали на квартиры, где и толковали с ними уже более открыто.

Для обучения других петровцев столярничеству мы наняли уже целую небольшую квартиру с кухней. Взяли кухарку, за которую знакомые поручились, что она не выдаст, и, таким образом, имели очень удобное место для свиданий. К нам по праздникам стали приходить из технического училища, из военного и рабочие с их учителями даже. В Москве, кроме нашей квартиры для обучения столярному ремеслу, была еще устроена и башмачная. Кроме того, несколько обыкновенных квартир являлись центрами, где сходились, толковали как свои, так и новые знакомые из московских студентов. Впрочем, последним особенно пришелся по душе «Вперед» с его требованием систематического образования. Поэтому на них мало возлагалось надежды.

Странно,—мы были чайковцы и, как таковые, считались лавристами, а между тем «Вперед» среди нас не пользовался большим значением, и мы с большим вниманием прислушивались к бакунинским



мыслям, относясь вообще с большою терпимостью к несогласным с нами взглядам, что не замечалось, судя по слухам, в Питере.

В Питере рознь между бакунинцами и лавристами дошла до того, что один из бакунинцев (Лермонтов), занимавшийся переправкой «Анархии» и нуждавшийся в деньгах для уплаты за перевезенные уже книги (без чего их не выдавали), не захотел даже взять денег в Москве прямо у нас, у чайковцев. Пришлось сказать посреднику, что деньги взяты на стороне. Враждуя с питерскими чайковцами, Лермонтов не желал, чтобы «Анархия» попала в руки московских. Этот Лермонтов относительно меня проделал еще такую вещь. Был он как-то в Петровках, когда я жил уже в Москве. В разговоре со знакомыми узнает он, кто тут радикальствует, кто нет. В числе первых указывают ему и на меня. Недолго думая, не повидавшись со мной, не поговорив, он заносит мою фамилию в список своих членов. Впоследствии при его аресте у него находят и этот список. Тогда только и мне сообщают, и я узнаю, что был членом кружка Лермонтова. Впрочем, это не имело серьезного значения, и я об этом упомянул лишь, как о вторичном курьезном занесении меня в члены без моего ведома.

«Анархия» была выкуплена и пошла ходить по рукам. Так как в Москве не разделяли питерской вражды, то скоро она и в наших руках очутилась. Ради нее было решено устроить сходку в Петровках, прочесть и обсудить сообща.

Так и сделали: в назначенный день из Москвы отправились туда целой компанией и на квартире радикалов застали уже очень много народа.

Началось чтение, потом толки, но, видимо, «Анархия» большинства не удовлетворила, не заинтересовала. Разошлись, условившись еще раз собраться. Но в следующий раз на вечер пришло уже значительно меньше, а когда мы в третий раз поехали, то нашли лишь своих, тех, которые и раньше согласны были в необходимости скорейшего начала практической деятельности. Некоторые только откладывали раньше личное свое выступление, считая себя еще недостаточно к тому подготовленными. Теперь же и они выразили согласие, и часть петровцев, в свою очередь, захотела обучаться столярному ремеслу. Для этого решено было устроить в Москве, но поближе к Петровкам, мастерскую и притом открыто на мое имя. Я и еще один, живущий со мной, кое-чему уже научились в столярничестве. К тому же мне удалось добыть себе настоящий мещанский паспорт, и вот по этим двум причинам выбор и пал на меня. На окраине Москвы нашли мы квартиру и перебрались туда в качестве уже столяров. К нам из Петровок стали ходить учиться, и дело пошло, было, но пришлось спешно ликвидировать мастерскую из-за неосторожности Кулябки, которого прислал Войнаральский.

Вся зима 74 года ушла, таким образом, на подготовку к хождению в народ.



Весной, с'ездив в Питер, я видел, какую массу народа захватила там та же мысль. На каждом шагу сходки, толки, споры, возгласы, что только «подлецы» могут при таких обстоятельствах продолжать спокойно учение. Как бы в самом воздухе чувствовалась сильная приподнятость, возбуждение охватило всех, и споры носили поэтому особенно острый характер.

Мое решение было уже принято. Я только ждал весны, чтоб двинуться на Урал, но и этому решению питерское оживление придало какой-то особенный оттенок. Видно было, что народилось, назрело что-то важное, серьезное, и потому я сам начинал относиться с большей верой к своему предприятию. Откуда-то взялась уверенность, что через три года все уже будет изменено, и это не раз настойчиво утверждалось в спорах с несогласными.

После пасхи 1874 г., сменив свой костюм на более простой, я двинулся в Нижний, чтоб соединиться там с Аносовым, с которым мы условились идти на Урал. Не найдя его в Нижнем, еду в Казань. По дороге завожу одной барыне посылку из Москвы, и тут впервые начинаю играть роль мужика. Вышло очень комично. Я ждал на кухне, но барыня пригласила в гостиную, и нужно было при мамушках, нянюшках об'ясняться с ней, а она, возьми, да еще пригласи сесть. Употел я тут, как настоящий крестьянин, когда попадет в неподходящую обстановку.

В Казани, подождав несколько дней товарища, я решил, было, уже вместо Урала спуститься по Волге на небольшом судне в качестве добровольца-помощника, чтобы не платить за провоз. Но, когда шел уже на пристань, встретил Аносова, и мы двинулись на Урал.

Наша задача состояла в том, чтобы повидаться с беглыми из Сибири и посмотреть, нельзя ли из них сформировать что-либо в роде отряда. Начитавшись книг Максимова и Ядринцева и узнав из них, что с каторги, с поселений, вообще из ссылки уходят тысячи ежегодно; мы представили себе, что на Урале, около перевала, легко их встретить в большом количестве. Добравшись до Екатеринбурга, мы, однако, сразу увидели всю ошибочность наших представлений. А рассказы жителей, что беглые если и появляются, то в жалком, изможденном виде и притом всегда где-нибудь на заимках, больше одиночками, прося хлеба, заставили нас не только отказаться от намеченной цели, но и решиться, даже не попытав нигде пропаганды, вернуться через месяц в Россию. К тому же, на первых порах нас нигде не принимали на фабриках и заводах, а кроме того, в Москве предполагался осенью с'езд всех, побывавших в народе, для выработки окончательной программы действий на будущее время. В это лето многие шли лишь посмотреть, попытать почву, так сказать.

Поживши под Екатеринбургом в заводской деревне, мы под конец имели очень удобный случай забраться в одну настоящую деревню и очутиться там в выгодном положении. Аносов мастерил как-то башмаки себе на дорогу. Это увидела одна заезжая крестьянка и уси-



ленно стала приглашать нас к себе в деревню, обещая там большие заработки. Но мы отказались, спеша в Россию. В Пермской губ., во всех деревнях, что лежали по тракту, сильно поразил нас торгашеский дух, желание сорвать с прохожего побольше. От Перми нам пришлось идти пешком и на ночевках останавливаться у крестьян. Жилось им в то время, как нам показалось, недурно, жалоб не слышно было. Сами мы, имея в виду другую цель, не пускались в подробные расспросы, вообще о пропаганде не думая и откладывая ее до того времени, когда где-нибудь осядем.

С Нижнего начались неблагоприятные вести об арестах. Приезжаем в Москву и узнаем, что дело совсем плохо: аресты повсюду. Оказывается, и меня уже ищут. Уезжая, я оставил свой адрес в канцелярии академии на квартиру Селиванова, товарища по академии, снимавшего на Выселках хату. Он и жена его участвовали в мышкинской типографии, где печатались нелегальные вещи. Это открылось, их забрали; мой адрес провалился, и меня начали искать, предполагая и мое участие в типографии. А так как меня в квартире не оказалось, значит—знает кошка, чье мясо съела.

По приезде узнаю это, и потому, несколько времени спустя, чтоб не показывать свой паспорт, отправляюсь в те номера, около Хитрова рынка, где когда-то жил, занимаясь с рабочими.

В номерах нас остановилось двое: я и Охременко. Охременко был еще совершенно чист. Поэтому решили, что если потребуют паспорта, то дадим только его. С нас их не требовали, и мы успокоились настолько, что забрали к себе на хранение даже рукопись Кравчинского «Копейка»<sup>1</sup>. Вдруг, на второй или на третий день, прибегают испуганный хозяин и спрашивает, нет ли у нас хоть одного паспорта и не можем ли ему дать: пришел квартальный пристав и спрашивает. Мы выдаем паспорт Охременко, а сами настораживаемся: прячем рукопись, кажется, в клозет. Вскоре прибегает снова хозяин и просит уже паспорт и другого. Я отдаю тогда свой, но быстро ухожу и отправляюсь на бульвар. Там сажусь на скамью отдыхать. Вскоре замечая—недалеко от меня, на другой скамье, появляется какой-то военный писарек и начинает внимательно осматривать меня. В общем, я и позже мало обращал внимания на шпионов, но тут нельзя было не обратить: так назойливо, неловко производился осмотр. Чтоб избегнуть его, встаю и иду к выходу. Бульвар спускался под гору.

Вдруг, с боковой аллеи, слышу, назвали мою фамилию. Вглядываюсь: навстречу идет лет тридцати человек в штатском сюртуке, слегка покачивается и называет мою фамилию. Он мне в первую минуту показался даже знакомым; перед этим несколько раз мне пришлось ночевать у одного чиновника, очень похожего на этого шпиона, и

<sup>1</sup> «Сказка о копейке». Предназначалась для агитации в народе.—*Ред.*



не будь я настороже, верно повернул бы к нему в боковую аллею. Но теперь еще более убедился, что тут дело нечисто, а тут еще, смотря вперед, вижу, что на бульвар входит жандармский полковник и идет прямо на меня. Совсем подозрительно! Дело шло к вечеру, а по вечерам на этом бульваре гуляют барышни. Не думая долго, подхватываю одну из них под руку и начинаю вести с ней разговор, как бы весь отдавшись ему. Полковник подходит все ближе и ближе. Шпион, слышу, снова начинает выкрикивать раз-другой мою фамилию, но я, занятый приятной беседой, нуль внимания. Полковник видит это и проходит мимо. Я довожу свою даму до конца бульвара и тут, к ее удивлению, а, может быть, и огорчению, быстро оставляю ее, а сам скрываюсь в близлежащие глухие переулки. Всю эту ночь, боясь слежки и погони, я прогулял по Москве, не заходя на другие квартиры товарищей.

В номерах же разыгралась такая история: прочтя мой паспорт, квартальный сейчас же бросился к Охременко и стал его расспрашивать про меня.

Охременко заявил, что он не знает меня совершенно, что случайно встретил на вокзале, что я даже его поднадул, заняв немножко денег, обещал их отдать, но, как видно, это была лишь проделка жулика. Он теперь сам даже обращается к полиции за содействием, дабы вернуть эти деньги.

Квартальный поверил, отдал Охременко его паспорт, и тот свободно уехал на вокзал, а оттуда снова в Москву.

С этой ночи и начинается моя нелегальная жизнь.

## II.

Как я сказал, уже в Нижнем мы узнали, что начались аресты повсюду. В Москве слух подтвердился окончательно. Сюда набралось уже немало народу, спасавшегося от погони. Однако, о полном разгроме никто еще не помышлял. На квартирах, на Воробьевых горах, собирались, обсуждали, как быть дальше, в какой форме лучше, незаметней повести дело. Кравчинский писал, отделявал свою «Копейку». Мастерская Войнаральского, перебравшаяся на Бутырки, не обратила еще на себя внимания полиции и служила центром для сходов и свиданий. Здесь нас всех чуть не арестовали. Полиция искала Шишко. Шпионы указали, что он якобы прошел в мастерскую. Является туда квартальный и начинает опрашивать фамилии, имена, внимательно осматривая рост, так как Шишко был ему представлен в описании высоким человеком. Но такого ни по росту, ни по фамилии не оказалось; каждый, конечно, постарался переделать свою фамилию, особенно если знал, как я, что его ищут. Квартальный ушел, не заметив даже, что Аносов вышел задним ходом и унес целую пачку бумаг. Но это посещение полиции встревожило всех и заставило



подумать об от'езде куда-нибудь из Москвы. Поспешил сделать то же и я.

В Рославле (Смоленской губ.) оказалось знакомство. Мне дают туда письмо, я еду и пристраиваюсь там при железнодорожных мастерских в качестве слесарного ученика с платой даже в 50 коп. в день.

Здесь я сразу попадаю в маленькую компанию рабочих, одного студента, приехавшего на каникулы к родственнику, и народного учителя, бросившего школу и сделавшегося учеником-подмастерьем в сборно-паровозном отделении. С этим учителем—еще совсем молодым человеком—мы вместе даже и поселились у одного сапожника, платя 7—8 р. в месяц за квартиру, стол и чай. Квартирой служил нам, собственно, сеновал, где мы спали. На обед давали суп и щи, или щи и суп (обычай Смоленской губ.)—все, конечно, жидкое, без навара. Сколько ни просили мы себе каши—не добились.

Вся наша рославльская компания собиралась в праздники у студента<sup>1</sup>, и тут мы читали, решали задачи, пробовали силу, ходили за город, в лес, собирали орехи. Раз даже целую ночь провели в лесу.

Не прошло так и месяца, как получаю неожиданно из Москвы, от Кравчинского, письмо, в котором он зовет меня немедленно туда приехать. Не зная в чем дело и полагая, что причина вызова что-нибудь важное, беру расчет и уезжаю.

Оказалось—в Москве задумали освобождение Волховского. Необходимо было завести с ним сношения. Для этого надо было пойти в жандармские казармы, познакомиться там с одним унтером, на которого было указано сидящими, и через него повести переписку.

Все это мне удалось, но к самому плану освобождения я отнесся несколько скептически и, получив за это даже нахлобучку, поспешил опять уехать куда-нибудь. Ехать в Рославль я нашел неудобным, взяв только-что расчет. Остановился я на Смоленске, куда и двинулся. Слесарство меня не удовлетворяло: с ним нечего делать в деревне. Мне хотелось теперь изучить что-нибудь такое, что в ней непосредственно больше и чаще требуется. Еще раньше, проездом через Смоленск, мне бросилось в глаза изобилие там мелких экипажных мастерских, особенно в предместьи. «Поучусь-ка делать колеса и повозки»,—решил я и с этим направился к кустарям. В первой же мастерской хозяин взялся обучать, кормить, давать квартиру за 10—15 р. в месяц. Я согласился, пришел с вещами, и дело обучения началось, не возбудив особенного удивления.

Когда мы шли на Урал, я постарался как можно похуже одеться, хотя у меня был тогда свой паспорт, но все-таки я стеснялся. Теперь я явился в городском пальто, с фальшивым паспортом, но это не помешало мне чувствовать себя в своей тарелке, и никто никаких подозрений не выказывал. Напротив, очень скоро и кустарь-хозяин и

<sup>1</sup> Алексеев—брат «богочеловека» Алексеева.



рабочие признали меня своим, стали водить по своим знакомым, и, мало того, в ксьце первого же месяца рабочие сами, без моего намека, предложили устроить с ними артельную мастерскую, обещая выучить меня делать не только дроги, повозки, но и городские экипажи. Последнее меня мало соблазняло, но первсе пришлось очень по душе. Дело в том, что эти кустари, хотя и живут в городе, но у них постоянные сношения с деревней, и мы уже не раз ездили туда к одной якобы колдунье. Можно было через артельную мастерскую отлично повести дело и в деревне: крестьяне, приезжая по воскресеньям и праздникам в город, бывают у кустарей. Останавливало лишь одно: неловкость перед хозяином. Но тут у него разыгралась целая история на наших глазах. Его супруга возревновала, а он, будучи выпивши, бросился на нее с шашкой. К счастью, это произошло при всех, и близко от него случился я; мне удалось во время схватить его за руку и удержать от удара. Супруга осталась цела, но после этого не захотела жить с ним, ушла и подала даже жалобу на него, что он хотел ее зарубить, ставя меня в свидетели. При таком положении оставаться у хозяина стало неудобно; я воспользовался этим и, переговорив с рабочими еще раз об артельной мастерской, поехал в Москву за деньгами на ее устройство.

«Не до мастерских теперь! надо скорей уходить за границу!.. Все наши арестованы... кой-кто лишь скрылся за-границу... Спасайся-ка скорей и ты туда!»,—вот что пришлось услышать мне в Москве на мои слова о мастерской. Освобождение Волховского потерпело неудачу и только еще больше подняло полицию на ноги. Оставаться здесь было очень рискованно, но и за-граница мне не улыбалась. Меня пугала мысль: что же я буду там делать? Меня заранее брала тоска по родине, и я с радостью ухватился за мысль поехать в Одессу, поданную одним южанином, приезжавшим в Москву с женой Волховского. «У нас еще не было арестов, и дело продолжается»,—говорил он.

Поехали мы. Денег было мало, пришлось кое-где и зайцами проскочить. Хорошо, что на юге тепло было, тогда как еще в Смоленске я оставил снег. Но сама Одесса нас не порадовала. Вся одесская организация, кроме одного лица, оказалась на казенной квартире, и дело рухнуло. Нам с товарищем пришлось теперь сидеть дома, давать уроки, вести сношения с тюрьмой. У меня от безделья даже лихорадка появилась. Выручило следующее обстоятельство: явилась мысль об'единить, согласовать показания сидящих в Одессе, Харькове, Конотопе. Меня посылают об'ехать этих сидящих и, сообщив им показания одесситов, добыть их показания. Еду через Киев, знакомлюсь тут с радикалами, беру вверительные письма к разным родственникам сидящих и двигаюсь дальше—в Нежин, Конотоп, Харьков, а потом обратно. На возвратном пути в Нежине, узнаю вдруг, что я показался подозрительной личностью сестре одного из сидящих, Франжоли; произошло это благодаря тому Охременко, с которым в Москве мы так чудесно избавились от ареста. Еще в Москве, на глазах того же



Охременко, составлялся однажды паспорт. Он же его и подписывал. Но фамилию, как видно, забыл. Этот паспорт теперь был у меня, и под его фамилией я представлялся в Нежине. В мое отсутствие спросили Охременко, не знает ли он москвича с такой-то фамилией. Забыв ее, он, конечно, ответил, что не знает, а, главное, ему, как он потом мне говорил, и в голову не пришло, что это мог быть я. Охременко я встретил, когда ушел уже от сестры Франжоли, а жила она в деревне, за 12 верст от Нежина. Возвращаться к ней не было смысла, и, поручив Охременко восстановить свою честь, я через Киев поехал в Одессу.

Передав результаты своей поездки, я надолго осел на юге. В Одессе шло только сношение с тюрьмой, и все заботы сосредоточивались на добывании средств для нее и для собственного существования. Кроме того, надумали вызвать из Крыма М. Волховскую, чтобы дать ей возможность лечиться в Одессе.

У М. Волховской был ревматизм, и плохо работало сердце. Жила она у Перовских под Севастополем. Туда и отрядили меня повидаться с ней, поговорить, не согласится ли она переехать в Одессу, тем более, что у Перовских ее положение было очень рискованно. Во-первых, там жила Соня Перовская, которая уже была замешана в деле «193-х», и, кроме того, жила она с матушкой и братом как бы в опале: отец отказался от них. Затем, и сама М. Волховская была человек нелегальный. В Москве она принимала участие в освобождении своего мужа и даже поехала на лихаче, который согласился увезти Волховского. Дело не удалось, но М. Волховскую лихач благополучно укатил, и теперь она скрывалась у Перовских. Здоровье ее после этой неудачи стало ухудшаться все больше и больше, у Перовских же лечиться невозможно было: их имение находилось в нескольких верстах от Севастополя. Доходов оно давало мало, и в деньгах не было излишка. Зная все это, одесситы решили предложить Волховской переехать в Одессу, где и хорошие свои доктора есть и легче скрываться.

Когда я приехал к Перовским, у Волховской пальцы правой руки плохо сгибались, и ей трудно было уже писать. Она быстро согласилась на переезд. Дом Перовских стоял «на юру», то-есть на верху откоса, и свободно обдувался сырым морским воздухом; к тому же, в этом (1875) году в Крыму выпал снег и, долго продержавшись, оставил все стада овец без корму. У Перовских тоже паслись овцы крымских татар, и теперь голод и падеж дали такую тяжелую картину, что всяк готов был убежать, куда глаза глядят.

Квартира, люди для ухода за М. Волховской нашлись скоро, и я, еще раз с'ездив в Крым, привез ее с дочуркой в Одессу. Предполагалось, что здесь Волховской будет во всех отношениях лучше, но на деле вышло не так, и потому заговорили о поездке ее за границу. С ней уезжал туда и мой товарищ, который сманил меня из Москвы; он стал звать с собой и меня. На этот раз я согласился, выговорив лишь одно условие: предварительно я с'езжу к родным на Кавказ.



Ехать за границу собственно мне не хотелось, но в Одессе не предвиделось дела. Одна москвичка затевала было группировку студентов, но это не пошло. Знакомые мне студенты находились еще в периоде выработки своих взглядов и убеждений. Все они стояли еще пока за окончание курса и на практическое выступление не соглашались. С некоторыми из них я поехал на Кавказ. Побывал в Ставрополе, зашел в наш бывший дом. Матушка с сестрой, ее детьми и зятем уже жили во Владикавказе. Наш дом был продан. Я знал об этом, но зашел посмотреть свою комнату, где прошло детство. С бьющимся сердцем, сильно смущенный вошел я в дом и стал спрашивать что-то, но какое-то ноющее, тоскливое чувство сжало сердце, и я, не рассмотрев хорошо всего, выскочил. Горло сжали спазмы, и со слезами на глазах я бросился скорей подальше от дома, от своей слободки. Увидел у соседей собаку, похожую на бывшую у меня, и мне даже жутко стало от мысли, что это моя, что она меня узнает и бросится ко мне: как жалко будет потом расставаться...

В Ставрополе мне пришлось, в ожидании попутчиков, прожить на постоялом дворе больше недели, но на свою слободку, в свой дом уже не хватило духу пойти. По выходе из Шлиссельбурга я снова побывал в Ставрополе, на своей слободке.

При этом оправдалось то, что не раз мне снилось в крепости. Во сне я часто приезжал в Ставрополь, и тут, прежде всего, начинал отыскивать свой дом, но его или не находилось, или он был в полуразрушенном состоянии. Так и случилось: нашего дома, т.-е. того, в каком я родился и рос, через тридцать с лишним лет уже не оказалось—все переделано, перестроено. Даже сад и место дома я едва, по соображению, мог предположительно определить. Меня с знакомыми впустили туда, и мы могли осмотреть все. Лишь граница, отделявшая сады нашей слободки от садов другой, сохранилась хорошо.

В общем, Ставрополь не только не вырос, не стал больше, напротив, в моем представлении он куда был лучше. И я, хвалившийся когда-то своими бульварами, городским садом, садами при каждом доме, должен быть признаться себе, что все это было плодом детского воображения, или же всеокрушающее время прошло по городу и наложило на все свою печать, ибо, в действительности, теперь все это имеет жалкий запущенный вид, кроме городского сада. Сами дома ушли как бы в землю, принизились. На улицах нет жизни, толпы, движения; наша слободка мне показалась уже, и исчезла ее краса—ромашка.

Но так показался город теперь, а тогда, конечно, не было еще большой разницы, и я уехал во Владикавказ под старыми впечатлениями. Когда я оставлял родных в Ставрополе, меня все-таки не особенно беспокоило их положение с материальной стороны. Во Владикавказе же я застал уже ухудшение. Матушка, не зная, что я уже нелегальный, неожиданно как-то заговорила, что пора бы мне прекратить мои блуждания по белому свету, возвратиться и зажить с ними



во Владикавказе. Пришлось, конечно, ответить, что это для меня невозможно. Матушка сейчас же умолкла и во все мое пребывание не промолвила больше об этом ни слова. Она даже не стала расспрашивать о причинах. Она сразу как-то своим чутким, любящим сердцем поняла, что тут кроется тайна, нечто серьезное, и что мне тяжело будет говорить ей, что я их покидаю навсегда. Она и сестра не дожили до моего освобождения, при чем матушке пришлось закончить свою жизнь не в родной семье, а в богадельне, среди совершенно чужих ей людей. Но и тут у нее не вырвалось ни упрека, ни намек на то, что я мог бы все это изменить, что я причина ее положения. Ее последнее письмо наполнено одной лишь любовной мыслью обо мне, о том, что и на том свете она будет просить у бога лишь об улучшении моей участи. О себе, о своих страданиях—ни слова. А между тем, зная ее, я отлично понимаю, какие сильные душевные мучения пришлось ей перенести, очутившись в этой богадельне.

Пробыв недели две во Владикавказе, я через Тифлис вернулся в Одессу, чтоб ехать за-границу. Сднако, этого не вышло. Раньше я уже говорил, что за-границу меня не тянуло, я даже побаивался ее. Поэтому хватался за всякий случай, чтобы не поехать. Так вышло и теперь.

В Одессе мне сообщили, что в Николаеве составилсЯ кружок, который ведет дело со штундистами. «Не желаете ли поехать? Можно, пожалуй, легализоваться, приписавшись в какую-нибудь деревню, где штундисты в большинстве»,—говорили мне. Я ухватился за эту мысль с удовольствием и, взяв доверительное письмо, приехал в Николаев. Не знаю почему, но когда я пошел по городу, мне показалось, что я попал на дно какой-то глубокой котловины, хотя Николаев помещается на высоком берегу Буга и Ингула, при их слиянии.

В Николаеве я, действительно, нашел небольшую компанию радикалов, во главе которой стоял Ковальский, затем несколько чайковцев и молодежь с Савелием (Александром) Златопольским. Ковальский служил при редакции «Николаевского Вестника». Один из его сотоварищей (Дробязгин) перед этим поступил было в кузню, но ему прожгли там бок или живот, и он лечился.

Со штундистами, а также и молоканами, главным образом, вел дело Ковальский, но он сразу разбил все мои надежды. Штундисты на Буге не представляли еще силы, их гнали, даже били односельчане; о приписке у них нечего было и думать. Как семинар, Ковальский хорошо знал евангелие и умел говорить языком, понятным для штундиста. Его считали братом. За такового выдал он и меня. Сначала мы боялись затрагивать политические вопросы и держались евангелия, его учения. Ковальскому удалось даже уговорить старух штундисток не впадать в экстаз во время молений. Но скоро, попробовав почву, мы увидели, что у городских штундистов их учение—непротизление злу, подставление правой щеки, когда бьют по левой—держится не особенно крепко. «Когда нас станет много, мы иначе отнесемся к угнетателям,



мы не позволим им угнетать людей!», — сознавались они в одиночку. Но в общем, большинство, и особенно деревенское, тогда стояло, конечно, на религиозной почве. Их занимали вопросы о храме, обрядах, толковании разных мест евангелия.

На первых порах, желая лишь расширить свои знакомства, мы не особенно смущались тем, что штундисты, как совсем еще молодая секта, много отдают внимания выработке собственного религиозного мировоззрения, мало уделяя внимания политике. Поэтому вскоре заговорили с ними об устройстве какого-нибудь предприятия, которое, давая средства, в то же время могло бы послужить и делу распространения их идей, и делу объединения наибольшего числа штундистов. И такое предприятие нашлось.

Один из «братьев» снимал часть берега по Бугу и занимался там рыболовством, устроив к тому же и маленький баштан. Положение было центральное — в 30-40 верстах от Николаева. Стоило там устроить рыболовство в более широких размерах, завести свое, хотя бы маленькое суденышко — и весь Буг с его окрестными селами делался нам доступен; получались очень удобные сношения со всеми. К тому же в этом году кончался срок у другого рыбака, и у нас являлась надежда взять на себя целых четыре версты берега по Бугу. На таком пространстве, устроив дело на артельных началах, мы рассчитывали добывать не только на свое пропитание, но и получать средства для ведения пропаганды.

Надо было заручиться лишь согласием на руководство брата-рыбака, подобрать артель, достать денег и попытаться снять берег. Мне, как вполне свободному человеку, и поручено было все это обделывать с одним городским братом-штундистом. Сходив к брату-рыбаку, мы сразу заручились его согласием на все наши предложения и тогда взялись добывать денег. Артельщики из братьев быстро нашлись, как только заговорили с ними об этом предприятии. Один продал даже пару лошадей, другой — хату. Я же поехал в Одессу искать денег. Хотя и мало, но деньги нашлись, и мы двинулись к помещику нанимать берег. Но тут нас постигла полная неудача. Помещик побоялся иметь дело с мало известными ему людьми; только брат-рыбак, снимавший у него свой клочок берега, был ему немного знаком, — и потому нам он отказал наотрез. На все эти сговоры и соглашения ушло немало времени, и нам жалко стало расставаться со своей мыслью. «В таком случае, сделаем так! Часть средств потратим на приобретение сетей, и одни пусть пристанут к брату-рыбаку и с ним, на его участке и на участке против, где находилась деревня двух семей из составившейся артели, займутся рыболовством. Другие же, накупив деревенских товаров, станут развозить их по деревням, торговать, а в то же время высматривать новых лиц». Этим мы занимались уже и при составлении артели, когда приходилось бывать в разных деревнях. У нас, в Николаеве, еще раньше была нанята квартира из трех комнат с кухней. В ней жили я и один брат



с женой, и туда, по воскресеньям, с'езжались братья из деревень, и тогда устраивались песнопения, молитвы, обеды, собеседования.

Вместо покупки товаров, на первый раз мы остановились на покупке свиней в деревнях и на привозе их в город на продажу. Никто из нас этого дела не знал, но это нас не смутило. Разбившись на две группы, мы двинулись по деревням и кое-как скупили штук тридцать свиней разного возраста. Осталось свести их в город, но тут сказался штундизм моих артельщиков. Они чтят воскресенье, как евреи свою субботу, и ни за что не соглашаются работать в этот день, предпочитая даже терпеть побои<sup>1</sup> и убытки. Так вышло и в нашем деле. Все купленные свиньи были собраны в одной деревне в субботу. Утром рано следовало их гнать в город, где начался большой базар—ярмарка. Но тут братья запротестовали: из-за мирских выгод они не хотят нарушать воскресенье. И мы остались.

В хате одного брата прибрали чисто горенку, постлали белую скатерть на стол, положили евангелие и, рассевшись чинно на лавках, принялись за свое моление. Оно началось с того, что один, читая евангелие, стал толковать его. Не успел он кончить, как появляется сотский и требует в волость всех. «Батюшка хочет потолковать с вами!»,—мрачно объяснил он причину требования. Как гость, я хотел было уклониться и остаться дома, но сотский и меня потащил. Пошли мы. Волость состояла из двух комнат: большой, со скамьями, и малой—пустой, с одним столом. Там был уже батюшка, туда направились и мои братья, я же и сестры остались в большой комнате, полной уже крестьян.

Начался диспут. Священник стал ссылаться на разные священные книги, неизвестные крестьянам. Штундисты же приводили свои доводы лишь из евангелия, и вот слышу, как крестьяне с глубоким вздохом замечают: «Та оно так! по евангелию оно выходит, что правда на их стороне, но только зачем ломать стару веру? Как нам отцы передали, так воно пусть и будет!». Говорилось это громко, вероятно, имея в виду меня и сестер.

У братьев спор со священником продолжался более часа. Батюшка не удовлетворился им, ему захотелось еще попытать их на почве политики, и, заметив между братьями одного более молодого и более наивного парня, он пригласил его к себе на дом и там стал выпытывать, как они смотрят на будущее, т.-е. думают ли только о торжестве своего учения, или же рассчитывают повлиять и на политический строй государства.

По сознанию самого же парня оказалось, что он тогда высказал батюшке, что штундисты рассчитывают изменить потом и весь строй государства на свой лад. Его не одобрили за эту откровенность, но

<sup>1</sup> В деревнях штундистов нарочно назначали на отбывание общественных повинностей в воскресенье, а когда они не соглашались их исполнять, их штрафовали и били.



так как она не имела пока дурных последствий, об этом скоро забылось, и только позднейшие гонения на штундизм можно объяснить такими признаниями.

Свиней мы погнали вечером в Николаев и тут увидали, что наше дело провалилось. На базаре была уже масса других свиней. На другой день начался торг, но мы едва-едва выручили деньги, потраченные нами на покупку их, хотя, по определению братьев, тут я и выказал большую способность к торгам. С этого начинается целый ряд неудач. Брат, продавший дом, не получил и гроша за него. Во-первых, с него потребовали все недоимки за много лет, а, во-вторых, другую половину отдали матери. Он остался и без хаты, и без денег. У брата, что продал лошадей, вместо хлеба и проса вырос лишь курай (колючее растение). Помогли мы одному брату купить лошадь. Цыган надул: подсунул слепую. Но самое главное вышло на нашей николаевской квартире. Ее мы наняли, когда впервые зашла речь о рыболовстве. Был праздник. Приехали, по обыкновению, братья из деревень. Пели молитвы, говорили речи. Вдруг загремел гром, раз-другой. Ковальский, зная, что штундисты не признают святых, даже божьей матери, заговорил с усмешкой, что вот, мол, дурни-то православные: они думают, что это Илья пророк по небу катается, и принялся им уяснять причину грома. О небе, звездах и разных явлениях он и раньше говорил, и все слушали с интересом, но тут вышло не так. Наши братья слушать его выслушали и теперь, но затем замолчали и как-то быстро раз'ехались.—«Какие это братья! Они и в бога не веруют!»,—пошел после этого говор промеж штундистов, и от нас сразу отхлынула деревня.

Будь мы народ верующий, нам легко было бы восстановить свою репутацию, но так как этого не было, то мы и не пытались даже продолжать знакомство. Тем более, что кроме Ковальского никто из николаевцев, узнав ближе большинство штундистов, не возлагал теперь на них больших надежд и упований: чтобы они пошли на открытое восстание, нечего было и думать. Это были честные, верные люди, но как бойцы для нас не подходили. На них можно было бы опираться для пропаганды, но для этого надо было начинать сначала и уже не в качестве братьев, а в своей обыкновенной роли, роли революционера. Прodelать это с ними, т.-е. со старыми знакомцами, нам, однако, не представлялось удобным и даже возможным. Поэтому надо было искать свежих людей, новые положения, и со старыми мы порываем, кроме городских штундистов, которые ничем не возмущались, «ибо им было дано богом наши слова понимать и разуметь, не соблазнясь», как они выражались.

До сих пор, возясь со штундистами, я мало знакомился с николаевцами. Тут были и чайковцы, но я им не открывал пока своей фамилии, и они, с своей стороны, держались особняком. Но вот начинается черногорское или герцеговинское восстание. Кравчинский



и другие русские эмигранты едут туда <sup>1</sup>. Кравчинский пишет письмо, посылает Аксельрода в Россию за новобранцами и, кстати, просит заехать в Николаев, найти там меня и пригласить тоже в Герцеговину. Аксельрод приезжает, начинает спрашивать, и, благодаря ему, мое инкогнито раскрывается. На меня за конспирацию сердятся, но открытие дает мне возможность ближе войти в сношение со всеми радикалами города. Происходит объединение и в планах дальнейших действий. Теперь начинают принимать участие не только члены кружка Ковальского, но и чайковцы и Савелий Златопольский.

Ехать в Герцеговину я отказался: у нас в то время происходило чигиринское движение, и я полагал, что вместо Герцеговины нам следует всем ехать в Чигирин. Из николаевцев в Герцеговину собирался один, но так и не двинулся с места. В Чигирин из нас тоже никто не отправился, но зато составили новый план действий.

В числе штундистов, способных нас понимать, были кузнец, делающий шарабаны, и бендюжник (перевозчик тяжестей, по преимуществу хлебных грузов). С ними мы вошли в соглашение открыть в какой-нибудь большой деревне шарабанную мастерскую с кузней, а в городе постоянный двор. Остановка вышла за средствами. Требовалось только несколько сот рублей, но таковых не оказалось налицо. Решили, пока что, повести дело в меньших размерах и, пользуясь тем, что я немного понимал в столярничестве, устроили столярню, рассчитывая, что она будет давать хоть средства для существования. Это не оправдалось. Сделав две скамьи и одну учебную доску, я на этом и опочил: иссякли заказы. В это же время еще двое (Юрковский и Бальзам) устроили кузню, но и там дело ограничилось выделкой лишь нескольких кинжалов. Средств вообще было так мало, что Ковальский, Дробязгин и я одно время должны были приютиться в комнате, предназначенной для конюха при конюшне и уступленной нам даром. Питались, конечно, сообразно с этим. Ковальский даже вошел во вкус плохой пищи и покупал нарочно порченный творог и яйца—главная наша пища, плюс чай.

Недостаток средств скоро стал злобой дня, и мысли всех сосредоточились на том, как их добыть. Планов было много, и я останавлиюсь на главном: с'ездить в Румынию и войти там в соглашение с делателями русских бумажных денег. Один из николаевцев уверял, что все это для него будет возможно, так как у него в Румынии есть брат, который и пр. На его предложение согласились и, дав ему еще меня в сотоварищи, отправили нас за границу. Поехали мы. В Одессе чайковцы стали удерживать меня, критикуя этот способ. Я, однако, не послушался, и мы двинулись дальше. В Кишиневе мой товарищ сейчас же нашел себе контрабандиста и отправился с ним в Румынию, я же задержался: меня обещали переправить другим путем.

<sup>1</sup> Из видных революционеров отправились в Герцеговину еще Клеменц и Сажин. — *Ред.*



Вскоре встречаюсь с двумя знакомыми чайковцами—Виктором Костюриным и Аней Макаревич. Узнав о цели моей поездки, они напали на меня, но уже с другой стороны.

— К чему нам фальшивые деньги, когда есть у нас и настоящие; дело не в деньгах, а в людях,—говорили они. — В Киеве организовался дсеольно значительный кружок «бунтарей». Есть средства, еще больше предвидится в ближайшем будущем. Мы уже пристали. Брось-ка ты свою Румынию, пойдем лучше к нам в Киевскую губернию. Пригласим туда же и николаевцев.

Программа киевских «бунтарей», их денежные средства, люди, их поселения, постоянные дворы, лавочки,—все это, нарисованное молодой восхищенной душой, сразу представлялось серьезным делом, а, главное, уже начатым, а не одним лишь предположением, как было это у нас, в Николаеве. Долго раздумывать и упираться было нечего, и я согласился. Веря дословно во все сказанное, я полагал, что и николаевцы пойдут навстречу и тотчас присоединятся. Заехали сначала в Одессу, чтобы здесь попытаться кого-либо привлечь, а там и в Николаев. В Одессе людей не нашлось, но зато на мое и кишиневца поселение обещали достать нам тысячу рублей. В Николаеве же, сверх всякого ожидания, мое извещение, что деньги есть, никого, кроме Дробязгина, не обрадовало, и на приглашение пристать к киевским «бунтарям» Ковальский и все прочие ответили отрицательно. Все вышло так потому, что про Киев, про киевскую коммуну, бывшую там раньше, шли плохие слухи. Коммуна распалась, но отрицательное отношение к ней перенеслось и на «бунтарей», так как программу их и главный кадр составили члены бывшей коммуны.

Из Николаева, таким образом, нам удалось заполучить лишь Дробязгина, не обратившего внимания на дурные толки про киевлян. Я раньше мало знал о коммуне и потому тоже не придавал значения тому, что мне сообщили теперь, и поехал в Одессу, где мне пришлось познакомиться скоро с «бунтарями»: Мишкой и Мокриевичем, Малинкой, Бухом; Мишка с его большими усами и савелыми глазами мне показался похожим на Пугачева и очень заинтересовал с первого же раза. Малинка и Бух—меньше. У Буха был сильный кашель, и он имел жалкий вид. Здесь, в Одессе, мы заполучили обещанную тысячу рублей и, купив револьверов, отправились в Киевскую губ.

Наступал 1876 год. Вся его зима, весна и часть лета ушли в так-называемое бунтарство, или, как у нас называли, «вспышкопустательство». Подробно описывать этот период не стану. У Мокриевича он рассказан, по-моему, верно, если исключить обычное явление: пишущий ставит себя как бы в центре и от него ведет рассказ, являясь альфой и омегой всего события<sup>1</sup>.

Наша программа уже не придавала значения пропаганде: в народе, мол, достаточно горячего материала. Нам необходимо лишь, посе-

<sup>1</sup> В. Дебогорий-Мокриевич. Воспоминания. СПб., 1906.



лясь среди него, завести знакомство и быть готовыми представить из себя организованный, хорошо вооруженный отряд, который мог бы пристать к тому или другому самостоятельно возникшему недовольству, возмущению в той или другой деревне и постараться тогда уже привлечь и соседние села, т.-е. стать организатором более крупного явления.

В виду этого была выбрана местность, богатая по историческим воспоминаниям, где происходила гайдамачина,—Матрониевский лес, Жаботин, Медведово и др. Смела была центром. Там находился постоянный двор, куда съезжались на собрания как общие, так и частные.

Селились под разными видами. Я, например, с Верой Засулич хотели устроить нечто в роде чайной и лавочки и нашли сначала хату в одном селе, но это поселение скоро расстроилось. Тогда Мокриевич, Маруся Ковалевская и я задумали повести торговлю лошадьми и наняли уже в другом селе дом с большой конюшней, где могли бы поместить всех лошадей нашего будущего отряда. Предполагалось, конечно, что их будет много, но все дело ограничилось лишь тремя, да и то уже под конец.

Надежда на большие средства не оправдалась, и сразу же недостаток в них стал сказываться во всем. Немного подсобила нам та тысяча, что была получена в Одессе. Не будь ее, было бы трудней что-либо устраивать. Но все-таки, как-никак, а устроено было несколько поселений, было несколько коробейников; несколько лиц, не прикрепленных к месту, свободно могли переходить от одного поселения к другому. За печатным станком послали Аню Макаревич в Швейцарию.

На первом же съезде мы попробовали впервые выработать план более стройной организации. Агенты, люди не вполне посвященные в организацию, составляли окружность. За ними шли члены, в центре же помещались выборные, которые должны были руководить делами всей организации, держась в рамках, намеченных съездом. Предполагалось, конечно, что только центр будет знать и вести все. Члены же будут исполнять каждый свою роль, сообразно постановлению съезда и указаниям центра. Агенты, кроме программы и тех лиц из организации, с которыми они непосредственно вели дело, ничего не должны были знать. Дела организации в подробностях им не сообщаются.

Все это было постановлено, но на другой же день фактически стало нарушаться. И неудивительно. Людей было сравнительно мало. Все знали друг друга: все происходило на глазах у всех. К тому же все это было внове. Мы ощупью двигались вперед, наугад намечая пути: опыта предшественников у нас не было, и понятно, что многое можно было бы сделать лучше, обставить солиднее. Под конец эти недостатки почувствовались и нами самими; появилась неудовлетворенность, из деревень началось тяготение к городу. В Елиса-



ветграде нанят был дом, и в нем образовалось нечто в роде штабной квартиры. Но тут одно событие неожиданно подняло сразу дух, начавший было падать.

В одном селе учитель школы, ведя пропаганду, добился того, что крестьяне решились поднять бунт. Мокриевич и Дробязгин отправились к ним. Там, по всем правилам старины, устроили совещание: старики в избе, молодежь вне, у окон. Старики решали вопросы и постановили начать восстание, хотя бы ради того только, чтобы пасти своих коней и волов в панском саду, как передавал Дробязгин. Тут же сами крестьяне указали на царские грамоты, как на средство привлечь к движению и прочие села.

Я не берусь утверждать, что все это было так, но для нас важно было, что все это говорил Дробязгин, который не отличался способностью видеть черное в розовом свете. Напротив, как истый хохол, он ко всему подходил с некоторым недоверием, легко подмечая слабые стороны. Но тут, когда он вернулся из поездки, его рассказам не было конца. Рассказав одному, через час он начинал рассказ другому, и из всего выходило, что крестьяне очень серьезно отнеслись к делу и, действительно, решились на восстание. Намечались уже и предводители. Ружья, копья на первое время предполагалось добыть у себя. У них сохранилось еще от старых времен разное оружие и хранилось по застрехам, под крышами. Кроме того, крестьяне рассчитывали, что у нас найдутся револьверы и другое, более новое оружие. Как только мы выслушали рассказы Мокриевича и Дробязгина, на всех напало оживление, уверенность, нашлись откуда-то и деньги. «Надо скорей добыть оружие!»—заговорили у нас, и вот отдают мне все деньги (что-то около 500 р.) и торопят ехать в Питер попытаться там добыть еще денег и на все купить оружия. Я еду, нахожу, скоро в одном оружейном магазине большой запас Кольтовских револьверов. Они нам больше подходили, так как заряжались не готовыми патронами, которые нам трудно было бы добывать, а от руки. Начинаю торговаться. Хозяин соглашается на большую уступку: они вышли из моды. Стало дело за деньгами. Моих было мало. Иду тогда к питерцам, объясняю все дело, прошу помочь—не тут-то было. В них закрадывается червь сомнения. Они требуют от меня обязательства, что восстание состоится—и состоится в назначенный срок. Я, конечно, отказываюсь. Произвести восстание, да еще в известный срок—это не устройство увеселительной прогулки, для которой можно назначать день и час, хотя погода и тут может помешать.

Итак, не дав обязательства, я не получил и денег. Итти в свой оружейный магазин нечего было и думать, и я принялся по мелочам скупать необходимое на свои деньги. На то, что я покупаю много револьверов, в магазинах не обратили внимания, принимая меня почему-то за торговца из Ташкента, где шла война и где только и могла быть нужда в заряжающихся от руки револьверах. Для па-



тронных же револьверов я купил машинку, чтобы переснаряжать патроны, что опять указывало на глухую, отдаленную местность. Впрочем, несколько хороших подержанных Смитов тоже были мною куплены. Таким образом, составилось два тяжелых ящика. С ними я и двинулся на юг. Было условлено, чтоб в Харькове я справился на вокзале, не будет ли мне письма. Оно оказалось и сразу разрушило все надежды и мечты. Писали, что совещание в селе не осталось тайной и скоро стало известно в Киеве. Главной причиной провала было то, что Горинович, которого пробовали убить в Одессе, оставшись в живых, стал всех выдавать. Нагрянуло начальство и принялось косить. Всем нашим, однако, удалось скрыться во-время. В письме мне советовали ехать прямо в Одессу. Я поехал, но тут началась возня с прятанием оружия. Насилу-то насилу удалось мне его сбыть с рук, и потом так я его и потерял из виду.

После погрома мы все скучиваемся в городах: в Киеве, Харькове, Одессе, но скоро решаем официально распустить свою организацию, чтобы дать возможность отдельным лицам пристать к новым организациям. В силу этого, в начале 1877 г., а может и в конце 1876 г., во всяком случае зимой, я и Дробязгин составляем новую «бунтарскую» программу, предполагая уже более солидные поселения и большую конспирацию. В Одессе собирается несколько представителей от разных одесских групп (Попко, Ковальский, Юрковский, Савелий Златопольский и др.), и происходит обсуждение. Некоторые еще стоят за одну пропаганду, но большинство одобряет нашу программу, однако, соединяться не желают. Всем хочется действовать самостоятельно. Кроме того, ничего не имея против нас двух, боялись, что за нами кроется вся группа «бунтарей», не веря нашему распадению, так как и после мы продолжали находиться в близких отношениях, не связывая лишь друг друга какими-либо кружковыми обязательствами. Вообще, необходимо отметить, что период конца 1876 и начала 1877 гг. был самым тяжелым временем моей радикальной жизни.

С одной стороны, критическое отношение к «бунтарской» программе, к ее членам вообще, с другой—полный недостаток средств, чтобы предпринять что-либо. Все сводилось лишь к ежедневным заботам о пропитании. И тут отдельными лицами из нашей бывшей группы перепробованы были и работа на пристани, и пение в кафешантанах, и актерство, и переписка бумаг, и тачанье сапог... Наконец, чтобы выйти из этого положения и предпринять снова что-либо в революционном направлении, стали составлять, как и в конце 1875 г., разные проекты нелегального добывания денег. Не раз приставались и к дому в Херсоне, который потом сняла Россикова и устраивала подкоп под херсонское казначейство. Но из наших проектов ни один не был доведен до конца, а вскоре мало-по-малу стали находиться и средства и кой-какие дела, как типография, чигиринское дело. Я лично надумал выдержать экзамен на народного учителя и стать им в какой-нибудь деревне. Вдруг, неожиданно аре-



стовывают Викт. Костюрина. Его близкий приятель предлагает мне с Попкой заняться его освобождением. Мы соглашаемся, но дело затягивается. Попко отстает. Я подаю прошение попечителю одесского округа о допущении меня к экзамену и представляю документы, конечно, из собственной канцелярии. Экзамен мне разрешают. Я готовлюсь, держу экзамен при гимназии, но тут приезжает из Киева Аня Макаревич, привозит денег, и мы снова и более энергично принимаемся за подготовку побега Костюрина, не бросая и экзаменов.

На страстной неделе 1877 г. были успешно закончены экзамены, тогда же, 25 числа, в день благовещения, происходит увоз Костюрина из жандармских казарм. Я под'ехал на пролетке, Костюрин выскочил из калитки, сел, и мы укатили на глазах публики. После пасхи мне оставалось пойти в гимназию, прочесть пробный урок и получить свидетельство на учителя. Но этого я уже не мог сделать. Чтобы увезти Костюрина, требовалась лошадь с пролеткой. То и другое я брал в татерсале, оставляя свои документы в залог. Таким образом, добраться до меня было нетрудно, и мое свидетельство меня не спасло бы.

Вскоре мы с Костюриным уехали из Одессы и решили через два месяца от'правиться в Питер, с тем, чтобы пристать к какой-нибудь из тамошних организаций. Но через два месяца или около того Костюрина снова арестовывают в Херсоне. У меня является, наконец, сильное желание поехать за границу и там подучиться в каком-нибудь специальном заведении механике и технике.

В Одессе у меня был знакомый с небольшими средствами. Он особенно настаивал на необходимости для революционера специальных знаний. Сам он изучал в Одессе химию, хотя и находился под надзором полиции. Думая найти в нем сочувствие к своему плану, обращаюсь к нему и прошу его обеспечить мне хоть десять рублей в месяц в продолжение одного года, рассчитывая через год, осмотревшись за границей, найти себе там урок или какое-нибудь занятие. Не тут-то было. Вместо того, чтобы пообещать мне из своих—на это у него хватило бы—он обратился еще к третьему, который меня совершенно не знал и отказал. Я остался в России.

С Костюриным, опять сидевшим в тюрьме, у меня вскоре завязалась переписка, и мы снова задумали его освобождение. Против тюрьмы была нанята квартира, и из нее повели мы подкоп. Уже сажени три было пройдено, когда Костюрина повезли в Питер—квартиру оставили, подкоп заполнили, сами разбрелись. В Одессе начинается скопляться люд, происходит зарождение мысли о новых способах борьбы, выдвигается вопрос о терроре. Незадолго перед этим убивают шпиона. Некоторые, а в том числе и я, зачитываемся Рокамболом и тому подобными книгами.

Когда арестовали Стефановича, Дейча, Бохановского, сейчас же является мысль об их освобождении. За недостатком денег, ее на время отклонили, но к концу 1877 года деньги находятся в Питере,



и оттуда приезжает Валерьян Осинский организовать дело. Приглашают и меня. Мы целой компанией едем в Киев, потом в Питер и обратно. В Питере предполагалось сначала покончить с Треповым, а потом, вернувшись, заняться уже освобождением. Против дома градоначальника была уже нанята комната (Попко и мной), началась слежка, но тут произошел выстрел Веры Засулич. После этого мы быстро снимаемся и катим в Киев. Здесь я скоро поступаю в сторожа тюремных амбаров, добиваюсь расположения старшего надзирателя, и он, при первой же возможности, вводит меня в тюрьму, где сначала делает надзирателем, потом ключником. В качестве такового, я вывожу ночью всех трех. Они уезжают за границу. Я остаюсь, и меня тогда приглашают к участию в освобождении везомых в харьковскую централку. Происходит неудачная попытка освобождения Войнаральского. В тот же день мы все, непосредственные участники, уезжаем в Воронеж, а оттуда—я на Кавказ, другие—кто в Питер, кто—еще куда... На Кавказе я пробыл недолго и, списавшись с Питером, поехал опять в Воронеж.

Здесь Квятковский с Поповым, решив заняться мелкой торговлей, покупали лошадь. В пробе ее принял участие и я, но затем меня спешили отправить в Питер, где велось мезенцовское дело. В Питере я был уже принят, как свой, но не знаю, была ли моя баллотировка или нет. В это время главную роль играла группа Ольги Натансон и так-называемого Алешки<sup>1</sup>. Дело Мезенцова подходило к концу. От меня ничего не скрывали, и я стал считать себя членом этой организации со своего приезда. Здесь я познакомился со всеми ее членами, но, кроме писания адресов на пакетах для рассылки разным лицам газет и прокламаций, ничего общественного делать не пришлось. В это время я впервые полюбил и встретил сочувствие. Однако, скоро она была арестована, и роман прекратился на первых страницах.

В конце 1878 года я поехал в Нижний, чтобы поступить там в почтовую контору. Предполагалось, что я в качестве почтальона подвергнусь нападению со стороны своих же и дам им возможность завладеть казенными деньгами. Почтмейстер не принял меня: плохи были документы. И, странно, живя в Нижнем, я чувствовал такую тоску, что не утерпел и написал в Питер, спрашивая, не произошло ли там провала, какого-нибудь несчастья, и вдруг получаю извещение об арестах всех... Уцелел лишь Михайлов-Дворник. После их ареста ехать мне туда показалось не имеющим смысла, и я отправился в свою Одессу... Здесь была еще тишина и благодать. Я заболел и исполнял роль нянюшки несколько часов в день. У одного моего приятеля<sup>2</sup> была квартира, жена, грудной ребенок и мамка. Я поселился у них, и мы так условились: его жена и мамка

<sup>1</sup> Оболенев—Сабуров.—Ред.

<sup>2</sup> Василек Лепешинский—товарищ по бунтарству.



будут готовить обед, прибирать комнаты, я же в это время стану присматривать за их дочуркой. Сам приятель уходил с утра на службу. И вот, напившись чаю, стлали на пол ковер, я садился, брал книгу, читал; около меня на ковре помещали девчурочку, давали две-три игрушки примитивного свойства и уходили на кухню. Мы оставались вдвоем. Брать детей на руки я побаивался, чтобы как-нибудь не свихнуть, не ушибить их... Они мне казались такими хрупкими, мягкими. Поэтому я ограничивался лишь тем, что по временам бросал искоса взгляд на свою питомицу и наблюдал, чтобы она не сползла с ковра... Если игрушка далеко закатывалась, я подвигал ее ближе. По временам нас навещали мать, мамка, в крайних случаях я сам их вызывал. Девчурку кормили еще грудью, она умела только ползать и сидеть, а, между тем, как-то сразу поняла, что нельзя пред'являть ко мне требования, чтобы ее забавлять или брать на руки. Напротив, с самым серьезным видом, сидя и ползая около меня, она забавляла сама себя, поглядывая лишь в свою очередь временами на меня, и так длилось, пока готовился обед и не приходил отец... Тут уж она бросалась к нему, и он начинал возиться с ней; моя роль кончалась.

Эта идиллия, однако, скоро прерывается. Соня Перовская, поселившись в Харькове, задается целью освобождения из централки Мышкина и кого еще будет возможно. Меня вызывают в Харьков; там я и водворяюсь на время, приняв на себя обязанность подыскать участников, пособников для этого дела. Это выполнить нетрудно было, но вышла помеха в сношениях. Невозможно было получить необходимые сведения во-время. И дело затягивалось, а, между тем, начальство централки что-то почуяло, насторожилось, стало производить частенько обыски в тюрьме. Обыскали даже квартиру доктора, бывавшего у сидящих по службе в качестве врача. Все это заставляло и нас быть осторожными, не спешить, выжидая более благоприятных условий, а, главное, более правильных сношений. Последним заведывала Перовская, но это ей не удавалось. Оставалось лишь заниматься изучением условий жизни вокруг и около тюрьмы и терпеливо ждать и ждать. Пока же суд да дело, мне не раз пришлось с'ездить в Питер и в Одессу.

### III.

Начался 1879 г. В Питере, в Одессе, в Киеве, в том же Харькове замечалось сильное оживление, всюду набралось много свежего как молодого, так и старого люда, ушедшего из-под административной опеки... Всюду заговорили о разных выступлениях, планах, проектах... Лично я, между прочим, в это время получил приглашение участвовать в херсонском предприятии—в подкопе под казначейство.



Подкоп был доведен до конца, и деньги взяты, но скоро Россикова и все участники, благодаря кухарке—простой бабе, были забраны, и деньги все найдены. Правда, одно время предполагалось, что часть денег, зарытых Юрковским, сохранится, и можно будет их добыть смелым набегом, но это откладывалось нами, т.-е. землевольцами, до окончания имевших быть в это же время двух с'ездов. На них уже начали с'езжаться, и затягивать с'езды или отвлекать людей на освобождение денег никто не решился. Свободным оставался лишь один Юрковский, не приглашенный на с'езд, как не-землеволец, но у него не оказалось достаточно помощников, чтоб вторично взять спрятанные деньги из-под рук полиции, и они были ею скоро найдены.

Это дело, наделавшее так много шума в широкой публике, в революционной среде не возбудило много толков и прошло мало заметно. Люди были заняты другим; у всех на уме и на языке стояло: как быть? Оставаться ли при старой программе и старых способах борьбы или пристать к новой программе, к новым способам? Самая большая партия, партия «Земли и Воли», раскалывалась на две части. Часть, подкрепляемая вновь приставшими, утверждала, что на усиливающиеся репрессии необходимо отвечать усиленным террором и перейти пока к ведению чисто политической борьбы. Другая—стояла за удержание старой программы, старых способов действия, находя даже вредными для дела взгляды и способы, предлагаемые первой половиной. Соловьевское предприятие, неудача его и все последствия еще более усилили рознь и обострили отношения. Явилась необходимость порешить как-нибудь с разногласием, найти средство, чтоб развязать друг другу руки. Таким средством признан был с'езд всей землевольческой партии. Он был устроен летом 1879 г. в г. Воронеже. С другой стороны, сторонники нового направления, дабы не очутиться на с'езде разрозненными единицами, порешили предварительно тоже собраться и столкнуться заранее. Таким путем составилась Липецкий с'езд, бывший немного раньше Воронежского.

По своим взглядам я принадлежал к новому направлению. Поэтому, кроме Воронежского, мне пришлось участвовать и в Липецком с'езде и притом немало поездить, чтоб повидать и пригласить на него некоторых лиц, еще не состоявших в организации—как Желябов, Колодкевич, Марья Николаевна Оловенникова. Все это потребовало немало времени, притом не могло быть отложено, и этим вполне, мне кажется, объясняется причина, почему ни я, ни мои товарищи не могли выказать более деятельного участия и во вторичном акте херсонского дела.

О Липецком и Воронежском с'ездах много уже писано раньше, нового сказать о них ничего не имею, а потому перехожу опять к себе.

По окончании с'ездов я отправился в Одессу, где Колодкевич познакомил меня с группой рабочих, в числе которых был и Меркулов, выдавший потом меня полностью. Здесь составилась, было, план



устранения Тотлебена, который, в качестве генерал-губернатора, неистовствовал в Одессе, высылая без разбора, вешая революционеров (Дробязгин, Давиденко и др.) на основании лишь показаний доносчиков и предателей. У Дробязгина серьезным обвинением могло быть лишь то, что он когда-то находился в числе киевских бунтарей, но дел-то никаких не было... У Давиденко и того меньше. Он был просто революционер—и только. Как говорят, Тотлебен действовал под влиянием своего правителя канцелярии Панютина и потом, при отъезде из Одессы, публично, на вокзале, высказал ему упрек в том, что он Панютин, злоупотребил его, Тотлебена, доверием и заставил подписывать смертные приговоры, неверно истолковывая желания высшего начальства. Дело в том, что, благодаря Тотлебенской бесцеремонности, у генерал-губернаторов отняли в то время право утверждать смертные приговоры, и это, конечно, сильно задело Тотлебена.

Все это произошло после, но тогда Тотлебен еще не каялся и подписывал, не размышляя.

За ним началась усиленная слежка, и только известие, что чрез Одессу, в Питер, поедет осенью Александр II, заставило на время прекратить это и все внимание сосредоточить на презде государя. Побывав с этой целью в Крыму, я по возвращении поступил на железную дорогу и поселился с Татьяной Ивановной Лебедевой в одной будке в 10—12 верстах от Одессы. Имелось в виду заложить под полотно дороги мину, но изменение маршрута государя сделало наше пребывание в будке ненужным, и мы вскоре оставили дорогу, и я уехал в Питер, а Лебедева в Тулу.

На Воронежском съезде, как известно, разделения не произошло; напротив, уступки достигли того, что решено было все-таки действовать под старым знаменем «Земли и Воли». Теоретически, на словах, достигнуть этого было нетрудно, но когда люди от слов перешли к делу, тут явилось так много неудобств, что пришлось поневоле произвести раздел. Когда я вернулся в Питер факт раздела только что совершился, и шло обсуждение и принятие программы «Народной Воли». Покончив с ним, надо было подумать и о средствах; и мне было поручено поехать, поискать другого Херсона. Этим я и занялся, остановившись в конце-концов на Кишиневе.

В Кишиневе был нанят дом и поведен уже подкоп, когда к нам, несмотря на прописку, явился сколоточный и потребовал снова документы, якобы для прописки. Насупротив нас поместили шпиона, который целыми днями стал сидеть у своей калитки. Все это, как мы предполагали, устроил нам сосед, у которого мы сначала хотели, было, снять дом, но потом отказались, найдя хозяина довольно назойливым человеком, который стал бы нас часто посещать и мешал бы работе. Он-то, вероятно, и указал на нас полиции, как на людей новых, неизвестно зачем поселившихся в Кишиневе. Полицейский чин, однако, ничего подозрительного в нашей обстановке не нашел, и паспорта вскоре были возвращены. Но в Питере, узнав об этом,



забили тревогу и вызвали нас туда, требуя бросить дело. Нам тоже успех показался сомнительным, и мы, заделав тщательно подкоп и пол, все раз'ехались благополучно, хотя за нами несомненно следили, ибо на вокзале мы видели хозяина нашего дома, нарочно приехавшего посмотреть, действительно ли мы уезжаем и куда.

В Питер же нас вызывали еще и потому, что там задумали новое нападение и на Малой Садовой наняли лавку, из которой решено было повести подкоп под улицу. Эта лавка (сырная) хотя тоже возбудила подозрение, и ее внимательно осматривала целая комиссия с архитектором или инженером во главе, но здесь удалось подкоп довести до конца и заложить даже мины. Вся работа, однако, пропала даром, так как по этой улице, как улице подозрительной, Лорис-Меликов уговорил государя не ездить. Лавку бросили, хозяева раз'ехались, мы же с Т. И. Лебедевой остались в Петербурге на особой квартире.

#### IV.

16 марта в Петербурге выдался ясный весенний денек. Снег на улицах уже сошел. Солнце ярко освещало все—дома, улицы; даже люди, лошади представлялись, как бы в обновленном виде.

В этот день у меня условлено было свидание с Кибальчицем в его квартире на Лиговском канале. Жил же я с Татьяной Ивановной Лебедевой недалеко от Египетского моста. Пришлось взять пролетку, и нанял я ее, конечно, не от дома. После низких саней, на которых еще недавно приходилось ездить, пролетка казалась высокой, и с нее как-то в ином виде представлялось все... На улицах светло, тепло, кругом, как муравьи, снуют люди, всяк со своей заботой. Никому-то нет до тебя дела. Не видно даже шпииков; нет за тобой никакой слежки. Глядя с высоты пролетки на эту суетню, охваченный весной, я невольно и сам пришел в такое же жизнерадостное настроение от этого ясного света, тепла и сознания своей полной безопасности в данный момент: меня, мол, ищут, а я вот еду себе открыто и в ус не дую, как говорится. Немалую роль в хорошем настроении играло, вероятно, и то, что это происходило после сытного обеда. И странное совпадение! Подобное настроение безопасности переживали Баранников и Колодкевич. Первый—накануне своего ареста, а другой—незадолго до ареста. Как-то ночью шли они еще с кем-то, и их поразила тишина, пустота улиц недалеко от квартиры Баранникова, и на прощание с ним они все посмеялись над страхами шпионов, боязнию слежки. На них напало то же спокойствие, уверенность в своей безопасности. В эту же ночь Баранников был арестован. Жил он на квартире Ф. М. Достоевского, и его спокойствие отчасти и в этом обстоятельстве находило себе поддержку.

В празднично-благодушном настроении доехал я до квартиры Кибальчица и, не заглянув даже в окна, которые выходили на улицу,



пошел к нему и позвонил. Вышла незнакомая мне девушка. Дня за два я был у Кибальчича, и тогда отворяла другая. Это мне бросилось в глаза, и я, на ее вопрос, кого мне надо, ответил, сильно изменив ту фамилию, под которой он жил. Несмотря на это, девушка отворила выходную дверь и пропустила меня в коридор. Отворяю уже сам дверь в комнату Кибальчича и вхожу. Отсутствие вещей, кровать в беспорядке, на окне револьвер, сюртук полицейского, а на кушетке и сам полицейский (околоточный), крепко спящий, без сюртука,—все это сразу бросилось в глаза и сразу было объяснено должным образом. Поворачиваюсь и направляюсь к двери. Заметив это, девушка вбегает в комнату, подходит к околоточному, будит его и говорит что-то. Тот вскакивает и ко мне наперерез.

— Вам кого?—спрашивает он.

Я останавливаюсь, повторяю фамилию, сказанную и девушке. Мой чин начинает что-то говорить невнятное, но, быстро оправившись, говорит более вразумительно:

— А вот не угодно ли вам пожаловать в полицейский участок, там объяснят вам все лучше—и с этим, уверенный, что я буду ждать его, он направляется к окну, где лежала вся его амуниция, и начинает облачаться.

— Нет, лучше уж один сходите в полицию—говорю я ему в ответ на его предложение и, быстро выйдя из комнаты, запираю дверь на ключ. Околоточный остается в комнате. Я надеваю галоши, спешу к выходным дверям. В комнате послышалось движение, потом топот ног и затем сильный удар массивного тела в запертую дверь. Замок не выдержал, дверь распахнулась, и в ней показалось красное, возбужденное лицо полицейского. Я был уже в выходных дверях. Не успел я их закрыть за собой, как они снова раскрылись, и в них протянулась рука, желающая меня схватить. В кармане у меня лежал кистень. Вспоминаю об этом, вынимаю и сую его в направлении протянутой руки. Околоточный пугается, закрывает дверь и скрывается. Я свободно выхожу на улицу. Смотрю своего извозчика—нет. Смотрю других—тоже, и только у ворот сидит кучер-лихач, а около него дворники. Посмотрев безуспешно направо-налево, пускаюсь во всю прыть налево, чтобы хоть скрыться за угол. Это удается. Заворачиваю снова налево, вижу на конце квартала проходной трактир, направляюсь спешно туда. Оставалось с десять шагов, уже виден был двор, когда, повернув голову назад, вижу вдруг около лихача, а на нем моего околоточного. Тут же откуда-то вырос и городской еще. Бежать дальше не было смысла, и, сев на лихача, я с околоточным направился в участок. В участке пришлось ждать пристава. У меня была книжечка, а в ней несколько шифрованных записей. Стал их уничтожать. Тогда сейчас же обыскали, отобрали кистень и эту книжечку, но в ней уже ничего не было интересного для них, хотя, видя ряды цифр, они обрадовались. «О, мы все это разберем, не беспокойте-



тесь!»—заявили они мне весело, когда я сказал, что это ничего не значащие цифры обычных трат.

Приехал пристав. Послали за каретой. Она долго не являлась. Тогда пошли сами на двор каретника. Он был недалеко. Пристав сначала держал себя грубо, нахально, но так как я не обращал на это внимания, то скоро умолк, и мы молча отправились в канцелярию градоначальника. Там, конечно, прежде всего началось с вопроса, кто я и как настоящая моя фамилия. Они успели уже навести справки и знали, что у меня паспорт ненастоящий<sup>1</sup>.

К счастью, при мне был паспорт не тот, по которому я жил в Питере, а совершенно другой,—недавно, якобы, приехавшего в Питер человека. Он был прописан, но живущим меня там не оказалось. Благодаря тому, что паспорт у меня был иной, наша квартира, где я жил с Татьяной Ивановной Лебедевой, осталась неоткрытой. Татьяна Ивановна, не дождавшись меня в тот день, поняла в чем дело и на другой же день скрылась, оставив большую часть вещей: мебель, сундук, постель. Странно, что жандармам и после эта квартира не сделалась известной. По крайней мере, мне об этом не сообщали во время следствия и на суде.

Ничего не добившись, меня отправили в Спасскую, кажется, часть (на Садовой, недалеко от адресного стола). Своею грязью она произвела на меня удручающее впечатление, и тут невольно припомнились рассказы товарищей, сидевших когда-то в 70-х годах в Москве в частях. Одному казалось, что стены и потолок стали сдвигаться, сдвигаться и в конце как будто сжимали, стискивали его самого. Другому являлись мать, отец... Третий не мог смотреть на обои: ему казалось, что рисунок их нарочно придуман, чтобы мучить его, и т. д. Все это для меня стало понятно. Первая ночь у меня прошла в кошмарных снах. Есю ночь мне снилось, как я попадаю то в ночлежки, где сыро, холодно и нет для меня места, чтобы прилечь, то я в части. Там все камеры набиты пьяным, грубым людом; пробиваюсь среди них, насилию нахожу нары, ложусь, но тут меня охватывает ужас сознания, что я уже не вольный человек, что в этой грязи и в этой обстановке придется провести всю жизнь.

Подобное состояние охватывает, вероятно, многих на первых порах, и в нем-то, раз оно длительно, и надо искать, мне кажется, причин малодушного желания некоторых во что бы то ни стало вырваться поскорей на волю, ценой хотя бы полного раскаяния.

Не помню, возили ли меня еще в канцелярию градоначальника, зато помню, как явился в часть ко мне вскоре какой-то штатский генерал, как мне сказали. Он приехал с каким-то молодым человеком, и меня вызвали в отдельную комнату. Генерал, невысокого роста, пожилой, просто одетый, с добродушным лицом старик, встретил

<sup>1</sup> В ожидании допроса пришлось довольно долго пробыть, пока они наведут справки.



меня довольно ласково и начал говорить о своем сочувствии и искреннем желании помочь мне выпутаться из беды.

— Только скажите вашу настоящую фамилию—добавил он, заканчивая свою речь.

— Да на что тут фамилия—спрашивал я, полушутя над его наивностью: скажи ему фамилию, а там он, будто, сейчас уже и выпустит тебя.

Старик снова принимался уговаривать меня, я снова отшучивался, и эта сказка про белого бычка повторилась за час не раз. Он уверял, что готов сделать все для меня, что он сердечно страдает моей участи, что я своим упорством лишь врежу себе; я же, зная, что моя настоящая фамилия не только не поможет, а еще скорее упрячет меня в Петропавловку<sup>1</sup>, продолжал шутя отделяваться.

— Ну, да и упрямый же вы народ!—не выдержал под конец мой старик и даже всплакнул немного...

Его возглас и слезы показались даже искренними, и мне неловко как-то стало, что я на все его речи смотрел подозрительно и относился к нему вообще несерьезно. Очень возможно, что им руководило и хорошее чувство, и он, предполагая, что имеет дело с легальным, малозамешанным человеком, думал, что стоит лишь восстановить мое имя, фамилию и положение—и все будет в шляпе. Как бы то ни было, но в дальнейшем разговоре в его голосе прозвучало сожаление:

— Что ж, делать нечего, видно, придется передать его вам!—глядя на молодого человека, заметил в конце старик каким-то упавшим, грустным голосом.

Услыхав эти слова и взглянув на бледное, немного поношенное и помятое лицо молодого человека, я вдруг вспомнил про слухи о пытках, и у меня пошли мурашки по коже. «Забудь фамилии, забудь все!»—стал я внушать сам себе, но мои гости уехали сейчас же, и я снова очутился в своей грязной каморке. Никаких пыток не последовало. Вместо них, дня через два перевезли меня в третье отделение, что было у Цепного моста, около Летнего сада.

В третьем отделении уже сразу взглянули на дело серьезнее. Раньше я все время был в своем платье, и за мной никакого особого присмотра не было. Тут же переодели меня в казенное белье и в теплый, хороший халат и поместили ко мне в камеру двух жандармов. При этом не могу не упомянуть о печально-расположенном взгляде молодого красивого офицера, присутствовавшего при моем приводе и приеме<sup>2</sup>. «Вот и еще погиб один человек!»—говорили его глаза, и в них ясно выражалось сожаление. Жив ли он? Он был молод, моложе меня. Если жив, то шлю ему большое, сердечное спасибо,

<sup>1</sup> Я привлекался еще по процессу «193-х» и стал нелегальным с 1874 года, когда меня начали искать и чуть-чуть не захватили в Москве.

<sup>2</sup> Это, мне казалось, был не жандармский офицер, а из гвардейцев.



которое почувствовал я и сказал тогда про себя. Его милое, сочувствующее лицо как-то сразу примирило с новой обстановкой, и в третьестепенной камере стало тепло и уютно.

Мне принесли папиросы. На воле я курил, но тут решил бросить, и папиросы пошли солдатикам. Это развязало им языки, и они из наблюдателей превратились в собеседников.

Сколько дней я так просидел—не помню. Наконец, позвали в следственную комнату. Добржинский и Никольский стояли у стола и внимательно смотрели на мое лицо. На столе лежала книга, и в ней ясно виднелась моя фамилия<sup>1</sup>.

— Почему вы упираетесь, не говорите свою фамилию? Мы, ведь, знаем, кто вы, и если не скажете сами, то вызовем вашу матушку. Она подтвердит.

Мне, собственно, не было никакой нужды упорствовать, и если я не говорил раньше, то больше из-за квартиры, боясь, как бы они по фамилии не доискались ее, а вместе с ней и Татьяны Ивановны. Теперь времени прошло достаточно; предполагать, что Татьяна Ивановна все будет оставаться на старой квартире, не было основания; с другой стороны, меня сильно смутила и их угроза вызвать матушку. Я представил себе ее испуг, даже ужас, когда ей, без всяких предосторожностей, вдруг объявят, что я арестован, а, главное, что ее повезут жандармы и тоже как бы арестованную. Подумав об этом, я тотчас же подтвердил их предположение, что я Фроленко.

— В таком случае, не угодно ли вам ответить письменно по следующим вопросам?—заметил кто-то из них, подсовывая мне опросный лист.

Я взял и сначала начал отвечать на такие вопросы: какого вероисповедания, когда родился, где, но когда дело дошло до более существенного, стал писать, что не стану отвечать. Добржинский, следивший за ответами, увидав последние, злобно остановил меня:

— Если не желаете отвечать, так прямо и напишите, что *ни на какие вопросы отвечать не желаю*.

В его голосе слышалась угроза; он, видимо, хотел запугать и, нервно взяв у меня опросный лист, подсунул чистый.

— А мне,—говорю,—все равно! могу написать и так, как вы говорите,—и написал, что *на все вопросы отвечать не желаю*.

После этого меня сразу отправили в Петропавловскую крепость, в Трубецкой бастион. Видя злость Добржинского, я полагал, что он в чем-нибудь да проявит свою угрозу, но, к удивлению, скоро заметил, что мой отказ повел лишь к лучшему: меня оставили в покое, не тревожили допросами и не поместили ко мне даже двух жандармов, как это было с другими по нашему процессу.

<sup>1</sup> В этой книге, вероятно, были внесены все нелегальные, которых искали, расположенные по алфавиту. Книга была открыта на букве Ф, и там я ясно прочел глазами свою фамилию.



В Трубецком, при первом приходе, мне бросилась в глаза относительная чистота в коридорах, даже блеск. Походило на больницу. Получалось впечатление не страшное, не удручающее, и оно как-то и осталось, хотя сама камера была подвалообразная, серо-грязного вида. Окно с мелкими стеклами. Близко за ним—стена. Полусвет, клозет в камере. Легкий халатик при довольно свежем воздухе. Все это могло и должно бы подействовать более тяжело, и я по себе знаю, как мне те же камеры Трубецкого показались невыносимо грязны, смрадны и темны, когда нас перевезли туда из Шлиссельбургской крепости. Тогда же, после полицейского участка, Трубецкой коридор почему-то понравился своей чистотой, и это отразилось и на дальнейшем состоянии духа.

Затем второе. Меня поразила пища: на обед давали три блюда. Этого я никак не ожидал. Через месяц, правда, произошла реформа, и стали кормить хуже, но тогда мне присланы были уже деньги, и я мог на них пополнять недостаток тюремного продовольствия. Пока же что, я жадно набросился на книги, особенно на журналы, и сразу проглотил за много лет. На воле я читал мало, и теперь «Отечественные Записки» меня совершенно заполнили своим бодрым, к жизни зовущим призывом. Не то с «Делом» и «Вестником Европы». «Дело» показалось бессодержательным, «Вестник Европы»—таящим про себя что-то мудрое, но не желающим его явно показать другим.

В Трубецком же обучился я и стуку. На первый раз я предположил, что каждая буква алфавита должна быть обозначена своей цифрой. Получилось нечто допотопное. Тогда я стал прислушиваться к стукам, идущим с разных сторон. Слышались частые перерывы, получались цифры небольшие. Вспоминаю, что говорилось как-то на воле, что азбуку делят на 5-6 рядов и разговаривают, обозначая каждую букву дробью, где числитель — ряд, а знаменатель — место буквы в ряду. Делаю табличку, заучиваю и, к великому удовольствию, вижу, что теперь отдельные слова стали разбираться, но так как разговор шел не со мной, всего я понять не мог и только изучил понемногу способ перестукивания. Скоро и у меня появился сосед. С ним мы начали было уже толковать и понимать друг друга, как появился Лесник (смотритель Трубецкого), накричал, нашумел, и меня перевели в другую камеру, свозив предварительно в третье отделение.

Когда я вошел в следственную комнату, то застал там много разного люда, стоявшего у стен. Не обратив сначала никакого на них внимания, я двинулся к столу, где были Добржинский и Никольский. Вдруг из двери соседней комнаты выскакивает какой-то невысокого роста, полный молодой человек и бодро, весело улыбаясь, направляется ко мне, как к хорошему знакомому, с готовым уже вылететь приветствием. Я остановился и, видя незнакомого человека, стал смотреть на него довольно недружелюбно, догадавшись, что это был один из предателей. В свою очередь и он, подскочив ближе, сразу



осел, опустил руки и молча ушел обратно. Тогда Добржинский обратился к стоявшим у стен и стал спрашивать их, не видел ли кто меня и где именно. В ответ все молчали и только один—с виду лакей—выдвинулся и стал заверять: «А я вас, кажется, видел, вы, кажется, приходили...»—«И вас я, кажется, видел, и вы, кажется, куда-то приходили»,—рассмеялся я ему в лицо. Он сконфузился, умолк, и тем дело кончилось. Ясно было всем, что ни он меня, ни я его никогда не видали.

Меня опять увезли в Петропавловку и оставили в покое на целый месяц, предоставив на досуге изучать красноречие Гамбетты. В «Отечественных Записках» помещены его речи относительно необходимости дать амнистию коммунарам и возвратить их во Францию. Тянулись речи на протяжении очень что-то многих номеров, и когда получена была, наконец, амнистия, обо мне снова вспомнили Добржинский с Никольским. Так как предатель, которому показывали, меня не признал, а других не было, то привлечь меня к 1-му марту не было оснований, и меня оставляли потому в покое. С арестом Меркулова им стали известны участники и Садовой, но это дело они, как видно, отложили в сторону, занявшись лишь непосредственными участниками взрыва. Покончив с ними, они принялись и за нас, участников Малой Садовой.

Ко времени окончания следствия по делу 1-го марта, Меркулов начинает выдавать и рассказывать обо мне все, что знал. Принимаются тогда и за меня. Добржинский с Никольским приезжают в Трубецкой, вызывают меня в так-называемую комиссию—помещение, где производилось следствие (оно было вне Трубецкого, сбоку)—и устраивают свидание с Меркуловым. Вхожу в следственную комнату. Смотрю, к столу не приглашают; видимо, чего-то ждут. Вдруг из боковой двери <sup>1</sup>, а не из той, через которую я вошел, появляется Меркулов и направляется ко мне. Я еще не знал, что он выдает, но его появление подсказало это. Прежде всего мне бросились в глаза его цветущий вид и расшитая, красивая, в малороссийском вкусе, рубаха. На воле, когда мне приходилось жить с ним в Кишиневе, я хорошо знал его убогое белье, а тут вдруг такая роскошная рубаха и вид откормленного молодца. Правда, краска на лице могла быть и от неловкости положения, но полнота лица, свежесть его и не очень сильное смущение, а даже некоторая развязность говорили за то, что он чувствует себя недурно. Подойдя, он поздоровался и хотел протянуть руку. Но я, не отвечая ему, повернув лицо к столу, с некоторой досадой заметил следователям: «Я же вам сказал уже, что никаких показаний до суда не буду давать!» Обращался я к следователям, но главным образом имел в виду Меркулова. И он, как потом на суде выяснилось, действительно, не все им сказал сразу, и только

<sup>1</sup> Там, вероятно, была свидетельская комната, и в ней Меркулов поджидал моего привода.



лишь, когда на суде Тетерка<sup>1</sup> дал ему пощечину, он уже выложил все до последнего.

Путь, каким Меркулов дошел до предательства, я объясняю так. Еще на воле Меркулов выражал недоумение и даже порицание за обыкновение умалчивать о разных неудачных начинаниях. «Зачем это? Пусть жандармы знают, тогда больше будут пугаться! а то выходит, что мы точно стыдимся таких дел и прячем их от чужих глаз!»—говорил он. Надо открыто действовать в этом случае—была его мысль, и ему казалось унижительным замалчивать, отрицать то, что в действительности происходило. Речь шла о фактах и о личном признании в своем участии в них. Против этого ему возражали, но никому и в голову не приходило, что на ряду с фактами он станет перечислять и всех участников этих фактов. Единственно, что можно было допустить, что он не станет сам отказываться от своего участия, раз оно было. И вначале так, вероятно, и происходило; но Добржинский, заметив его малоразвитость и самолюбие, легко мог повернуть дело так, что Меркулов стал выдавать и других. Помогло Добржинскому, мне кажется, и еще одно обстоятельство.

Меркулов принадлежал к одесской группе рабочих, и там, на юге, будучи полноправным членом, он знал все их дела и предприятия. Самолюбие его не страдало; материальное положение было хорошо; как модельщик, он зарабатывал больше рубля в день. Но вот приезжает он в Питер, здесь сразу попадает в иное положение, в иную обстановку. Прежде всего, он никак не может найти себе работу, самолюбие мешает просить денег у других, и он, как признавался на суде сам, не раз голодал на первых порах. Но главное, тут, в Питере, он быстро понял, что он только простой пособник в том одном лишь деле, в котором принимает непосредственное участие, а именно, в подкопе на Малой Садовой. Ни о чем, кроме этого дела, с ним не говорили, ни в какие другие дела его не посвящали, ни о чем не советовались. Из гражданина он сразу превратился в обычного человека, и это, конечно, сильно его мутит, так как понять необходимость такого положения ему не по плечу. И более развитые люди часто этого не понимали и убегали во-свояси, говоря, что они же хотят быть якобы слепыми орудиями в руках других. На деле этого, конечно, не было. Всякий, если принимал в чем участие, принимал его сознательно, зная наперед, для чего и зачем оно. Но людям этого мало. Им нужно знать и о других делах, желательно участвовать в совещаниях, быть непременно полноправными членами организации, знать всех ее членов, знать о всех начинаниях, планах—и такие требования пред'являет иногда человек, заявивший себя лишь тем, что он бросил гимназию и, разделяя программу партии, не прочь принять на себя какую-нибудь работу. Иногда выходили настоящие трагедии только потому, что такой человек, взявши на себя работу,

<sup>1</sup> Рабочий, судившийся по тому же процессу.



вдруг начинает страшно ею тяготиться, видя, что он является лишь одной спицей в колесе, а между тем он взял уже на себя известное обязательство и бросить работу на пол-пути—неудобно.

Не знаю, было ли что подобное с Меркуловым, и на эту ли именно удочку поймал его Добржинский, но только к этому не мешает прибавить еще следующий факт.

Незадолго до 1-го марта в Питере был съезд членов «Народной Воли». На него из Одессы прибыл и Тригони. Тут, между прочим, Тригони поднял вопрос о Меркулове. Что он за человек? Хорошо ли он известен? «Я ему не доверяю»,—заметил он и рассказал, что Меркулов, приезжая в Одессу из Кишинева, вел себя с ним, то-есть с Тригони, нахально и подозрительно. Не имея доверительного письма, он требовал от Тригони денег, разных указаний, ссылаясь лишь на одесских своих товарищей. Однако, спросив их, Тригони заметил, что и у них за последнее время поведение Меркулова стало вызывать некоторое сомнение и недоверие. Несмотря на такие указания, знавшие раньше Меркулова восстали на Тригони и, дав ему некоторые объяснения, замолчали, не желая много толковать. Известно было, что Тригони получил сведения в Одессе от довольно мнительного человека—Моисея Попова, который потом, как мне передавали, даже сошел с ума. Сам же Тригони, лишь недавно вступивший в организацию, легко мог, как полагали, ошибочно растолковать поведение Меркулова, и потому-то его сомнению не придавали большого значения и Меркулова от участия в деле на Садовой не устранили. И тогда едва ли он думал о предательстве, иначе на Малой Садовой все могло бы провалиться при приходе инженера с комиссией. Даже будучи арестован, Меркулов, я полагаю, не сразу стал выдавать. Иначе, меня показали бы ему в первое же время, когда показывали другим свидетелям, предателям. Впрочем, это уже не важно, а важно то, что благодаря только ему жандармы узнали все и про меня. В противном случае, все мои похождения в Одессе, Киеве, Кишиневе и даже Питере остались бы неоткрытыми, и я отделался бы легко. Но теперь меня вскоре повезли на юг производить следствие на местах.

Из Питера отправили с двумя жандармскими унтерами. Оба были довольно пожилые. Один—высокого роста, плотный и довольно спокойного характера человек, другой—ниже, более подвижной, с какими-то беспокойными глазами.

Не успел двинуться поезд, как второй сам начал разговор на тему о современном движении. Из него он понял лишь одно: молодежь учит народ, чтоб тот требовал себе земли, что его сбделили ею при освобождении. «К чему это! Ну, видите, что крестьяне остались без земли, возьмите, да и отдайте им всяк свою землю! Вот это было бы дело, и никто бы вас за это не сажал по тюрьмам, а то свою землю оставляете за собой, а на других науськиваете!»—поучал он меня.—«Да у меня никакой и земли-то нет!»,—говорю ему.—«Так я и поверил! а если и нет у вас, так есть у ваших товарищей»,—стоял он



на своем, и с этой позиции трудно было его сдвинуть; он продолжал развивать и повторять свою мысль, как было бы хорошо, если бы все помещики добровольно сами отдали землю крестьянам. Против этого нечего было возражать, и мы скоро умолкли, перебрасываясь лишь изредка отдельными фразами. В первую ночь я как-то не обращал внимания на моих спутников и ничего не заметил. Но вот наступает вторая ночь. Ехали мы в общем вагоне и занимали две скамьи, в два места каждая. На одной сидел я, на другой унтера. Ночью высокий, молчаливый унтер захотел спать, ушел и расположился недалеко напротив. Низкий остался, сел на самом краю и шапку поставил так, что она мне загораживала выход. Не обратив на это внимания, перед сном я вышел в клозет, потревожив заставу. Унтер побежал следом и попытался даже проникнуть вместе со мной. Я не пустил его. Едва приотворив дверь, он приложил к щели глаз и все время простоял так. И это не показалось мне странным: в клозете было окно, через которое можно было выброситься или выскочить. Возвращаясь, я ложусь, закрываю глаза, хочу уснуть, но короткая скамья мешает: нельзя удобно протянуться. Сон не дается. Открываю глаза и вижу, что мой унтер как-то растерянно стоит около и усердно крестит меня, выход из нашего отделения, потом небольшое окно и при этом вполголоса произносит не то молитвы, не то заклинания. В глазах виден испуг и ужас. Что с ним? Начинаю присматриваться, прислушиваться. Он громче и громче произносит отдельные слова из молитвы «Да воскреснет бог»... Ясно, он отгонял дьявола, или, принимая меня за него, крестами хотел загородить мне все пути к выходу. Проснулся другой унтер, подошел, попытался его остановить. Тот и его не узнал и продолжал читать молитвы и крестить. На первой же станции беднягу оставили и взяли вместо него другого. Больше до Одессы не было никаких казусов, и мы прибыли туда благополучно, поразившись на первых порах изобилием и яркостью света, солнца, роскошной зеленью деревьев. В противоположность с этим, когда привели в тюрьму и вошли в темный закоулок, где виднелась заржавленная, массивная дверь, ведущая будто в подвал, невольно стало жутко. «Хотят замуровать в подвале и станут держать, как шильонского узника»,—промелькнуло в голове, пока отпирали большой замок. Дверь своей запущенностью и мрак сразу воскресили в памяти читанное когда-то и про шильонского узника и про московские тюрьмы-подвалы.

Подвалообразная, длинная камера с небольшим окном вдали прежде всего поразила своей пустотой—главное, отсутствием кровати, нар или хоть скамьи для сна. Маленький деревянный столик у окна совершенно терялся в этой пустоте. Для сна принесли и бросили на пол небольшой грязный половичек. На нем даже нельзя было вытянуться, так он был короток. В соответствии с этим оказалась и пища. Водянистый навар свекловичных листьев и кандер, т.-е. жидкая пшенная каша—не особенно-то пришлись по вкусу после тру-



бецких обедов. Своих денег в то время у меня не было и пополнять этот скудный обед покупкой мясного не было возможности. «Эх, батька, батька! не откажись ты от офицерского чина, и ел бы твой сын теперь дворянский обед!»,—шутил я над своим положением, имея достаточно времени на всякие размышления. На вопрос о книгах, смотритель мне ответил: «какие тут книги!» Соседи молчали; предположив, что я один, так как знал раньше, что политических садят вверху, а не в подвальном этаже, сам не пытался заговаривать.

Так было до обеда. После обеда пришли ко мне Добржинский с Новицким. Увидав обстановку, Новицкий сердито обратился к смотрителю: «Неужели у вас и кровати не нашлось?!» Тот что-то начал говорить, что это военная тюрьма и что... «Потрудитесь, пожалуйста, найти и поставить!»—приказал Новицкий довольно резко, не слушая оправданий.—«А на еду вам, имейте в виду, будет отпускаться 50 коп.,—обратился он предупредительно ко мне.

Ушли они. Кровать, взятая, вероятно, из больницы <sup>1</sup>, сейчас же была принесена; принес смотритель и книг, обещая новых, когда прочту эти. Вскоре оказались и соседи. Тут я узнал о многих арестах в Киеве. Принесли чай, сахар, хлеб, колбасу, купленные на 50 коп. Теперь было все необходимое, первое впечатление улетучилось и больше уже не возобновлялось.

На другой же день началось следствие. В 1879 г. я и Татьяна Ивановна Лебедева жили под Одессой на железной дороге. Я—в качестве сторожа при камнях, сложенных там для будущего одесского вокзала, она—как моя жена. Предполагалось заложить мину под полотно железной дороги и взорвать поезд, в котором должен был ехать Александр II. Но им, вместо пути через Одессу, был выбран другой путь, и мы скоро оставили это место, не возбудив подозрения. Однако, этот эпизод не остался тайной. Гольденберг первый открыл о нем, а Меркулов еще добавил. Ради этого меня и повезли в Одессу.

Сначала, в самой тюрьме, меня показали моему непосредственному начальству—дорожному мастеру. Он, конечно, признал, но я продолжал держаться прежнего, отказываясь давать показания. Тогда повезли меня в жандармское правление и туда собрали всех знавших меня. Вхожу в коридор и вижу железно-дорожного рабочего, кума, с женой (у них я крестил дочь) и несколько сторожей; все они стояли в ряд и с ободряющими, улыбающимися лицами встретили меня, желая как бы сказать: не бойся, ничего дурного про тебя не скажем. Никто из них, конечно, не знал, зачем я у них жил, никто не подозревал, что признание или меня и есть то самое худшее, что они могут сказать. Все они остались в коридоре. Меня ввели в комнаты и здесь, прежде всего, подвели к столу, где лежала масса фотографических карточек, с любезностью предлагая полюбоваться и убедиться, что им все и все известно. Действительно, тут было много и наших, но

<sup>1</sup> Одеяло и матрац были в пятнах, очевидно, из-под тяжкобольных.



многих и не доставало. Им было интересно, конечно, поймать меня на каком-нибудь возгласе удивления. Так, карточку Ланганса они несколько раз подсовывали, рассчитывая на это, но, зная их систему, я спокойно рассматривал все карточки, удивляясь лишь количеству.

«А этого вы не узнаете?»—вдруг, улыбаясь, обратился ко мне одесский полковник, показывая еще одну карточку, но с другого стола.

Я вглядываюсь, что-то в чертах лица мелькает знакомое, но припомнить, кто это именно, никак не могу; молчу и раздумываю.

«Да неужели не узнаете?»—с усмешкой переспрашивает полковник.—«Ведь это вы! И мы вас арестовали еще в 1880 году, в церкви».

«Как я?..». С недоумением смотрю на портрет, находя теперь, действительно, отдаленное сходство в каких-то чертах с собой.—«А верно! Сходство есть какое-то!—замечаю вслух.—Но я ни разу не был арестован, и это не моя карточка!»—«Это и мы знаем! Но тогда мы этого человека приняли за вас и арестовали. Он же оказался одесским мещанином и никакого касательства к революции не имел».—«Почему же вы хотели меня арестовать? Разве вы знали меня?»—«Ваша кличка Михайла! И раньше вы жили в Одессе?»—«Да, Михайла, и в Одессе я живал».—«Ну, вот! и нам было известно про вас, как про Михайлу, и мы оставляли вас в покое до поры до времени, когда же хватились, чтобы забрать, вас и след простыл. Приказано было искать. Вскоре в церкви были вы встречены и арестованы»,—весело рассказывал полковник про свою же ошибку.

Этот рассказ меня не удивил. Действительно, почти до 1878 года в Одессе были замечательно патриархальные нравы, порядок и образ жизни. В теплое время, регулярно каждый день, выходили мы, легальные и нелегальные, на бульвар, рассаживались на ступеньках лестницы<sup>1</sup> и здесь, слушая музыку, которая играла на бульваре, вели переговоры, занимались конспирациями; не то уходили в садик, находившийся внизу, и там качались на качелях; иногда и пели. Публика, гуляющая на бульваре вверху, слушала, и раз даже кто-то пришел оттуда благодарить за пение<sup>2</sup>. С гулянья гурьбой уходили по квартирам, и та, в которой я часто ночевал, могла легко быть выслежена. Одна барыня наняла бывшую еврейскую лавочку в одну комнату с выходом прямо на улицу. В эту-то комнату, к этой-то даме, вдруг иногда приходило сразу несколько человек для ночлега, и, прежде чем спать, все иногда отдыхали, сидя около наружного входа. Самый неумелый шпик мог легко все это выследить, выследить. Но барыня была человек легальный, большая часть радикалов—тоже.

<sup>1</sup> В Одессе от Приморской улицы идет вверх на бульвар большая, широкая, длинная каменная лестница.

<sup>2</sup> Это пение поддало одному лочковому антрепренеру мысль устроить в этом нижнем садике, еще при мне, «Театр-Буфф», и он нажил большие деньги. Это был Форхати. За вход брал он рубль и нас, конечно, не пускал. Тогда мы перешли в один конец верхнего бульвара.



Поэтому и меня сочли за легального и не трогали. И только когда появился Тотлебен и стал подчищать всех и вся, вспомнили про меня и на ряду с другими хотели, вероятно, выслать в Сибирь.

Не могу не упомянуть еще про одно обстоятельство из тех времен. Шпики знали нас, но и мы знали их хорошо. В Одессе был садик, назывался он алексеевским. В нем находился ресторан. Весь центр садика был заставлен столами, вокруг шла дорога. По каким-то дням тут играла музыка. Вход был даровой. Публика—кто пировал за столиками, кто густой толпой кружил по дорожке. Все же шпики располагались около музыки и внимательно всматривались в проходящую толпу. Им заметить в толпе подозрительных было трудно, но их-то уже всякий легко мог распознать по жандармским сапогам, а часто и синим брюкам, выглядывавшим из-под штатского пальто. Тут-то лица их всех и замечались нами.

Поболтав о прошлых патриархальных порядках, пошутив над ловким арестом моего двойника, выслушав с удовольствием мое признание, что в лице арестованного есть какое-то сходство со мной, мои следователи только тогда подошли к главному, подготовив, так сказать, почву для откровенной беседы. Разве они враги, разве они следователи? Они милые, хорошие ребята, с которыми можно говорить, шутить обо всем. Они так расположены ко мне, что заподозрить их в каких-нибудь злых умыслах нет никакого основания. Если же они что спрашивают, записывают,—это так себе, для истории, чтобы мне же было лучше.

«Вы, конечно, не станете теперь отрицать, что жили под Одессой на будке. Вас там так любили, хорошо относятся! Вот и кум с кумой и с крестницей тут»,—заговорил теперь опять Добржинский, подавая мне для подписи уже приготовленную бумагу с показаниями всех свидетелей.

«Положим, что жил, положим и отрицать не буду, но что из этого? Я же вам сказал, что до суда не буду давать показаний!»,—отвечаю ему.

«Не понимаю! Вы же говорите, что отрицать на суде не будете, да и трудно: видите, сколько свидетелей! А между тем войдите же в положение и этих бедняков. Из-за вашего ненужного упрямства они могут лишиться места, куска хлеба! Подумайте!»,—запел защитник бедняков, Добржинский.

Я сначала не понял, почему из-за того, что я не подпишусь под показаниями свидетелей, они могут лишиться места, и стал спрашивать.

«Если вы не подпишетесь, их необходимо будет вызвать в Петербург на ваш суд, так как у нас нет ручательств, что вы признаете себя, а суд к тому же не может знать о ваших намерениях. Раз же их вызовут в Питер, то еще вопрос, захочет ли железная дорога принять их потом снова на службу. Их-то места будут уж заняты, а но-



вые не так скоро открываются!»,—принялся растолковывать Добржинский, видя, что этот довод, как будто, действует.

«Значит, если я подпишу, вы никого не потащите в Питер?»,—переспрашиваю несколько раз.—«Конечно! конечно! Зачем тогда они нам? Ваша подпись делает их присутствие совершенно излишним!»,—без стыда и совести уверяли все.

Сам я никогда не имел дела со следователями; судебных порядков и приемов не знал, а потому, подумавши, что как бы и в самом деле не пострадали мои знакомцы, а мне-то безразлично на суде или здесь признать себя, взял и подписал уже готовый протокол<sup>1</sup>. Следователи расцвели, обрадовались, и не успел я положить перо, как снова набросились на меня с какими-то, о ком-то вопросами.

«Ну, вот! так я и знал! стоит вам одно слово сказать, как вы уже и десять потребуете!»,—выкрикнул я им в ответ.

Они умолкли. На этом следствие окончилось. Выслушав еще раз от своего кума, кумы и других сторожей кучу всяких пожеланий о благополучном исходе дела, отправился в тюрьму, и тут, у ворот, заметил кутающую лицо женщину—это была жена ключника киевской тюрьмы. Не знаю, узнала ли она меня, но я ее узнал. В Одессе о Киеве не было речи, и вскоре меня повезли в Кишинев, где, в конце 1880 г., начат был подкоп под казначейство.

Тюрьма кишиневская снаружи представляет красивый замкообразный вид, внутри же та камера, где меня поместили, оказалась тесна, а вместо кровати—небольшая голая нара. Когда об этом я как-то заикнулся, Новицкий, теперь уже с сердцем, заметил: «От военной тюрьмы другого и требовать нельзя!»—«Не было ли ему нагоняя за вмешательство в порядки одесской тюрьмы?»—мелькнуло у меня в голове, и я не стал больше и толковать, так как, собственно, это мало меня беспокоило, и если заговорил, то больше ради разговора.

Здесь следствие кончилось быстро. Меркулов показал и квартиру, и где, в каком месте, заделан был пол и подкоп.

Меня туда не водили, а повели прямо к жандармскому полковнику, где были другие свидетели. Здесь опять началось с благодушных разговоров. Удивлялись искусной заделке пола: «Мы сами никак не могли найти это место и должны были вызвать Меркулова!»,—говорили мне как бы в похвалу, хотя они хорошо знали, что заделывал, закрашивал пол Меркулов. Потом поговорили о квартальном, который был в квартире и ничего не заметил, хотя стоило ему сделать шаг-другой, заглянуть за перегородку, и все было бы открыто. За перегородкой лежала тогда только-что вынутая из подкопа земля. Большая комната делилась у нас парусинной перегородкой на две части: на залу и якобы спальню. Квартальный вошел в залу и, видя приличную, ничего в себе подозрительно-нигилистического не имеющую, обстановку,

<sup>1</sup> На суд, однако, вызвали всех свидетелей и не побоялись, что они лишатся места..



как видно, смутился, сел и терпеливо ждал, пока я вышел к нему из настоящей спальни, где начинался подкоп.

Как было сказано выше, мы тогда благополучно выбрались из Кишинева, и, благодаря хорошей заделке подкопа, вероятно, так бы он и остался навсегда неоткрытым, не выдай Меркулов.

Свидетели узнали меня сразу, и здесь я не стал уже и упираться, а подписал протокол без разговоров.

— Вот и покончили!—радостно заметил Добржинский.

— Да, теперь остается только выпустить меня на все четыре стороны—шучу я вслух.

— Что ж! я бы не прочь, но, знаете, это ведь не от меня зависит,—серьезно начал почему-то оправдываться Добржинский, приняв мои слова всерьез.—А что бы вы сделали, если б я с вами пошел один по Кишиневу?—вдруг выпаливает он и добавляет:—Я не боюсь вас.

— Что? Ушел бы—и только!—отвечаю я.

— И убивать не стали бы?

— Зачем? Нет! В этом для меня нет нужды. Я знаю немного город, скрыться нетрудно, и я попытался бы сбежать.

— Ага, дело-то, видно, знакомое! Как это была ваша фамилия, когда вы служили в Киеве надзирателем в тюрьме? Тихонов, кажется,—продолжал Добржинский, заглядывая в книгу, лежавшую на столе и развернутую на эту фамилию.

— Тихонов. Однако, хорошая-таки у вас память: запомнить все псевдонимы не легко!

— Знаете что,—перескочил неожиданно Добржинский,—мы сейчас едем в Харьков. Там тоже следы вашего пребывания открываются. Не хотите ли проехаться вместе? Вы, наверно, многое могли бы поведать о себе: как вы кучером служили, как свиней пасли, коров гоняли. Нам все известно, но хотелось бы знать полней, а то все это с вами погибнет для истории, мы же все это сохраним... И почему это вас постоянно на такие низкие роли определяли?—вдруг закончил Добржинский, испытующе смотря мне в глаза.

Я рассмеялся:—Нет, уж или я сам, или мои товарищи пусть когда-нибудь расскажут! А вы, как-никак, все же мой враг. А низких ролей я не понимаю, всякая роль—великая, по-моему, раз она необходима.

Добржинский не стал больше приставать, и на этом мы распрощались. На другой день меня повезли в Киев. Ни Добржинский, ни Новицкий туда не поехали: это было для них дело второстепенное. Не знаю, случайно или по их приказанию, но из Кишинева до Киева, вместо двух обычных унтеров, со мной в вагоне ехало штук 6—8 жандармов.

В Киеве повезли сначала к жандармскому полковнику, а потом уже в тюрьму. Здесь сразу бросились в глаза изменения, перестройки, сделанные после побега Стефановича, Дейча и Бохановского. От здания тюрьмы к тюремной ограде шел высокий частокол, и в нем



была дверь. Через нее-то и повели меня в политическое отделение. Раньше, при мне, когда я там служил, на коридоры политических ходили через коридоры уголовных. Теперь был сделан особый ход, и то крыло тюрьмы, где помещались политические, было изолировано от уголовного отделения высокими заборами, а внутри заделали проход из коридора уголовных на коридор политических. На политическом коридоре изменилось лишь то, что бывший клозет превратили в комнату для надзирателя—он теперь специально нанимался для этого только коридора и получал уже 25 р., а не 10—15 р., как было при мне. Комнату рядом, где помещался когда-то всякий хлам и якобы чистое арестантское белье, превратили в камеру и в нее-то и посадили теперь меня. Она совершенно была изолирована узким коридорчиком от прочих камер. Но в этот коридорчик против моей камеры поставлен был деревянный шкаф, а в нем устроен современный клозет; благодаря этому, не успела закрыться за мной дверь, не успел я осмотреться, как у моего дверного глазка появился уже молодой человек<sup>1</sup>, назвал свою фамилию, сказал, что он политический и, узнав, кто я, ознакомил меня со всеми сидящими.

На женском отделении оказались Фанни Морейнис и «Баска» (Якимова). Мои окна были против их окон, нас разделял большой двор, но это не мешало перекрикиваться. Тут я подробно узнал об аресте Ланганса, Якимовой, Фанни и др. Здесь же мне рассказали, что увод мною трех быстро превратился в увод шести, и не через ворота, а каким-то особым путем. Эта легенда воскресла с моим привозом, стала ходить по тюрьме, обсуждаться вслух и повела к тому, что начальство, услышав, испугалось, насторожилось, и через несколько часов я имел удовольствие видеть, что военный караул во дворе увеличен.

Посадили меня, как я сказал выше, в бывшую кладовку, где со всяким хламом хранилось когда-то и белье уголовных. Хорошо, что теперь мне почти целый день приходилось жить не в одиночестве, а, так сказать, на народе, иначе одна картина, сохранившаяся в воспоминании, не давала бы покоя и тяготила бы постоянно. Однажды, в мою бытность ключником, мною было получено из цейхгауза большое количество якобы чистых рубах для раздачи уголовным в обмен на грязные. Все чистое белье я сложил в эту кладовку и пригласил приходить обменивать. К моему удивлению, сделали это немногие и новички, но большинство стало уклоняться. Брали белье больше игроки для ставки на кон. Таким образом, белье осталось лежать в кладовке, и скоро я, без всяких расспросов, узнал сам причину уклонения от чистых рубах. Как-то, войдя в кладовку, я положительно был поражен и приведен в ужас той массой белесоватых, громадных насекомых (вшей), которые копошились по поверхности

<sup>1</sup> Про мой привод в тюрьму узнали сейчас же, потому что, проходя мимо камер, я заглянул в один дверной глазок и сказал громко: «здорово!».



кучи, вороша, двигая самое белье, при получке которого я ничего не заметил. Их белесоватость об'яснялась голодом, и отказ арестантов брать такое белье стал понятен. Никто не хотел отдавать свое тело на с'едение голодным зверям. В старом, хотя и грязном белье, зверь был все-таки подкормлен и в меньшем количестве.

В Киеве меня держали не больше недели, и за это время мы не успели еще наговориться, а потому—то у дверей, то у окна, то на прогулке внимание отвлекалось этими разговорами, разными сообщениями, по вечерам—песнями. Кроме чисто политических, в это время на уголовном отделении много сидело рабочих с одного бунтовавшего завода, и некоторые из этих рабочих подходили к ограде, рассказывали про свои подвиги, стараясь выставить себя борцами против буржуев, даже революционерами. На деле же, как мне передавали свои, весь бунт имел скорей погромный характер. Хозяином завода был еврей—и это-то играло главную роль. Вечерами устраивалось пение сообща—политическими и уголовными. Таким образом, весь день уходил на общение с другими, и времени на собственные чувствования и ощущения совершенно не оставалось.

Следствие в Киеве закончилось быстро. Свидетелей налицо было много, я не отказывался подписать протокол, и меня вскоре повезли обратно в Питер. Перед от'ездом смотрителю передали небольшую сумму денег и просили передать мне. Он обещал, но мне, т.-е. моему унтеру, не дал ни копейки и даже не сказал про них ни слова. То же произошло и в Питере. Мне на дорогу принесли всякой еды и 25 р. Деньги я спрятал и, когда приехали в Питер, то сам, не дожидаясь обыска, передал Леснику (смотрителю). Он их взял и конфисковал, не знаю только, в чью пользу. Из них я не получил ни гроша.

В Трубецком попрежнему ко мне не посадили жандармов, но зато поместили меня между двумя такими заключенными, в камерах которых они были. О перестукивании не могло быть и речи, и я всецело отдался чтению. Мне попалась «История России» Соловьева и заинтересовала больше всякого романа. В гимназиях, хотя и проходят историю, но больше обращают внимание на количество фактов, особенно войн, усобиц, поверхностно касаясь причин их. Особенно удельно-вечевой период на Руси, помню, не только нам, но и нашим учителям, по их признанию, представлялся какой-то путаницей, лабиринтом, в котором всякий ногу сломит.

Соловьев с его родовой системой сразу осветил мне эту темноту. Мне сразу стали понятны и эти войны и все эти Мстиславы, Ольговичи, изгои, добивавшиеся Киева. О дальнейшем же и толковать нечего. Только теперь ясно как-то выступила Действительная история русского государства, и, читая, перечитывая, даже заучивая наизусть эту историю, я не заметил, как подошел суд.

Меня вызвали в комиссию, дали подписать бумагу о суде, сказали, чтоб выбрал себе защитника. Смотритель предупредительно предложил даже пригласить Королева, которого, как после я узнал,



выбрала Т. Ив. Лебедева, арестованная уже после меня. Я отказался, вспомнив, что когда-то на воле все относились отрицательно к суду и, вообще, к защите себя. Условия, однако, меняются, и многие по нашему процессу взяли себе защитников. Пришлось и мне раскаиваться в своем отказе.

Перед судом нас перевезли в Предварилку. Здесь, не успела затвориться за мной дверь, как в камере послышался стук в трубу и какие-то человеческие голоса. Сначала я никак не мог понять, откуда они. Начинаю ходить, искать—у клозета звуки яснее. Прислушался, действительно—оттуда. Заговорил сам—отвечают. Из ответов и вопросов узнаю, что, кажется, не политический, незнакомый. Замолкаю и отказываюсь продолжать переговоры, боясь наскочить на шпика. То же вышло и со стуком. Своих около не оказалось, а с посторонними я не захотел перестукиваться.

Пришел Муравьев<sup>1</sup> — тогда начинающий прокурор. Стал спрашивать, нет ли каких просьб. Меня больше всего смущало, что у меня не было чистых крахмальных рубах и хорошего костюма. Не придумав ничего другого, я попросил его распорядиться, чтобы мне вымыли и приготовили к суду две чистых рубахи. Взятый на улице, я не имел ни белья, ни порядочного костюма. Явиться же на суд плохо, грязно одетым меня коробило—казалось рисовкой, пахло нигилизмом.

Муравьев, снисходительно выслушав, даже сконфузясь за меня, только переглянулся с заведующим Предварилкой и со словами: «это уже вот к ним вам надо обратиться»,—ушел. Рубахи забрали и на другой же день представили мне в наилучшем виде. Скоро, к великому моему удовольствию, появился и новый костюм, подушка и проч.

У Т. Ив. Лебедевой был брат, мировой судья. Его супруга, В. Д. Лебедева, молодая, красивая и энергичная женщина, приехав в Питер, добилась не только свидания с Татьяной Ивановной, но ей сначала разрешили видаться даже и со мной, как мужем Т. Ив. Испортил дело я. Не зная об аресте Т. Ив., я отказывался от знакомства с ней и не заявил, что считаю ее своей женой. Поэтому свидание у нас не состоялось, но сюртук, брюки, подушку и разные яства мне от В. Д. стали передавать, немало удивив тем, что присылалось все любимое или необходимое мне. В заключении как-то особенно сильно чувствуется всякое внимание, ласка, и вот прошло с тех пор 44 года—дело было в 1882 году—и до сих пор я не могу вспомнить этого факта без глубокого чувства благодарности и сердечного «спасибо». Во всем тогда сказалась чуткая душа милой, родной сестры. Привет же тебе, моя дорогая, за все твои хлопоты и внимание!..

<sup>1</sup> Николай Валерьянович, выступавший обвинителем и на процессе первомартовцев. Впоследствии—министр юстиции.—*Ред.*



## II. Движение 70-х годов <sup>1</sup>.

Хотя о движении 70-х и 80-х годов немало уже написано, но все-таки мне не раз пришлось слышать, почему это я, очевидец и участник этого движения, не опишу в более последовательном порядке разные этапы движения в их постепенном развитии. Я и решил изложить весь ход дела, как сохранилось это в моей памяти.

Освобождение крестьян, новый суд, земство, мировые посредники и другие реформы, имевшие начало в шестидесятых годах и задуманные сначала широко, к концу этого десятилетия, как известно, перестали удовлетворять прогрессивную часть общества. Явилась критика, охлаждение. А между тем, общество, ободренное этими реформами, как бы очнувшись от долгого сна, вдруг страшно заторопилось, чтобы наверстать пропущенное время, и принялось за энергичную критику старых устоев.

Карьеризм, взяточничество, погоня за богатством, почестями, семейный деспотизм, битье детей,—все это порицалось, и на место их выставлялись на первый план идея долга, служения стране, народу, свобода личности, принесение себя в жертву долгу. Люди, охваченные такими порывами, набрасываются на школы, артели, ассоциации, чтобы помочь народной темноте и ее бедности. Идут в земство, в суд, в городские управы с тою же мыслью приносить пользу стране. Работа закипает по всем направлениям, но скоро начинается и охлаждение. Реформы не получают настоящего развития и начинают даже урезываться. Школы отнимают, всюду воздвигают стеснения, запреты. Легальная деятельность сильно тормозится. Это охлаждает многих, и вот не прошло и десяти лет, как укрепилось убеждение в том, что никакими частичными реформами, никакой легальной деятельностью народному горю, беде народа не помочь... Так, например, освобождение крестьян в том виде, как оно было проведено, не только не улучшило их положения, но в материальном отношении еще ухудшило. Земство, ограниченное в своих средствах и в своей деятельности, не было в состоянии дать ни школы для всех, ни медицинской помощи. О поднятии же крестьянского хозяйства и думать было нечего.

Молодежь, чуткая ко всему, быстро схватывает ходячие мысли, усваивает и делает свои выводы, не останавливаясь ни перед чем.

<sup>1</sup> Первоначально напечатано в «Современнике». 1913, № 11. — *Ред.*



Воспитанная шестидесятыми годами, она глубже впитала в себя и идею служения на пользу народа, и отрицание карьеризма, и—личных благ. Многие в детстве переживали тогда еще искреннюю веру. Для них учение Христа — положить душу свою за других, раздать имущество, претерпеть муки за веру, идею, оставить ради них отца и мать, отдать всего себя на служение другим—было заветом бога. На этой почве уже нетрудно было усвоить и учение шестидесятых годов о долге перед народом, о необходимости заплатить ему за все блага, полученные от рождения. Необходимость отдать себя всецело на служение народу, стране казалась обязательной, и каждый, проникаясь этой мыслью, очень рано начинал задавать себе вопрос, как и в какой форме он сможет это сделать.

Собрания молодежи того времени, с целью саморазвития, выработки мировоззрения, главным образом, и сводились к тому, чтобы уяснить себе этот вопрос. И в конце шестидесятых годов мы наталкиваемся уже на целую организацию таких собраний, устроенных Нечаевым, где не только занимаются саморазвитием, но уже ставят вопрос и о необходимости приступить к делу.

С нечаевской организации и следовало бы собственно начать историю 70-х годов, как организации, имевшей место накануне их, но есть особенности, по которым дело Нечаева скорее относится к прошедшему десятилетию, чем к наступающему, и резкой чертой отделяется от него. Уцелевшие после погрома в очень незначительном количестве «нечаевцы» потом пристали к дальнейшему движению. Большая часть их относилась скорее отрицательно, а то и враждебно к самому Нечаеву, переноса это и на самое дело, к которому он призывал. Я помню, как удивились в Москве на одном вечере, когда я высказал в 1872 г. несколько слов в защиту Нечаева. «Первый раз это слышу»,—заметил один новичек в нечаевском деле. Все оно держалось как бы одним человеком, сумевшим заставить поверить в существование какого-то сильного заграничного комитета, и так продолжалось до первого случая, когда эта фиктивность комитета стала ясной. Выходило так, что людей связывала не общая идея, а лишь крепкие вожжи—сильная воля Нечаева. Лопнули вожжи, не стало Нечаева, и дело разом было брошено. Многие винят в этом Нечаева. Говорят, что его генеральство, его система надувательства были причиной, что погрому удалось совершенно уничтожить всю организацию. Мне же кажется, что эта гибель организации была естественна. Ею кончились шестидесятые годы, когда еще не вполне пропала вера в возможность продуктивной легальной деятельности, когда чисто студенческие дела, как борьба за кассы взаимопомощи, библиотеки, право собраний, кухмистерские, отвлекали молодежь от общественных вопросов. Такие верующие в легальные пути личности встречались даже и позднее—в 71—72 г.г.,—но раньше их, конечно, было больше, и вот в этом и надо искать разрешение вопроса, почему уцелевшие нечаевцы не пошли потом в народ, а попытались войти



в жизнь, занять различные положения. Поэтому же, вероятно, в 1869 году люди туго, как бы нехотя, вступали в организацию, и она не могла развернуться так широко, как это вышло 4-5 лет спустя— в 1874 году. По всему этому я начну с 70-х годов. Семидесятые годы начинаются тоже с кружков саморазвития, самообразования, но за какие-нибудь два-три года, отделяющие их от предшествующих движений, много ушло воды, многое изменилось: критика окончательно подорвала веру в продуктивность легальной деятельности. На все реформы стали теперь смотреть, как на заплаты, которые не только не помогают чинить старое платье, а еще больше его раздирают.

Давно уже, во времена Нечаевского процесса в 71 году в Петербурге, по тому интересу, с каким следила тогда за ним молодежь, видно было, что времена меняются, что отношение теперь совсем иное. Студенты, чтобы попасть в залу суда на разбор дела, иногда дежурили напролет всю ночь на дворе суда. Зал набивался публикой до невозможного. Газеты брались нарасхват, а речами защитников и подсудимых зачитываются все,—больше, чем романами. Главное обвинение вращается около убийства Иванова, и прокуратура всячески старается выставить подсудимых в дурном свете. Публика и сама не одобряет факта, но она пропускает его мимо ушей, как бы не замечая его или пытаясь взвалить все на отсутствующего Нечаева, подыскивает для подсудимых разные оправдательные мотивы, рисуя их героями, мучениками за идею, за желание поработать на пользу народа. От них, от их смелых речей все в восторге, им в душе рукоплещут. Выходило так, что не их судят, а они судят правительство, его непорядки.

Благодаря такой идеализации, этот процесс, вероятно, заставил очень многих задуматься над вопросом, что делать, какую выбрать деятельность, чтобы быть полезным другим? По крайней мере, со мной и товарищами вышло следующее. Главная драма нечаевцев разыгрывается в Московской Земледельческой академии. Это сразу наталкивает меня с товарищами на мысль ехать туда, изучать сельское хозяйство, стать агрономами и в качестве таковых нести свои знания в деревню, научить ее улучшенным способам обработки земли и ее удобрению и т. д. Нас было шестеро. Некоторые из нас находились уже в Лесном институте, где проходила и агрономия, но она стояла здесь на втором плане, а в Петровской академии—наоборот, и нас потянуло туда. Благодаря нечаевскому процессу Петровка казалась выше, интересней. В ней и все порядки были иные, более свободные: курсов не было,—всякий выбирал и изучал только то, что ему нравилось. После гимназии, после обязательных уроков, экзаменов эта свобода особенно прельщала, и мы, быстро собравшись, двинулись в путь. С переездом в Петровку, вскоре знакомимся с более старыми петровцами и через них мало-по-малу втягиваемся в начавшееся движение 70-х годов. Товарищи мои, впрочем, через год



уезжают, но я остаюсь, вступаю в кружок Чайковского и, вместе с прочими, переживаю все десятилетие, вплоть до ареста 17-го марта 1881 года. В 74-м году я делаюсь нелегальным, мне советуют бежать за границу, но я отказываюсь, как и позднее, и, таким образом, все это время нахожусь в России, принимая участие и в хождении в народ, и в поселениях, и в бунтарстве, и в «Земле и Воле», и в «Народной Воле». Все эти этапы движения 70-х и 80-х годов и хочу я изложить в личном переживании. Начну с Петровки.

Едва мы высадились на полустанке «Петровская Академия», как начали восхищаться прежде всего полосами чудного хлеба, а затем роскошной лиственничной аллеей, ведущей к академии. Кончилась аллея—новый восторг: небольшой, но очень изящный дворец, где читались лекции, за ним большой парк с громадными аллеями по сторонам главной дороги, далее—обширный пруд, озеро, кругом—лес. Увидали впервые, скачущих по деревьям белок, отыскиали и якобы Ивановский грот, где разыгралась трагедия,—все это в первый раз представлялось в каком-то особенно необычайном виде, и мы вполне были довольны своим выбором. Однако, недолго длился наш восторг. Действительность чуть ли не на другой же день принялась окачивать нас холодной водой. Петровку преобразовали: с этого года вводились курсы, обязательные переходы, необходимость выдерживать экзамены на соответствующий курс по числу проведенных в академии лет. Для поступления требовался гимназический аттестат. Вольной жизни положен был конец. Столовую у студентов отобрали. Лавочка и библиотека закрылись, а товары и книги разобрали по рукам. Студенческих старост не стало; многие в силу всего этого должны были оставить Петровку, другие не могли поступить в нее. Повеяло пустотой, серой осенью, кругом стало неуютно и грустно за разъезжающихся.

Проходит так некоторое время, и вдруг неожиданно наносится самый сильный удар, разбивающий все наши мечты и надежды быть полезными народу своими знаниями.

Гуляя по окрестностям, мы вскоре наткнулись на жалкие, чахлые хлебные полоски крестьян из соседней деревни. Что за диво? Вблизи академии, вблизи стольких знатоков дела, рядом с ее высоким, густым хлебом—такой редкий низкий хлеб. «Где, в чем причина?—бросились мы с расспросами к старшим знакомым петровцам.—Ведь цель академии в том и состоит, чтобы научить мужика умело обращаться с землей, дать ему возможность этим избавиться от голодания, а тут как будто и нет ее на свете, или она за тридевять земель. Ни малейшего влияния».—«Почему? А потому, что народ не хочет знать нашей науки»,—отвечают нам пытавшиеся, по их словам, внести культуру в деревню.—«Как жили и работали отцы наши, так и мы хотим жить и работать»,—отвечали будто им в деревнях и наотрез отказались от всяких новшеств.



Не зная деревни, не зная, как и при каких обстоятельствах происходило дело, мы не могли отнестись критически к словам говорящих и, веря им всецело, верили и их выводам, видя к тому же, что пример академии, действительно, не произвел ни малейшего влияния. Но раз это так, раз народ не желает воспользоваться нашими знаниями, то на что нам и знания, дипломы? Ведь еще в гимназии мы уже стали критически относиться к дипломам ради карьеры; наука же ради самой науки нас тоже не интересовала, казалась роскошью. Нам нужна была такая наука, которую можно было бы использовать сейчас, в настоящее время, и притом не ради личной выгоды, а на пользу общую, на пользу бедняка. Такой наукой мы считали агрономию, но нам сказали, что она бессильна что-либо сделать, и у нас разом пропадает всякий интерес к ней, к Петровке. Мы почти забрасываем лекции и принимаемся за чтение журналов, книг, в роде Спенсера, Дрепера, Милля, «Исторических писем» Лаврова, Лассаля, Флеровского—словом, книг общеобразовательного содержания.

В свою очередь, более старые петровцы, оправившись несколько от нечаевской истории и от новшеств Петровки, зашевелились снова и, войдя в сношения с петербургскими кружками самообразования, начали устраивать обычные тогда вечера. К известному дню прочитывалась та или другая книга, кто-нибудь писал реферат. Выслушав его, делали возражения, и начинался горячий спор, часто вскоре уклонявшийся от первоначальной темы, но на это никто не обращал внимания,—каждому хотелось излить накопившееся в нем. Вечера выходили бурными, шумными, по первому впечатлению, можно сказать, бестолковыми, но на деле сильно спланивавшими людей, помогавшими их развитию и выработке взглядов. Пригласили и нас. А так как мы жили большой компанией и имели в своем распоряжении целую дачу, то эти вечера иногда устраивали и у нас. Так прошла зима начала 72 года. Весной четверо из товарищей, с которыми я приехал в Петровку, уехали, один взялся за науку, я же вступил в кружок, находившийся в связи с Петербургом. Там, покончив уже с личным саморазвитием, выработав себе уже определенные взгляды, люди—это были будущие чайковцы—надумали помогать другим в этом. Они, войдя в соглашение с разными издателями и книжными магазинами, стали приобретать с большой уступкой книги общеобразовательного характера и рассылать их по разным университетским и неуниверситетским городам, где у них заведены были уже и знакомства между студентами и др. молодежью. Пытались снабжать и деревню такими книгами, как «Дедушка Егор» и в этом роде, но это не пошло. Помню, как большой тук этого «Егорушки», хранившийся в номерах на чердаке, где я жил, так и исчез неизвестно куда, не будучи использован, а распространитель его попал в кутузку. Распространение же книг для интеллигенции пошло сразу хорошо. Кроме саморазвития, это дело имело и еще одно важное значение:



благодаря ему, теперь Петербург, Москва, Харьков, Киев, Одесса и другие города (Тула, Орел, Вятка, Пермь, Саратов, Самара, Ростов, Вильно, Минск, Херсон) связаны были делом и очутились в тесном общении друг с другом. Распространение книг и явилось, таким образом, первым практическим шагом начинавшегося движения. Это, конечно, не осталось в тайне: начались аресты, стеснения, и книжному делу скоро положен был конец; но тогда взялась, и опять в Петербурге, та же компания уже за дальнейшее.

Заводили знакомства с рабочими, приглашали их к себе, некоторые из кружка поступали даже на фабрики, и все это с тем, чтобы обучить рабочих грамоте, помочь их развитию. Явилось несколько школ на домах, не то ходили прямо в артели, начинали с грамоты, арифметики, географии, истории, русского языка, а затем уже переходили и к политике.

Тихомиров пишет «Сказку о четырех братьях». Москва и другие города еще не выступают на практическую почву. У нас в Петровке идет еще усиленная разработка вопроса о возможности продуктивной легальной деятельности на пользу народа при данных условиях. О личной карьере, конечно, никто в кружке не заикается, но есть еще единицы, которые пытаются доказать, что в земстве возможно сделать многое. К концу 72 года эти голоса уже окончательно умолкают, и общим мнением становится, что никакими реформами горю не помочь, что все это лишь «заплаты», что при помощи их, как «в корыте моря не переплыть», как «шилом воды не нагреть». Есть немудрая книжка того времени, это—«Хроника села Смурина» Засодимского. В ней все это и излагается в виде повести. Здесь все благие начинания рушатся от соприкосновения с действительностью, и герои невольно приходят к вышеуказанному выводу. Насколько основательно был сделан вывод—это дело другое, этого я не касаюсь. Я описываю, как было дело. Мы его вполне разделяли, зачитываясь Шпильгагеном («Один в поле не воин»), и сообразно с этим стали искать выхода в другом. Французская революция, борьба коммунаров, Стенька Разин, Пугачев, гайдамаки,—вот единственный путь, на который призывал нас герой этого романа Шпильгагена. Путь этот казался нам самым целесообразным, и мы принялись обсуждать, как же его осуществить? Несомненно, освобождение крестьян без достаточного количества земли их не удовлетворило и породило сильное недовольство. Народ никак не может помириться с этим и только и думает и гадает, как бы ему заполучить настоящий надел. Надо, воспользовавшись его недовольством, попытаться способом Разина, Пугачева, чтобы дать ему землю, а вместе с тем установить и более справедливый порядок. Вопрос лишь в том, как поднять народ, как сделать, чтобы и он понял, что это единственный способ, что надеяться ему более не на кого и не на что? Другого пути нет, и мы обязаны, это наш долг растолковать, раз'яснить и помочь ему организовать, ибо все бунты Разина, Пугачева потому и не



удались, потому и не достигли цели, что народ не был организован. Это одно, но раньше надо еще суметь подойти к народу, надо, чтобы он поверил говорящему, а мы так мало знаем деревню, мужика, пожалуй, не сможем и заговорить-то с ним понятным языком, можем показаться барами. Дело пропащее: барину он не поверит. Как же быть? Ставится вопрос: с чего, как начать? Очень просто. Надо обучить, развить рабочих, и тогда вот вам и естественные пропагандисты-посредники, с которыми вы сможете и войти в доверие к мужику и передать понятно свои мысли. «Петербургцы уже этим и занялись»,—отвечали от лица петербуржцев наши устроители вечеров, и Москва пошла по следам Петербурга. До чего в то время мысль о занятиях с рабочими висела в воздухе—сужу по себе.

Ради стипендии мне необходимо было держать экзамены. Но так как весь год я занимался плохо (на моих руках была лавочка, тайная библиотека, а, главное, моя квартира, находясь в центре, представляла как бы заезжий двор, куда приходили, уходили, толкались), то на приготовление к экзаменам потребовалось немало времени, и я немножко отстал от кружковых вечеров, не знал и о последнем решении относительно необходимости занятий с рабочими. Тем не менее, будучи в Москве и попав в гости к бывшему сторожу той дачи, где мне однажды пришлось жить в Петровках, я сейчас же предложил себя в учителя нескольким молодым парням (бывшим у него в гостях) после экзаменов. Раньше, живя на даче, я обучал, конечно, даром грамоте сынишку этого сторожа. Теперь он меня встретил и затащил к себе (он жил и работал теперь на Прохоровской фабрике). Таким образом, предложение обучать грамоте рабочих являлось как бы делом естественным и само собой понятным. Мы желали поделиться своими знаниями, рабочие жаждали их. С этими новознакомцами мне, однако, не удалось устроить занятия: они скоро перебрались далеко на другие фабрики, но вместо них я заполучил зато целую маленькую артель на Хитровом рынке в маленьком заводике шипучих вод. После экзаменов, повидавшись с товарищами, переехавшими в Москву, я сообщил им о своем намерении учить рабочих. «А мы в Москве уже завели такие занятия. Завтра приезжает Чайковский. Приходи-ка повидаться с ним»,—заметили мне. Я пошел и был принят в члены его кружка, а затем, немного спустя, мне передали для занятий и артель рабочих. В 73-м году занятия с рабочими, как вторичная стадия движения, достигают высшего развития. Кроме чайковцев, в это время выступают и долгушинцы в Москве. Отпечатав прокламации «К русскому народу», «Как должно жить по закону природы и правды» и «К интеллигентным людям»,—долгушинцы тоже начинают заводить знакомства с фабричными рабочими, устраивая свидания в Москве, на нашей квартире. Ради занятий в артели я переехал в Москву, и здесь нас трое наняли небольшую квартиру, завели верстаки и принялись обучаться столярству. Моими товарищами были



Князев и Аносов—учителем был рабочий, бежавший уже из Питера от преследования.

Долгушинцев скоро арестовывают, и они сходят со сцены. В Петербурге аресты чайковцев хотя тоже начались, и даже раньше, но с ними не так легко было справиться. Большая часть из них успела избежать ареста и перебралась частью в Москву, другие же остались и повели дело более конспиративно.

На ряду с переходом к занятиям с рабочими, явилась мысль и о нелегальной литературе. Для этого обратились за границу, вступили в переговоры с Лавровым об издании большого журнала. В результате появляются несколько книжек и журнал «Вперед». Но пока настраивалось это дело, жизнь ушла уже вперед, и журнал Лаврова не мог удовлетворить всех. Люди рвались к делу, спрашивали, каким путем поднять народ, а Петр Лаврович советовал им, кончив один факультет, переходить на другой, третий. Поднялись споры, несогласия, даже некоторая враждебность, и несогласные ждали ухватились за Бакунина. Таким образом, появляются у нас лавристы и бакунисты. Бакунисты настолько считали себя обиженными, что, например, привезя в Москву «Государственность и анархию» Бакунина, они не хотели даже, чтобы эта книга попала к нам, чайковцам, считавшимся лавристами, не хотели даже брать денег на выкуп ее у контрабандиста. Но тут вышел курьез. Московские чайковцы, дав деньги через третьи руки и добыв себе два или три экземпляра книги, сейчас же принялись за ее пропаганду. Ездили несколько раз даже в Петровку и устраивали там вечера и читали Бакунина. Дело в том, что к этому времени у самой молодежи совершенно самостоятельно назревала уже мысль о необходимости, не откладывая в долгий ящик, идти в народ и войти с ним в непосредственное общение. Бакунин развивал ту же мысль, и поэтому его читали нарасхват, между тем, как «Вперед» все более и более делался книгой людей, никуда и ни к чему не спешащих. Но так как это был солидный журнал и журнал с того берега, то его все-таки долго не бросали, поддерживали, перевозили, хотя он и не направлял жизнь,—она шла сама по себе. И споры лавристов с бакунистами имели больше теоретическое, чем практическое значение. Как те, так и другие в 73—74 г.г. решили уже, что знаний у нас достаточно, что если бы удалось нам передать эти знания народу и поднять его развитие хотя бы до нашего, то большего и желать нечего. Дело не в приобретении новых знаний, а в том, как научить народ, как подойти к нему, чтобы передать ему свои мысли, стремления, как поднять его на революцию.

Занятия с рабочими, став известными, подверглись сильному гонению. Дело стало сильно тормозиться, и выработка посредников затянулась, а время не ждет. Двое из более нетерпеливых (Рогачев и Кравчинский) одеваются в простые костюмы, идут в деревню, делаются пильщиками и, как таковые, принимаются за пропаганду. К удивлению, их слушают, понимают, а, главное, верят. Дело нала-



живается сразу, но тут вмешивается посторонняя сила, их арестовывают и везут к становому. С дороги, однако, при содействии крестьян, им удастся бежать. Очутившись в Москве, они с восторгом, горячо рассказывают всем и каждому о своем успехе. Молва, что народ может понимать нас и поверит, раз мы явимся в мужицком виде, быстро расходится повсюду, и поднимается вопрос: стоит ли продолжать занятия с рабочими? не лучше ли, подготовившись к какому-нибудь ремеслу, двинуться прямо самим в народ, не выжидая, когда выработается достаточно посредников?

И вот, в конце 73 года, в Москву приезжает из Петербурга Кропоткин,—устраивается собрание, и эти вопросы ставятся на решение. Сначала подробно уясняется, в каком положении находится дело с рабочими, а затем, на основании этого, все единогласно решают, что занятия необходимо пока прекратить, а вместо этого надо начать готовиться к весне, чтобы идти по деревням. Такое постановление у нас в Москве состоялось еще до появления книги Бакунина в России. В силу его мы сейчас же занялись устройством столярной и сапожно-башмачной мастерской. На мое мещанское имя была открыта в Москве столярная, и я с Аносовым, как умеющие уже немного строгать и пилить, принялись обучать петровцев. Позднее приехал Войнаральский и устроил еще столярную мастерскую, где, однако, больше учились сапожно-башмачному делу. То же происходит и в других городах. Начали заготавливать уже и костюмы: полушубки, поддевки, сарафаны, паневы, простые сапоги, башмаки. Было убеждение, что надо как можно хуже, беднее одеться.

У нас в Москве многие условились, чтобы осенью, побывавши в народе, съехаться и тогда окончательно решить, что делать и как делать. Другие, напротив, собирались прямо вести бунтарскую пропаганду и рассчитывали в три года покончить дело. Наконец, наступила весна 74 года, тронулись реки, а вместе с ними разлилось широкой волной по всей Руси молодое движение. Шли на Урал, на Волгу, на Дон, на Днепр. Выбирали местности, известные уже в истории своими движениями. Некоторые, впрочем, не уходя в деревни, проникли в артели пришлых плотников, каменщиков и вели там пропаганду.

Шишко, трое рабочих, Аносов и я выбрали Урал. Начитавшись у Ядринцева, что из Сибири ежегодно бежит около 40.000 человек, мы надумали воспользоваться этим обстоятельством, чтобы попытаться организовать из них боевой отряд. О пропаганде же среди сибирских крестьян мы и прежде мало думали, когда же увидали некоторую их зажиточность, изобилие скота, земли, крепкие избы, отсутствие жалоб и неудовольствия, то и подавно не стали пробовать заводить бунтовские речи. Например, бывшие заводские рабочие под Екатеринбургом были очень довольны уже тем, что теперь они могут вдоволь есть пшеничного хлеба, между тем как раньше и черного-то не давали.



Перевалив через Урал, подивившись, что на границе между Европой и Азией нет ни бугорка, ни горки, а ровная степь лишь, на которой стоит у дороги столб с надписью на одной стороне «Европа» и на другой «Азия», мы двинулись к Екатеринбургу, а оттуда в сторону, на заводы и фабрики, ища места. Шишко с товарищами это удалось, мне же с Аносовым нет, и мы наняли в одной деревне комнату с хлебами, водворились там и стали ходить в лес, взбираться на отдельно стоящие горки. Картина тогда развертывалась перед нами чудная: сколько хватал глаз, видим сплошной сосновый бор, а среди него, как серые пятна, выглядели редко деревеньки, фабричные или заводские трубы, постройки. Главное, поражала обширность леса, его веселая свежесть; но беглых нет и не видно. Из расспросов же жителей узнаем, что беглые идут одиночками, крадучись, в ужасно изможденном виде, и выходят лишь на дальние заимки, прося хлеба у женщин; мужиков же избегают. Так мы и не встретили ни одного беглого, прожив более месяца вблизи перевала. В конце представился было отличный случай устроиться в одной деревне более основательно в качестве башмачника. Но мы получили уже из Москвы зов вернуться, а потому, сшив на обратный путь башмаки, повернули назад. Шишко с товарищами ушли еще раньше. В Нижнем нам сообщили о начавшихся арестах. В Москве нашли мы уже целую компанию возвратившихся. Меня здесь, оказалось, искали, хотя и по другому делу, в котором я не принимал никакого участия. Пока мы собирались и ходили в народ, Мышкин в Москве стал печатать в своей типографии неlegalьщину. Его арестовали, вместе арестовали наборщиц. Муж одной из них (Селиванов) был моим товарищем по Петровке; они жили на Выселках, около академии. Уезжая на Урал, я оставил в канцелярии свой адрес на их квартиру. При их аресте хватились и меня, узнали и другую мою квартиру, где я жил одно время. Однако, не подозревая, что меня поджидают, я именно и явился на эту другую квартиру. Это были дешевые номера на Хитровом рынке. Ареста я избег, но пришлось всю ночь прогулять по московским бульварам, при чем со мной могла провалиться «Копейка» Кравчинского, которую он только что написал и дал нам в номера на прочтение.

С каждым днем слухи об арестах росли и росли. Но в Москве мы еще не унывали. Устраивали собрания на Воробьевых горах и вырабатывали даже новое положение, что беглый набег на деревню необходимо оставить, а следует устраиваться там поосновательнее. В силу этого положено было в некоторых городах завести даже настоящие мастерские. Мне дана была рекомендация в Рославль, где я и поступил в железнодорожные мастерские.

В это время в Москве затевается освобождение Волховского. Выписывают и меня ради заведения сношений с тюрьмой. Побег Волховского не удался, и теперь все спешили уехать, торопясь распродать экипажи, лошадей, заготовленных для побега.



В какие-нибудь два-три месяца почти вся громадная волна движения очутилась в тюрьмах разных городов. В виду арестов мне советовали уехать за границу, но заграница мне как-то вообще не улыбалась. Я скорее готов был попасть в тюрьму и потому на предложение бежать тянул с ответом. «Поедем-ка лучше в Одессу. У нас еще там все тихо»,—неожиданно заговорил старый товарищ, Стенюшкин, узнав при встрече об этом. Он приезжал на освобождение Волховского и собирался теперь обратно. Покатили на юг. Но в Одессе узнаем, что там забраны, за исключением двух, все чайковцы. Оказались забранными и все «жебунисты»,—это небольшая группа лиц, бывших раньше за-границей и самостоятельно пришедших там к выводу о необходимости работы в деревне. Больше в качестве учителей, они еще раньше общего движения поселились в 73-м году в Малороссии, и теперь их постигла общая участь. Таким образом, так весело, бодро, с такими надеждами начавшийся год к осени представлял картину повсеместного сиденья по тюрьмам с его неизбежными последствиями,—подавленностью, некоторой разочарованностью, даже растерянностью.

Что же теперь делать уцелевшим? Не надолго ушли мы из жизни общества, но как трудно, тяжело снова войти туда, положительно нет охоты, желания тянуть обычную канитель, да и нельзя бросить сидящих товарищей. С ними заводятся сношения, начинается оживленная переписка, и на этом кончается 74-й год у нас в Одессе. В Москву же наезжает из-за границы снова молодежь и рассеивается по фабрикам, заводам и т. д., а в 1875 году принимается за пропаганду рабочих. У нас в Одессе в начале 1875 года меня снаряжают об'ехать сидящих на юге, сообщить взаимно друг другу показания их. Несмотря на погром, в Киеве и Харькове оказалось, однако, немало людей, не сложивших оружия, собирающихся к новому выступлению, и летом 75 года это происходит, хотя не в таких размерах, как было в 74-м. Я отправляюсь в Николаев. В Николаеве был кружок Ковальского, который вошел в сношения с молоканами и штундистами и, под видом их единомышленников, пытался обратить их внимание на политику. Одно время существовал взгляд, что староверы и сектанты представляют очень благодарную почву для пропаганды, а потому с ними и старались заводить знакомства. Меня же, кроме того, привлекала мысль о возможности, войдя в их среду, приписаться и стать снова легальным. Чтобы лучше сойтись, Ковальский сначала строго держался религиозных вопросов, но продолжать в этом роде, казалось, не было смысла. Наметив двух-трех более развитых из братьев, их пригласили отдельно и постарались познакомить с нашими взглядами. Несмотря на то, что у штундистов главным положением признается: «подставь правую щеку, если бьют левую»,—наши гости вскоре согласились с нашими доводами. В это время как-раз шел суд над некоторыми штундистами, и их осудили.



— Мы понимаем вас. Нам от бога дано это понятие,—говорили приглашенные,—но только не надо этого говорить всем братьям—не поймут и соблазняются; не станут вас и за братьев считать,—предупреждали они.

С одним из них мне вскоре пришлось ходить по деревням. Заходили к братьям. Мой спутник оказался отличным оратором-самородком, но хотя к этому времени пропаганда его продвинулась значительно вперед, он нигде и словом не заикнулся о политике. В силу этого пришлось молчать и мне. Необходимость молчать о политике скоро стала нас тяготить. Те немногие, что несколько нас понимали, нас не удовлетворяли; их было мало; они были городскими. Нас же больше манила деревня, а она-то не подавала никакой надежды на возможность говорить с нею по душе. Подводя итоги в конце лета, мы увидели, что почти не сдвинулись с места. Надежда на штундистов не оправдалась. Явилось недовольство, вопрос,—стоит ли продолжать?

Лучше займемся православной деревней, решаем мы и начинаем готовиться. Главное, необходимо найти денег; так как теперь надумали там устраиваться уже основательно, но денег не так-то легко достать, и дело затягивается. Приезжает Аксельрод из-за границы звать в Герцеговину, не то в Черногорию, воевать с турками, но в то же время до нас доходят темные слухи о чигиринском движении, поднятом крестьянином Прядкой. «Нет, у нас есть свое дело»,—говорим мы посланцу и остаемся в Николаеве. В Одессе же в этом году Заславский, имевший печатню, ведет пропаганду с рабочими и основывает южно-русский союз рабочих. Пропаганда рабочих в Москве ведет к арестам, но благодаря этому перебрасывается в Тулу, Иваново-Вознесенск. В Киеве основывается «коммуна», происходит движение по деревням. С чигиринцами заводят сношения. В результате хождения киевлянами вырабатывается новая программа,—чисто бунтарская. Движение из чисто пропагандистского переходит в бунтарство, оно вступает в новую стадию своего развития. На организацию этого движения и уходит конец 75 и начало 76 года.

Между тем в Николаеве, сколько мы ни хлопотали о деньгах, деньги не являлись, и мы в конце решили послать кого-нибудь в Румынию, где жил брат одного из нас, а там, как он говорил, легко их будет добыть. Поверив на слово, снаряжают меня и этого парня. Мы едем в Кишинев. Товарищ отправляется вперед, конечно, контрабандным путем. Я остаюсь выжидать такого же случая, но в это время встречаюсь с двумя знакомыми чайковцами, Виктором Костюриным и Аней Макаревич. «Дело не за деньгами стоит. Люди нужны»,—говорят они мне, когда я сообщил им о своих планах.—«Денег у нас много, людей мало. Чем тебе ездить в Румынию, приставай-ка лучше к нам и зови николаевцев»,—заклучили они, начав излагать программу киевских бунтарей.



В Киеве из предыдущего хождения в народ вынесли взгляд, что никакой пропаганды в деревне не требуется. Мужик здесь и без того настроен революционно. Нужна лишь хорошая организация, которая смогла бы поддержать и развить начавшееся восстание, а оно возможно каждый момент, если не в одном, то в другом месте. Нам остается только запастись оружием, расселиться по деревням и выжидать случая, увеличивая свои силы, подготавливаясь к выступлению. На основании таких выводов и составлена была новая программа действий некоторыми членами бывшей «киевской коммуны». Нехватало людей, но деньги были якобы в изобилии. Как-раз обратное тому, что у нас в Николаеве. Правда, мы еще не ставили вопроса о поднятии бунта, но ведь это только потому, что не наталкивались на возможность его. Но все наши начинания к тому же только и клонились, чтобы вызвать бунт, поднять его. Чего же тогда искать еще денег, заводить новые поселения в Херсонской губернии, когда все это найдется в Киевской, и я быстро соглашаюсь на предложение. Товарищу, уехавшему в Румынию, посылаю немного денег на житье, а относительно Николаева решаем ехать все втроем, сообщить им, что деньги теперь есть, что не хотят ли они пристать к Киеву. Так мы и сделали, и вся зима начала 76 года в том и прошла, что набирались люди, запасались револьверами, учились стрельбе, замечали места, где с весны лучше будет устроиться, выработали план организации, отправили за-границу купить печатный станок.

Центральным пунктом для поселения выбрали местечко Смелу Киевской губ. Здесь от прежних лет сохранился конспиративный заезжий двор, где и устраивались по временам совещания. Во главе организации поставлены были четыре инициатора (три мужчины и одна женщина)<sup>1</sup>—руководители, избранные большинством, затем члены-исполнители как постановлений собраний, так и руководителей, и, наконец, агенты,—лица, которым сообщалась программа, но дела всей организации и членов не должны были быть известны, кроме дел того члена, при котором состоял он агентом в качестве подручного сотрудника.

Великим постом 1876 года уже все поселенцы сидели по местам. Коробейники ходили по ярмаркам. Кой-кто оставался в Киеве. Двое руководителей больше раз'езжали. Так началось бунтарство.

Я поселился с Верой Ивановной Засулич. Однако, наше поселение около Смелы оказалось выбранным неудачно. Здесь, в самой Смеле, распространился слух о появлении какой-то шайки, занимающейся грабежами и отсылающей якобы деньги за границу. Этот слух, как нам передавал хозяин постоянного двора, дошел до исправника, и тот изо всех сил принялся искать шайку. К этому, как нарочно, в том селе, где мы жили с Верой Ивановной, «варта», т.-е. ночная стража

<sup>1</sup> Если память не изменила, то это были Мишка Мокриевич, Стефанович, Маруся Ковалевская и я.



из парней, остановила ехавшего к нам гостя. Несмотря на то, что у него был паспорт чиновника, его все-таки заставили переночевать в волостном правлении, выпустив лишь утром. В другом селе нашего же, державшего лавочку, посадили в кутузку за непоклон старикам.

Все это заставило насторожиться и поспешить избрать другую местность. Теперь центром уже стал Елисаветград, и в нем наняли целый дом со двором. Хозяева жили отдельно. Мы могли приезжать, уезжать—никто не видал. У некоторых появлялась мысль снять большой участок степи и на ней попытаться воспроизвести маленькую сечь, наподобие запорожской, но это ограничилось лишь тем, что поехали снять покос, но он уже был отдан другим, и о сечи умолкли. Без определенного дела становилось скучно ждать у моря погоды, но тут неожиданно получается из одного села, где раньше велась пропаганда, приглашение приехать кому-нибудь из нас для переговоров насчет бунта. Мокриевич и Дробязгин отправляются. Их принимают с почетом и устраивают настоящую «раду» (сход). В избе помещаются старики, снаружи—парубки. «Пожили, можно и на покой, лишь бы детям добиться лучшей жизни»,—было общее решение. Тут же шла речь о выборе атамана, есаулов, а, главное, о том, как привлечь на свою сторону другие станицы. Сами крестьяне стояли за манифест от лица царя. По всему было видно, что это была не случайная вспышка, а дело обдумывалось и раньше<sup>1</sup>.

Наши, вернувшись с собрания, были в полном восторге, рассказывая, вспоминая то ту, то другую частность. Дело лишь стало за нами. Требовалось оружие, и притом немало, а денег-то, хотя в Кишиневе и говорилось, что их куры не клюют, на деле оказалось очень и очень ограниченное количество. ибо расчеты на большое получение не оправдались. Едва наскребли сот пять, но была надежда, что в Петербурге «натансоновцы» достанут еще. Послали меня, как чайковца и как знающего кой-кого из петербургской компании.

В Петербурге я не получил денежной помощи от натансоновцев и накупил револьверов только на свои 500 р. С ящиками, тяжелыми саками двинулся я на юг, возбуждая всюду внимание, вопросы, что это такое. «А как думаете?»—спрашивал я сам вопрошавших.—«Слесарные инструменты, чугунные приборы»,—отвечали они мне. Я соглашался, и все успокаивались. Так доехал до Харькова. По условию, сюда должно было быть прислано письмо с указанием, в какое место удобнее доставить оружие. На вокзале вижу—письмо есть. Прошу дать, разрываю, начинаю читать и с первого же слова вижу, что дело что-то неладно. Советуют ехать прямо в Одессу, не заезжая в Елисаветград. Вчитываюсь дальше и вижу уже ясно, что случился крупный провал. Так оно и было. Открытое совещание не осталось, конечно, тайной, дошло до Киева. Оттуда налетели, и разом всему положен был конец.

<sup>1</sup> Так передавали Мокриевич и Дробязгин.



Этим заканчивается бунтарство. Большая часть разбежавшихся собирается в Харькове, и на первом плане уже является вопрос о личном существовании. Денег нет, и достать нигде. К счастью, у двух оказались приятные голоса (Аня Макаревич и Маруся Ковалевская). Их принимают петь в какой-то сад и платят по 20 или 25 руб. в месяц. На эти средства пришлось жить. Но это было еще хорошо, но продолжалось недолго, а затем наступил довольно продолжительный период, когда ради заработка более сильные и кули носили на пристани, и землю в мешках для укреплений, занимались и перепискою, актерством, сапожничеством, раза два-три задумывали даже экспроприации, но ни разу окончательно не решились или не довели дела до конца. Между тем, в Петербурге к этому времени сорганизовывается побег Кропоткина. В Одессе свежая волна молодых чайковцев взялась снова за рабочих и деревню. Здесь же появляются группа «ткачевцев» и Ковальский с юнцами из Николаева. В декабре 76 года происходит казанская история в Петербурге<sup>1</sup>. В Одессе оглушают Гориновича, обливают его, кроме того, серной кислотой. Он был раньше в компании киевской коммуны и при аресте выложил все и вся начистую. Его выпустили. Вместо того, чтобы по выпуске стать в стороне и зажить обывательской жизнью, он очутился в Елисаветграде, усиленно стал добиваться свидания со старыми знакомыми, зная хорошо, что они нелегалы и после разгрома бунтарства усиленно скрываются. Его настойчивость приняли за умысел выдать их, а потому и решили покончить с ним, но ошиблись, приняв обморок за смерть.

Из-за границы в 76 году переправляют (Стефанович и Дейч) печатный станок, и для его хранения устраивается лавочка в Одессе; образуется еще особая группа Юрковского. Вообще к концу 76 года в Одессе набирается довольно значительное количество людей разных оттенков. Здесь—и многие из бунтарей, и Ковальский, возившийся с одесскими штундистами и с юнцами из Николаева, и «башенцы», т.-е. чайковцы, начавшие только-что пропаганду между рабочими (они жили в Одессе, в башне дома Новикова), и ткачевцы, державшиеся особняком, и Юрковский, бывший, по его словам, представителем от группы сельских учителей. Народу много.

Невольно являлась мысль о сплочении всех одной программой. Дробязгин и я составляем таковую в бунтарском направлении и решаемся поставить ее на обсуждение, но раньше, чем это сделать, нам надо получить свободу от обязательств перед нашей прежней компанией, чтобы выступать не от лица ее, а от себя лично. Дело в том, что к бунтарям в Одессе относились довольно критически, называли их вспышkopуcкaтeлeями и боялись вообще входить в тесное общение. Такому отношению способствовало то обстоятельство, что большая часть бунтарей, оказалось, вышла из так-называемой киевской

<sup>1</sup> Демонстрация у Казанского собора 6 декабря.—*Ред.*



коммуны, а эта коммуна пользовалась плохой славой, и это теперь перешло на бунтарей, хотя к отдельным личностям это не относилось. Поэтому, чтобы войти в соглашение с другими кружками, чтобы составить новый, требовалось быть вполне самостоятельной, свободной личностью. Зимой на последнее собрание собрались бунтари в Киеве, и здесь, предоставив право на печатный станок Стефановичу, который все время не прерывал сношений с чигиринцами и надеялся вести дело дальше, мы объявили о роспуске нашей компании и об освобождении впредь от всяких обязательств, исключая, конечно, выдачи тайн, предательства.

Получив свободу, с развязанными руками летим мы в Одессу и уверены, что теперь наше дело будет в шляпе. К нам лично, мы знаем, относятся здесь хорошо. Устраивается собрание, раз, другой. С нами спорят, но возражения несерьезны, иногда комичны. Так, один здоровый, красивый парень, доказывая преимущество пропаганды перед бунтарством, увлекся и бухнул: «например, на свекловичных плантациях сколько бывает баб»,—но тотчас сконфузился, увидав общую улыбку, и умолкнул таким образом. Все пункты один за другим принимались дружно. Кончилось их обсуждение. Осталось согласиться теперь образовать один большой кружок и заняться выработкой внутренней организации. Не тут-то было! Время больших организаций еще не пришло. Никто из бывших не хотел лишиться свободы самостоятельного существования и действия. Соглашение не состоялось, и всяк пошел своей дорогой, пока не подошел к одному и тому же углу, и этот угол оказался не за горами. Зимой начала 77 года на юге уже перестали думать о крупных выступлениях в деревне. Люди скопляются в городах. Освобождение заключенных, заведение типографий, уничтожение шпионов—выступают на первое место.

В Киеве похищается станок, устраивается печатание<sup>1</sup>. Стефанович усиленно подготавливает для чигиринцев манифест и золотую грамоту. В Одессе я удачно вывожу 25 марта Костюрина из жандармского заключения. В Питере «троглодиты»—будущие землевольцы, организуются в солидную компанию, устраивают типографию, облюбовывают Поволжье и там заводят разные поселения, занимают места. Летом 77 года обнаруживается чигиринское дело. Стефановича, Дейча, Бохановского арестовывают. В Киеве находят квартиру свиданий с чигиринцами, устроенную Мокриевичем и Марусей Ковалевской, арестовывают приходящих туда, но Мокриевич с Марусей успевают уйти и переехать в Одессу. Сюда же передвигаются и другие киевляне, привозят шрифт, наборщика, служившего раньше в настоящей типографии. Маруся с Мокриевичем нанимают квартиру, знакомятся быстро с «башенцами» и живо сходятся с ними. Это имеет большое значение. Стена недоверия рушится, и происходит

<sup>1</sup> Это наш же станок, но его пришлось уворовать, так-сказать.



единение — рознь прекращается. В Одессе я нанимаю дом, и из него начинают вести подкоп через улицу в тюрьму, куда привезли вновь арестованного Костюрина.

Но Костюрина потребовали на суд в Петербург, а потому квартиру с подкопом пришлось бросить, зато теперь на очередь стал вопрос об освобождении Стефановича с товарищами. В конце 77 года в первый раз на юге появляется Осинский. Он привез из Петербурга деньги на освобождение Стефановича и должен был сделать наорлиц для этого дела. Желаящими оказались Мокриевич с Марусей, два «башенца» и я. Все мы сейчас же и двинулись в Киев. В Киеве мы застали довольно сильное студенческое движение, но на почве больше студенческих интересов: кухмистерской, собраний, библиотеки. Не прошло и недели, как Осинский и Волошенко делаются душой ссбраний. Однако, здесь мы не остались. Осинский, Попко, Волошенко и я едем на время в Петербург, а в Киеве Мокриевич берется завести пока сношения с тюрьмой и узнать подробнее все условия.

По приезде в Петербург, мы находим здесь необыкновенное оживление. Многих предварительно выпустили до окончания суда «193-х». Они наняли в каких-то номерах комнаты, и тут шла настоящая ярмарка, споры, сговор насчет поселения в деревню. Я и Попко наняли квартиру и начали слежку за Треповым, но Вера Засулич упредила нас. После ее выстрела мы, все южане, быстро снимаемся и едем опять в Киев. Там Осинский, Волошенко, Мокриевич уходят в работу со студенчеством. Студентами в Киеве нанимается квартира, устраиваются правильные собрания, и здесь начинают разрабатывать вопросы о конституции и вообще беседуют. Проезжие двое или трое, освобожденные по «большому процессу» (193-х), чайковцы сказали горячие речи. В университете вышла какая-то история. Явилось недовольство, захотелось в отместку выкинуть скандал. В это время приехала в Киев на гастроли Лавровская и пела в театре. Студенты задумали устроить ей оvation на улице после представления и хотели померяться силами с полицией, но тут конституционалисты засиделись на своем собрании, пришли поздно и видели только, как пришедших раньше полиция разбила на голову и гоняется за одиночками. На другой день запоздавшие отправляются к начальству и жалуются на вчерашнее избиение. Их фамилии переписываются, а затем вскоре их отправляют на север России, кажется, в Петрозаводск. В Москве на вокзале собираются московские студенты, но охотнорядцы производят настоящее побоище их.

В Киеве мне удастся освободить из тюрьмы Дейча, Бохановского и Стефановича, о чем я рассказав в другом очерке. Они на приготовленных заранее лодках пустились по Днепру в Кременчуг, а там по железной дороге в Харьков и дальше. Это освобождение произвело окончательный переполох в Киеве. Тем более, что перед этим там был заколот Гейкинг (Григорием Амфимовичем Попко), а в Котля-



ревского стреляли у самого его дома (Осинский и Медведев-Фомин). Начинает твориться нечто небывалое, особенно на юге. Здесь даже такие завзятые пропагандисты, как «башенцы», и то выделяют от себя для новых приемов борьбы Попко, Медведева, Волошенко. Что же говорить о других, которые, будучи выбиты из деревень еще раньше, сидя в городах, задумались над вопросом непосредственной борьбы? Все это был народ нелегальный, каждый миг они ждали ареста, но сдаваться не хотели, а потому запасались оружием. Этому особенно много способствовало бунтарство. Все бунтари вооружены были револьверами, учились постоянно стрельбе, и ношение револьвера, а некоторыми и кинжала, усвоено было от них и другими. В Николаеве Юрковский устроил еще раньше как-то домашнюю кузницу, и там ковались кинжалы. Словом, на юге почва сильно была уже подготовлена к чему-то новому. В Одессе же произошло и первое вооруженное сопротивление Ковальского.

Когда явился на юг Осинский, человек, умеющий замечательно привлекать к себе и совершенно не связанный ни партийной программой, ни узостью взглядов, отзывчивый на всякую новую мысль, он быстро понял настроение южан и, сам увлекаясь, толкал их дальше. Такие дела, как Гейкинга и Котляревского, несомненно, произошли под его влиянием. В деле Котляревского он и сам участвовал. В Киеве, несмотря на множество высланных, все нелегальные уцелели,—кроме того, приехали еще новые и сообщили об удачном уничтожении шпиона на Дону. Теперь это дело было поставлено на первый план, и чтобы прокламации могли произвести большее впечатление, решено было сделать печать пострашнее и чтобы она была не от какой-нибудь группы, а от целого комитета. Отсюда и появление печати от якобы исполнительного комитета, хотя пока никакой еще определенной организации не составилось и никакого исполнительного комитета не существовало. Было только много народа и много было желающих и готовых выполнить такие поручения—вот и комитет.

В это время в Петербурге задумывают большое дело. Это—освобождение некоторых осужденных по «большому процессу» и препровождаемых в Харьковскую централку. На этом деле сходятся все—и народники, и «троглодиты», и бывшие бунтари, и даже одна центристка. В Харьков наезжает много народа, покупают лошадей, экипаж, оружие, для сбития кандалов напильники, зубила, молотки. Устраивают перевязочную квартиру с женщиной-врачем (Марья Николаевна Оловенникова). Дежурные на вокзалах в Петербурге и Харькове ждут днями и ночами. Они должны известить о вывозе и привозе.

Наконец, дан сигнал о привозе. Экипаж с двумя седоками и двое верховых спешат на дорогу <sup>1</sup>, за город, но из города две дороги. По

<sup>1</sup> Адриан Михайлов — кучер, Баранников и Фроленко—седоки; Медведев и Квятковский—верхами.



какой дороге повезут?—вот вопрос, который надо еще решить. Верховой Квятковский отрягается на первую, а экипаж помещается так, чтобы поспеть и на другую. Не успел верховой вернуться, как бывшие при экипаже замечают вдали тройку на втором пути. Они сначала спешат опередить тройку и уезжают вперед, но потом дожидаются верхового, останавливаются, дают под'ехать тройке и тут открывают пальбу и по жандармам, и по лошадям. Один жандарм-проводник валится на бок, но лошади, несмотря на полученные раны, мчатся во-всю и уносят Войнаральского (это везли его). Освобождение не состоялось. Освободители повернули назад и в тот же день раз'ехались из Харькова, побросав и экипаж, и лошадей. Один Медведев (Фомин), по ошибке приехавший на другой пункт и не попавший потому на освобождение, остался в Харькове, был арестован и судим. В харьковском деле, как я сказал, участвовали уже лица разных направлений, и это имело серьезные последствия. Людей стала связывать не программа, а однородное дело. Это дело, можно сказать, и положило начало организации будущей «Народной Воли». Здесь север, в лице отдельных лиц, познакомился и сошелся с югом, а дальнейшие события вскоре заставят их сблизиться еще теснее.

Проездом через Москву попадаю к «троглодитам», сюда же приезжает из Саратова Плеханов. В Саратове произошел провал квартиры саратовских поселенцев. Необходимо было сейчас же ехать туда и известить лиц, сидящих на местах, о провале, чтобы они не ездили на провалившуюся квартиру. Это поручили сделать мне. Тут только я узнал, как широко и солидно «троглодиты» заселили Саратовскую губернию. У них были и фельдшера, и учителя, и писаря, и держатели заезжих дворов... Но только случай помог мне исполнить поручение хорошо. Под'езжая к Саратову, я заметил, что вошел (в вагон) на одной станции молодой человек, напоминающий очень молодежь 74 года, когда она направлялась в народ из Петербурга.

На вокзале, при покупке билета, можно было часто тогда отличить переодетого студента; так и теперь вошедший показался мне подозрительным. Я подселся к нему, завел разговор и понемногу выяснил, кто, откуда он. Оказался учителем такой-то деревни, фамилия такая-то. «Вас мне и нужно,—говорю.—Знаете, что в Саратове заболели такие-то?»—«Откуда вы знаете?»—привскочив в волнении, спрашивает он. Я объясняю, и мы вместе начинаем составлять план, как скорее уведомить других. Оказывается, если бы я шел тем путем, какой был мне указан в Москве, то намного бы запоздал, и кой-кто попался бы в ловушку, устроенную в квартире. Зато теперь мне самому едва удалось скрыться во-время из гостиницы и удрать в Москву. Номерному показалось странным, что ко мне вместе с хорошо одетыми барышнями заявлялись и люди в простых полушубках и валенках. Около гостиницы тотчас же появляются шпики и так неумело шныряют, что нельзя было не узнать, хотя нужно заме-



тить, я никогда особенно не обращал на них внимания и тем, кажется, постоянно сбивал их с толку: раз человек не оглядывается по сторонам, значит, совесть чиста.

В Киеве происходит вооруженное сопротивление. В Одессе расстреливают Ковальского. В Петербурге Кравчинский закалывает Мезенцева. Это ведет к разгрому «Земли и Воли» в Петербурге, но не надолго. Затем в Харькове Гольденберг убивает Кропоткина (9 февр. 1879 г.). В марте Мирский стреляет в Дрентельна, и так начинается 1879 год—год выступления «Народной Воли», год, когда события заставляют, вместо пропаганды и бунтарства, выдвинуть на первое место террор и, вместо радикального социального переустройства, остановиться на политической борьбе, как переходном этапе. Борьба закипела на смерть. Но сначала выступает совершенно самостоятельно, независимо от партий, один Соловьев; он хочет одним потрясающим фактом положить конец начавшейся борьбе. Это ему не удастся, кроме того, поднимается сильный разлад в среде действовавшей тогда «Земли и Воли». Меньшая часть членов, горожане, одобряет факт, а большинство—сельчане—страшно возмущены, находят его положительно вредным во всех отношениях. Принципиально—потому, что он ведет к конституции. Практически—потому, что у крестьян подрывает доверие к революционерам, при чем, благодаря репрессиям, труднее вести дело пропаганды. И, действительно, хотя стрелял один, но правительство, признав это за вызов какой-то большой силы, прибегло к чрезвычайным мерам; оно обратилось за помощью даже к самому обществу. Белый террор водворился на Руси. Ссылка, казни, иногда даже пустячно виновных. В Одессе повесили Дробязгина, Лизогуба и Давиденку, не имея серьезных данных, ибо обвинение Лизогуба, что он давал громадные средства на революцию, совершенно неосновательно, и судьи знали это. У Лизогуба, правда, было большое имение, но это имение больших доходов не давало, а продать его он не мог. И я лично помню, что, когда мы, бунтари, обратились к нему однажды за помощью, он наотрез отказал. Даже во время суда он долго не соглашался дать доверенность А. Михайлову. Вся же виновность Дробязгина сводилась к тому, что он был веселым, разбитным старостой в тюрьме. Административная же высылка тогда у нас на юге захватила, например, даже таких лиц, как Южаков, Гернет, думский деятель, барон Икс, писавший хорошо фельетоны<sup>1</sup>, и т. д., не говоря уже о студентах: их вагонами отправляли из Одессы. Над городом точно повис густой туман. Всех стал давить кошмар; крик, что так жить нельзя, всюду носился в воздухе. Все насторожились, стали ждать особых

<sup>1</sup> Южаков — известный публицист. Гернет, в молодости имевший касательство к делу «каракозовцев», — делопроизводитель одесской городской управы. Барон Икс — псевдоним известного на юге фельетониста Герцо-Виноградского. Все они были высланы из Одессы в 1879 г., при генерал-губернаторе Тотлебене.—*Ред.*



выступлений со стороны революционеров. Отдельные личности сами выступали иногда и предлагали себя в помощники на то, чего требует время, в чем люди видят выход. Конечно, все это виделось, чувствовалось, невольно передавалось, сообщалось, и нам казалось, что вывести из такого положения обязан никто другой, как мы, начавшие так или иначе борьбу. Поэтому спор, поднятый чистыми народниками, не только не остановил нового направления, но, напротив, побудил лишь теснее сплотиться всех действовавших раньше врассыпную и составить более прочную организацию. Вышло это так. В то время, как на юге после бунтарства не смогли организовать ни одной большой группы с единой программой, хотя народу было и много, на севере, начиная с 1876 по 1879 годы, успела вырасти, окрепнуть и выступить довольно крупная организация «Земля и Воля». В Петербурге находилась ее типография, паспортный стол, центральное правление-бюро. В деревне же к этому времени у земле-вольцев еще лучше стояло дело. Там было тихо, и до них долетали лишь отдаленные звуки начавшейся борьбы. Выстрел Соловьева нарушает этот покой, является страх за него. Между тем, жившие в Петербурге, стоявшие в центре, как А. Михайлов, Квятковский и другие, вдруг оказались на стороне Соловьева. Мало этого, когда вышла неудача, они выступили с предложением о необходимости продолжать это дело, довести его до конца. Спор достигает большого ожесточения. Несогласному меньшинству оставалось одно—выход из организации, но тогда они теряли почву под ногами. «Лучше отдадим спор на решение общего собрания»—предложили они. Тем более, что в 1879 г. должен был происходить очередной съезд всех членов организации «Земля и Воля». С этим согласились, и сторонники старой программы бросаются в деревню, чтобы там подготовить почву, познакомить членов с сутью спора. В новом направлении им чудился страшный подрыв прежней программы. Увидели в нем стремление к конституции, вместо социального переворота. В свою очередь не сидели сложа руки и новонаправленцы. В Петербурге их к этому времени набралось уже немало; решили к этому сделать еще призыв отовсюду всех единомышленников (дела в Харькове и Киеве много помогли взаимному знакомству) и, устроив предварительно частный съезд, постараться организовать в более тесную группу с определенной уже программой действий. На севере Михайлов и Квятковский занялись этим. Мне, как южанину, поручено было произвести набор, кликнуть клич в Одессе, Киеве, Орле, Харькове.

Движение, начавшееся в 70-х годах с распространения книг, завершилось в 1879 г. рождением «Народной Воли», дальше чего это движение уже и не пошло, замерев в половине 80-х годов. Замечательно здесь то, что чайковцы, главным образом, начавшие движение, сами и закончили его. Перовская, Желябов, Колодкевич, Ланганс, Морозов, я и др. встречаются на первых порах движения. Их находим и в конце.



### III. Хождение в народ 1874 года.

В настоящем году <sup>1</sup> исполняется пятидесятилетие со времени стихийного движения, охватившего русских революционеров в 1874 году, и известного под названием «хождения в народ». И до 1874 г. русские революционеры делали попытки приблизиться к народу, перенести свою пропаганду в среду народной массы, звать эту массу на восстание, но до этого года такие попытки исходили либо от отдельных лиц, либо от небольших групп и без труда пресекались правительством, ловившим пропагандистов, отдававшим их под суд и подвергавшим тяжелым наказаниям. Иное дело—хождение в народ в 1874 году. Это движение напоминало крестовые походы и захватило такую массу революционеров, что, несмотря на многочисленные аресты и ссылки, остановить его правительству не удалось. Преследования правительства лишь затормозили движение, заставив революционеров пересмотреть свою тактику. Разбитое в 1874 г. движение в народ в следующем году возникает вновь, но уже не в виде неорганизованного похода врассыпную, а более планомерно. Вместо временных летучих походов в деревню, революционеры начинают устанавливать более прочные связи с деревней, чтобы дать своей пропаганде более положительный характер.

Мысль о хождении в народ вышла из революционного кружка, известного под именем «чайковцев», возникшего первоначально в Петербурге в самом начале 70-х годов и постепенно установившего связи с революционными кружками в ряде других городов. Кружок этот, ставивший первоначально своей целью распространение легальных и нелегальных изданий, по мере своего развития и укрепления стал переходить к непосредственной пропаганде среди народных масс. Революционеры учитывали, что освобождение крестьян в той форме, в которой оно произошло в 1861 г., не разрешило крестьянского вопроса. Положение крестьян продолжало оставаться тяжелым, и сами крестьяне, недовольные манифестом об освобождении, начали волноваться тотчас же после его издания и требовать «настоящей» воли. Добиться для крестьян земли и воли и для достижения этого поднять крестьян на восстание—становится при таких условиях

<sup>1</sup> Писано в 1924 г. Статья первоначально была помещена в «Каторге и Ссылке», № 4 (11).—Ред.



основной задачей революционеров. Но прежде, чем броситься в народ и звать его на бунт, необходимо предварительно подготовить как можно более значительное количество людей, способных подойти с пропагандой к народу, не возбуждая в нем подозрений. Такими людьми представлялись в первую очередь городские рабочие, не потерявшие еще в то время связей с землей. Под влиянием этих соображений, революционеры берутся за пропаганду среди рабочих, рассчитывая, что последние, поняв суть дела, пойдут в деревню и явятся там лучшими попутчиками для революционеров-интеллигентов. Их язык, их способ выражать свои мысли, казалось, будут более понятны для крестьян, и тогда проповедь восстания скорей увенчается успехом. С такими расчетами революционеры принялись за рабочих.

Пропаганда, начатая революционерами среди рабочих, не осталась тайной для правительства, и вскоре произошли разгромы рабочих кружков, сопровождавшиеся арестами видных революционеров-пропагандистов. Остановленные в своей работе среди рабочих, революционеры тем самым приходили к мысли о необходимости ускорить непосредственное обращение к крестьянству. Революция, опирающаяся на крестьянство, представлялась единственным выходом из создавшегося положения.

И вот в 1873 году из Петербурга едет в Москву Кропоткин, собирает москвичей и ставит вопрос: стоит ли продолжать занятия с рабочими и не лучше ли революционерам все свои силы двинуть в деревню. К этому времени в Москве также начались аресты среди рабочих. Могли пойти и далее... Началось обсуждение. Раньше на заданный Кропоткиным вопрос, вероятно, не сразу бы ответили, но тут решению помогло такое обстоятельство. Когда в Питере были открыты занятия с рабочими, Кравчинский и Рогачев—оба офицеры и оба уже нелегальные—наряжаются в полушубки, идут в деревню, где распиливались брусья на доски, обучаются и, как парни физически очень сильные,—особенно Рогачев,—быстро делаются заправскими пильщиками. Их охотно принимают там в артель, и здесь в досужее время они начинают пускать свою пропаганду насчет земли и о том, как ее добыть надо; крестьяне слушают, поддакивают, сами кое-что добавляют. Дело пошло как нельзя лучше. Недоразумений, недоверия—нет ни у кого, но вот беда: слух, что появились какие-то пришлые и что они говорят все о земле, о том, что крестьяне обижены, обделены и т. п., скоро дошел до начальства, и наших пильщиков становой пристав потребовал привести к себе. Повезли их, но повезли те же крестьяне, что слушали их с охотой и ничего дурного не находили в их словах. Пришлось по дороге заночевать в пустой избе. Купили водочки, закусили, поговорили и легли все спать. Крестьяне—у дверей на полу, Кравчинский и Рогачев—на лавках. Вскоре последние услышали равномерный, громкий храп крестьян. Тогда, не медля долго, они поднимают окно, вылезают и дают тягу. 40 верст,—как они передавали,—пришлось им скорым шагом сделать за эту ночь. Крав-



чинский сильно посбил ноги, но все-таки они добрались до железной дороги, сели и прибыли в Москву как-раз в то время, когда тут решался такой важный вопрос, какой был поставлен Кропоткиным.

То, что крестьяне с охотой и полным доверием их слушали, многое сами дополняя, и отлично все понимали, теперь и послужило главным доводом в пользу того, что нечего тратить время на городских рабочих, а необходимо немедленно начать готовиться к походу в народ, оставив пока рабочих. Занятия в университетах, академиях, институтах и раньше плохо шли, теперь же окончательно было решено бросить их, говоря: «Мы и без того знаем так много, что если бы передать народу хоть десятую долю того, что мы знаем, то Россия стала бы первой страной в мире; поэтому нечего дальше торчать в высших школах, мы обязаны спешить поделиться своими знаниями, своими идеями с народом. Необходимо влить все это в него, чтобы он ясней увидел и свой гнет, и те средства и способы, при помощи которых он сможет добиться скорее всего лучших порядков, земли, воли и пр. Надо призывать его к революции». Увлечение этой мыслью доходило до того, что тех, кто хотел кончать свое образование, даже будучи на 3-4 курсе, прямо обзывали изменниками народа, подлецами. Школа покидалась, а на место ее стали вырастать мастерские—столярные, сапожные, кузнечные, и все бросились обучаться какому-либо ремеслу, чтобы явиться в деревню в качестве какого-нибудь мастерового, а не праздношатающегося.

В Москве стремление «в народ» еще не имело такого бурного характера, как в Питере, и проходило как бы после более долгого и более всестороннего рассмотрения. Университет, например, Московский совсем мало увлекался. Там больше ко двору пришелся «Вперед» Лаврова. Универсанты еще крепко держались за науку. Больше всего дала Петровско-Разумовская академия. Но зато, когда я попал перед весной в Питер, то положительно очумел и закружился там, перебегая с одного собрания на другое. Питерцы захотели мне показать товар лицом и стали таскать всюду. При этом необходимо заметить, что это не были какие-нибудь маленькие тайные собрания, напротив, целые большие аудитории, залы набиты битком спорящими, шумящими, перебивающими друг друга, и все это при полном дневном свете...

Свежему человеку трудно было даже сначала понять, о чем же это так горячо идет спор, и казалось, что он никакого отношения не имеет к хождению в народ, а между тем на поверку выходило, что имеет—и большое. Устраивались вечера, с них получались деньги,—куда их употребить? Одни говорили—на хождение в народ, другие—бедным студентам. «Это зачем? Незачем учиться, кончать курсы! Пусть бросает все это, идет в народ, тогда и получит на дорогу». В другом месте шел спор, горячий спор насчет целей, способов, даже относительно самого основного вопроса—нужно ли хождение, можно ли таким путем что сделать, вызвать революцию, не лучше ли



что другое предпринять и т. д. Каждый спешил выложить свое и убедить другого. Однако, ясно было, что хождение в народ берет верх, и что все мнения сливаются в одно общее: весной надо двинуться в деревню и, нарядившись в простой костюм, приняв вид рабочего, попробовать, попытать почву, посмотреть, что представляет из себя мужик, как он отзовется на призыв, захочет ли восставать, возможна ли с ним революция. Впрочем, некоторые, нужно заметить, шли, главным образом, лишь познакомиться с крестьянами и изучить деревню, о которой они не имели никакого понятия. О пропаганде они пока и не думали. Однако, все опять-таки одинаково решали, что после летнего опыта осенью необходимо всем будет собраться, устроить нечто вроде съезда и тогда уже окончательно порешить все вопросы относительно революции, выработать какую-нибудь общую, более определенную программу действий. Дело в том, что хотя теперь и шли поднимать на революцию народ, но ведь общего плана не было, было лишь слово революция, и только. Были, конечно, указаны и цели: земля, фабрики, заводы — крестьянам и рабочим, свобода и равенство для всех, — но этого мало, и всякий это понимал, но теперь, отложив все сомнения на осень, всецело лишь отдался предстоящему моменту. Итти, во что бы то ни стало итти, но обязательно надев армяк, сарафан, простые сапоги, даже лапти. И пошли... Кто на Урал — собирать и организовывать отряды беглых, кто на Волгу в качестве бурлака, чтобы поднять их хотя бы против хозяев, кто в Киевщину, в места, где разыгрывалась гайдамачина, кто на Дон — напомнить о Разине. Одни мечтали о революции, другие хотели попросту лишь посмотреть, — и разлились по всей России мастера-выми, коробейниками, нанимались на полевые работы; были и такие, что даже шли уже выбирать позиции для будущей артиллерии: ведь предполагалось, что революция произойдет никак не позже, чем через три года — таково было мнение многих.

Я изобразил только одно начало, тот момент, когда из всех университетских городов двинулась молодежь и рассыпалась по всей России. О том, как совершалось это хождение, что говорили, как действовали, какую пропаганду вели эти молодые люди, я не описываю по простой причине: я не знаю, да едва ли это можно знать отдельной личности. До некоторой степени это смогли бы сделать только те, что тогда ходили, — но большей частью их нет в живых. Мы, кто остался, можем лишь частично воспроизвести некоторые эпизоды из этого хождения. Я и рассчитывал своей заметкой побудить кого-нибудь другого пополнить своими воспоминаниями картину того, как совершалось хождение в народ.

Мне хотелось бы еще напомнить здесь, что хотя «хождение в народ» относится, главным образом, к 1874 г., но на самом деле хождение не кончилось в этом году, а продолжалось, хотя и в другой форме и в меньшей количественно степени, до 80-х годов.



Потерпев большие поражения в 74 году, революционеры, как попавшие в тюрьму, так и уцелевшие, не пали духом и не бросили дело; они, напротив, принялись обсуждать все причины и своих арестов, и того, почему это мужик не только не поднялся по одному их слову, но иногда даже критически относился к пропаганде, находя свое современное положение гораздо лучшим, чем прежнее.—«Нельзя налетом что-либо сделать,—стали говорить,—надо подойти ближе к жизни крестьянина, надо стать своим человеком в деревне. Надо прочно там обосноваться. Лучше всего, конечно, стать бы самому крестьянином, но так как легально это невозможно, а нелегально бесполезно, то самое лучшее пристраиваться в деревнях в таких ролях, как школьный учитель, писарь, фельдшер, акушерка, мелкий торговец и т. п. Все эти лица находятся в тесном общении с крестьянином, они смогут получить крестьянское доверие и вести пропаганду без боязни быть выданными или осмеянными». Сделав такой вывод, оставшиеся на воле уже в 75 году осуществляют этот план и пристраиваются более прочно, поступая, кроме того, на фабрики и заводы рабочими, входя в сношения со староверами, с сектантами; с последними и раньше отдельные лица вели знакомства, но это не было еще системой. Теперь же на староверов и сектантов возлагают особенно большие надежды и входят с ними в близкие сношения. На юге, например, делаются у штундистов даже братами, т.-е. признают себя штундистами. В 76 г. программа прочного устройства в деревнях принимает опять новую форму. На Волге, где устроились более прочные поселения, революционеры продолжали жить с тем, чтобы вести пропаганду. В Малороссии же, расселясь по деревням, пропаганду уже исключили, а вместо книг и нелегальных брошюр накупили револьверов и принялись учиться попадать в цель, стали готовиться уже к боевому выступлению. Явилась так-называемая бунтарская программа—революционеры называли себя бунтарями и стали высматривать, не надумают ли где крестьяне самостоятельно бунтовать; тогда они явились бы к ним в качестве союзников, но союзников, уже вооруженных и несколько подготовленных к бою. Чигиринское движение послужило основой для этой программы, но главное, что натолкнуло на нее—это восстание в Герцеговине и Черногории. Многие эмигранты, увлекшись этим движением, стали приглашать и тех, что оставались в России, а тут разразилось Чигиринское дело; тогда те, кто были в России, заговорили: «чего нам ездить в Герцеговину,—лучше поедem в Чигирин». Бунтарство продержалось одно лето; в одном селе мужики, распропагандированные раньше, надумали в этом же, т.-е. 76, г. восстание; пригласили к себе двух представителей от бунтарей (Мокриевича и Дробязгина) и, устроив раду по всем правилам старины, решили привлечь и другие деревни, наметили себе предводителей и озаботились относительно оружия. «У нас,—говорили они,—есть старое по застрехам, но вы постарайтесь добыть уже нового»,—обращаясь к Мокриевичу и Дро-



бязгину, закончили они собрание и на том разошлись. У чигиринцев в свою очередь начала было организовываться боевая дружина, но как первая, так и другая быстро стали известны в Киеве, и бунтарство было жандармами разгромлено. Бунтари почти все уцелели, но должны были покинуть деревни. В России поселения уцелели, и там еще долго держалась прежняя программа. Не то на юге; тут понемногу начинают переходить к террору, устраиваются побеги, уничтожаются шпионы и т. д.

Террор и на севере встречает сочувствие, и тогда-то происходит в 79 г. слияние севера и юга, и появляется партия «Народная Воля». Она уже не устраивает поселений в деревнях, отдавшись всецело городу. Но чернопередельцы, остатки прежних поселенцев на Волге, еще несколько лет остаются верными своей прежней программе.



## IV. Маликов и маликовцы.

Осенью 1873 г., проездом в Питер, в Москве остановился на время Войнаральский. Он был знаком еще по Пензе с Селивановым, моим приятелем по Петровской академии, и захотел с ним повидаться теперь. От Селиванова он впервые узнал о начинающемся брожении и попросил познакомить его с кем-нибудь. Селиванов потащил меня, но уже объяснил мне, кто такой Войнаральский и зачем ведет меня к нему. Войнаральский после окончания административной ссылки был выбран мировым судьей, но его, кажется, не утвердили, он женился и ехал теперь в Питерский университет доучиваться. У нас на литературных вечерах вопрос о дальнейшем образовании поднимался много раз, и в общем все склонялись, что знаний у нас достаточно, что дело не в том, чтоб их увеличивать, а в том, чтобы передать народу те, которыми мы уже обладаем, *поднять народ до нас*, как тогда выражались. И мы, придя к Войнаральскому, сразу напустились на него за желанье продолжать ученье. Поднялся спор; с вопроса об учении перескочили на роль земства, частных реформ, частных мероприятий, их значение,—могут ли они помочь беде народной,—и т. д. Войнаральский стоял за легальные пути, мы—за революцию.

— Где же для этого люди?—с видимым колебанием спрашивал он.

— Ну, за людьми дело не станет, люди есть,—выкрикивали мы с жаром.—Денег только мало!—добавлял к этому Селиванов.

Это было больное место у него. Он полагал, что на нем лежит как бы обязанность добыть эти деньги и ради этого хотел кончить курс и заняться сельско-хозяйственной технологией. Бедный! он скоро умер, не осуществив своей задачи,—даже не приступив к началу<sup>1</sup>.

Наши доводы, а скорей горячность, в конце-концов так проняли Войнаральского, что он мало-по-малу стал сдаваться (т.-е. просто помалкивал) и перед расставанием пошел на уступку. «Ну, ладно. Вот поеду в Питер, посмотрю людей, сколько их там, а тогда уж и решу окончательно, кто из нас прав,—вы или я, а пока на всякий случай достаньте-ка мне адрес в Питер».

<sup>1</sup> В 74 г. он вместе с женой принял участие в типографии Мышкина и был арестован. Из-за него стали усиленно тогда же искать и меня. Уходя на Урал, я прописался живущим на его квартире. Он в Петровках снимал целую избу.



Уехал он. В Питере живо сошелся с чайковцами, и я вскоре узнал, что об университете он уже бросил и помышлять. Когда же в Москве устроилась мастерская для обучения столярству петровцев, пришло вдруг от него письмо с просьбой, чтоб я нанял для него квартиру и тоже под мастерскую. С этим письмом вышел казус. Из-за него нам пришлось бросить квартиру.

Послал Войнаральский это письмо через брата своей жены—15—16-летнего мальчугана, по фамилии Кулябко. Этот Кулябко отправился в Петровки и, узнав там адрес нашей мастерской, вместо того, чтобы войти к нам в квартиру с улицы, где была дверь к нам, явился во двор и взбудоражил дворника, жильцов и хозяйку, отыскивая студента М. Ф. Фроленко. Малец он был смелый, разбитной; поэтому, когда дворник стал его уверять, что никакого тут студента у них не живет, он полез к жильцам в квартиры; не найдя там, отправился к хозяйке. Мы же еще не были прописаны и были известны за мастеровых. Поэтому об нас дворник после всех вспомнил. А в это время у нас в одной комнатке на окне стояла ванночка для гальванопластики печатей; в другой—сидели двое или трое нелегальных, бежавших из Питера; в третьей—шла столярная работа. Раздался стук со двора. Все всполошились, послали кухарку. Через минуту выглянуло ее испуганное лицо; знаком она позвала меня к двери. Иду; в полуотворенной двери стоит дворник с растерянным видом.

— Что такое?—спрашиваю.

— Да вот какой-то малец ходит по квартирам и спрашивает студентов. Барыню встревожил. Она послала к вам узнать, не знаете ли—объяснил дворник.

Квартира нанята была на мое мещанское имя, держались мы все время, как мастеровые, а тут вдруг студенты,—и толки на весь двор, а двор был большой, хозяйка полковница, и у ней репетитором, как нарочно, мой товарищ по гимназии—студент-медик. Словом, скандал. Впустили все-таки к себе Кулябку; дворник ушел. Напустились мы на Кулябку. Он оправдывается, что ему будто так сказали в Петровке. В это время опять стук в дверь. Отворяю, стоит дворник.

— Ну что, столковались?—спрашивает он уже более спокойным, добродушным тоном.

— Столковались—говорю.

— Вот и слава богу... а то ходит он тут по двору—и начал было мой дворник опять подробно рассказывать о смуте, произведенной Кулябкой во дворе.

Как видно, задал же ему Кулябко хлопот.

Этот Кулябко потом, когда его арестовали, и выдал всех нас, представивши, кроме того, нашу мастерскую так, что на нее посмотрели, как на нечто очень важное.

Теперь, после обнаружения настоящего звания, оставаться нам на этой квартире не было удобно, и наша мастерская, только-что



начавшая цвести, через месяц уже завяла. Этому, кроме Кулябки, помогло еще маленькое обстоятельство. Вскоре после Кулябки зашел в мастерскую квартальный надзиратель, но увидавши обычных рабочих в рубахах—это были петровцы—принял их за настоящих и, спросив что-то, ушел, не выказав никакого подозрения.

Мы, однако, перетрусили и, ища квартиру Войнаральскому, подыскивали кстати и себе. Но наша квартира уже не стала больше столярничать. Станок перешел к Войнаральскому, и у него устроились два отделения: столярное и сапожное. К Войнаральскому, впрочем, больше ходили москвичи да нелегальные. Столярничеством у него мало занимались. Петровцам к нему далеко было ходить, а москвичи занялись теперь сапожным и башмачным мастерством. Наша же новая квартира превратилась в этапный дом. Дело шло к весне. Туда приходили, уходили, ночевали, временно проживали, уезжали, но кто был хозяином,—кажется, и мы сами хорошо не знали. Одна, впрочем, кухарка оставалась постоянно, да и та не была уже кухаркой, а жила у нас на кухне в ожидании себе места.

\* \* \*

В Питере занятия с рабочими прекратились раньше, чем в Москве. Но бросив это дело, там не сразу перешли к чему-либо новому. Был переходный момент, момент тоски и исканий. В такое-то время Чайковский под гнетом сомнений, недоумений, с болью в сердце поехал в Орел. Там он сошелся с Маликовым<sup>1</sup>, услышал его горячую проповедь о возрождении людей путем веры в то, что люди—боги, что стоит людям поверить в это (найти в себе бога, как выражались тогда), и с них спадет кора всех порочных страстей и чувств, и они превратятся в непорочных агнцев, неспособных ни на что злое, дурное. Мир быстро обновится, и на земле водворится земной рай.

Чайковскому, в том состоянии, в каком он был, эта проповедь показала откровением свыше. Она разом решала все вопросы, томившие его, она давала ему все, к чему он стремился, она вполне соответствовала запросам его души—честной, мягкой и прямой. Тут не требовалось ни заговоров, ни скрытности, ни революции, никаких бунтов. Все дело только в том, чтоб отказаться от налипших недостатков, почувствовать себя бого-человеком, уверовать в это. Понять и уверовать ему казалось одно и то же, и он причислил себя к бого-человекам. Причислил искренне, с полной верой, и у него разом свалилась с плеч вся тяжесть мучивших его вопросов, колебаний.

<sup>1</sup> Александр Капитонович Маликов в 1866 г. привлекался, как подсудимый, по делу каракозовцев. Судом он был оправдан, но подвергся административной ссылке. Отбыв ее, он поселился в Орле и тут создал свое учение о «бого-человечестве». Позже ездил в Америку, где жил в коммуне, организованной известным Фреем. Умер в 1904 г. — *Ред.*



Наступила тишь и душевное спокойствие. Это спокойствие и полная удовлетворенность даже отразились и на его физическом здоровье: он быстро из сухопарого студента превратился в рослого, видного мужчину.

И вот, однажды, придя на свой «этап», я вдруг вижу—сидит видный человек с сияющим лицом; одет был он в длинный балахон, подпоясан шарфом по-крестьянски. Вид его мне напомнил обычное изображение апостола Петра. Вслушался—говорит о вере, о бого-человеке. Сначала я не узнал его и, только вслушавшись в голос и всмотревшись в черты его лица, признал в нем Чайковского.

В Москву в то время перекочевали из Питера почти все главные чайковцы, и он приехал обращать их в веру Маликова. Поверя быстро, он полагал, что и его товарищи сделают то же. Но товарищи нашли к этому времени уже другой выход. У них не тосковала душа от незнания, куда бы направить свои молодые силы; этот вопрос был порешен, ждали лишь весны. Поэтому проповедь Чайковского не могла воздействовать, поднялись споры. Этап для этого оказался неподходящим, и для споров раза два или три собирались на другой квартире<sup>1</sup>. Там Чайковский рассказал, как он принял веру, как он сразу почувствовал облегчение, спокойствие души, как отразилось это на его здоровье, как все это возможно для нас и, что еще важнее, для всех людей, как быстро может перестроиться и весь мир.

У него потребовали доказательств, говорили, что его обращение еще не будет достаточным ручательством за то, что и другие так же легко и быстро могут принять ту веру и могут переродиться.

— Мы с Маликовым хотим доказать эту возможность и истинность нашей веры путем историческим. Маликов даже и засел за этот труд. Я же не хотел ждать окончания и поспешил поделиться с вами, зная, в каком состоянии оставил вас,—защищался Чайковский.

— Да, то было когда-то, а теперь есть новый путь, и он скорее, по-нашему, приведет к цели,—возражали ему.

Чайковский не соглашался, конечно, признавая свой путь лучшим.

Так эти споры ни к чему пока не привели, возбудив лишь интерес к тому историческому труду, который задумал Маликов. Ему, кажется, не суждено было появиться на свет, ибо больше я уже никогда об нем не слыхал. Действие же проповеди Чайковского вскоре сказалось. Партия молодых парней (пять военных и один штатский) ранней весной двинулись в народ, имея в виду изучить какую-то местность, с целью заранее определить места, пригодные для действия артиллерии и других частей войск на случай восстания, как нам говорили тогда на этапе.

Прошла неделя-другая, и на этап совершенно неожиданно являются обратно двое или трое из них и заявляют, что они—боги, что революцию они не признают, фальшивыми паспортами пользоваться не

<sup>1</sup> У Армфельд.



намерены (они были нелегальными); готовы они бы сбросить даже одежду, добытую не собственным трудом и т. п.

На этапе большая часть жильцов и ночью и днем спали и просто лежали на полу, на полушубках, и вот, лежа тут в ожидании отъезда (они—в Орел, мы—в народ), вели мы с ними дебаты, перебирая одни и те же доводы сотни раз. Одному из них, наконец, это надоело, и он, чтоб поразить в конец меня, который на этот раз подвернулся здесь, приподнялся, принял какой-то восторженный вид и запророчествовал:

— Вот я вам предсказываю: не пройдет месяца-другого, как вы будете арестованы, и все ваши начинания, планы рухнут. Мне жалко вас! Одумайтесь!.. Иначе погибнете очень скоро.

— Ну, знаете ли что! уж если кто будет арестован из нас, то, конечно, вы раньше меня!—отвечаю ему.

Своим предсказанием он мне напомнил ночь накануне. После споров мне долго не спалось тогда. Я думал и о наших «богах», и об их учении, и, особенно, о положении нелегальных «богов», когда у них требуют паспорта, о том, что такие случаи бывают на каждом шагу,—и у меня до того ясно представилась в голове картина их быстрого ареста, что это меня даже удивило, и, когда он стал мне предсказывать мой арест, я, вспомнив то, что у меня промелькнуло накануне в голове, не утерпел, чтоб не предсказать и ему от себя.

Мое предсказание, к несчастью, скоро сбылось и именно из-за паспорта, как передавали тогда. Сей бого-человек и отправился сначала в Орел к Маликову, а там вместе с другими стал часто посещать городской сад, где, лежа на траве, они любили почитывать целыми днями книги, газеты.

Случился праздничный день. В саду устраивалось гулянье с фейерверком. Перед вечером публику, бывшую в саду, пригласили удалиться. С тем же обратились и к «богам», но те не послушались и чем-то еще обратили на себя внимание. У них спросили паспорта, таковых не оказалось, и, хотя «богам» они и не нужны, но полиция не обратила на это внимания, забрала их, и—узнав их фамилии—моего товарища отправили в Питер, так как он был уже нелегальным и его разыскивали.

Из Москвы в Орел к Маликову ездило еще несколько лиц; все они с большой похвалой отзывались о речах Маликова, умилялись даже до слез; как об них передавали, но обращений больше не было. Я говорю это, конечно, только про своих москвичей. Рассказывали, между прочим, в доказательство силы проповеди Маликова такой случай: Маликов с учениками и слушателями катались на лодке. Маликов по обыкновению говорил, что именно—не знаю, но только, когда прогулка кончилась, вышли из лодки и стали давать лодочнику деньги, тот будто бы их не взял. В этом-то и видели действие речи. Чтобы покончить с Маликовым, скажу еще, что осенью 1874 года мне пришлось жить в Рославле, и тут я снова натолкнулся на одного



очень симпатичного бого-человека (Алексеева), но он уже не проповедывал и не приглашал в свою веру, а только, побывавши раз в Орле, привез оттуда обыкновенную лубочную картину: «Нагорная проповедь спасителя», показал нам и, указывая на нее, заметил: «Вот в чем вся суть». Дальше, однако, не развил своей мысли, и что собственно он хотел сказать, так и осталось неизвестным. Ясно было, что маликовцы придавали картине какой-то иносказательный смысл.

Вот и все, что пришлось мне узнать о вере и учениках Маликова. Его я видел раз, когда он еще только ехал в Орел из ссылки и на время остановился в Москве. Тогда он еще не был «богом» и сидел молча. Про детей же его говорили, что они всякого гостя встречали возгласом: «А папка—бог!».



## V. Побег „Алеша Поповича“.<sup>1</sup>

Россия готовилась к войне с Турцией. Призвали отпущенных. В числе прочих был взят и наш «Алеша Попович», как называли мы Виктора Костюрина. Он был артиллерист. Служба эта ему нравилась. Война рисовалась ему в увлекательных образах, как ряд походов, подвигов, и он с большой охотой вступал в службу. Несколько раз, кажется, даже ходил на учение. Вдруг вспоминают, что он привлекается к политическому процессу («процесс 193»). «Вам,—говорят ему,—нельзя служить». — «Почему, отчего?» — удивился Алеша и принялся хлопотать, чтоб его все-таки взяли на войну...

Его и взяли, но только не на войну, а в жандармские казармы; при них находились камеры заключения, туда и посадили его.

В г. Елисаветграде был некто Краев; занимался адвокатурой. У него бывали многие из киевских бунтарей. Он угощал их чаем, едой, слушал разговоры, но дел их не знал. Ему не сообщали даже фамилий нелегальных лиц, ограничиваясь лишь именами да кличками. Если что он и узнавал, то только из теоретических споров при обсуждении общих вопросов, из отдельных фраз в разговорах. Как оказалось, это его не удовлетворяло, и он, в своих письмах к какому-то родичу, выставлял себя не просто гостеприимным хозяином, а человеком, находящимся в близких отношениях с революционерами, знающим и их дела.

Все это имело место летом 1876 г. В том же году произошла история с Гориновичем в Одессе<sup>2</sup>. Так как Горинович перед этим был в Елисаветграде, что стало известно, то в городе и начались обыски, аресты. Во время суматохи попались и письма Краева. Его забрали, принялись допрашивать. Стал он заверять, что ничего знать не знает, ведать не ведает; ему показали его письма. Стал он всю правду выкладывать,—что делал, кто бывал, как кого звали,—недостаточно: по одним именам и кличкам нельзя отыскать людей. «Быть.

<sup>1</sup> Первоначально—«Былое», 1906, № 5. — *Ред.*

<sup>2</sup> Покушение на предателя Гориновича было совершено Дейчем и Малинкой 10 июня 1876 г. Оглушив его ударом по голове и считая, что он убит, они облили его лицо серной кислотой, чтобы сделать труп неузнаваемым. Но Горинович очнулся. Кислота ужасно обезобразила его, выела глаза и пр. Он рассказал тогда про всех все, что только знал. — *Ред.*



не может, чтобы вам ничего больше не было известно!»—говорят Краеву и сажают его в одесскую тюрьму.

Еврей, без денег, без близких родных, он очутился тут в ужасном положении,—измучился, изнервничался—до последней степени. А жандармам и на руку:

— Дайте нам хоть какую-нибудь зацепку, чтобы можно было отыскать тех, кого угощали вы, и мы вас выпустим,—говорят ему.—Мы сами видим, что вы не виноваты, что попали, как кур во щи, но нам необходимо заполучить хоть одного из той компании, тогда вас и выпустим, а пока—сидите.

И его продолжали морить, хотя он давно выложил им все, что знал. В числе прочих указаний он сказал, что у него бывал и Алеша, артиллерист, отбывавший раньше воинскую повинность. Артиллеристов много, и по одному этому трудно было добраться до настоящего виновника. Но вот начинаются приготовления к войне. Пересматриваются списки. Алеша, оказывается, привлекается к политическому процессу, он военный и артиллерист. Таких лиц меньше, и у жандармов явилась мысль свести Алешу с Краевым. И вот берут его и ведут. Входит он, навстречу ему поднимается серо-зеленоватая, изможденная тень, кого-то напоминающая, и порывисто бросается вперед.

— Алешенька, здравствуйте!—выкрикивает он.

— Я вас не знаю!—резко, сурово говорит Алеша.

— Голубчик, спасите! Скажите, что знаете! Посмотрите, что со мной сделали!.. Скажите им, что я ничего не знаю!—взмолился бедняга...

Алеша, глянув еще раз внимательней, узнал. Жалость охватила его...

— Да, я знаю его! Да, я бывал у него! Он ничего о делах не знает!—заговорил Алеша...

Кончилось тем, что Краева скоро выпустили, а Алешу засадили в жандармские казармы. Молодой, здоровый, полный энергии и желания двигаться, работать, освободить братушек, вообще, действовать, и вдруг в четырех стенах очутиться... Неудивительно, что человек не взвидел света, забился, как зверь в клетке. Бежать! во что бы то ни стало бежать и скорей!—вот то, на что направились все его мысли, все чувства. В Одессе у него были друзья, товарищи, знакомые. Они помогут, надо лишь дать им знать, сообщить свое желание. Это удастся<sup>1</sup>. Попко и я приглашаемся Жуковым (псевдоним Желтоновского старшего) к нему на квартиру, он передает о получении писем от Алеши, спрашивает, согласимся ли мы помогать побегу, и у нас начинаются рассуждения на эту тему. Сам Желтоновский личного участия по семейным делам принимать не может, но обещает содействовать деньгами и головой. В первый

<sup>1</sup> До Костюрина сидел в жандармской тюрьме Щербина и распропагандировал трех жандармов. Они и стали носить письма.



раз остановились было на верховых лошадях, с тем и разошлись, чтоб осмотреть для этого местность. Попко, как казак, ничего не находил в этом плане неудобноисполнимого; у меня же свежа была еще в памяти неудача с покупкой верховых лошадей для увоза Волховского в Москве. Вышло там как-то так, что при толках о верховом увозе я пошутил, совершенно не думая критиковать этот план, так как я оказался в Москве случайно, на минуту, и в освобождении не принимал участия: я на другой же день уезжал. Но вот проходит месяц с небольшим. Я опять в Москве. Вдруг мне предлагает Воронков притти на конную площадь смотреть, как он будет продавать лошадей.

— Каких? Почему?!—спрашиваю.

— Верховых! Верховой план забракован: неудобств много нашли. Поэтому решено продать, и скорей: дорого содержание.

В воскресенье я отправился на конную, и при мне за бесценок Воронков продал пару хороших лошадок. Все это еще стояло живо в памяти, все это пугало меня, и я не особенно увлекался этим планом, откладывая окончательное решение до обследования мест вокруг казарм. Необходимо было и с Алешей сговориться. Попко занялся сношениями, я стал кружить вблизи казарм. Они находились вне города, там, где начиналась слободка. За казармами недалеко шли брошенные каменоломни. Смотрю план: узкий переулок упирался дальше казарм в ямы и рытвины. На повозке и верхами проехать трудно: была лишь пешеходная тропа.

К казармам с одной стороны примыкал заброшенный сад из акаций. Заборы в нем полуразобраны. Перелезть можно, но перескочить верхом сомнительно. Позади жандармских казарм помещались казачьи казармы. Туда можно было попасть из соседнего двора. Забор невысок. Соседний двор принадлежал городу. Там помещался обоз для очистки нечистот. Ворота этого двора постоянно стояли открытыми. Вот то, что выяснилось из обзора окрестностей казарм. Для верхового ухода тут мало было удобств. Передали Алеше. Тот немного спокойнее стал, не так рвался. Принялись обсуждать новые планы, а главное, еще не было ясно, как он выйдет из камеры, со двора казарм: прогулок вначале не было. Дело затянулось. К тому же у меня в это время начиналась подготовка к экзаменам. Я надумал добыть себе настоящий паспорт народного учителя и стать учителем. Для этого, добыв метрику из собственной канцелярии и свидетельство об окончании уездного училища, отправляюсь к попечителю Одесского округа, подаю прошение, и мне велят явиться в 3-ю Одесскую гимназию для экзамена в известное время. Оно наступало, и надо было немного подзаняться, и я засел за учебники. Между тем Алеша, затихший на время и согласившийся выждать благоприятных обстоятельств, неожиданно забил тревогу: написал Желтоновскому, что он готов хоть на «уру», готов на все, лишь бы действовать, а не сидеть, сложа руки. Желтоновский встревожился,



призвал нас с Попко. Стали обсуждать, какие могут быть случаи. Дошли до того, что вся помеха окажется в часовом.

— Придется устранить!—замечаем мы с Попко.

— Как, вы и перед кровью не остановитесь?!—спрашивает Желтоновский.

— Но как же быть?!—рассуждаем мы.—Положим, Алеша полезет на стены или станет садиться на лошадь, а тут откуда-нибудь вынырнет жандарм и станет его тащить за ноги...

— Ну, нет, я не согласен, делайте, как знаете, а только я вам не товарищ в этом деле!—заявил нам Желтоновский.

Собственно, еще не было и такого плана, и лишь Алеша, рассуждая в своем письме, очень решительно выражался. Это-то и напугало, верно, Желтоновского. Как бы то ни было, но теперь мы и совещаться не стали ходить к нему. Алеша же, излив ему свою душу, сам скоро увидал, что тут и «уру» не поможет, а потому опять успокоился, стал ждать и высматривать. У меня начались экзамены, и в то же время вышли все деньги. Иду к Желтоновскому, прошу добыть рублей 50...

— Вам на дело или на житье?—спрашивает он.—У меня есть деньги, но мне нужно: сильно больна жена. Если на дело, то добуду, если на житье,—нет!—добавил он.

Меня несколько удивило такое разграничение дела от житья, точно можно было вести дело, как-то не живя, но я не стал спорить, потому что сейчас, действительно, не предвиделось ни найма лошадей, ни покупок каких-либо, а деньги нужны были мне на житье. Это я ему и сказал.

— В таком случае я не могу вам дать!—говорит Желтоновский, и мы расходимся.

Мне до сих пор осталось непонятным такое отношение. Он знал, что личных доходов у меня нет, он знал, что дело не брошено,—ведутся сношения, выжидается случай, что жить нужно для этого, и все-таки ум за разум у него зашел. Пришлось перехватить немного у других и продолжать экзамены. Неожиданно приезжает из Киева Аня Макаревич, привозит двести рублей на освобождение и живую атмосферу свежего человека. К тому же и Алеша, получив теперь прогулку и осмотревшись окончательно, отказался от верховых лошадей, и мы остановились на экипаже.

В Одессе был татарсаль. Содержал его француз. У него в манеже учились верховой езде и брали верховых лошадей кататься. Надо было узнать, нет ли у него экипажа с лошадьми, которых он отдавал бы тоже на часы кататься. Беру я свои документы, иду в татарсаль, спрашиваю; конюха в недоумении, но выходит сам хозяин, и дело решается к общему удовольствию.

У него есть кабриолет и пара пони; он их и велит запрячь, когда я приду. Отлично! На другой день являюсь, говорю, чтобы запрягли лошадей. Отдаю свои документы в залог. Мне вывели пару рыже-



ватых, стройных—на тонких точеных ножках—лошадок, похожих скорее на больших коз, а не на лошадей, им под рост и кабриолет выкатили. Только детей катать, а не убегать на них из тюрьмы. Спрашиваю, нет ли экипажа больше,—другого не оказалось. Довольствуюсь малым. Сажусь и еду на квартиру, где ожидала Аня. Там встречаю дочурку Волховской, только-что привезенную из-за границы. Берем ее с собой и катим. Наши козочки быстро засеменяли ножками; для катанья по городу выходило недурно, но решено было все-таки просить у француза других лошадей. Катанье не понравилось чем-то и маленькой Волховской: она расплакалась, и ее пришлось отвезти домой. Сами же мы отправились в татерсаль. Француз, увидав Аню, молодую, красивую, хорошо одетую, сразу согласился дать лучшую, более быструю лошадь, возвратил мне документы, извинялся, что нет только у него большого кабриолета. Мы помирились и с малым. Ушли. Пропустив дня два-три, я снова двинулся в татерсаль. Теперь заложили настоящую лошадь из французских скаковых: жидковата и она мне показалась. Поехал, взял Аню и стал пробовать. Раз пустил во-всю, другой—берет хорошо, но быстро утомляется. Не подходит и эта!.. «Там я видал у них рысака, придется его просить!»—говорю Ане. Та соглашается. На этом и останавливаемся, а пока, чтобы дать французу заработать, решаем прокатиться за город, на дачи.

Был чудный весенний день; ехали мимо дач; кругом сады, между деревьев в глубине видны дачи; вдаль от нас синело море. Лошадь мерно-лениво позвякивала подковами. Свет, тепло, воздух—все располагало к неге, мечтам, изливаниям души. Задумались мы и замолкли на время. Аня, как более подвижной и живой человек, очнулась первая. Ей вдруг захотелось выяснить мое отношение к ней, услышать от меня то, в чем она и другие подозревали меня, подтрунивали даже за глаза. «Почему это ко мне относятся так враждебно в Одессе?»—начала она с вопроса. Принимаюсь за разъяснение. Аня скоро перебивает меня и ставит уже прямо вопрос, как я лично к ней отношусь. Мне она нравилась; мне оставалось теперь только произнести громко слово... Но я, передернул вожами, хватил заснувшую лошадь кнутом, и мы молча понеслись к морю. Роман кончился, не начавшись. Все это произошло неожиданно, без всякого заранее обдуманного решения, непонятно для меня самого. Впоследствии не раз я пытался выяснить себе причину своего поведения—и всегда затруднялся. Тут перепуталось вместе и то, что на брак я смотрел серьезно, и то, что Аню считал женой товарища, и то, что я совсем был непривычен из'яснять свои чувства. Словом, роман не состоялся, и об нем больше не было и не будет речи<sup>1</sup>. В татерсале

<sup>1</sup> Анна Марковна Макаревич (урожденная Розенштейн) впоследствии приобрела известность в западно-европейском—особенно, итальянском—рабо-



хозяин согласился и на рысака, обещаясь его подковать. Подходила пасха, мы хотели рысака пробовать. Алеша не торопил нас. Я закончил в субботу на шестой неделе все экзамены, и мне велено было явиться после пасхи, чтобы дать пробный урок, после чего я мог получить и свидетельство на учителя. Наступает страстная неделя. Весна манит в поля, на простор. Алеша прислал письмо, где категорически заявил, что 25 марта он сделает попытку выскочить во что бы то ни стало. Просил быть с лошадью. О всех наших пробах он, конечно, знал, знал и про рысака. Что его нам дадут, мы не сомневались, поэтому ответили, что лошадь будет и что ему дадут знать, когда она под'едет, а именно, пройдет дама в заброшенном саду и махнет платком. Затем, так как выскочить можно и через двор казачьих казарм, то Дробязгин<sup>1</sup> возьмет извозчика и будет ждать на другой улице, а у казарм (жандармов), значит, рысак остановится. Сообщили Алеше адреса квартир. Словом, все мелочи разработали отлично, и только насчет рысака никому не пришло в голову сходить узнать, дадут ли его. Француз был так любезен, так рассыпался перед Аней, что сомневаться в его словах трудно было, и никто не усомнился.

Подходит вечер 24 марта. Я жил недалеко от татарсала, но на всякий случай, чтобы не случилось неожиданного обыска и ареста, ушел к одному поднадзорному ночевать. У него было безопасней. Он занимался химией и все остальное критиковал. Критиковал он и всякие освобождения. Узнав о нашем плане, не раз подтрунивал. Я перестал и говорить, отмалчивался, когда он спрашивал, в каком положении дело. Поэтому и теперь, придя ночевать, я ничего ему не сказал: еще начнет отговаривать, смеяться, расстроит, а тут нужно полное спокойствие. Сам он как-то ничего не заметил, а после сердился, что ему не сказали. А, между тем, казалось, легко мог бы догадаться: утром 25 марта я у него переоделся во все чистое белье, на случай провала; вообще оделся по-праздничному, точно к обедне, и отправился на квартиру, где собрались все участники. Тут повторили роли, условились насчет времени еще раз, и часов в десять с небольшим я двинулся в татарсаль—и прямо на конюшню. Прошу конюхов заложить мне рысака; те переминаются, переглядываются. «Рысака дурно подковали, нога опухла, будут перековывать»—как-то неуверенно заговорил один. Показалось подозрительным. Иду к хозяину. Он повторяет то же самое, обещает приготовить к пасхе и предлагает взять другую. Я с неохотой соглашаюсь. Смотрю, выводят большую рыжую, лохматую (с длинным волосом) водовозку английской породы...

чем движении под псевдонимом «Кулешова». Вышла замуж за одного из лидеров итальянского социалистического движения, Турати. — *Ред.*

<sup>1</sup> Повешен в Одессе вместе с Малинкой и Майданским 7 дек. 1879 г. — *Ред.*



— Куда же она годится?!—с укором вопросительно обращаюсь к хозяину и к кучерам...

— Да вам лучше нельзя и отпускать!—проворчали про себя кучера.

— Прошлый раз вы испортили мне лошадь!—добавляет хозяин.

Действительно, заходя на конюшню, я заметил, что лошадь, на которой мы катались, стояла особо на толстом слое конского навоза. Признак отека ног. Ее, верно, хорошо не выводили и поставили на место. Что тут делать?! Отложить до пасхи? Но Алеша ждет сегодня. Предупредить невозможно, знаками не скажешь, может не так понять и может выскочить, а лошади и не окажется. Э, была не была! Лучше водовозка, чем ничего, лошадь по виду все-таки сильная. «Закладывайте»,—говорю. 25 марта—благовещение. Люди в церковь ушли. Переулок, где жандармские казармы, и без того малолюдный, теперь был совершенно пуст; один лишь часовой у ворот казарм нарушал эту мертвенность. Становлюсь у открытых ворот обозного двора. Прошла Маша, жена Лепешинского, сделала Алеше знак, что лошадь ждет. Я насторожился, приготовился. Проходит минута, другая... Нет Алеши! Мне кажется, что я стою давно-давно. Вдруг сзади раздается отчаянный крик: «Ай, держи!». Костюрин, гуляя по двору, воспользовался тем, что калитка на улицу была полуотворена, а часовой разговаривал с какой-то женщиной, и выскочил. Оглядываюсь. Алеша с развевающимся пальто на одном плече летит ко мне во-всю, за ним «жан», как-то широко-широко расставляя ноги. Шинель, ясно, мешает ему, и он отстал. Но тут неожиданно мертвая улица вдруг ожила: крик «жана» точно воскресил мертвецов. Люди появились и сзади и спереди, кончилась обедня, и все шли по домам через каменоломню на слободку.

Один бросился наперерез Алеше. Тот уже садится, слышит, тянут пальто; он крепко прижимает его к краю кабриолета, другой хватается за вожжу. Лошадь, малость вздремнувшая, видя перед собой людей, не сразу двинулась. Алеша, возбужденный бегом, в нетерпении хватается за вожжи, но не за обе, а за одну. Лошадь делает поворот налево и упирается почти в стену. Я набрасываюсь на Алешу, отнимаю вожжу, направляю по улице, и лошадь, напуганная всеми передергиваниями, собирает все силы, вытягивается и бросается с неудержимой силой вперед. Публика пугается, расступается; мой длинный белый хлыст-кнут держит и дальше ее на расстоянии. Парень, схвативший пальто, очутился с ним на земле: он вырвал его. Мы понеслись. Передаю Алеше кистень, указываю на приготовленное пальто, фуражку и сам весь отдаюсь мысли, куда же направлять бег. Переулок промелькнул моментально. Выехали на Портофранкскую улицу. Она огибает город, и от нее начинаются улицы в город. Прямо против нас идет одна такая большая, а левей—два узких переулка. Направляю в первый узкий переулок. Там квартира Лепешинской, дававшей знаки Алеше. Стоило, не возбуждая внимания, вскочить в переулок, и всему делу конец.



О погоне со стороны «жанов» не могло быть и речи. Сначала все шло хорошо: большую часть Портофранкской (а она довольно широка) уж проехали; но вот в улочках при начале появился, остановился один-другой, и весь переулочек заполнился любопытными. Посмотрел в начало другого переулочка—там то же. Поворачиваю, держу на середине улицы Портофранкской, где только и была хорошо укатанная дорога; прочие части улицы представляли засохшие глубокие колеи бывшей грязи. Всякий искал тогда сухого места, и всю улицу изрезали глубокими бороздами. Когда мы повернули, пришлось ехать напрямик, не разбирая мест. Вдруг—трах! и колеса подозрительно задребезжали. Сломалось! но что? Задерживаю лошадь, пускаю шагом, колеса вращаются. Ура! Едем быстрее—и скоро выезжаем на укатанную дорогу. Припустили. Новая зацепка—навстречу идет обоз с военными вещами: красный флажок на первом возу, и сбоку у возов солдаты с шашкой на-голо. Пропустят или задержат?—является вопрос. Под'езжаем: нам навстречу выбегает возчик и перетягивает кнутом. Солдат первой подводы побледнел, подтянулся, выпрямился, но дорогу не загородил, и мы проехали вдоль обоза. Он нас еще спрятал и от любопытных. Явилась передышка. Осматриваюсь—и только теперь понимаю, почему на нас обратили и обращают внимание. Алеша машет белым кистенем, а кистень-то в крови весь. На белом же красное ясно выступает, но ему, смотрящему вперед, этого не видно. Когда у него вырвали пальто, то с ним сорвали и часть кожи. Этого он не заметил, а кровь лилась и испачкала кистень. Кистень спрятали, руку платком обернули. Вообще, благодаря обозу, привели себя в порядок. Скоро снова началась улица в город. За углом стоял городской; что творится на Портофранкской, не видел он и пропустил нас. Один квартал, другой—не видно погони; на третьем—оглядываюсь и вижу, как проворонивший нас городской пустился бежать в нашу сторону. Мы поворачиваем направо и направляемся к базару. Тут весь конец улицы, прилегающей к базару, запружен воловьими возами. Дороги нет. По тротуару<sup>1</sup> собираюсь ехать дальше, но как только стал близиться к возам, они, быстро раздвигаясь, образовали проход, дорогу, замыкаясь за нами сей же час. Вот и базар. Он расположен вокруг церкви. Дорога идет кругом. Это окончательно загораживает нас от погони. Мы делаем дугу, выезд и здесь запружен, но панель не высока. Мы через нее. Тут Алеша встает и уходит пешком. В ближайшей улице попадается ему одноконная каретка, и он едет на квартиру Ани. Я же отправляюсь в татерсаль сдавать лошадь; еду труском, чтобы лошадь остыла. Принимать вышел сам хозяин. Расплачиваюсь. Иду к сиденью взять вещи. Для Алеши мы купили шинель докторскую и фуражку. Рядиться он не захотел, и все это

<sup>1</sup>. В Одессе местами очень широкий тротуар. При чем узкая часть его выложена гладким, широким камнем, а широкая—крепким раковистым известняком—довольно неровным.



оставил на сиденьи. Подхожу, поднимаю сверток—и, о ужас! под свертком лежит окровавленный кистень. Француз увидал, подошел, быстро взял кистень и со словами: «а это что?»—обращается ко мне. Что ему ответить? Неожиданность на миг огорошила меня, но тут сам француз и помог: он замахнулся, поднял кверху.

— Гимнастика! шары для гимнастики!—выпаливаю спеша.

— А, гимнастика, понимаю, понимаю—обрадовался мой француз и проделал несколько кругов.

Наш кистень состоял из двух шаров картечи, соединенных толстой бичевой; все это было обшито в белую замшу и походило на гимнастическую гирю. Еще сейчас я хорошо не помню, был ли и револьвер с нами,—кажись, да; тогда и он на сиденьи должен был лежать. К этому, брали лошадь для дамы, а на сиденьи мужское пальто, кистень в крови, револьвер. Странно! Но мой француз, увлекшись гимнастикой, на остальное мало обратил внимания. Я забрал все, взял у него кистень и—скорей домой. Мы условились собраться на квартире Ани только через час после события. Времени оставалось довольно. «Дай-ка лягу и сосну! Так ждать скучно»—решаю я и ложусь. Лег, закрываю глаза. До сих пор нервы молчали; никакого особенного волнения в себе я не замечал; голова, воля работали без всякой излишней торопливости, но тут точно прорвалась плотина. Мысли, случайности, люди, возы, все, только-что пережитое, целой волной нахлынуло, охватило, привело в такое состояние, что я скорей—пальто на плечи и бежать на улицу. В комнате стало душно, нехватало воздуха. Вышел, выбрал самый отдаленный путь, зашел в конце в трактир, и только тут, вспотев от чая, пришел в себя, совершенно опять успокоился. Отправляюсь на квартиру Ани, по дороге захожу в винную лавку, требую хорошего хереса; о нем я имел понятие лишь по названию. Вкуса не знал. Мне подают и говорят, что цена ему 1 рубль. Малая цена смущает меня. «А нет ли лучше!»—спрашиваю. Торговец молча берет с другой полки другую бутылку и требует 1 р. 25 коп. «Лучше нет»—заявляет. Беру, приношу на квартиру. Там все в сборе, и сначала, конечно, началось целование, потом предлагаю распить бутылку. Откупориваем, наливаем, пробуем и с проклятьем выплевываем: дрянь ужасная. Разговор не вяжется. Всем захотелось отдохнуть, и мы разошлись. Я возвратился домой, лег и сей же час заснул, как убитый. Бывшее забылось; проснувшись, начинаю соображать, что сегодня придется делать для освобождения. Глаза останавливаются на докторском пальто. Проходит момент, и память, проснувшись, вдруг вернулась, напонила, что дело уже сделано, что больше нечего загадывать. Меня охватывает тоска, жалость от какой-то утраты, пустоты жизни. Было дело, была задача, и разом—ничего. Все вновь надо начинать, опять новую задачу искать. Найдешь—и снова заживешь. И тут только я понял, что только тогда и живет человек, только тогда и счастлив, пока есть у него цель, пока стремится он осуществить какую-нибудь задачу...



По Одессе очень скоро разошлась молва об увозе. Но передавали, что под'ехала тройка, и на ней-то и укатили.

На пасху захожу я как-то в трактир чаю напиться. Пью. Недалеко от меня один из пьющих тоже чай нет-нет, да и посмотрит на меня, потом с половыми заговорил и опять на меня. Мне подозрительным показалось; подзываю полового, начинаю рассчитываться...

— Здравствуйте, что же вы это не приходите за лошадьми кататься?—раздается около меня голос одного из кучеров татарсая.

Я его не узнал, а он-то меня сразу признал. Это он-то и посматривал на меня.

— Барыня по гостям занята!—отвечаю, спешу расплатиться и—скорей наутек. Осталось неизвестным, знали ли кучера, что на их лошади был увезен Алеша, или нет. Мне передавали, что на нашу водовозку, когда ее водили, наскочила погоня. Взяли ее, стали показывать очевидцам, но те, будто, не признали, а тут пошли толки о тройке и т. д. Что тут правда, что выдумка—трудно разобрать, да мы и не добивались знать. Через две-три недели мы с Алешей, взяв перекладных, двинулись в Херсон. Там недалеко было имение, в котором он и остался на время.



## VI. Как я был тюремным надзирателем.<sup>1</sup>

В конце лета 1877 года я жил в Одессе. Дел не было, скука страшная. Раньше, узнав об аресте Стефановича, Дейча, Бохановского и других, заговорили было об их освобождении, но скоро и умолкли: не было денег—главная причина сидения у моря и ожидания погоды. Ожидательное состояние как-то даже отбивало охоту читать обычные книги: искали самых забирабельных (напр., Рокамболь и другие в этом роде были в большом ходу). Особенно, помню, Маруся Ковалевская отличалась отыскиванием книг с замечательно странными и страшными заголовками...

В конце осени или в начале зимы приехал из Питера Валерьян Осинский. Зовут меня на квартиру Маруси Ковалевской. Прихожу, сажусь в стороне и вижу высокого, красивого молодого человека, толкующего с Попко и другими о чем-то освобождении, о деньгах. Вдруг Попко обращается к нему и, указывая на меня, говорит: «Да вот тот Михайло!». Валерьян поздоровался со мной и об'яснил, что Вера Засулич и Маша Коленкина смогут добыть тысячу или около того, если мы захотим заняться освобождением Стефановича, Дейча, Бохановского.

В Одессе на это быстро согласились, и скоро мы целой компанией двинулись в Киев.

Здесь скоро выяснилось, однако, что у Валерьяна были и другие задачи, помимо освобождения. Оно даже отошло на второй план. Главное же,—он занялся знакомством со студенчеством: начались сходки, собрания. С течением времени Мокриевич успел завести хорошие сношения с тюрьмой; мало того: нашелся один унтер из ключников, который соглашался за 1000 рублей вывести троих. Остановка была за деньгами. А между тем уже с самого начала мне очень улыбалась мысль, чтобы кто-нибудь из нас самих поступил в надзиратели тюрьмы. Волошенко был в Сербии добровольцем,—немного, значит, знаком с военной обстановкой. Мне казалось, что из нас он наиболее подойдет, так как в тюрьме служили большей частью отставные солдаты, унтера. Он был другого о себе мнения, и дело заглохло. Я решил сам поступить в надзиратели, хотя меня сильно смущала боязнь: смогу ли? Мне казалось, что для этого надо

<sup>1</sup> Первоначально напечатано в «Русском Богатстве». 1906, № 3. — *Ред.*



быть поплотней, поздоровей. «Лицом не вышел», — как сам себя я характеризовал. На себе я остановился, однако, потому, что у всех скоро нашлось дело, — все увлеклись студенческими делами, собраниями, разговорами, — я же как-то остался не у дел. Спросили сидящих, те вполне одобрили мой план и сообщили, что теперь и мещанина примут в тюрьму, так как, по случаю войны с Турцией, большой недостаток в военных. Сидящие же и сообщили, к кому надо обратиться за местом. Зато вольные мало придавали значения поступлению в тюрьму, ссылаясь на то, что сношения есть, унтер тоже, остается лишь подождать денег, но и деньги будут скоро. Будь у меня дело, это и я бы принял в расчет, но так как его не было, а сидеть без дела — тоска, то я и принялся за сборы. Соорудили мне мещанский паспорт. Валерьян Осинский пошел со мной на толкучку в ряды готового платья, и там мы купили мещанское широкое, черного драпа, пальто, поддевку, штаны, сапоги, шарф, кушак цветной, фуражку, — все новое.

На другой день, нарядившись, двинулся я к тюрьме, за город. Сначала налево идет вдоль большой дороги вал земляной, за ним огород тюрьмы. Далее — деревянная ограда из остроконечных, вертикально поставленных бревен. В этой ограде — ворота, которые никогда не запирались. Входишь в ворота и видишь налево самую тюрьму, окруженную высокой каменной стеной, затем — двухэтажный дом с невысокими заборами около. Между тюрьмой и двором дома — улочка. Дом и другие близлежащие здания составили особый, самостоятельный квартал. Мне надо было отыскать главного надзирателя Мильченка. Наугад направляюсь к двухэтажному дому. Не дошел и до крыльца, вижу, — из ворот тюрьмы вышел какой-то отставной военный в сером драповом пальто с светлыми пуговицами. «Не Мильченко ли?» — проходит в голове; это предположение высказываю ему и громко, когда он подошел.

— А что нужно?

— Да места ищу! Приехал с керосином на контракт, керосин продали; хозяин на свой счет не хочет обратно везти, вот и остался. Никак места не найду!...

— А паспорт есть? — довольно милостиво спрашивает Мильченко.

Его характеризовали мне, как грубое, дерзкое начальство для надзирателей, поэтому меня даже удивил его благожелательный тон. Вынимаю торжественно из-за пазухи красный платок, разворачиваю и подаю паспорт. Мильченко уходит в дом — это был дом смотрителя; выносит паспорт и говорит, что паспорт годен, что смотритель согласен принять и чтобы я приходил 1-го числа. На радостях обещаю хорошо отблагодарить, если поступление состоится.

Мильченко был только старший надзиратель, но раньше, при другом смотрителе, он играл очень важную роль: перед ним дрожали все служащие. Многие, по привычке, продолжали дрожать и теперь. Видя его любезность, я ни на минуту не сомневался в том, что место



за мной... Расставшись с ним, спешу к своим в Киев, передаю все и сейчас же перебираюсь к евреям. Около вокзала существовал целый ряд домов, где можно было за 10—15 к. иметь койку на ночь. Сюда-то и перетасил я свой чемоданчик. Накануне 1-го, чтобы лучше быть уверенным в приеме, иду снова в тюрьму повидать Мильченко и снова встречаю его недалеко от дома смотрителя.

— Ну, что, можно завтра приходить? Освободилось место? — поздоровавшись, обращаюсь к Мильченко с развязностью знакомого человека; но, взглянув на него внимательней, сразу замечаю, что это уже не тот благорасположенный ко мне человек, а молчаливое, суровое начальство, не желающее вступать в излишние разговоры.

— В тюрьму смотритель не соглашается тебя взять, а есть место сторожа при амбарах и казарме! — отрезал он.

Такой ответ и перемена в обращении меня удивили. Начинаю заговаривать, хочу узнать, какая причина, в чем дело. Но Мильченко грубо перебивает на полуслове:

— Разговаривать много нечего! Хочешь, — приходи, не хочешь, — твое дело!.. Смотри только, раньше приходи, если надумаешь! — уже вдогонку добавил он, когда я сказал, что, может, приду.

В недоумении двинулся я назад. Мне была в то время совершенно непонятна метаморфоза с Мильченко; брало раздумье... Позже оказалось, что смотритель не захотел сменить того заведующего, на место которого прочил меня Мильченко; Мильченко дулся на него, но неудовольствие излил на меня. Ничего этого не зная и не подозревая, я был в большом смущении. А тут киевляне, узнав, что в тюрьму нельзя поступить, все в один голос принялись отговаривать от поступления в сторожа. Сторож не имеет ни малейшего касательства до тюрьмы, живет на отдельном дворе. Чего же ради себя мучить? Тем более, что деньги скоро будут, и с унтером дело стоит хорошо. Человек он ловкий, смелый, и нельзя ожидать, чтобы надул...

Ушел я к себе и всю ночь проворочался на постели, решая, поступать или не поступать? Но вот показался рассвет; недолго мешкая, укладываю свои вещи, расплачиваюсь и спешу к тюрьме: все же дело! Вот казарма. Кругом грязь, сырость, запах особый, свойственный только казарме.

Бывшие тут надзиратели встали, как только вошел Мильченко. Чумазый парень из крестьян возится у печи. Я во всем новом стою тут же. На сердце заскребло, заныло от окружающего. «Не бежать ли? Есть еще время!» — проходит в голове...

— Он сегодня уходит, так ты на его место станешь! — замечает Мильченко, показывая на одного паренька, и в голосе его мне чудится легкая насмешка...

Действительно: парень был в плохой, рваной шубенке и совсем мальчик, и стать на его место в моем костюме всем показалось странным. Это невольно передалось и мне.



— А где же кровать мне?—в смущении спрашиваю я Мильченко.

Тот, как я выше говорил, играл роль начальства; перед ним вставали, не смели сами заговаривать, отвечали лишь на вопросы, когда он сам спрашивал. Услыхав теперь мой вопрос, все опешили: водворилась полная тишина. Ожидали какой-нибудь выходки, резкого ответа, но Мильченко посмотрел лишь на меня сверху вниз, как большой пес на малого щенка, и вышел, не говоря ни слова. Не зная, что с собой делать, я уселся на крайнюю пустую кровать. Надзиратели сейчас же принялись допрашивать: кто, откуда, какими судьбами и почему поступил сюда. После я узнал, что в тюрьме считалось зазорным служить, и порядочный человек без нужды не шел туда. Пришлось повторить то, что говорил Мильченке, и кое-что еще добавить, чтобы ясней была безвыходность положения человека на чужой стороне...

— Ну, теперь понятно,—глубокомысленно замечает один седой унтер, и расспросы прекращаются. Этот унтер, человек пожилой, но недалекий, имел значение. Он был товарищ Мильченка по военной службе и, во имя товарищества и рюмки водки, служил теперь у него и как истопник, и как собутыльник отчасти. Вероятно, сообщал и о том, что творится в казарме. Его опасались. У Мильченка на дворе казарм был небольшой домик в одну комнату. Тут он проводил день; на ночь уходил в город, где жила семья.

На обязанности товарища лежало натопить, прибрать эту комнату, сбегать за водкой, содовой водой.

Мильченко сильно пил временами—особенно на дому, ночью—и тогда требовалась водка утром для похмелья или содовая вода для леченья.

После расспросов мне стало свободнее. Я вышел, стал осматриваться. Казарм было две. Большое длинное здание делилось узким коридорчиком на две казармы. Затем, в каждой такой части было по одной комнате. В одной комнате жил заведующий мастерскими; в другой—фельдшер. Фельдшер был в чахотке и жил тут с целой семьей в маленькой комнате. В казармах в два ряда стояли кровати надзирателей. Для каждого—кровать. Нас, сторожей, оказалось двое, и на обоих одна кровать. Они были в другой казарме, а не там, где совершался мой прием. В каждой казарме—большая русская печь. В двух отдельных комнатах свои печи. Надзиратели и сторожа получали 10 рублей в месяц. Пища, одежда свои. От тюрьмы давалось лишь помещение для спанья и топка казарм. Ключники получали 15 рублей, Мильченко—25—30 рублей и доходы: он заведывал и хозяйством тюрьмы.

Со своим товарищем я живо сошелся. Это был старый отставной денщик или повар: умел хорошо готовить кушанья. С ним мы скоро поладили, разделив так свои обязанности. Я буду днем присматривать за двором, исполнять поручения Мильченки, приносить дрова, а он станет готовить обед, ужин на нас двоих. Так было днем. Ночью же мы дежурили на дворе по очереди,—один до 12 часов, другой с 12-ти



до утра. Смена после 12-ти часов считалась наиболее трудной: перед рассветом сильно томил сон, и трудно было бороться с ним; ходишь, а глаза сами так и слипаются... Через каждую неделю очереди дежурств, поэтому, менялись.

Во дворе казарм находились амбары, навесы, где хранился эшафот, повозки; тут же был дом Мильченки и небольшой сарайчик. Вот и все, что надо было охранять. Охрана состояла в том, что ночью, взявши с собой полицейский свисток, ходишь, бывало, по двору и временами свистишь. Впрочем, я не ограничивался одним двором, а выходил и на огороды, проходя вдоль тюрьмы, и своим свистом не раз смущал, верно, часовых. На огородах в одном месте стояли в саженьях дрова и небольшой стожок сена, а в другом—маленькая тепличка и, недалеко от нее, стан колес, о существовании которых я узнал гораздо позже, когда уже был переведен в тюрьму. Вышла история, по которой я узнал, что существуют как мои сторонники, так и противники: колеса пропали, но когда, никто не знал. Мои противники стали уверять, что еще при мне. Сторонники же утверждали, что этого быть не могло. И, действительно: я свистка не жалел, о сне не думал и всячески выказывал свое рвение, бродя там, где и не требовалось. Колеса должны были лежать как раз на пути, за стеной, где я часто перелезал в огород. Мое рвение однажды даже товарища, человека очень смирного, рассердило. Моросил всю смену дождь. Сидя под навесом, легко видеть весь двор, амбары. Бегать по двору нет нужды, но мне не сиделось на месте, да и не хотелось, чтобы свистки исходили из одного места; я пробродил все время по дождю. На мне была казенная шуба, которая, разумеется, вся измокла... Кончилась смена, иду домой, кладу шубу на печь. Увидев мокрую шубу, товарищ не выдержал, ругнулся и сейчас же бросился к ней. «Ну, разве же можно так класть ее на печку!»—и с этим принялся ее расстилать по-своему. Я с радостью уступил ему право распорядиться шубой, а сам завалился скорей спать. Утренний сон короток, но крепок и хорошо освежает. Проснулся, глянул на печь—и тут только сам сообразил, что сделал неладно. Шуба была одна, и еслиб пришлось в мокрой другому дежурить, то не сказал бы он мне спасибо. Хорошо еще, что это случилось во второй смене, и за день шуба успела высохнуть.

Мое дежурство почему-то возбуждало толки. Приходит как-то Мильченко и замечает:

— А на тебя жаловался смотритель: говорит, что в твое дежурство не слышно свистков.

— Как не слышно? — заикнулся было я.

— Знаю, знаю. Я нарочно сам не ходил домой и ночью слушал,— перебил мои оправдания Мильченко.—Да и смотритель сознался, что пошутил,—добавил он, чтобы окончательно успокоить меня.

Мильченке я, как поступил, на другой же день отнес фунт чаю в два рубля. Затем, как-то не случилось дома унтера, который ходил



ему за водкой и за содовой водой. Мильченко зовет меня, просит купить ему воды, но денег не дает. Я иду, приношу, денег не требую. С этих пор покупка воды переходит ко мне... Однако, в общем, выходило немного. Несколько раз брал он меня с собой на базар; наш тюремный кучер закладывал повозку, давал мне вожжи, и мы ехали искать новых служащих в тюрьму,—это больное было место у смотрителя. Он хотел иметь бравых солдат, а за 10—15 рублей никто не шел. Одни жулики киевские соглашались, но их всех знал Мильченко и не брал. В этой поездке на моей обязанности лежало угощать Мильченко. Потолкавшись на рынке, мы под'езжали обыкновенно к знакомому кабачку, заходили, выпивали, закусывали блинами, и я расплачивался за все. Пили мало, закуска стоила пустяки. Мильченко с виду оставался строг и недоступен, но, вероятно, оценивал все мои услуги.

Был пост, я накупил разных круп, муки, масла; сдал все это на руки товарищу, и тот принялся угощать меня отличным обедом, ужином. Утром ставили самовар, но с питьем часто выходило маленькое замешательство. Служащие почему-то стеснялись пить чай открыто перед Мильченко. Ждали, когда Мильченко пройдет утром по казармам, тогда и пили, но не все и не каждый день: роскошь! Я ввел ежедневное питье, однако, усвоил и себе их приемы. Мы хорошились от Мильченки, а тот, заметив это, стал приходить позже, чтобы дать нам напиться до его прихода. Мы ждем его, он нас; самовар кипит. «Видно, не придет»—решаем мы и садимся пить чай... Но тут-то как-раз и является Мильченко. Мы в смущении бросаем чай, стараемся показать, что уже отпили. Сейчас же начинаем делать, если что он прикажет... Раз-другой произошла такая история. Наконец, Мильченко не выдержал и, застав нас как-то за чаем, с досадой заметил, что, когда к нам ни приди, мы все чаем и едой занимаемся. После этого мы перестали хорониться, и с тех пор перестали и попадаться. Напившись чаю, я шел за дровами. Рубили дрова арестанты. У Туна говорится, что я из дровосеков скоро сделался надзирателем. Дровосеком я не был и не мог быть: такой не было должности. На мне лежала обязанность только караулить амбары, присматривать за двором, носить дрова в нашу казарму.

Мой предшественник имел еще работу,—ходить за коровами смотрителя, но я от этой работы уклонился, т.-е. попросту не ходил на двор к смотрителю, а требовать он почему-то не решался.

С начала весны работы на дворе прибавилось, надо было счищать снег, проводить воду, прокладывать дорожки из камней: грязно стало около казарм. В тюрьме выставили рамы. Окна того коридора, где сидели Стефанович, Дейч, Бохановский, выходили в сторону нашего двора. Явилась возможность переглядываться, знаками разговаривать. Стефанович и Дейч много раз выходили в клозет (он в конце коридора помещался) и подолгу смотрели на мою возню во дворе. Но разговаривать мы, конечно, избегали. В тюрьме только



раз удалось побывать: носил в больницу клюкву, сало свиное. От нечего делать, часто забирался к садовнику в тепличку, ел у него вареный картофель, которым он только и питался, смотрел на его посадки. Тепличка была невелика и самого нехитрого устройства. Вырыли яму, половину накрыли стеклянными рамами, другую—землей. Часть земляной крыши отделили перегородкой от светлой части. Тут получился темный чулан; в нем хранились семенные корни: свекла, картофель, морковь...

В светлой части при мне рос уже салат; нагревалась тепличка чугунной печкой. В яму вела открытая лестница, вырытая в земле. Вот и все. Дешево и мило! Садовник в месяц получал 25 руб., а выгнал салата при мне на 1 рубль... Так проходил день. Ночью я выходил свистать. Трудно бывало преодолевать предрассветный сон. Ходишь, нарочно чаще свистишь, а глаза так и слипаются. Мильченко приходил очень рано из города; с его приходом дежурство кончалось.

В воскресенье ходил я в город к своим узнавать о делах в Киеве. Сюда приехал для освобождения и Баранников. Дело с деньгами подвигалось быстро. Не прошло месяца с небольшим, как мне сказали, что деньги получены, что не нынче-завтра надо ждать события. В унтере были все уверены. Я внимательно стал прислушиваться к беседам дежурных надзирателей: не будет ли какого говора. И вот вдруг, как бы по ветру, проносится неопределенная молва, что в тюрьме вышел скандал: ключник N нагрубил помощнику смотрителя, и его выгнали. Это и был наш унтер. Оказалось, что, когда наши киевляне, наконец, добыли-таки необходимую тысячу для расплаты с унтером за выпуск из тюрьмы Стефановича, Дейча и Бохановского, они, позвав его, сказали, что деньги уже есть, что ему будет дана половина теперь же, а другую он получит по выводе. Унтер ушел подготовить якобы побег, но вместо этого, придя в тюрьму, затеял ссору с помощником смотрителя, и его тотчас же выгнали. Слух был неясный, отрывочный, нельзя было даже определить, что—правда, что—басня. Очевидцев не было. Надо было ждать смены надзирателей... Неожиданно спешно входит в нашу казарму Мильченко и велит мне идти за ним в тюрьму. Накинув полушубок, бегу за ним, на-ходу подпоясываюсь, едва поспеваю. Влетаем во двор тюрьмы. Вижу, у канцелярии стоит кучка народа; в середине смотритель, служащие. Мильченко направляется туда. «Вот этого можно на это место»,—указывая на меня смотрителю, спешно заговорил он, как только мы подошли. Смотритель поглядел на меня, немного подумал... «Нет, я уже назначил Пантелеева, а Тихонов (моя фамилия) пусть будет у него надзирателем». Мильченко, видимо, был недоволен таким решением, но поделать ничего не мог. Смотритель благоволил к Пантелееву. Это был глуповатый, недалекий унтер, но очень представительный. Высокий, плотный, с большой, густой бородой, осанистый. Он был надзирателем, но за вид смотритель платил ему больше на 5 рублей, т.-е. 15 рублей—жалованье ключника. Чтобы не пере-



плачивать, его и сделали ключником. Я еще не знал различия в положении ключника и надзирателя. Для меня важно было попасть в тюрьму, поэтому повышение в надзиратели возбудило во мне несказанную радость.

Надзиратели носили казенные шашки во время дежурства, но выбрать сносную по виду не так-то легко оказалось. Обращаюсь к товарищу, чтобы уступил мне свою. Раньше он был надзирателем, но за что-то понижен в сторожа. Шашку он сохранил. Надежда попасть снова в надзиратели, видно, не покидала его, и он отказал. К тому же, ему и обидно было, что меня предпочли старому служаке. Пришлось удовлетвориться обшмыганной, с плохим ремнем, у которого кисти наполовину оборвались. Ремнем обернута ручка, а кисти висят. Немножко смешно, что я даже огорчен был, когда не нашел хорошего ремня... Мне казалось, что при плохой сбруе и отношение арестантов будет хуже. Дежурство мое началось в 12 часов ночи, и я успел сходить в город и сообщить свою радость, но огорчение товарищей, знавших уже про неудачу с унтером, было так велико, что за горем они мало внимания обратили на мое повышение. Зато, когда в 12 часов появился я в коридоре тюрьмы на дежурстве, заключенные возликовали. К общей радости, меня поместили еще на тот коридор, где именно и сидели Стефанович, Дейч, Бохановский... Политических в это время сидело много (они занимали два коридора на мужской половине), да на женской было две или три заключенных. Меня не все знали. Некоторые знали только в лицо, но кто именно я, не знали хорошо, как и о том, зачем я тут. Этим радоваться нечего было. Коридор, куда я попал, назывался *подсудимым*. На главном сидели уголовные подсудимые, на боковом—политические; это было во втором этаже.

Тюрьма представляла трехэтажное здание—в виде буквы П—с подвальным этажом под фасадом. Лестница посередине здания делила его на две половины, или шесть отдельных коридоров в виде буквы Г. На каждом коридоре были свои два надзирателя и ключник. Надзиратели дежурили по 12 часов каждый; ключник же был только днем, дежуря ночью лишь раз в шесть суток. Таким образом, ночью на коридоре оставались одни надзиратели. Их иногда поверял помощник смотрителя; то же обязаны были делать и дежурные ключники, но они предпочитали спать. Для этого им отводилась передняя канцелярии, помещавшейся в правом углу двора. В качестве надзирателя я сразу же мог увидеть всех, переговорить, даже выпустить во двор. Одна беда—стены высоки, ворота крепки, и за ними часовые ходят: выпускать на двор смысла нет. Ограничились поэтому разговором, решили ждать повышения меня в ключники. Дежурный ключник в 12 часов приводит и уводит из тюрьмы смену всех надзирателей. Перед ним тогда и ворота растворяются... Только этим моментом и можно было воспользоваться для ухода, или же надо было иметь своего унтер-офицера из караульной команды. Последнего не было;



все надежды поэтому почили на моем повышении. На другой же день эта надежда чуть было не осуществилась. Моим непосредственным начальством оказался тот Пантелеев, о котором сказано выше, и на котором вполне оправдывалась русская пословица: борода с ворота, а ума лопата. В нем перепутались как-то добродушие, недалекость, большое самомнение, нуль самолюбия и готовность исполнять всякое приказание начальства, при полнѣй только неспособности выполнить его... Его потому-то и держали больше на второстепенных местах. Теперь же ко всему этому присоединилось еще одно обстоятельство: у него родился ребенок, и он оказался очень любящим отцом. От чадолюбия голова совсем у него пошла кругом...

Телом он был в тюрьме, а душой витал около ребенка, болея за него, тоскуя о нем. Мать служила тоже в тюрьме, на женском отделении, и была днем занята. Ребенок оставался на руках бабки и посторонних лиц. Пантелеев, поэтому, то и дело рвался домой, но сдерживался, стесняясь оставить надолго ключи и коридор на мое попечение: уходил, но быстро и возвращался. Однако, заметив, что его отсутствие ни на чем не отражается, что никто на это не обращает внимания, и все идет своим чередом, он быстро вошел во вкус и, отдавая мне ключи, уходил домой почти на всю мою смену. На коридоре оставался теперь я один и сделался фактически и ключником, и надзирателем. Все поэтому заговорили, что не нынче-завтра меня повысят в ключники, а Пантелеева опять разжалуют в надзиратели. Его почему-то не любили арестанты и помощник смотрителя.

— Это для того только, чтобы вы немного поприсмотрелись к тюремным порядкам, смотритель назначил вас сначала надзирателем, а через неделю-другую будете ключником наверно!—говорили мне многие и добавляли:

— С Пантелеевым ведь была уже такая история.

Эти подбадривания были мне на руку, мне хотелось им верить, и я каждый день ждал повышения, но смотритель, как видно, иначе смотрел на дело, и мое повышение затянулось. Вообще, смотритель каким-то особым чутьем точно угадывал во мне врага, точно провидел опасность, хотя и был хорошего мнения о моей службе. Но это хорошее мнение обо мне смотрителя даже чуть не испортило все дело, но об этом после. Теперь несколько слов о том, как устроился я в тюрьме. По обыкновению всех тюрем, был и на нашем коридоре майданщик. Закупку провизии он делал через надзирателя или ключника, платя им за хлопоты. До меня эта плата иногда доходила, при малых закупках, почти до стоимости товара. Так, за пятикопеечную булку брали по 5 коп. за труды приноса. При таких условиях майданщик и мог делать закупки, а отдельному лицу выгодней было у него покупать. Майданщик делил все на мелкие куски и продавал по частям.



Когда я поступил, первым ко мне обратился майданщик с просьбой купить ему селедок, сала, булок. Что это был майданщик, я в то время еще не знал: заказ был невелик. Беру деньги, иду в одну лавку—товар не нравится; иду в другую—мне дают больших жирных селедок, отличного толстого сала, полновесных булок. Приношу, отдаю и от благодарности отказываюсь. Мое бескорыстие, а особенно—хороший товар удивили всех, а некоторые денежные лакомки набрали тотчас же на мысль: не куплю ли я и им даром того же. Сложились, обращаются ко мне с просьбой. Я, конечно, соглашаюсь, беру деньги, покупаю, отдаю и снова—ничего себе.

За первыми лакомками появились вторые, третьи, и в результате—такая картина. Утром становлюсь у окна коридора с бумагой и карандашом; меня окружает толпа, и начинается диктовка—кому и что купить. Записываю, отбираю деньги, захватываю с собой мешок и иду в лавку. Хозяин позволяет мне рыться, выбирать большие, ровные селедки, толстое сало, булки с виду побольше. Возвращаюсь, и опять та же история. Все собираются к окну, и начинается раздача по записке; все несколько удивлены, что нет путаницы, все довольны, потому что товар ровен, одинаковой величины и достоинства. Майданщик совершенно стушевался: нет покупателей у него. Зато у меня количество заказчиков с каждым днем все росло и росло. Вероятно, приходили и из других коридоров.

Дело принимало широкие размеры. Одного мешка скоро стало не хватать; пришлось брать два, или ходить дважды. Сторож у ворот забил тревогу: не приношу ли табаку. Раз-другой обыскал, т.-е. заглянул в мешки—бросил. Я избегал контрабанды. Дошло и до смотрителя. Не понравилось. Приказал Мильченке унять мое рвение, а главное—вразумить, чтобы я покупал в другой лавке, с хозяином которой, как говорили, у него было соглашение...

Кроме закупок, никакого дела не было. Раз только послали меня с арестантами в женское отделение воды принести, но и то помощник смотрителя, не знаю почему, нахлобучку сделал тому, кто меня послал. Мне это назначение тоже пришлось не по вкусу, и я был очень благодарен, что меня избавили от него. Дело в том, что когда арестанты подошли к колодцу, их осаждали дамы; начались разговоры, шутки, заигрыванья. Мне в качестве надзирателя надо было не допускать, отгонять, требовать, чтобы арестантам не мешали набирать воду. Чистая пытка! Уговоришь, разгонишь, глядь—женщины опять около, и опять шутки, заигрыванья, а время идет, воду ждут в кухне. Насилу-то, насилу вырвались мы, набрав воды.

По ночам другая была неприятность: обязанность, ходя по коридору, заглядывать в дверные дырки, уговаривать, чтобы не пели громко, чтобы не играли в карты, не шумели; при этом из окошечка, в котором стекла давно и помину не было, несло ужасным зловонием... В камеру на ночь ставили парашу у самой двери, и она скоро наполнялась до самых краев... На первых порах, не зная порядков, желая



показать свое рвение, я старался по возможности выполнять все требования начальства: останавливать, когда начиналось особенное оранье, уговаривать не шуметь при игре в карты. Карты запрещались, из-за них делались обыски. Собственно, требовалось узнавать, где идет игра, чтобы накрыть игроков, но я своим подходом и окликом напоминал арестантам только об осторожности. Надзирателей и самих должны были проверять дежурные ключники и помощник смотрителя. На деле дежурные ключники спали всю ночь в передней канцелярии, а помощник смотрителя, хотя и ходил, но я вскоре открыл, как делать, чтобы приход его не был неожиданным, внезапным. Стоило плотней притворить дверь—и она выдавала согладатая легким скрипом. Обойдешь, бывало, наскоро весь коридор, заглянешь в дырки, и — к окну; там скамья, там более чистый воздух. Скрипнула дверь, встаешь, быстро идешь в темный конец и кричишь: «кто идет?». Помощник молча проходит мимо, доходит до окна, возвращается. Кругом тишина. Мой окрик, вероятно, слышали и арестанты и на время затихали, прятали карты. В этом отношении больше всех боялись помощника. Он особенно донимал за карты.

Много хлопот еще было с приездами прокурора и иного начальства. Перед их появлением давалось из канцелярии распоряжение почистить, помыть нары и камеру, прибрать все лишнее.

Арестанты дорожат всякой тряпкой, всяким хламом, и все это суют на печь, где видно. Во время посещений все это надо было убирать, прятать... Смотритель разрешил иметь самовары. Зола, угли рассыпались, грязнили пол. Трудно отмыть. А тут посещение за посещением. Очистка камер лежала на обязанности «камерных»... Им за это каждый жилец камеры платил одну копейку в месяц. Первую очистку они произвели старательно, но когда потребовалась частая, запротестовали, т.-е. попросту перестали убирать и чистить.

Ждали днем, самовары и уголь вынесли в отхожее место. Никто не приехал. Наступает вечер, всех заперли по камерам, все позабрали самовары туда с собой. Вдруг на коридоре появляется смотритель с кем-то из приезжих. Идут в камеру мастеровых. «Смирно!»—кричит свое обычное смотритель при входе; все встали, а рядом—самовары. «Это что такое?»—орет смотритель, и надзиратели бросаются к самоварам, хватают их и уносят, точно это первый раз все видят. В других камерах умней поступали арестанты: они поместили их сзади себя, и все обошлось как нельзя лучше. Ушло начальство, и заарестованные самовары сей же час вернули. Чаепитие вечером было и у наших. Чай служил теперь и для меня главной едой. С уходом моим в тюрьму наша компания с поваром расстроилась сама собой. Можно было бы обедать в тюрьме (многие так и делали), но мне не шла в горло арестантская пища, хотя щи с мясом и каша были недурны.

Зато вечером, когда в тюрьме водворяется покой, чай с белым хлебом, салом, колбасой доставлял большое удовольствие. Политические просовывали мне все это в дверную форточку, и я наслаждался.



Затем начинались разговоры, даже маленькие споры между нами; позже я уходил к окну ожидать ревизии помощника смотрителя. Так проходило время; слухи о повышении не прекращались, но смотритель о нем и не думал. Напротив, идем мы как-то со смены в 12 часов к себе в казарму: навстречу смотритель. Он часто по вечерам ходил играть в карты к конвойному майору и к 12 возвращался.

— А кто из надзирателей стоит на коридоре у каторжан?—раздался его вопрос, когда мы поровнялись с ним.

Ключник ответил.

— Почему же не Тихонов? Завтра же переменить.

Каторжане перед отправкой в Сибирь часто делают попытки к побегу, за ними необходим особо-внимательный присмотр. Смотритель и назначил меня к ним, слыша про меня хорошие отзывы со стороны помощника и Мильченка. Он видел в этом назначении особую похвалу, награду за хорошую службу, а для нас это было горе! Во-первых, это был другой коридор, другой ключник, а во-вторых,— мое присутствие делалось известным многим новым лицам, которые не были посвящены в дело, но которые, зная меня в лицо (встречались раз-другой на квартирах киевских студентов), могли превратно толковать мое появление; могли выйти недоразумения, объяснения, чего я и боялся. Это и было; пришлось через стариков их успокоить, тогда чуть хуже не вышло. Однажды Беверлеп, разыгравшись на коридоре, бросается ко мне и начинает бороться со мной. Хорошо, что не было тут ключника, и я оказался сильнее его!.. Быстро положив его на землю, я бросился скорей наутек, сохраняя свое надзирательское достоинство... Пришлось держаться настороже, дрожать за каждый день. Тем более, что ключник, к которому я попал, был не чета Пантелееву. Высокий, худощавый старик лет 50, с характером,—он крепко держал в своих руках ключи и во все входил сам, предоставляя мне лишь стоять на коридоре и скучать от безделья. В лавку ходил сам и брал дорого за услугу. Покупок было очень мало.

На этом коридоре находилась и больница. Больным отпускалась булка и лучшая пища. Булка часто продавалась. В лавке и не было нужды. Вся моя служба сводилась теперь лишь к тому, чтобы по ночам чаще заглядывать к каторжанам—их была всего одна камера, душ 20-30, не более. Вот и все. Но я мучился тем, что это чужой для меня коридор, что я очутился опять не со своими. Раз только ключник послал меня проводить одного отбывшего срок наказания.

Завтра у него кончался срок, завтра он будет волен идти куда хочет. Пришла невеста на свидание, но не во-время, после обеда. Однако, ей разрешили повидаться и не в караулке, а за воротами тюрьмы. Я взял часового с ружьем, этого человека, и мы втроем двинулись туда. Невеста набросилась на своего возлюбленного и потащила его дальше от ворот на вал, который недалеко от тюремной стены. Сели на валу, обнялись, замурлыкали и про все окружающее забыли... Арестанты увидели из окон коридора—и ну го-



ютать, острить, поднимать их на смех. Поднялся шум в тюрьме. Жаль было разлучать голубков, но делать нечего: пришлось увести жениха.

Возвращаемся к воротам; тут привратник встречает меня укором, чуть не руганью, что долго свидание продолжалось, что мы далеко от ворот ушли. Думал, что и мой ключник еще даст нахлобучку... Нет! Ничего! только больше уж не посылал никого никуда провожать. Теперь даже толки о повышении прекратились. Дело стало, но оказалось перед делом... Чтобы понятней было последующее, надо сказать несколько слов о тюремных порядках вообще. При восходе солнца, рано утром, у внешних ворот тюрьмы, перед караулкой или гауптвахтой, сходились все ключники и Мильченко. Один из ключников шел в караулку, брал связки ключей от камер и раздавал каждому ключнику его связку. После этого шли в тюрьму, каждый ключник на свой коридор, и сейчас же отпирали камеры, кроме политических. Последних всех разом не пускали гулять, а по очереди, и только на своем коридорчике они были полными хозяевами. Их отпирали, запирали, когда они сами хотели. Выходили все в коридорчик, ставили иногда стол, пили чай, громко пели песни. Смотритель тогда просил не петь; кончив чаепитие, они расходились по камерам. Жили все по-двое.

Коридорчик требовалось держать на запоре, чтобы сидящие не ходили на главный коридор, и чтобы к ним не ходили уголовные, но это редко исполнялось при мне; помощник несколько раз ловил меня на этом, когда я был еще у Пантелеева, но ничего не говорил, так как никто не злоупотреблял открытой дверью. Ходили к нашим только прислужники убирать камеры, чистить сапоги. Свиданья же устраивали на прогулках. В это время сидели тут и чигиринцы, с которыми только и интересно было видеться.

После открытия камер уголовные бросались во двор, мастеровые в мастерские, камерные принимались за вынос параш, за уборку камер, за ставленье самоваров. Если на дворе было тепло, сейчас же там образовывались кучки игроков, кучки просто лежащих на солнце, кучка у ворот, ведущих на женское отделение. В воротах образовались щели, трещины, через которые и шли знакомства, ухаживания, сговоры насчет будущей жизни в Сибири, на каторге. Очень незначительное число арестантов ежедневно, по очереди, назначалось для носки воды в баню, в кухню, в пекарню и прачечную; воды требовалось немного, колодец был под руками; но назначение на работу всегда вело к спорам: кто ничего не делал, тот больше всех и отлынивал. Беда, если происходила ошибка в назначении. Раз чуть бунт не вышел. Списков не велось, делалось все по заведенному порядку, как-то само собой. Произошла перетасовка арестантов, порядок нарушился. Обратились к помощнику; тот, много не думая и не расспросив хорошенько, дает приказ: назначить в наряд такую-то камеру и с нее начать новый счет.



Идут ключники и об'являют. Поднимается крик: «Да наша камера на-днях только носила воду! Не пойдем!»... Ключники побежали к помощнику, а тот, человек горячий, взбеленился и уже за солдатами хотел посылать. Бунтовщики с нашего коридора оказались. Они мне и растолковали, в чем дело. Скоро прибежал сам помощник смотрителя с руганью, угрозами. Даю ему немного откричатся, потом подхожу и говорю, что дело легко уладить, что вышла ошибка, арестанты сами найдут, чья очередь. Помощник остановился на полуслове, когда я заговорил, быстро сообразил, что так лучше, чем звать солдат и силой заставлять работать. «А ну их, ленивых дьяволов! Делай, как знаешь!»—обратился ко мне и с тем ушел.

Я еще раз переговорил с арестантами, поручил им самим все уладить, и они выполнили это, как нельзя быть лучше; так бунта и не вышло.

Насчет еды было так. В тюрьмах полагался обед и ужин. Наш же смотритель предложил арестантам ограничиться одним обедом, зато на обед отпускал  $\frac{1}{2}$  ф. хорошего мяса на человека, каши вдоволь и 2 ф. хлеба. Изредка делался хороший квас. Разрешено было иметь самовары. За все это смотрителя любили. За обедом отправлялся на кухню надзиратель с камерными. Кухня помещалась в подвальном этаже. Повара-арестанты всегда были одни и те же и отлично знали, на какой коридор сколько надо кусков. Придешь на кухню, начинаешь по бумажке читать, а они уж знают и набрасывают в ряжки камерных, сколько надо. Не знаю, как другим, а когда мне приходилось бывать, то всегда отпускали еще несколько лишних кусков: их я отдавал или камерным, или старостам, или чигиринцам. Последним на пасху я купил кулич: бедняги не ожидали от часового такого внимания и расплакались. Мне самому, как я уже говорил выше, тюремная пища не шла в горло, хотя щи по виду бывали не дурны и с наваром. За щами и кашей ходили тоже по очереди: делался наряд из каждой камеры, но разливали особые разливальщики. Для этого требовался навык и глазомер, чтобы хватило всем, чтобы не обидеть кого.

Около шести часов начиналась подготовка к ночи. Заготавливался уголь для самоваров, втаскивались параша в камеры. Но вот раздается крик: «Поверка идет!» Все со двора бросаются прежде всего в отхожее отделение, но там и без того полным-полно; между тем, ключник и надзиратели гонят по камерам: надо до прихода «поверки» всех запереть и сосчитать.

Всякий день кавардак происходил ужасный. Многим так и не удавалось отдать дань природе во-время, и из-за этого получалось срашное зловоние по камерам... Но все как-то с этим свыкались, и сколько бывало ни напоминаешь людям, чтобы заранее готовились к ночи, большая часть все-таки оставалась на дворе до последнего момента, до крика: «Поверка идет».

Этим термином означался приход в тюрьму помощника смотрителя, караульного офицера и унтер-офицера. На ночь тюрьма как бы



передавалась в ведение конвоя. «Поверка» заходила в каждую камеру, сосчитывала, записывала, выходила; ключник запирает, унтер-офицер пробовал замок. Так проверялась вся тюрьма. Ключ от тюремных ворот отдавался офицеру. Днем солдаты стояли на внешней стороне стен тюрьмы, ночью их ставили и во дворе в разных местах. После этого ключи от всех камер собирались все вместе и относились или в караулку к офицеру, или к смотрителю. Караулка была ближе,—в нее и относили чаще.

Вот после этой поверки и наступало царство надзирателей и дежурного ключника. В 12 часов ночи ключник шел в казарму, брал новую смену надзирателей, приводил их, а старых уводил, т.-е. отпускал в казарму, доведя до ворот и сказав унтер-офицеру, что это возвращается смена. Так начинался и заканчивался день.

Правом входа и выхода ночью пользовался только смотритель, его пом., Мильченко, дежурный ключник, ламповщик. Всех их должен был знать унтер-офицер в лицо и впускать и выпускать самолично. Они же с собой могли приводить, уводить, кого хотят, но, конечно, от унтера зависело и остановить, если бы он заметил что незаконное.

Таким образом, чтобы выбраться из тюрьмы; надо было иметь своего надзирателя, который отпер бы камеры, выпустил на двор, затем,—своего ключника, который взял бы их и довел до ворот, позвав тут унтера; наконец,—и своего унтера, который отпер бы ворота и выпустил их из тюрьмы. Словом, чтобы обошлось без риска, требовались три, минимум два, своих человека. Вот почему тот ключник, который брался вывести наших, и струсил в последнюю минуту. Он был один. Он не мог открыть сам камер. Там стоял надзиратель, которого надо было подкупить или устранить. И вот унтер предпочел наглубить начальству, чтобы с честью выйти из неловкого положения. Мое положение, как надзирателя, и притом на другом коридоре, тоже мало сулило хорошего. Но тут нам помог тиф. Он достался нам в наследство от турецкой войны и сначала захватывал немногих. К весне дело пошло, однако, шире, начали почти в каждой камере появляться зайцы. Заболеет человек и прячется под нарами, чтобы его не отправили в больницу, а там уж—смерть. Умер приехавший фельдшер. Сторожа заболели... Начальство забило тревогу. Весной двигается волна ссыльных в Сибирь. Легко захватить заразу и разнести по всему сибирскому пути.

Этого испугались. Стали думать думать и сначала решили устроить летние бараки вне тюрьмы на огороде. Вызвали охотников, принялись ров рыть. День-два поработали—бросили: легко побеги тут будет делать. Лучше всех больных отправить в киевскую крепость. Начались сборы, толки о том, кого же из надзирателей и ключников отправить в крепость. Мне передавали, что помощник смотрителя, отправлявшийся сам в крепость с больными, хотел взять и меня, но будто бы смотритель отвоевал, и я остался. С увозом больных, в тюрь-



ме произошла перетасовка. Верхний этаж, где была больница, подвергли капитальному ремонту: каторжан перевели на подсудимый коридор, а с ними и меня. Уголовных же подсудимых частью поместили в подвальном этаже, дав им нового ключника. Пантелеев остался на старом месте. Тут мы с ним снова и сошлись, к общей радости. Он, конечно, сейчас же передал мне бразды правления, а сам, несмотря на брань и фугань начальства, стал опять пропадать из тюрьмы.

Этому содействовало и еще одно обстоятельство. Я уже говорил, что по непонятной причине Пантелеева не любили арестанты, и вскоре после моего вторичного появления на этом коридоре разыгралась сценка, которая чуть не стоила ему, если не жизни, то, по крайней мере, пролома головы. В карцере сидел молодой парень. Пантелееву приказано было давать ему только хлеб и воду. Но карцер помещался в 1 этаже, и через окна легко было передать все. Товарищи и начали таскать заключенному булки, чай, еду. Пантелеев, узнав, запретил и стал строго следить. Парень обозлился. На другой день он спрашивает, дадут ли ему обед. «Нет!»—отвечает Пантелеев. Заключенный вскрикивает, взвизгивает и, разбежавшись всем телом, ударяется в дверь: ржавая железная скоба лопается, и разъяренный зверь-человек, с тяжелой дубовой ряжкой в руках, вылетает и замахивается над головой Пантелеева. Не раздумывая долго, я бросаюсь на него, схватываю сзади и, к удивлению, вижу, что он как-то сразу ослаб, осел, как говорят. Ряжка так и осталась на секунду в воздухе, над головой Пантелеева, потом опустилась. Затем парень без всякого сопротивления позволил отвести себя в другой карцер и притих. Он по натуре был смирный человек; но тюрьма легко делает из мирных людей разбойников, буянов, воров. Она является отличной школой и отлично подбивает простаков на разные подвиги. В тюрьме нет разбойников, воров: все это—герои, деяния которых прославляются, выставляются на показ. Так как наш парень был тих и неопытен, то над ним смеялись, подтрунивали и, задев самолюбие, довели до того, что он попал в карцер за дерзость помощнику. А потом насмешками же толкнули на историю с пищей, и чуть человек не пропал совсем. Я предложил Пантелееву отдать мне его на попечение. Тот, конечно, согласился с охотой, и теперь его не видно стало и при раздаче пищи. Про историю с арестантом он промолчал, и того не тронули. С пищей же устроились просто. Я молчал, а разливальщики, не слыша особого приказа не давать, делали вид, что ничего не знают и наливали ему щей с мясом, накладывали каши. Скоро и карцер его прекратился.

Знакомство у меня с этим малым вышло из-за сапожного товара еще в первое время. В числе мастерских у нас была и сапожная. Подходит ко мне как-то этот арестант и просит сходить в город купить ему набор товару на ботинки. Беру деньги, иду на Подол в сапожную лавку и, сознавшись торговцу, что ничего не смыслю, прошу его



выбрать весь товар самому. Лицо торговца мне сразу понравилось, возбудило доверие.

Тот так и сделал. Товар показался мне хорошим, но меня удивило, что торговец каких-то еще обрезков кожи наложил в пакет. Возвращаясь, отдаю все парню; тот берет и быстро скрывается, но через несколько минут возвращается сияющий, благодарит за хороший товар и особенно за обрезки; сует мне 20 коп. за труды. «Да зачем вам обрезки?»—спрашиваю его.—«Как же, а каблуки, на них надо много товару!..»—объясняет он. Парень был невысокого роста, а на мужской двор выходили окна женского отделения; ему и хотелось быть повыше... 20 коп. я взял: мне, чтобы долго не задерживаться в городе, приходилось нанимать таратайку-извозчика за 15—20 коп., иногда туда и обратно. Обрезки-то, мне кажется, и сослужили свою службу при сценке с ряжкой: парень долго при встречах выказывал мне свою благожелательность.

С возвращением на коридор подсудимых, возобновились опять толки о моем повышении. В числе подсудимых на дворянском отделении сидел адвокат из евреев. Он постоянно околачивался в канцелярии и еще раньше сулил мне повышение на основании толков, ходивших там. Теперь он приходит однажды, просит принести ему бутылку вина—наступали праздники; дает понять, что в канцелярии он свой человек, хорош с помощником и т. д. Я отказался наотрез: свой человек мог легко и разболтать, а чтобы он смог подействовать на зрителя, я сомневался. Был на дворянском отделении еще часовых дел мастер, который много приставал с просьбами отнести письмо к его жене, познакомиться с его семьей. Он чинил начальству часы, пользовался значением. Однако, пришлось и ему отказать. Третий случай был у меня с «банкирами». Так называли у нас трех подсудимых, служивших в каком-то банке и попавших под суд. Сидели они все в одной комнате и постоянно днем возились с адвокатом, о котором сказано выше. Наступает ночь, всех запирают; они не успели, видно, выговориться, подзывают меня, суют через дверное окошечко письмо и 20 к., просят отнести адвокату. Меня возмутило, что люди целый день видятся, говорят—и все им мало; а затем—эти 20 к.! Без них я, может быть, и отнес бы, но тут отказал.

Через несколько дней новая история. Выходит один из «банкиров» ко мне на коридор, дает книгу и письмо в открытом конверте. «Сходите, пожалуйста, в канцелярию,—обращается он ко мне,—покажите там помощнику или смотрителю эту книгу и письмо и скажите, что я прошу их позволить передать все это моему родственнику, который сейчас был у меня на свидании и теперь ждет за воротами тюрьмы. Ему и передадите тогда книгу и письмо!»... Никаких денег на этот раз он не предложил.

Я беру, выхожу на двор, поглядываю в сторону канцелярии,—никого начальства не видно, а ворота напротив. Что, думаю, ходить еще по канцеляриям, скорей сдам—и делу конец. Выбегаю за ворота,



вижу человека в военной фуражке, спрашиваю, он ли родственник такого-то, и уже сую ему книгу. Но в это время, слышу, военный обращается к кому-то со словами:

— Посмотрите, пожалуйста, тут нет ничего!

Гляжу—стоит смотритель...

— Ах, позвольте!—вскрикиваю я и с этим отдергиваю книгу назад.—Эту книгу с письмом Н. просил показать раньше вам,—говорю я смотрителю и подаю ему то и другое. Он взял, прочел письмо и сейчас же отдал военному.

Как очутился смотритель около, как я его проглядел, до сих пор не понимаю. Но те минуты, когда военный предложил смотрителю убедиться, что в книге ничего нет, остались навсегда. К счастью, письмо лишь заключало благодарность за книгу и разные излияния родственных чувств. Мне даже выговора не было. Все это хорошо, но наше-то специальное дело стояло на одном месте.

Правда, днем, благодаря Пантелееву, я был полным хозяином на коридоре, мог отпирать, запирасть, выпускать всех и каждого, но днем у ворот сидел цербер, знавший хорошо в лицо всех служащих, всех политических: мимо него не пройдешь. А тут вдруг новая тревога. В тюрьме, по случаю разных событий и удачных подвигов радикалов, устраивалось торжественное освещение маленькими свечками окон. Об этом узнали в городе; смотрителю, верно, была нахлобучка. Политических он и вообще побаивался, а теперь, чтобы избавиться от них, задумал просить о переводе и их в крепость. Об этом дошло до нас. Забили мы тревогу: из крепости уже не уйдешь! Решили действовать, а не возлагать надежды на естественное повышение меня в ключники. Разговаривая как-то с Пантелеевым, я узнал, что он раньше служил в имении приказчиком. Как человек с большим самомнением, он выставлял себя и знающим хозяйство, и умелым управителем. Помещица от него будто бы была в восторге и т. д. Какая причина заставила ее расстаться с ним и привела его в тюрьму, он умалчивал, я же не расспрашивал сам, находя, что для нас большой интерес представляет начало, а не конец. Явилась мысль нанять его и тем очистить место... Мокриевич изобразил из себя помещика Н., Никита Левченко—его слугу. Приехали они в гостиницу, Никита Левченко отправился в тюрьму, вызвал Пантелеева и пригласил его к барину. Пантелеев в тот же день явился к Мокриевичу. Тот, основываясь якобы на хорошей аттестации, слышанной им от самой помещицы, бывшей хозяйки Пантелеева, хотел бы иметь его своим управителем. «Согласны ли вы бросить тюрьму? Сколько вы там получаете?»—«25 руб.!»—не задумываясь выпаливает Пантелеев. На место в деревне соглашается, и дело слаживается быстро. Составляют условие. Мокриевич дает ему задаток, берет документы, и на другой же день в тюрьме повторяется обычная история. Желающий уходить не делал этого просто, а поднимал ссору, скандал с начальством. Тогда его гнали сей же час, отдав расчет без задержки.



Так сделал и Пантелеев. Место ключника освободилось, наступил решительный момент: на кого-то у смотрителя падет выбор? Незадолго перед этим в тюрьму приняли двух бравых унтеров, но на этот раз смотритель, наконец, отдал мне предпочтение, сделав ключником, а одного унтера ко мне надзирателем определил. Мы ликовали... По случаю повышения, в первый же вечер приглашаю Мильченко и всех ключников в ближайший кабаk. Там, как видно, знали всех хорошо. Отводят нам отдельную комнату. Угощаю, знакожусь со всеми... Перед пасхой отношу Мильченке четверть водки. Он ведет к себе в дом, знакомит с семьей: женой и дочерью. Приглашают ходить. Мильченко, в знак расположения, начинает давать мне поручения в город: закупать для больницы кое-что. Мне это было невыгодно: город далеко—приходилось приплачивать за извозчика, но я, конечно, брал поручения. Это давало теперь благовидный предлог уходить из тюрьмы, забегать к своим. Собираясь у Мокриевича, мы обсуждали вопрос, как устранить надзирателя ночью с коридора. Остановились на хлорал-гидрате с водкой. Лошадь с повозкой куплена была уже раньше и ждала нас давно. Лодка, костюм, паспорт—все готово. Когда-то дежурство?!

Вот и оно... Кончилась «поверка», разводящий приводит солдат, хочет ставить у главного крыльца. «Нет,—говорю я ему,—тут не надо; лучше поставьте на заднем дворе, там опасней». Разводящий соглашается; и главное крыльцо остается без часовых. Мне не сидится; иду на чужие коридоры проверять надзирателей; захожу на женское отделение. Старый давнишний надзиратель, как видно, недоволен. Отвечает сердито, чуть не говорит: «чего таскаешься, и без тебя дело знаем». Ухожу; часов в 8—9 ставлю самовар, пью сам и несую своему надзирателю. Вместе с чаем подношу ему и стакан водки с гидратом. Тот залпом выпивает, крикает, благодарит. Чтобы не развлекать и дать скорей уснуть, ухожу. В коридоре у окна стоит скамья. Сядь он на нее—и сон быстро охватит. Проходит час, полтора. Заснул или еще нет?—не покидает меня мысль. Надо посмотреть! Не выдерживаю и иду в тюрьму. Что за диво? Какой-то разговор несется вверху... Уж не опьянел ли так сильно, что сам с собой разговаривает? Вбегаю наверх и вдруг застаю мирную беседу моего надзирателя с другим из соседнего коридора. «Это что такое?! Разве можно ночью уходить с коридора»—напускаюсь я на них и разгоняю собрание. Сам возвращаюсь в канцелярию и снова выжидаю, волнуюсь. Вот и 11 часов. Еще раз иду к крыльцу. Наверху опять говор... Заглядываю на коридор. Мой надзиратель спешно уходит в другой конец. Плохо дело! Однако, надежда еще не пропадает: почти час впереди. Ухожу, не делаю выговора: наступает время итти за новой сменой. Самый критический момент: сейчас—или опять через неделю, и все зависит от того, заснул или нет надзиратель. С замиранием подхожу к крыльцу—тихо; иду наверх, в коридор—тоже ничего не слышно... Забилося сердце. Уснул... Значит, уснул!.. Спешу дальше.



подхожу к повороту в политическое отделение и сразу падаю с неба: не спит, а бродит тут мой надзиратель, едва, впрочем, держась на ногах. Сесть боится. Не выгорело!.. Отправляюсь за новой сменой, старую увожу, сам укладываюсь спать, но тут налетело раздумье: не догадался ли, не заподозрил ли чего надзиратель. Вся ночь прошла в тревожном полусне. Не успел на другой день появиться на коридор наш надзиратель, как первым делом начинаю его выпрашивать, как ему спалось, как его здоровье: он перед этим жаловался на простуду. «Как рукой сняло, спал за первый сорт!»—отвечает надзиратель весело, без всякой тени подозрения. Отлегло у меня. Вечером отправляюсь к Мокриевичу. «Ну, и хорошо, что вчера вы не вышли. Наш кучер заблудился и не попал к тюрьме!»—утешают меня товарищи, когда я сказал о неудаче.—«А главное, хлорал-гидрат никуда не годится. Надо придумать что-нибудь другое»,—замечаю я. В голове у меня намечался новый план. На нашем коридоре, в одном закоулке, была пустая камера (в ней во время следствия мне же и пришлось сидеть). Там иногда хранилось белье и разный хлам: старые замки, ключи, старые шашки, узелки арестантов. Хламом этим я воспользовался: подобрал ключ к камерам Стефановича и Бохановского. Сидели они розно, но отпирать их камеры можно было одним ключом. Там же приготовлена была мною шашка, чтобы нарядить одного из выходящих надзирателем. Теперь в этой камере не было белья, хлам занимал мало места; можно было поставить стол, стул, устроить чаепитие, позвать надзирателя и, пока он будет чаевать и закусывать, вывести заключенных и спрятать до поры до времени где-либо. Одно мне не нравилось: надо было просить разрешения на принос стола и стула, и неизвестно было, разрешат ли. Между тем, у Стефановича и Дейча явилась более простая и практичная мысль—выбросить из окна книгу на двор и послать за ней надзирателя. Я сразу согласился на этот план. Осталось ждать дежурства и вновь попытать счастья.

День дежурства прошел тихо, спокойно. Началась поверка, обычная кутерьма с беспечными. Один из арестантов, однорукий разбойник Лозовский, не хочет заходить, пока не придут с поверкой к нему в камеру, вертится около меня. Поверка прошла к политическим, я задержался позади. Арестант бросается ко мне, обхватывает якобы шутя и со словами: «А это что!»—вытаскивает у меня из кармана ключ—ключ от камеры Стефановича, Дейча.—«Как что! Разве не видишь, ключ от сундука!»—говорю ему полунедовольно, но спокойно и отбираю у него из рук ключ. Он, видно, ожидал найти в кармане записку, желая этим взять меня в руки, но, найдя ключ, сам немного смутился и поэтому отдал его легко.

После поверки, по обычаю, несу ключи в караульную комнату и кладу там при офицере. «Я ключей не приму! Несите их к смотрителю!»—ощетинясь чего-то, говорит он.—«А мы всегда ключи сюда носим!»—возражаю я. Но мой офицер знать ничего не хочет: стоит на том, что ему дела нет до наших обычаев, и требует, чтобы я унес



ключи, куда хочу. Мне, с своей стороны, мало улыбалась перспектива получить нахлобучку от зрителя за беспокойство. Начался между нами маленький спор, закончившийся тем, что ключи останутся в караулке, но без приема со стороны офицера. Возвращаясь в тюрьму. У главного крыльца ходит солдат с ружьем. Зову разводящего и, как в прошлый раз, говорю, что у крыльца не надо часового. Разводящий этому рад даже,—меньше людей потребуется,—но сам не решает снять; идет спросить офицера. Какое! Где он приказал, там и должны стоять! Часовой остается. Мне не нравится это, но делать нечего, иду в канцелярию, ставлю самовар, приглашаю унтер-офицера чаю выпить. Тот приходит, и мы начинаем с ним отводить душу, наводить критику на офицера, разбирая тут и историю с ключами, и с часовым. «Все боится побегов! Но у таких-то и бегают!»—замечает унтер и рассказывает мне, как у одного такого же формалиста убежало несколько человек. Он их у дверей стерег, а они по крышам ушли, над головами часовых проползли... Кончилось чаепитие, унтер ушел, я остался. На этот раз не пошел и на женское отделение, чтобы не огорчать даром старика.

Время потянулось в каком-то особом нудно-выжидательном состоянии, без дум, в бессознательном самоуглублении. Холод и сырость прохватывали насквозь и вызывали дремотность, сонливость, щемящее чувство. Происходило нечто подобное тому, когда с вечера закажешь себе встать пораньше, а утром, хотя и проснешься, не хочешь вставать, тянешь время; жалко расставаться с теплой постелью, пугает холод вне ее...

Чем ближе время подвигалось к 11 часам, тем это состояние становилось нудней, неприятней. Наконец, перевалило и за 11. «Ну, однако, пора! будет ждать!»—говорю я себе; встряхиваюсь и выхожу на двор. Вся дрема, всякое щемление и озноб,—все это разом прекратилось. На душе водворилось полное спокойствие, нервы запрятались глубоко-глубоко, точно дело шло об обычном приводе и уводе «смены». Не являлся даже вопрос: удастся вывести или нет. Шел исполнять хорошо знакомое служебное дело, и больше ничего: ни колебаний, ни сомнений, ни волнений.

На дворе кругом полная тишина, нарушаемая лишь мерными шагами часового у крыльца; вдали у кухни, на выступе крыльца, спит, видно, заведующий кухней, и больше никого. Захожу в тюрьму. Вот и наш коридор; с другого конца несутся звуки, но надзирателя не видно. Подхожу к повороту на политическое отделение. У камеры Стефановича и Дейча стоит надзиратель; о чем-то говорят.

— В чем дело? О чем это?—спрашиваю его на ходу.

— Да вот господа уронили книгу из окна, просят сходить за ней!

— Что ж, сходите, а я—кстати—пока осмотрю тут сидящих.

Надзиратель ушел, я сей же час бегу в кладовку, беру там шашку, заранее заготовленную, отпираю камеру Бохановского, указываю



ему на шашку, поставленную около, а сам спешу на крыльцо следить за надзирателем. Бохановский вышел, запер свою камеру, отпер камеру Стефановича с Дейчем; те тоже вышли, заперли камеру и двинулись по выходной лестнице.

Слышу, сходят. По какому-то наитию иду к ним навстречу. «Шашку забыл, шашку забыл!»,—шепчет испуганно Бохановский. Не говоря ни слова, мчусь на коридор. Шашка там, где ее поставил; хватаю—и назад. Наши добрались уже до ниши под выходной лестницей и сидят там тихо. Отдаю шашку, и опять на крыльцо. Нас отделяет теперь одна лишь выходная дверь. Показался надзиратель с книгой в руках. Вдруг слышу за дверью шум: в нише забилась шашка о камни при надевании ее... И в то же время вижу, что надзиратель с книгой в руке уже близко. «Семенов, отнесите книгу в канцелярию!»—кричу надзирателю погромче, чтобы заглушить шум и услатить надзирателя подальше на время. Тот, как человек военный, привыкший исполнять приказы, молча поворачивает налево и мерно направляется к канцелярии. Часовой тоже не обратил внимания. Звяканье шашки прекратилось. Надзиратель, отнеся книгу и ничего не заметив, проходит на свой коридор. Я же несколько задерживаюсь на крыльце, чтобы посмотреть, не будет ли тревоги с коридора. Нет, все спокойно... Значит, пол-дела сделано! Должен, однако, оговориться, что нам много помог случай. У надзирателя подмышкой нарыв назревал, была сильная боль. Он мог действовать только одной рукой, а тут еще листы разорванной книги разлетелись, и ему довольно долго пришлось провозиться с их подбиранием. Не будь этого, забытая шашка могла бы сильно навредить... Подождав немного и видя полное спокойствие, иду к воротам, зову унтер-офицера, чтобы отпер их, и выхожу из тюрьмы на наружный двор, где ворота не запираются. За этими воротами идет большая дорога, усаженная старыми тенистыми деревьями. Тут где-нибудь должна быть лошадь близко и Валерьян Осинский. Ночь беззвездная, под деревьями темно, а мне, пришедшему со света, и того больше. Вышел за ворота—тихо, никого не видно. Что за диво, неужели опять заблудились? В раздумьи медленно перехожу дорогу, минуя деревья, иду дальше. Вот и дом надзирателей, по случаю ремонта казарм нанятый у частного лица.

Я пробираюсь осторожно, оглядываясь на каждом шагу. Наконец-то из-под тени дерев стала выделяться высокая,двигающаяся как-то нерешительно, тень. Валерьян, решаю я, и быстро направляюсь к деревьям, с сильным желанием ругнуть его, если это он. Да, это Валерьян, но бранить его язык у меня не повернулся: от долгого напряженного стояния его положительно била лихорадка...

— Где же лошадь?—спрашиваю.

— Тут, тут! недалеко...

— Мы сейчас выйдем, под'езжайте!—говорю, и с этим ухожу в тюрьму.



Не успеваю дойти, как слышу—несется, тарахтит ужасно по большой дороге повозка, точно все ведьмы Лысой горы за ней гонятся. В ночной тиши всякий звук слышен ясней, а тут когда-то было мощено, и при скорой езде шум вышел на славу.

У ворот тюрьмы снова пришлось вызвать унтера, чтоб впустил. Он выслал солдатика. «Вы не запирайте!—говорю ему.—Я сейчас буду выводить смену». Сам направляюсь к крыльцу.

Вдоль ходит часовой. На его глазах подхожу, приотворяю дверь на лестницу и, обращаясь к своим, кричу: «Смена, выходи»! Смена, под конвоем надзирателя—Бохановского в шашке, выходит, и мы направляемся к воротам. Солдатик ждет и, услышав мой голос, отворяет: мы проходим мимо гауптвахты с часовым к калитке на наружный двор. Тут все бросаются ко мне и начинают на радостях целоваться. Я передаю каждому кой-какое оружие для защиты. Шагаем за наружные ворота. Где же лошадь?! Оглядываемся—ничего не видно: лошади, повозки следов нет... Вспоминаю бешеную скачку... Решаем, что лошадь, видно, испугалась и понесла. Надо идти пешком. Хождение ночью по ярам совсем не улыбалось, однако, делать нечего, надо было двигаться, и мы двинулись к городу. Прошли забор тюремный. Далее начинается огородный вал. Вглядываемся, в тени вала что-то чернеет, ближе... повозка! Ура! Мы на нее. Я беру вожжи в руки, и под гору лошадь понесла нас довольно быстро, но скоро начался подъем.

Лошадь одна, повозка тяжелая, нас мала куча—5 человек. Тише поехали. Вдруг до нашего слуха ясно донесся бег погони... Ах, да это ведь Валерьян бежит за нами. Вот и он усталый, просится тоже в повозку... Выругали, но посадили. Мы уже въезжали в город. Двое или трое прохожих удивленно посмотрели на нашу кучу. Далее мы спустились по узкой дороге на Подол. Приходилось ехать почти шагом. В одном месте попался пьяный, лежавший на дороге. Об'ехали. На Подоле разделились: я пошел на квартиру Мокриевича, а они все отправились к Днепру, где была заготовлена лодка, костюмы и все прочее.

Левченко знал плохо дорогу и сначала завез в тупик, т.-е. в улицу без выхода. Пришлось поворачивать, расспрашивать дорогу, но во всяком случае добрались благополучно. Стефанович, Дейч и Бохановский уехали в лодке. Валерьян и Никита возвратились.

Я прожил в Киеве еще дней 10; потом уехал в Одессу<sup>1</sup>.

О дальнейшем узнал на следствии в 1881 году. Узнали в тюрьме о побеге так. Малавский, живший в одной камере с Бохановским, проснувшись утром и не найдя в камере товарища, поднимает бурю, бежит в канцелярию, спрашивает, куда дели Бохановского. Там в недоумении; сначала оправдываются, что не трогали. Потом идут в

<sup>1</sup> Вся моя «служба» в Киевской тюрьме продолжалась около 3½ месяцев.



камеру—ужасаются; заглядывают в другую—подозрительная тишина; отпирают—и еще нет двоих. Начался переполох, предположения, догадки. Строили всевозможные планы, только настоящий долго не шел в голову. Еще ночью, когда я не привел смены и сам не возвратился, надзиратели вызвали ламповщика, попросили его сходить за сменой, переменялись и на том успокоились, зачислив меня в убитого жуликами. Раза два, на глазах арестантов, Мильченко обращался ко мне с просьбой ссудить его деньгами. Я брал у наших в коридоре, выносил и давал ему. Меня поэтому считали человеком денежным. На этом строились догадки. Тюремные жулики передали—мол—на волю своим. Те подкараулили и уколошили. Таким образом, моя пропаша об'яснилась легко и удобопонятно...

О побеге и мысль никому не приходила в голову. Все это узналось, когда проверили мой паспорт. Малавский знал, конечно, о побеге. Поднимался даже вопрос, не взять ли и его с собой; за ним не было больших дел, лучше сказать—за ним совсем ничего не было. Думали, поэтому, что его процесс кончится ничем, а тут все-таки был риск и для других: 4 больше 3, а к тому же мешал его несуразно-большой рост... Он и остался. Но чтоб его не обвинили в соучастии и помощи побегу других, он разыграл описанную выше историю. Не подними он шума, еще позже хватились бы. Когда меня привезли в Киевскую тюрьму на следствие, то первым делом арестанты сообщили мне; будто я увел не троих, а шестерых, и не через ворота, а каким-то особым путем. Благодаря этим слухам и боясь, чтоб я и себя теперь не вывел тем же путем, с моим привозом сейчас же увеличили число часовых...

Тюрьму после реформировали.

Из политического отделения сделали особый коридор, имевший своих собственных надзирателей-ключников, свой дворик. Все крыло, где находились политические, отгородили стеной от уголовного двора. Жалованье служащим увеличили. Дали им определенную форму.



## VII. Подкоп под Херсонское казначейство.

(По поводу воспоминаний Ф. Юрковского)<sup>1</sup>.

Россикова, задумав совершить подкоп под Херсонское казначейство, решила вести все дело более или менее самостоятельно, входя лишь в отдельные соглашения с отдельными лицами,—и при этом старалась избежать привлечения к делу целых групп. У нее была своя цель,—для этой цели она хотела добыть денег, и ей, конечно, желательно было, чтобы они пошли именно на эту цель. Отсюда вытекает и некоторая обособленность ее деятельности, даже конспирация. Вступить в соглашение с такой, положим, организацией, как «Земля и Воля», ей было просто боязно. В случае удачи, деньги,—а их, предполагалось, немного будет,—по решению большинства участников, легко могли пойти на другие дела, и ее цель останется, пожалуй, невыполненной. Поэтому она стала искать таких участников, которые заранее соглашались с ее целью или предоставляли себя в качестве простых помощников в работе по подкору, не входя в обсуждение организации всего дела. Благодаря этому и получилось то, что те, кто ничего не имел против этого предприятия, но имел достаточно людей, чтобы организовать это дело, остались в стороне, зная о нем лишь в общих чертах и немного, боясь даже испугать Россикову своим более активным вмешательством.

Лично с Россиковой мы были в хороших отношениях, и мне приходилось иногда оказывать ей услуги, например, при ее побеге из деревни, где ее должны были арестовать. И вот, задумав устроить подкоп под херсонское казначейство, Россикова, при встрече со мной в Одессе в начале 1879 года, сообщила мне об этом своем проекте, пригласила к участию, обещала дать знать, как только окончательно выяснится, что дом для найма будет найден и можно будет начать дело. Но в этом же году, в это же самое время, как известно, собрался Липецкий съезд, в организации которого мне пришлось принять участие. Пришлось часто отлучаться из Одессы. Следить мне

<sup>1</sup> «Былое» (заграничное), 1908, № 7. Там же помещены и воспоминания Юрковского. — *Ред.*



за развитием херсонского дела не было времени, а к тому же вскоре я заметил и то, что Россиковой желательно повести все дело самостоятельно. На вопросы, как идет дело, она отвечала, что люди найдены, что все организовано, но о моем участии вопрос замалчивался. Самому мне было неловко напоминать, зная, что она побаивается вмешательства нашей организации, и потому я, бывая в Одессе, перестал даже спрашивать, как и когда начнется самое выполнение предприятия.

В конце мая, когда я был в Харькове, получается вдруг письмо от Южаковой, где она пишет, чтобы я во что бы то ни стало ехал скорей в Одессу по очень важному делу. Отправляюсь туда и тут только узнаю от нее, что дело в Херсоне начато и что я действительно нужен там, что там большой недостаток в рабочих. Отправляюсь сейчас же туда и застаю все уже при конце, хотя свежий работник был все-таки нужен, так как все были утомлены, а доканчивать надо.

Об общем утомлении можно судить по тому факту, что когда стали доканчивать выноску земли из подкопа и Россикову поместили у окна, чтобы следить за двором кладовой, то вскоре нашли ее глубоко спящей на земле, которая сваливалась тут же.

Дело велось спешно, и сразу бросалось в глаза, что многое не принято в расчет—особенно отступление, но когда об этом зашла речь, Россикова мне заметила: «Нам нужна ваша физическая сила. Если можете помочь нам—помогите. Что же касается до отступления и вообще всего остального, не беспокойтесь—об этом позаботились уже, и совет лишний!»

Так как я ехал только помочь в работе, а не давать советы или организовать что-либо, то я и умолк, ограничась тем лишь, что помог им докончить подкоп.

Ночью все было кончено; подкоп подошел под кладовую, и осталось опустить лишь большую каменную плиту пола этой кладовой. Работать ночью боялись, чтобы шум не обратил внимания, и отложили до утра. Других работ не предвиделось. Моя помощь была больше не нужна, как все говорили, и я ушел к себе в гостиницу, условившись зайти утром рано, чтобы лишь взять в Одессу 100.000 р.

Утром отправляюсь к дому, вижу: окно открыто, и за ним какая-то пустота в комнате. А, между тем, мы сговорились, чтобы в окне был поставлен условный знак, что все благополучно, или чтобы кто-нибудь из наших поджидал меня на улице. Не находя ни того, ни другого, пришлось задуматься—войти ли в дом, а тут, оглядываясь, вдруг замечаю, вдали идет Терентьева по направлению к паровой пристани. Невольно является предположение, что деньги переданы ей, и я спокойно отправляюсь тогда на пристань,—и мы уехали.

Таким образом, и мой поздний приезд, и скорый отъезд объясняется не тем, что это дело было мне не по душе, что оно казалось шатким в нравственном отношении, а гораздо проще.



То же надо сказать о замечании Ф. Юрковского относительно товарищей, что они не поддерживали его активно, тратя средства на другие предприятия.

В 1874 и 1875 годах Юрковский состоял в Николаевской группе Ковальского, Дробязгина и др. Мысль о предприятии, подобном херсонскому, он говорит, стала его занимать с 1874 года—значит, под товарищами все могут предположить этих именно товарищей, но это будет неверно.

В 1875 году летом и осенью, живя в Николаеве, мне лично пришлось находиться в тесном общении с Ковальским, Дробязгиным и другими николаевцами. Поэтому мне хорошо известно, что эти его товарищи, убедясь за лето, что без денег нельзя вести революционного дела, единогласно пришли к заключению о необходимости добыть их, и, если бы им тогда было предложено что-нибудь подобное, я уверен, они схватились бы за это обеими руками. Таким образом, говоря о товарищах, Юрковский имел в виду, очевидно, кого-нибудь другого, но только не николаевцев. Особенно речь не может идти о Ковальском, который открыто проповедывал, что цель оправдывает средства.

У Юрковского, вероятно, речь шла об одесситах и притом—той группе, которая стояла еще на старой программе, признающей лишь пропаганду и поселение. Но опять-таки это могло относиться лишь к 1874—1876 г.г. В 1877, 78, 79 г.г. принципиальное отрицание захвата казенных денег осталось лишь у лиц, отошедших в сторону, и в Одессе, Киеве легко можно было собрать для подобного дела людей, лишь бы нашлись средства, чтобы хорошо организовать его.

Недостаток лиц в херсонском деле, поэтому, я и объясняю лишь тем, что могущих повести дело было боязно привлекать, а те, которые имелись под рукой, как Погорелов и его жена, не были даже революционерами, не говоря уже о штундистах-хуторянах<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Попытка захватить деньги для революционных целей из Херсонского казначейства посредством подкупа имела место 3 июня 1879 г. Было взято около 1½ миллиона рублей, но участники не сумели их спрятать, и деньги были все найдены, за исключением увезенных 10000 р.—*Ред.*



## VIII. Липецкий и Воронежский с'езды.

Мысль о созыве Липецкого и Воронежского (1879 г.) с'ездов возникла и осуществилась, насколько это я себе представляю теперь, при следующих обстоятельствах...

В начале 1879 г. являются в Петербург сначала А. К. Соловьев, потом Гольденберг и поднимают вопрос об убийстве Александра II, предлагая себя в исполнители.

Действующей и главенствующей партией на севере в то время была партия «Земля и Воля». К ее-то членам, бывшим в Петербурге, и обратились Гольденберг и Соловьев, прося лишь содействия. Начались по этому поводу совещания, на которых вопрос о цареубийстве поднимал сначала целую бурю. Противники в пылу горячего спора доходили даже до взаимных угроз, что отлично изобразил М. Р. Попов в своей статье «Накануне Воронежского с'езда», но в конце-концов пришли все-таки к соглашению настолько, что несогласные, как признавался мне один из них, сами же потом оказывали на деле косвенно содействие замыслу.

Соловьев заявил, что в крайнем случае он совершит акт и без одобрения его партией и без ее помощи. Всю ответственность он, следовательно, брал на себя,—партия оставалась как бы в стороне. Гольденберг к этому времени окончательно отстранился, уступив Соловьеву совершать покушение единолично. Все это и заставило всех отчасти примириться с надвигающимся событием. Споры прекратились, и всякий, кто мог, стал оказывать Соловьеву содействие.

Так было до покушения.

Но вот свершается покушение. Происходит неудача. Как быть дальше? Оставить ли это дело и вернуться к прежним делам, или же докончить то, что было начато?

Члены партии «Земля и Воля», стоявшие и раньше за соловьевское предприятие, теперь и подавно находили обязательно нужным довести дело до конца, так как наступившая реакция, по их мнению, настоятельно этого требовала.

Совершенно иначе посматрели на это возражавшие раньше. В реакции они увидали подтверждение своих опасений, и к тому же, если соловьевское дело еще можно было об'яснить, как личное



предприятие, то ничем подобным нельзя будет отговариваться, раз дело поведут члены партии за ее счет и от ее имени. Споры поднялись снова. Товарищеские, даже дружеские отношения мало помогали прийти к соглашению, а потому решили созвать общий съезд членов общества «Земля и Воля» и отдать этот вопрос на его рассмотрение. Это было тем более необходимо, что в спорах при более подробном и всестороннем рассмотрении вопроса для всех ясней и ясней становилось, что тут дело идет уже не об единичном факте, не об одном Александре II, а намечается целое новое направление, могущее передвинуть центр деятельности землевольцев вместо деревни в города, а это уже касалось всей программы, и отдельная группа не имела никакого права вносить подобные изменения. Это мог сделать только общий съезд. Его и устроили, поручив некоторым подыскать место и собрать всех к известному сроку, ставя условием, чтобы место сбора находилось вблизи деревенских поселений, дабы деревенским деятелям удобней было отлучиться на короткое время. Таким местом мог быть Тамбов или Воронеж. Тамбов скоро оказался неудобным, и поэтому остановились на Воронеже. Воронеж представлял то удобство, что туда много приезжало богомольцев. В нем, как известно, находится знаменитый Митрофаньевский монастырь, и приезд нескольких лишних десятков людей никого не мог удивить.

До того времени я проживал в Одессе и Харькове, но когда зашла речь о съезде, меня вызвали в Петербург.

К моему приезду вопрос об общем съезде, насколько помню, был уже решен, и среди тех, кто стоял за продолжение дела Соловьева, шли речи о том, как использовать съезд, как склонить его на сторону новых предприятий террористического характера.

Необходимо оговорить, что новаторы не хотели ставить вопроса об изменении программы, а только стремились добиться разрешения продолжать дело Соловьева и получить большую свободу действий, большую самостоятельность в ведении подобных дел. Кроме того, террористам необходимо было подсчитать свои силы, столкнуться, спеться самим, чтобы дружнее действовать на общем съезде. Для этого требовалось собрать, стянуть в один пункт из разных мест всех, на кого можно было положиться, что они пристанут, не считая тех, кто раньше выражал уже согласие. Таким пунктом выбрали Липецк,—по двум причинам. Во-первых, это близко от Воронежа. Находясь в нем, легко было следить за сборами на общий съезд и сейчас же можно было переехать туда, чтобы не заставлять себя ждать. Во-вторых, Липецк—лечебный курорт. В нем есть железный источник, открытый еще Петром I. На лето туда приезжают больные, и потому приезд новых людей там не в диво, что и подтвердилось на деле: съезд прошел незамеченным. Так как мне приходилось больше вращаться на юге (в Киеве, Одессе, Харькове, Орле), то ко мне обратились с вопросом, кого можно бы пригласить с юга, и поручили потом собирать их. Перебирая южан, я упомянул и про Желябова.



— Да ведь он же завзятый народник,—возразил кто-то,—их целая компания после «большого процесса» (процесс 193-х) решила поселиться в деревнях, и он первый отправился к себе на родину, в деревню.

— Все это так, Желябов, действительно, жил прошлое лето в деревне, но зиму он провел в Одессе, и сейчас не слышно, чтобы он собирался снова в деревню,—ответил я и при этом рассказал, что заставляет меня предлагать Желябова и почему в нем и его согласии нельзя сомневаться.

Когда существовала группа киевских бунтарей или вспышкопускателей, как их иронически называли на юге, я принадлежал к ее членам. Желябов и его компания относились весьма отрицательно ко многим членам этой группы, переноса такое отношение и на ее программу. Однако, это не мешало его личному знакомству с некоторыми членами нашего кружка. Мне с некоторыми бунтарями приходилось не раз бывать у него на квартире, когда он жил в Одессе, и вести с ним мирные беседы. Программных споров мы избегали, и разговор велся на обычные темы. Желябов, как человек живой, разговорчивый, любил попеть, особенно в компании, любил и порассказать. Мне в особенности хорошо запомнились его рассказы про его студенческие похождения, где он вел постоянную войну и вступал в схватки то с полицией, то с уличными забияками, то, наконец, в бытность уже в деревне, с быком, которого все боялись и который никому не давал спуска. Желябов с вилами в руках пошел один на этого быка и обратил его в бегство, к удивлению всей деревни.

«Да он больше бунтарь, чем мы»,—сама собой напрашивалась мысль во время его повествования, и я не раз высказывал это вслух, когда мы уходили от него. Но приглашать его к нам в то время было уже поздно. Наша компания рушилась,—и Желябов, таким образом, остался неиспользованным.

А между тем нужно было только раз увидеть и услышать, с каким жаром и увлечением он рассказывает о своих похождениях, сопровождая слова жестами, чтобы сразу признать в нем чисто бунтарскую натуру.

Когда я рассказал все это петербургским товарищам, то мне поручено было поговорить с ним, и если он изъавит согласие на принятие участия в покушениях против Александра II, то пригласить его в Липецк.

На ряду с этим, мне поручено было заехать к Баранникову и к Марье Николаевне Оловенниковой. Они обвенчались, жили в то время в имении матери Марьи Николаевны в Орловской губернии. Поселясь в деревне, Марья Николаевна имела в виду завести знакомства, устроить связи и с этой целью по приезде сделала с Баранниковым (фиктивная его фамилия была Кошурников) визиты соседям, а в том числе и исправнику. В ответ к ним явился один лишь близкий родственник, и только. На вторичный брак Марьи Нико-



лаевны, видимо, посмотрели косо, тем более, что у Баранникова был хоть и настоящий паспорт, но паспорт студента со второго лишь курса Петровской академии, да еще из бывших семинаристов. Таким путем очутились они в одиночестве. Хозяйство не интересовало Баранниковых. Попробовал он охотиться или, лучше сказать, попусту стрелять в своем же небольшом лесу, но получил от исправника напоминание, что охота в это время не дозволена. Никаких других дел у них в деревне не было; скука одолевать их стала страшная, и потому приглашение в Липецк было принято ими, как избавление от татарского ига. Баранников, как человек военный (он учился в Павловском училище) и как прямая, боевая натура, любящая встречать врага лицом к лицу, не допускавшая подходов, конспирации, не способный на пропаганду по своей нелюбви много говорить, сразу согласился на принятие участия в боевых нападениях. Для этого он был отлично приспособлен: хладнокровный, физически очень сильный, ловкий, храбрый. Марью же Николаевну больше соблазнила мысль о возможности организации, об устройстве чего-то в роде французских салонов, клубов, где она бы могла играть роль.

В душе она была централистка, и хотя она близко стояла к обществу «Земля и Воля», но это только потому, что не было в России деятельной группы централистов. Отдельные же лица из централистов, что появлялись иногда в Питере на сходках, оказывались в теоретическом отношении ниже землевольцев; землевольцы их обыкновенно побивали, и Марья Николаевна ясно видела, что с такими лицами она не будет в состоянии что-либо устроить. А между тем натура у Марьи Николаевны была деятельная, способная на конспирацию, любящая конспирацию. У ней были и организаторские способности; она умела собирать вокруг себя людей и привязывать их к себе, умела и командовать ими. Ее уважали. Но ей надо было все-таки опираться на кого-нибудь, чтобы не выступить в качестве чистой централистки. Централизм<sup>1</sup> у нас не пользовался большим почетом. Слушая о Питере, о спорах, о планах на будущее, она сразу поняла, что тут дело идет не об отдельном предприятии, а о чем-то другом, из чего может развиться целое новое, более родное ей по духу направление.

У Баранниковых я пробыл два дня. На другой день пришел их родственник. После обеда добыли откуда-то бутылку вина, выпили, разговорились, начали мечтать вслух, увлеклись. Марье Николаевне так показалась заманчива будущность, предстоящая деятельность, что она резко прервала разговор. «Довольно, довольно! хорошего понемногу!», — воскликнула она... Она с Баранниковым первые приехали в Липецк, почти за целый месяц до приезда других.

<sup>1</sup> Т.-е. то направление революционной мысли, которое обычно называется «якобинством». — *Ред.*



Когда я уезжал от них, мне в первый и последний раз пришлось увидеть на станции Александра II. Ему, не знаю почему, захотелось остановиться на этой станции, выйти из вагона и пройтись по платформе. Поезд остановили. Он вышел и, строго глядя на скучившуюся на станции публику, прошел вдоль платформы, зашел в садик и вернулся назад. В это время императрица сидела у окна вагона и что-то спрашивала у баб, толпившихся у решетки платформы против нее. Бабы-крестьянки причитали, плакали от радости, но толком ответить ничего не могли. Александр II, возвратясь и подойдя сюда, разом как-то сбросил с лица всю строгость и, как предупредительный кавалер, весело, ласково смеясь, стал передавать вопросы и ответы от супруги бабам и обратно. Туда, где были бабы, мужиков не пускали, да и вообще мужиков было около станции очень мало. Бабы же все были в праздничных ярких костюмах и, видимо, нарочно были собраны. Таким путем происходит у царей знакомство с народом.

От Баранникова двинулся я в Одессу, минуя Харьков, где жили в это время Софья Львовна Перовская и Татьяна Ивановна Лебедева. Вышла довольно неприятная оплошность с моей стороны: я не заехал к ним и не пригласил их на съезд в Липецк. После, когда на Воронежском съезде стало известно о Липецком съезде и его задачах, Перовская не раз корила меня за неприглашение, упрекая тем, что, живя так много в Харькове и видаясь с ней ежедневно, я бы должен знать ее лучше. Мы ведь вместе все время строили разные планы насчет централки, где находился Мышкин, Войнаральский и др. Это было так, ее упреки отчасти были основательны, но с другой стороны и мое поручение было довольно щекотливого характера. Липецкий съезд держался в тайне от непосвященных членов «Земли и Воли». Поэтому, приглашая туда, надо было иметь в виду не только получение согласия, но и то, чтоб человек, отказавшись, не стал бы разглашать и не поднял бы тревоги. А между тем, еще незадолго до моей поездки в Питер, в одном разговоре Перовская явилась не только завзятой народницей; но еще и русачкой. Все русское—народ, Волга, Жегулевские на ней горы, русские песни,—все это она ставила выше малороссийского и не раз вступала в горячие споры, отстаивая свои симпатии. Землевольтческие народники как-раз и действовали в ее излюбленных местах. Не будь на ее плечах дела с централкой, она, вероятно, и сама была бы там. К тому же всем известно было, что она почему-то недолюбливала так-называемых «троглодитов», и это сохранилось у нее и тогда, когда уцелевшая их часть стала землевольтческой. А ими-то и устраивался Липецкий съезд. Все это и было причиной, почему я не пригласил Перовскую, а вместе с ней и Татьяну Ивановну. Их надо было приглашать обеих или ни одной. После мои соображения оказались неправильными. Соня, оставаясь в душе народницей, в то время находила новое направление настолько отвечающим требованиям и запросам жизни, что не только пристала к нему, но и пошла впереди, отлично



справляясь с своими симпатиями к народничеству и антипатиями к отдельным лицам. То же вышло и с Т. И. Лебедевой.

В Одессе Желябов при первом же свидании выразил полную готовность принять участие в предприятиях против Александра II, но тут же в нем заговорил и народник. Когда я дальше в разговоре стал подробней излагать ему цель Липецкого с'езда, планы и намерения питерцев организовать, по возможности, более постоянную боевую группу и повести дело террора более систематически, не ограничиваясь уже единичным актом, Желябов, увидав, что за первым актом могут явиться и другие, на которые его пошлют, сей же час, как бы спохватившись, заявил, что он дал слово на единичный лишь акт и останется, пока этот акт не будет выполнен. По совершении же его он будет считать себя свободным от всяких дальнейших обязательств; он потребовал даже, чтоб ему дано было слово, что он тогда волен будет выйти из организации или остаться в ней, обязуясь, конечно, сохранять тайны.

Слово ему, разумеется, было дано, хотя и без того никогда не практиковалось насильно удерживать человека. Желябов отлично сам это знал, но ему, мне кажется, необходимо было успокоить свою народническую совесть; он и поставил свое условие, чтоб иметь право сказать, что «народничества-то я все-таки не бросаю, хотя и согласился на единичный террористический акт».

Вскоре в Одессу приехал Александр Михайлов. Я познакомил его с Желябовым, а сам, вероятно, поехал звать Колодкевича<sup>1</sup> и занялся другими делами. В это время произошел Херсонский крах после ограбления там казначейства Россиковой и другими; в Одессе и Херсоне шла речь, как выволить деньги, зарытые Юрковским в Алешках в земле: Юрковский забыл точно место, а надо было действовать ночью, так как полиция уже караулила дом и место около него. Об этом я упоминаю лишь потому, чтобы сказать, что мне из-за этого мало пришлось видаться с Желябовым после нашего с ним уговора и после того, как он познакомился с Михайловым. Встретился я с ним уже в Липецке и диву дался: Желябов, еще недавно оговаривавшийся и бравший слово, что его не станут удерживать и заставлять участвовать в новых делах, теперь уже сам развивал целую стройную программу боевой организации. Отдельный акт уходил на второй план, на первом—ставилась целая серия актов, которые, ширясь, могли бы закончиться или переворотом, захватом радикалами власти, или, по крайней мере, хоть принуждением правительства пойти на уступки и дать конституцию. Говоря о захвате власти, Желябов всегда оговаривался, что захватывать власть можно лишь с тем, чтобы передать ее в руки народа.

<sup>1</sup> Я говорю «вероятно», потому что пригласить мог только я, а между тем я что-то не помню, как и где это произошло.



Как же могла произойти с Желябовым так быстро подобная метаморфоза? С ним самим об этом мне не пришлось говорить, но полагаю, что объяснить это можно, не одной, а многими причинами. Прежде всего, это была подвижная, деятельная натура, ищущая, где бы ей приложить свою силу, энергию, а между тем правительственный террор отнимал всякую возможность какой-либо деятельности и угрожал каждую минуту высылкой, тюрьмой, иногда за здорово живешь. Чем погибать из-за пустяков и мелочей, лучше совершить что-либо покрупнее, что, быть может, очистит атмосферу, разгонит нависшие над всеми тучи. Так думали в то время многие, так думал, вероятно, и Желябов. Отсюда быстрое соглашение на предложение питерцев. Сказывалась боевая натура. Дальше Желябов умел логически мыслить и доводить мысль до конца. Приняв участие в единичном акте и размышляя, как его совершить, он пришел сначала к необходимости лучше обставить этот акт, но начав с организации его, скоро дошел до необходимости создать организацию и для других актов, продолжать террор до логического конца. Его мышлению помогло, конечно, немало и то, что в Петербурге после моего отъезда Тихомиров и Александр Михайлов, составив проект программы боевой организации для Липецкого съезда, познакомили, конечно, с ним в Одессе и Желябова и вместе с ним этот проект обсуждали. Затем немало повлияло и то, что к этому времени лучше выяснились как наличный, количественный и качественный состав активных деятелей, так и возможность добывать более или менее значительные материальные средства. Дело можно было поставить на более широкую ногу. Этим увлекся и Желябов, а к увлечению он был сильно склонен, рисуя себе и другим серую действительность часто в более светлых, радужных красках, чем это было на самом деле. Зато, слушая его, незаметно и сам начинал верить, что то, что казалось тебе малым, незначительным, серым, на деле и больше, и важней, и светлей.

В Липецк съезжались постепенно, не все сразу. Про Марью Николаевну и Баранникова я уже говорил, что они приехали за целый месяц раньше. Некоторые, приезжая, снова уезжали, чтоб узнавать, как подвигается съезд общий, т.-е. Воронежский.

В Липецке есть река, а за курортным садом—большой пруд-озерко с длинной гатью, с очень прозрачной водой; рыба здесь совсем не водится.

Приехавшие раньше не раз устраивали прогулку на реку, добывали лодку и катались по пруду-озерку и удивлялись его прозрачности и какой-то безжизненности. На расспросы крестьян, у которых брали лодку, про озерко услышали, что причиной отсутствия рыбы они считают то, что запруда сделана антихристом, и что только ему было под силу сделать такую длинную насыпь. Под антихристом, конечно, они разумели Петра I, что потом и выяснилось, когда разговорились вообще о Липецке и об открытии в нем железных вод. Эти



прогулки и катанья служили не одним развлечением: во время их поднимались и обсуждались предварительно многие вопросы, подлежащие решению на съезде; обсуждался, между прочим, и проект Тихомирова и Михайлова, о котором сообщали приехавшие, когда появился Желябов и приехали почти все питерцы.

Но вот съехались и все, — тогда, порасспросив номерных и узнав, что за городом есть где-то лес, где устраиваются пикники, наняли извозчиков, закупили закусок, немного вина, ючищенной и двинулись в путь. Извозчики отлично знали место и повезли по первому намеку о пикнике без дальнейших расспросов. Дорога за городом шла низиной, которая, видимо, заливалась или заливается весной полной водой. На это указывали высохшие протоки, песчаные островки, мели. Переехав реку и поднявшись на ее невысокий берег, мы повернули направо и покатали по безлесной поляне с песчаной дорогой. Вдали виднелся лес, к нему мы и направились. Тут Желябов показал нам свою силу и немало удивил ею даже извозчиков. Дорогой он с кем-то поспорил, что подымет пролетку с седоком за заднюю ось. Проехав по лесу не более версты, мы начали останавливаться, увидав впереди какие-то постройки. Предположили, что это, верно, какой-нибудь ресторан или что-либо в этом роде, где кутят липецкие купцы. Желябов сошел со своей пролетки. Внезапно бросается он к новому под'езжавшему экипажу, схватывает его за заднюю железную ось и, подняв вверх пролетку с седоком, останавливает лошадь, бежавшую тихой рысью. «Ну, и сильный» — вырвалось невольно у одного извозчика. Мы все тем более были поражены, что с виду Желябов вовсе не производил впечатления силача-атлета. У него же от напряжения только лопнула кожа немного на пальце, и выступила кровь.

Наделив извозчиков закуской и водкой, которая для них и была куплена, их отпустили к постройкам, а сами мы двинулись налево в сторону и стали искать такого места, где нас трудно было бы увидеть издали, а сами мы легко могли бы видеть всякого к нам подходящего. Такое место нашлось очень скоро: это была группа деревьев и кустарников, стоявших на полянке почти в ее центре. Расположившись на этом островке, отлично можно было видеть, что творится вокруг этой полянки, оставаясь самым невидимыми и неслышимыми, так как расстояние от нашей группы деревьев до леса было достаточно велико.

Разложив, расставив на траве бутылки с вином, закуски, стаканы — все, чтобы придать такой вид, будто люди приехали покутить, — сейчас же приступили к обсуждению.

Воспроизвести после 27-летнего промежутка то, что говорилось тогда, не имея у себя протоколов, всякий, конечно, понимает, не только трудно, но даже невозможно; ведь после этого пережиты Равелинский и Шлиссельбургский режимы. Этим я и не стану заниматься, тем более, что отделить сейчас то, что говорилось незадолго



до с'езда, от того, что говорилось на самом с'езде, совершенно немыслимо. Одно можно сказать, что на с'езде приняты были начала всех тех положений, которые вошли позже в программу «Народной Воли». Но так как с'езд не задавался целью создать новую программу, так как он имел в виду действовать еще под знаменем программы землевольческой, то ему не было и нужды, собственно говоря, формулировать свои мысли в одно целое и делать на этот счет постановления. Заговор, переворот, захват власти с передачей ее народу — все это высказывалось, обсуждалось, но все это, насколько помню, имело место лишь как доказательство, как мотив у отдельных лиц, что с помощью сильной боевой организации и такие вещи возможны. С этими мнениями можно было соглашаться или нет,—это не было обязательно. Целью с'езда было создание сильной, боевой организации и предоставление ей возможности действовать самостоятельно, находя для этого как людей, так и средства. Выработкой организационных вопросов с'езд, главным образом, и занялся, коснувшись, конечно, и некоторых практических вопросов.

Гольденберг в своих показаниях настаивал на том, что с'езд занимался только вопросом о цареубийстве. Это надо объяснить тем, что он сам, сильно занятый этим вопросом и знавший, что из-за этого вопроса загорелся весь сыр-бор, полагал, что и все были его мнения. Так он и остался при этом, полагая, что вся боевая организация для этого дела только и формируется. Он упустил из виду дальнейшее развитие вопроса и не обратил внимания, что дело идет не об отдельном акте, а о целой системе их. Этому, мне кажется, способствовало то, что в Питере скоро Гольденберга узнали ближе и поэтому стали к нему относиться хуже. Признавая, что на героический поступок он хотя, быть может, еще и способен, считали, однако, что в других отношениях он не выдерживает критики. Заходила даже речь о том, что его не следует звать на Липецкий с'езд. В Киеве и Одессе Гольденберга знали лучше и были удивлены его приглашением. Но северяне отстояли, заметив, что уже поздно, так как он уже приглашен. В Питер Гольденберг явился окруженный славой его харьковского дела (убийство Кропоткина), предлагал себя для покушения на Александра II.

Он сперва показался питерцам достойным внимания, его пригласили в члены террористической группы, с ним стали совещаться о Липецком с'езде. Не пригласить его туда стало для питерцев трудно и даже совершенно невозможно. Они и пригласили, но дальше, когда появились южане, дело не пошло, и уже на Воронежский с'езд его и не подумали проводить. В Петербурге Гольденбергу не приходилось, видимо, участвовать в разработке дальнейших вопросов насчет Липецкого с'езда, и он, видя, что на с'езде обо всем этом говорят лишь бегло, мало обратил внимания на происходившее—слона-то и не заметил, объясняя все по-своему, думая, что все устривается для одной ему известной цели.



Больших споров, длинных рассуждений на с'езде не было. Обо всем переговорах заранее. Здесь надо было лишь выработать и формулировать кратко то, что думали, с чем были согласны все. На первых порах, впрочем, началась была обычная история: неумение русских вести собрание. Всякий спешил, не слушая другого, высказать свое мнение и не соглашался на изменения, на поправки. Желябов, однако, быстро помог делу. Очень быстро выяснилось, что он отлично умеет схватывать сущность чужой мысли и формулировать ее так, что с ней легче другим соглашаться. Мало этого, он несколько однородных речей соединял в одну, сглаживая, соглашая все их детальные различия, которые часто мешают соглашению больше, чем основные.

Его сей же час выбрали в секретари, и дело пошло быстро. Поднимались вопросы, высказывались мнения, Желябов их формулировал; делали небольшие поправки, заменяли одно слово, одну фразу другими и ставили на баллотировку. Вопрос проходил, и шли дальше. Учреждение генерал-губернаторств, введение военных положений, принятие вообще чрезвычайных мер с арестами, высылками в то время как-то особенно угнетающим образом подействовали на общество, и из его среды стали раздаваться крики, что так жить нельзя, что такому порядку надо положить конец, необходимо найти выход. Со стороны радикалов потребовалось потому принятие тоже чрезвычайных мер, особенное напряжение, особенные поступки; вообще, требовалось от оборонительной борьбы перейти к наступательной. Сделать все это небольшая группа террористов—как членов «Земли и Воли»—не могла. Для такого большого дела требовалась и большая, хорошо организованная партия<sup>1</sup>, которая могла бы действовать быстро, решительно, не ожидая разрешений свыше. Об устройстве такой-то организации на с'езде и шла главным образом речь.

Вся организация делилась на несколько отделов: боевой, литературный, по заведению связей, по добыванию средств, пропаганде и т. д. Но все это объединялось в одном центре, который должен был все знать, все ведать, все направлять к намеченной цели. Выбор как в отделы, так и в центр совершали тут же. Руководились, конечно, склонностью, способностью, личным желанием. Боевому отделу придавалось большое значение, ему предназначалась видная роль, а потому прочие отделы должны были нести по отношению к нему обслуживающую роль. Они должны были содействовать ему каждый в своем роде. Одни—добывать деньги, другие—писать и печатать, третьи—отыскивать новых бойцов и т. д. Каждый отдел в своих частных действиях был самостоятелен, т.-е. члены других отделов не

<sup>1</sup> Я употребил слово «партия» только потому, что не нашел более подходящего по тому времени названия. Это название не соответствовало действительности. Но с другой стороны, нельзя было назвать новую организацию и группой, ибо она состояла из нескольких групп.



вмешивались в его дело, но в общем находился в зависимости от центра и общего собрания. На с'езде центру придавалось особенное значение—почти диктаторское, но фактически, на деле, большое значение имело потом общее собрание и даже собрание наличных членов, когда их оказывалось где-либо значительное количество.

Центр возбуждал, ставил на вид необходимость тех или других мер, предприятий. Собрание обыкновенно обсуждало, делало постановления, и центр потом следил за выполнением этих постановлений. В промежутки между собраниями, в пределах намеченного последними, центр мог требовать полного выполнения уже его собственных решений. Центр заседал почти ежедневно, собрания же бывали изредка.

Члены организации делились на полноправных членов и неполноправных—или агентов, как их называли. Здесь не мешает указать на то, как к этому времени сильно подвинулось сознание необходимости централизации и необходимости известной подчиненности одному центру, одной какой-нибудь организации, необходимости известных тайн. Я хорошо помню, как в бытность мою киевским бунтарем мы тоже устраивали там с'езд и тоже выбрали центральную группу, которая должна была играть роль руководителя, инициатора. Этому центру должны были подчиняться. Он должен был знать все, мог действовать по своему усмотрению, мог иметь свои тайны, которые не обязан был сообщать всем. И что же? Все это продолжалось только до конца обсуждений. В конце же сразу были раскрыты даже тайны закрытой баллотировки в центр. Вообще русские, как я заметил, с большой неохотой и медленно примирялись с конспирацией, тайной, необходимостью подчиняться. Это не раз и после вело к очень нежелательным явлениям, но все-таки как члены Липецкого с'езда, так и многие другие уже выросли настолько, что могли вполне серьезно отнестись к своим решениям и последовательно их исполнять. Трудней всего давалось сознание необходимости подчинять свои действия требованию главной организации, и это было больным местом для всех провинциальных групп, находящихся в связи с главной организацией. Помогало часто лишь то, что в члены такой группы вступал кто-либо из членов петербургской организации, который и улаживал дела, сглаживая шероховатости. Впрочем, последнее относится уже к последующей практике. Члены же с'езда, сознавая важность и необходимость подчинения для более планомерной, к единой цели направленной, деятельности, исходили в своих решениях и постановлениях только из такого сознания и доводили принцип до конца.

Выяснением принципов для новой организации с'езд и занимался, не отвлекаясь в сторону частных предприятий, порешив все существенное в первом же заседании. Его-то я только и помню. Ездили ли еще в лес, я уже забыл. Если и ездили, то не все, а те, кто не торопился на Воронежский с'езд или кто совсем туда не собирался,



как Гольденберг и некоторые другие. Вот тут-то и в эти поездки и могли говорить уже о частных предприятиях. Говоря об них, Гольденберг и мог еще заключить, что дело идет о практических начинаниях.

Из Липецка большая часть сейчас же отправилась в Воронеж и, первым делом, постаралась провести в члены «Земли и Воли» своих членов. В Воронеже так же, как и в Липецке, с'ехали не все сразу, и потому до общего собрания бывали и частные катанья на лодках, и свидания на квартирах, где велись споры и выяснялись взгляды.

Здесь, чтобы лучше понять, о чем мог быть спор и что препятствовало полному соглашению, я коснусь тех положений программы «Земли и Воли», которые и служили камнем преткновения и за которые еще крепко держались так-называемые народники, т.-е. те члены «Земли и Воли», которые стояли за деятельность в деревнях и находились там.

В первых номерах «Земли и Воли» говорится: «основанием всякой истинно-революционной программы должны быть народные идеалы, как их создала история»... (требование земли и воли) и далее: «Революция—дело народных масс. Подготавливает их история. Революционеры ничего поправить не в силах. Они могут быть только орудиями истории, выразителями народных стремлений (курсив в газете). Роль их заключается только в том, чтобы, организуя народ во имя его стремлений и требований и поднимая его на борьбу с целью их осуществления, содействовать ускорению того революционного процесса, который по непреложным законам совершается в данный период».

Итак, программа ставит в основу лишь народные идеалы, созданные историей. История же подготавливает и революцию, как дело народных масс.

Революционеры могут быть лишь орудиями все той же истории. Роль их лишь в том, чтобы, организуя народ во имя его собственных стремлений и требований, содействовать ускорению лишь того революционного процесса, который совершается в данный период. Я не говорю о поднятии народа в данное время на борьбу, потому что это, конечно, могло быть только в будущем.

В настоящем же главное заключалось в том, чтобы ближе сойтись с народом, лучше узнать его стремления и требования, заручиться его доверием, уважением, ближе подойти к нему и тогда повести дело организации. Все это возможно было, конечно, только живя в деревне, входя в ежедневное общение с народом, не пугая его мысль крайностями, не затрагивая его некоторых верований, как, например, в бога, царя. В то время царский авторитет, казалось, стоял высоко, и касаться его резко избегали, но особенно боялись дурного впечатления на народ от всяких покушений на царя. У крестьян еще свежо было воспоминание об освобождении их от крепостной зависимости. Многих недостатков этого освобождения крестьяне еще не рас-



кусили, многое приписывали злоупотреблениям высших и низших чиновников, многого не понимали. Сказывалась тут и историческая привычка к почитанию царской власти. К тому же слухи, что дворяне недовольны освобождением, что они не прочь вернуть старое, что они злы на царя, сильно мешали антицарской проповеди, вызывая в слушателе мысль: «а не из дворян ли ты, голубчик?».

Так в первое время и объяснялись многими действия радикалов.

Понятно, что предприятия, направленные лично против Александра II, еще более должны были поднять подобные толки, могли породить и вражду к радикалам и перенести ее и на народников; поэтому поселенцы деревенские имели полное основание бояться, что такие дела помешают им, затормозят их начинания в народе. Отсюда и их упорное несогласие на подобные акты.

Далее. «Земля и Воля» хотя и признавала террор, но как?

В первом номере «Земли и Воли» уже начинается предостережение от увлечения им. «Мы должны помнить,—говорит газета,—что не этим путем мы добьемся освобождения рабочих масс... Террористы—это не более, как *охранительный отряд*, назначение которого—оберегать работников *среди народа* от предательских ударов врагов».

Здесь опять основа в деревенской работе среди народа, и террор лишь охраняет, защищает эту работу, ее деятелей. Самостоятельного значения за террором еще не признается. Он, охраняя работу поселений, может нападать лишь *на отдельных личностей*, так или иначе мешающих делу. Писавший, немного увлекшийся своими рассуждениями, в число таких отдельных личностей включил и царя, но это надо отнести не к мнению всех, а лишь немногих. Вот текст: «До тех же пор, пока останется в действии нынешняя система, основанием которой служит произвол *отдельной личности* (курсив в газете), начиная от царя и кончая будочником..., до тех пор врагами нашими... являются отдельные личности». Здесь в число отдельных лиц хотя и внесен представитель верховной власти, но это носило совсем не тот смысл и характер, как впоследствии, и потому-то газета поспешила оговориться и начала удерживать от увлечения. Мало этого, в поднятом вопросе она увидела больше, чем увлечение, она увидела перемену программы, зарождение нового направления, уже не подготовку к народной революции, а объявление войны правительственной власти, желание вырвать у правительства конституцию. Но,—говорит газета,—«обратить все наши силы на борьбу с правительственной властью значило бы оставить свою *прямую, постоянную цель*, чтобы погнаться за *случайной, временной*... Такое направление нашей деятельности было бы *великой ошибкой*... со стороны тактики партии. Падение нашего современного политического строя не может подлежать ни малейшему сомнению, и самодержавие заменится *конституционным строем*»,—предсказывает газета, как бы продолжая спор на бумаге, начатый где-то раньше на словах: о стремлении к конституции в револ. литературе севера еще не было и помину.



Итак, к первоначальному камню преткновения—к спору по вопросу о вреде нового направления для деятельности в народе—теперь мы видим еще прибавку новых мотивов и новых страхов. В новом направлении усматривалось стремление *оставить прямую, постоянную цель*, предвиделась погоня за случайной, временной, т.-е. за *конституцией*. А это такое уж дело, которому надо всеми силами не помогать, а мешать, ибо что может дать конституция русскому народу? Русская конституция, *«как и всякая конституция, — продолжает развивать предыдущие мысли автор той же газеты «Земля и Воля», —* выдвинет на первый план привилегированные сословия: помещиков, купцов, фабрикантов—всех владельцев капитала движимого и недвижимого, одним словом, буржуазию...», т.-е. ужасный жупел того времени, от которого надо отрешиваться обеими руками, а не ждать себе каких-то там благ, в роде возможности, при изменившихся условиях, более продуктивной работы с меньшей затратой сил. Как бы не так! Напротив! В настоящее время все эти буржуа разрознены еще и потому бессильны. *«Конституционная же свобода, как бы жалка она ни была, им-то во всяком случае даст возможность организовать в сильную партию, первым делом которой будет провозглашение крестового похода против нас, социалистов, как своих опаснейших врагов», —* заканчивает свои возражения-доказательства газета «Земля и Воля». И теперь, полагаю, для всякого будет понятно, почему землевольцы, несогласные на усиление политической борьбы, подняли всех на ноги, завели спор и старались помешать новому течению. Эта часть с'ехавшихся представляла собою более или менее одинаково мыслящих людей, занимавшихся одним делом и желавших продолжать его. Это были землевольцы-народники.

В другую половину, наоборот, вошел разнообразный элемент. Тут были и землевольцы,—Михайлов, Квятковский, Баранников, склонявшиеся уже к террору, хотя еще и не отрицавшие народничества. Тут были обломки и бывшего бунтарства (я), и киевского конституционализма (Колодкевич), и бывшего чистого народничества (Желябов, Перовская). На взгляды этой части с'ехавшихся, надо добавить, сильно влияли как бывшие на юге дела, так и то настроение, которое там стало преобладающим. Многие южане—Осинский, Попко, Медведев и т. д.—ко времени с'езда сошли со сцены, но то направление, по которому они пошли, передалось другим, и оно-то в общем только и объединяло как на Липецком, так и на Воронежском с'ездах лиц нового направления, внося в то же время большое разнообразие в частностях и давая тем возможность отстаивать свои взгляды с разных точек зрения.

Обо всем этом надо поговорить, впрочем, поподробней, к чему я и перейду. Хождение в народ 74 года, как известно, скоро породило мысль о необходимости более прочного устройства в деревне так называемых поселений, с занятием мест волостных писарей, учителей, фельдшеров и т. д. На севере эти поселения сохранились до самого



с'езда. На юге уже в 1876 году они, приняв иной характер<sup>1</sup>, в сущности были оставлены, и оставлены навсегда. Деятели их перешли в города и там занялись отыскиванием новых путей борьбы, занялись и новыми делами.

В первое время, по уходе в город, некоторые еще не теряли надежды вернуться опять в деревню и строили новые планы, составляли проекты, но скоро все это было оставлено. Началась чисто городская деятельность. Ликвидация шпионов и предателей, освобождение товарищей, устройство типографий поглощали время и, все более и более расширяясь, окончательно прикрепляли людей к городу, увлекая их к террористическим поступкам. Этому немало способствовали также громкие дела, как дело Веры Засулич и дело Кравчинского (убийство Мезенцова). Молодая девушка идет открыто в берлогу врага и мстит за надругательство над товарищами. Все общество отнеслось вполне сочувственно к такому поступку. Само правительство смутилось и назначило обычный суд с присяжными. Даже такие газеты, как «Голос», и те заговорили о наступлении новой эры, заговорили о том, что и им, наконец, стало легче дышать. Словом, под'ем радужных надежд и чаяний охватил как-то всех, и вдруг, можно сказать, на другой же день все были окачены холодной водой. «Голос» даже буквально на второй день после своей статьи получил выговор и увидал, что до новой эры еще далеко. Общество убедилось в этом немного позднее, когда оправданную судом Веру Засулич жандармы хотели снова упрятать в тюрьму, и только благодаря вмешательству толпы удалось ей избавиться из их когтей, и притом не даром, а ценой крови, побоев своих избавителей. Начинаются аресты, отыскивание нитей. Из-за одного факта, из-за одного какого-нибудь поступка загорается сыр-бор, принимаются чрезвычайные

<sup>1</sup> Поселения в 1876 г. в Киевской губернии бунтарями устраивались с целью лишь иметь пристанище в деревне, и чтобы деревня, присмотревшись к ним, знала их, считала своими людьми. О пропаганде тут не думали. Завести знакомство, поближе сойтись, если возможно, с начальством—старостой, старшиной, сотским, писарем,—с соседями—вот самое большое. Предполагалось, что в самом народе есть достаточно горячих элементов и что он под влиянием разных обстоятельств способен к вспышке не в том, так в другом месте. Живя в деревне, об этом легче узнать и удобней пристать к недовольным, не заводя предварительной пропаганды, но готовясь лишь к боевым действиям. Отсюда—бунтари запасались оружием, учились стрельбе и только присматривались, прислушивались, нет ли где какого открытого недовольства, которым можно было бы воспользоваться и тогда начать действовать.

Здесь не место подробно касаться этого периода, и я только укажу на то, что как правительственное преследование, так и само крестьянство было причиной, что деревня была брошена. Правительство, гоняясь за поселенцами, заставляло их уходить в города. Деревня, не понимая, что это за люди стали появляться в ее среде, в свою очередь косо поглядывала на них и готова была помогать правительству в поимке их. Надо помнить, что бунтарство вначале стало развиваться в Киевской губ., и к ней, следовательно, и относится то, что здесь было сказано.



меры. Хотят с корнем вырвать зародыши протеста и обрушиваются как раз не на тех, на кого надо, а на людей, часто стоящих совершенно в стороне или только сочувствующих. В обществе появляется недовольство, и оно совершенно оправдывает такое дело, как убийство Мезенцова. Оно считает его ответом на казнь Ковальского и находит это в порядке вещей. Притом же, совершив его, террористы выказали свою силу, свою мощь, так как тут произошло замечательное совпадение. 2-го августа 78 года казнили Ковальского, а 4-го августа был заколот на улице Мезенцов. Публика не знала, что тут произошло случайное совпадение, что Мезенцов убит за другое. Широкая публика радикальных газет не читала, не знала потому и настоящих мотивов убийства. Но суть не в этом, а в том, что в ее объяснении и сказалось то сочувствие, то оправдание таких актов, о котором сказано выше. Это сочувствие давало революционерам точку опоры, указывало на то, что следует делать, как надо отвечать на правительственные репрессии. За первыми делами, поэтому, следует целая серия новых актов: убийство Гейкинга, нападение на Котляревского, освобождение Стефановича, Дейча и Бохановского, нападение на конвой, везший в централку Войнаральского, убийство Кропоткина в Харькове и друг. Правительство приходит в ужас, начинает вводить военное положение, но обрушивается опять-таки больше на обывательскую публику, вызывая в ней глухой ропот, жалобу, что так жить нельзя, требование положить конец такому тяжелому положению. Этот ропот и эти требования достигают до Соловьева, и он решает принести себя в жертву, рассчитывая одним ударом положить конец ненормальному состоянию вещей. Происходит всем известная неудачная попытка цареубийства. Соловьев гибнет, но положение вещей не только не делается лучше, но еще больше ухудшается. Правительство окончательно теряет голову и отдает всю почти Россию на полный произвол вновь учрежденных генерал-губернаторов. На юге наступает нечто неопишное. Высылают, казнят, арестуют—и кого? Людей, часто виновных лишь в том, что у них переночевал нелегальный человек и оставил пачку прокламаций. Так был казнен Розовский в Киеве, отказавшийся сказать, кто это у него ночевал и оставил пакет<sup>1</sup>. Так казнили в Одессе Дробязгина, Давиденку, виновных—первый лишь в том, что он, обязанный подпиской о невыезде из Николаева, уехал и был в группе киевских бунтарей, где за ним не открыто никаких дел, а второй—за попытку устроить типографию. Я не стану упоминать о других, как Малинка, Чубаров, Лизогуб, ибо правители тут могли еще ошибаться, преувеличивая их значение. Но чем были виноваты одесские студенты, некоторые обыватели Одессы, как

<sup>1</sup> Студент Розовский, обвинявшийся в расклейке прокламаций Исполнит. Комитета, казнен вместе с рядовым Лозинским 5 марта 1880 г.—*Ред.*



Южаков, Гернет, барон Икс (сотрудник газеты), которых хватали, которыми набивали вагоны и ссылали в Сибирь?

В Одессе уже с процесса Ковальского получилось довольно напряженное состояние. Войска, стрелявшие в толпу около суда, убившие одного гимназиста, как мне тогда передавали, желавшего перейти лишь с одной стороны улицы на другую далеко впереди войска, сделали то, что страшно возмутило всех против себя. Возмущение еще более поддерживалось сознанием своего бессилия, невозможностью борьбы с голыми руками; не находя себе исхода, возмущение продолжало бурлить и кипеть, создавая то напряженное состояние, о котором сказано выше. В воздухе стало явно носиться требование ответа, мести за подобные дела. В такой-то момент учреждается здесь генерал-губернаторство, вводится военное положение, и Тотлебен начинает арестовывать, ссылать, казнить. Над городом точно нависает мрачная туча. Это чувствуется всеми, на всех наваливается тяжелый кошмар. Крик, теперь уж не тихий, а громкий, настойчивый, что «так жить нельзя, что надо найти выход», раздается и слышится повсюду. Люди, раньше едва-едва слыхавшие о революционном движении, теперь сами шли, разыскивали радикалов, указывали им на выход, предлагали себя в исполнители, выставляя цареубийство, как наилучший, единственный способ положить конец такому удушью. У многих это, конечно, был временный, невольный порыв,—всякий это понимал, и от таких лиц старались отделаться под тем или другим предлогом, но живя в такой атмосфере, дыша воздухом, пропитанным ожиданием чего-то особенного, и слыша постоянно крики и требования избавления, трудно, даже невозможно было продолжать думать о деревне, о медленной работе там. Выход требовалось найти сейчас, в данную минуту, указание на средство носилось в воздухе, и потому станет вполне, думаю, понятно, почему такие народники, как Желябов, Перовская, Ланганс и друг., оставили деревню и всецело отдались политической борьбе. Тут же надо искать и разгадку их быстрого согласия на цареубийство, на боевую организацию, их споров с чистыми народниками на Воронежском с'езде. Мне кажется, даже сам Воронежский с'езд в конце-концов заразился отчасти сознанием необходимости усиления террора, и только тем я и объясняю, что он согласился на выделение боевой группы в самостоятельную организацию с правом пользоваться известной долей из получаемых средств, с правом печататься в общей типографии, с правом заняться продолжением дела Соловьева. Это соглашение, правда, оказалось временным, но так как я пишу о с'езде, то оно-то мне и важно.

Оно характеризует то время, те обстоятельства, которые выдвинули новое направление. О том, что соглашение могло произойти и произошло,—это факт, но с другой стороны, что оно не могло быть прочным, это тоже мог предвидеть всякий, кто вдумался бы хоть немного как в программу «Земли и Воли», так и в Липецкий с'езд, в при-



чины и мотивы, его создавшие. У народников-землевольтцев на первом плане все-таки и после с'езда осталось основное положение их программы, у членов Липецкого с'езда на первый план становилась политическая борьба, без всякой боязни конституции.

На юге о конституции заговорили еще во время турецкой войны. В Одессе однажды выпущено и расклеено было даже об'явление, что конституция, наконец, дана. Одна из таких бумажек попала в редакцию «Новороссийского Телеграфа» и чуть не послужила предлогом для заметки в газете. Полиция скоро увидала расклейку и подняла беготню, обычную бучу, хотя на это легко было бы посмотреть, как на простую шалость молодежи. Собственно говоря, это и была шутка, чтобы позлить немножко полицейских. Нарочно наклеили и около самой полиции.

В конце 77 и начале 78 г.г., однако, в Киеве уже не в шутку пошло дело, а серьезно. Тут, в Киеве, образовался клуб из очень значительного числа студентов, немногих радикалов и конституционалистов-либералов. В этом клубе конституционные вопросы стали ставиться и разрабатываться самым серьезным образом, и из этого клуба могло бы выйти очень солидное движение с конституционным направлением. Но клуб очень скоро погиб.

В Киев приехала Лавровская<sup>1</sup> и стала петь в театре. Студенты захотели устроить ей овацию, чтоб позлить полицию. Произошла стычка с полицией. Многим студентам досталось изрядно. На другой день они вместе с не пострадавшими еще отправились заявить протест против насилия. Не пострадавшие были все больше клубисты, которые опоздали к театру. Протест их выслушали, всех переписали, а вскоре Киев увидел на вокзале проводы их в не столь отдаленные места Российской империи, как, напр., Олонецкая, Архангельская губернии. С их увозом клуб умер и не возродился. Но мысль о конституции осталась в головах уцелевших и никого из южан не пугала так, как пугала северных народников. «Напротив, конституция, — говорили южане, — нам только сильно облегчит работу, развязав руки, дав возможность добиваться многого на чисто легальной почве, без всяких жертв». Они оставались глухи к запугиванию сплоченной буржуазией. «К тому же конституцию мы и не ставим своей конечной целью, мы ее не выставляем на своем знамени<sup>2</sup>, она явится сама в силу естественного исторического хода вещей, — добавляли при этом южане, — ибо трудно допустить, чтобы Россия перешагнула через эту стадию развития». Не боясь конституции, они рады, конечно, будут, если своими действиями ускорят ее появление...

<sup>1</sup> Елиз. Андр. Лавровская — знаменитая певица-контральто; с 1888 г. она была профессором пения в Московской консерватории. — *Ред.*

<sup>2</sup> Действительно, насколько помню, Липецкий с'езд мало занимался ею, и вообще если о ней говорили, то больше лишь тогда, когда приходилось защищаться от нападок в стремлении к ней, в сознательной якобы работе на ее пользу.



Рознь во взглядах сказывалась, таким образом, на всех пунктах, и, однако, на Воронежском с'езде не произошло раскола. Люди не могли, понятно, оставаться глухи к тому, что творилось тогда на Руси, и соглашались на чрезвычайные меры в расчете, что, авось, и поможет. Вторая причина, помогшая соглашению, заключалась в том, что здесь, по возможности, избегали принципиальных споров, держались того, что следует и допустимо делать сейчас, а о том, «что будет завтра, завтра и потолкуем», — замечали тем, кто затрагивал теорию, программные вопросы. Раз же дело сводилось к практическим предприятиям, для них единение всех сил признавалось необходимым всеми, и отсюда общий центральный орган. Отсюда полюбовное решение всех вопросов и самое дружелюбное расхождение после с'езда. Только Плеханов был недоволен и перестал бывать на заседаниях.

С'езд происходил в лесу за городом. Там в то время начали устраивать сад для гулянья, и за этим садом шел нерасчищенный лесок, в котором и происходили дебаты.

Таких собраний было два-три, и затем все мирно разошлись, предварительно, впрочем, во время частных катаний начавши уже толковать и о частных предприятиях и делая для них подбор лиц. Во время этих частных бесед выяснилось, что и Перовская и еще некоторые готовы пристать к новой организации и принять участие в ее предприятиях.

До сих пор все шло гладко, хорошо, рознь в основных вопросах на время была заглушена, но вот люди раз'ехались. Каждый пошел по своему пути, путь этот оказался длиннее, чем предполагалось, и достигнутое соглашение стало давать трещины с каждым днем все больше и больше. На практической почве появились поводы к недовольствию, к взаимным упрекам, и при розни в принципиальных вопросах продолжать совместную работу делалось трудней и трудней.

Я приведу два-три примера, которые покажут, как происходили дела. Денежные средства доставать от сочувствующих людей в городах было легче, чем в деревне. К тому же и городские члены обнаруживали в этом отношении больше энергии. Получают они, положим, деньги с условием, чтобы все они пошли на террористические дела. По условию, в силу Воронежского соглашения, их, однако, надо бы делить в известной пропорции как на деревенские дела, так и на городские. Но денег мало, получались-то обыкновенно не бог знает какие суммы. Как тут быть? Делить или пустить в одно какое-либо предприятие? Городские предприятия более настойчиво требуют трат, и притом сейчас, неотложно. Деревня может подождать, — так рассуждают горожане, и деньги тратятся на город и в город. Поселенцы, узнав об этом, конечно, заявляют свое недовольствие: им тоже, ведь, необходимы деньги для расширения дел. Поэтому, раз им попадают деньги в руки, они считают себя уже в праве тратить их на себя, не делясь с городом. С обратной стороны получают упреки. Другая сторона недовольна.



Далее—типография общая, но в ней, положим, наборщики или хозяева народники. Приносят статью от горожан. Начинается критика; в словах, фразах, между строк находят несогласие с программой «Земли и Воли». Отказываются набирать и печатать.

Поднимается спор; начинают убеждать, толковать, что тут нет ничего против программы. Делаются с общего согласия исправления, поправки. Статья выходит, но чего это стоит? Раз, другой, третий такая история — и в конце полный разрыв. «Да лучше любовно разойтись, чем враждуя, ссорясь дружить»,—заговорили все в Питере и решили разделиться.

После Воронежского и Липецкого съездов мне все время до осени пришлось быть на юге. О несогласии, которое началось в Питере вскоре же после съезда, доходили на юг лишь темные слухи. Большого значения сначала этому не придавалось, но вот в конце осени попадаю я в Петербург и сей же час со всех сторон слышу взаимные жалобы, а на вопрос, почему же как-нибудь не постарались уладить недоразумения, Алекс. Михайлов чуть не со слезами на глазах мне заметил: «Старались, делали все, но ей-же-богу под конец стало невмоготу, и гораздо лучше разделиться, чем выносить тот ежедневный ад, который вытекает из различия взглядов!».

В результате такого раздела и получилось две партии: партия «Черный Передел» и партия «Народная Воля».

Я не имел в виду, да и не мог иметь, восстановить вопросы, поднимавшиеся на Воронежском съезде во всей их полноте. Я желал лишь дать общую картину тех условий, при которых происходил этот съезд.

Мне хотелось лишь указать на ряду с принципиальной рознью, какая к этому времени образовалась, и на то, что создавало эту рознь. Поэтому-то я и остановился дольше на тех условиях, которые одних, стоявших ближе к пульсу жизни, заставляли действовать в новом направлении, других, живших в более спокойной атмосфере, удерживали при старом. Люди, которые знали о всех ужасах правительственного террора лишь по слухам, по газетным известиям, на чьих глазах не вешали, не убивали их друзей, близких людей, такие люди не могли, конечно, так живо возмущаться, как те, кому это самолично пришлось переживать, кому довелось жить, напр., в Одессе в тот кошмарный период, который наступил на юге<sup>1</sup> с водворением Тотлебена.

<sup>1</sup> Я в пример привожу Одессу потому, что там сам был, но то же самое, конечно, было в других генерал-губернаторствах, с той лишь разницей, что в одном было меньше ужасов, а в другом больше.



## IX. Возникновение „Народной Воли“.

(Комментарии к статье Н. А. Морозова)<sup>1</sup>.

Дорогие друзья!

На-днях я получил статью Морозова о Липецком и Воронежском съездах и, согласно вашему желанию, решаюсь сделать к ней некоторые добавления, хотя, по правде сказать, делаю это с большой неохотой, боясь, как бы не было это принято за полемику с автором. Единственно, что мною руководит,—должен поэтому добавить,—это желание осветить предмет с возможно большего числа сторон, и желание подойти к нему поближе. Морозов, как редактор и писатель, хорошо изобразил то, что происходило у них в редакции и между редакторами, но он мало коснулся улицы, так сказать. Этот пробел я хотел бы заполнить. Тон-то задавала улица, и редакция только являлась откликом улицы, ее выразительницей как со стороны политиков, так и со стороны народников. Улица же начала переходить к новому способу борьбы с правительством гораздо раньше, чем ее действия нашли литературных истолкователей. В Одессе, в Киеве в конце 1877 г. уже начинает ходить мысль о необходимости открыть поход против правительства, в лице хотя бы мелких его агентов. На пасху 1877 года, при скоплении радикального народа, в Одессе происходили уже серьезные дебаты насчет необходимости более систематического похода на правительство; при чем большинство признавало нужным уничтожить, срубить раньше леса, как тогда выражались, а волки тогда, мол, и сами погибнут. Меньшинство же стояло за то, чтобы начать с волков. Все это, правда, за недостатком средств и хорошей организации, не имело практического осуществления, если не считать мелочей, но зато вполне подготовило мысль к подобному способу. Поэтому, когда в конце 1877 года явился в Одессу Валерьян Осинский с предложением об освобождении Стефановича, Дейча, Бохановского, то здесь он сразу нашел подходящую почву, встретив уже целую кучу людей, согласных не только на это освобождение, но и вообще на всякое «дезорганизаторское» дело. Взяв из них часть, Осинский сначала двинулся

<sup>1</sup> «Былое», 1906, № 12. Там же первоначально помещена и статья М. Ф. Фроленко.—*Ред.*



в Киев, но, пробыв тут недолго, направился в Питер. Здесь имелось тогда в виду устроить демонстрацию при похоронах рабочих, погибших от взрыва на пороховом, кажется, заводе. Демонстрация не вышла<sup>1</sup>. Тогда питерцами было решено использовать привезенные силы против Трепова. На Гороховой улице, против Адмиралтейской части, Попко и я наняли квартиру, стали зорко следить за выходами Трепова. «Варвар» (рысак) должен был нам помогать.

Но одновременно в другой части города Вера Засулич, Чубаров и др. в свою очередь задумали, независимо от этого, производить наблюдения за тем же Треповым. У них подготовка кончилась скорее. Вера Засулич училась стрельбе еще на юге, когда была в кружке киевских бунтарей. Ей пришлось только проверить себя и решиться на жертву. Узнав от меня, что наше дело еще находится в периоде выслеживания и определения способа, что время действия не установлено, Вера не стала выжидать, а сочла за лучшее выступить самой, предупредив, таким образом, других. Осинский, Попко и др. двинулись тогда на юг и тут открыли целый ряд террористических действий. Гейкинг, Котляревский<sup>2</sup>, освобождение Стефановича, Дейча и Бохановского, конституционный клуб и т. д.,—все это указывало на переход к новому способу борьбы. Тут же была сделана и пущена в ход печать Исполнительного Комитета. Здесь же южане освоились с мыслью о конституции и перестали бояться ее. С этого времени как новый способ борьбы, так и стремление к политической свободе начинают все больше и больше завоевывать право на существование и, переходя с юга на север, начинают вызывать, конечно, споры, несогласия. Уже перед Мезенцовским делом, приехав в Москву, я был немало удивлен радости Адриана Михайлова, когда он узнал, что я не особенно против деревенских поселений, что деятельность в деревнях признаю одинаково важной на ряду с деятельностью в городах. Значит, на севере уже тогда начался спор между членами «Земли и Воли», но он не имел тогда острого характера. И тот же Адриан очень скоро принял сам в качестве кучера участие в деле Мезенцова.

Кстати о деле Мезенцова... Морозов пишет, что Мезенцов был убит за то, что настоял, будто, на исполнении смертного приговора над Ковальским. Ковальский был казнен за два дня до убийства Мезенцова<sup>3</sup>. Дело же Мезенцова тянулось не менее месяца, и его смерть была решена, значит, раньше этого. Насколько помню, его судили

<sup>1</sup> На Василеостровском патронном заводе от взрыва погибло 6 человек и многие были ранены. При похоронах на кладбище произошло столкновение рабочих с полицией.—*Ред.*

<sup>2</sup> 23 февраля 1878 г. Валерьян Осинский в Киеве покушался на товарища прокурора Котляревского. 25 мая того же года Г. А. Попко в Киеве убил жандармского офицера Гейкинга.—*Ред.*

<sup>3</sup> Ковальский казнен в Одессе 2 августа 1878 г., а Мезенцов убит в Петербурге 4 августа.—*Ред.*



за то, что он настаивал на более строгом приговоре по «большому процессу» (193-х), а главным образом, за применение административной высылки против лиц, оправданных по этому процессу, и за то еще, что он был шеф жандармов и начальник ненавистного всем третьего отделения.

Дело Мезенцова велось членами «Земли и Воли» и показывало, что землевольцы уже тоже начали переходить к тому же способу действия, который практиковался и на юге. Незадолго перед этим точно так же они в союзе с южанами сделали неудачное нападение на жандармов, которые везли Войнаральского в централку Харьковской губернии. Таким образом, и северяне, видим, на ряду с деревенской деятельностью, стали признавать нужным и террор, но, конечно, не все одинаково и не без взаимных пререканий. О том, что они были, свидетельствует сказанное мной выше об Адриане Михайлове. Но на том же Михайлове видно, что такие споры не имели вредного для дела значения, и люди, поспорив, в конце приходили к обоюдному соглашению. Продлись так дальше,—и новый путь, завоевывая мало-по-малу позицию, скоро перешел бы в общую программу, и новый способ борьбы стал бы господствующим, как мне кажется теперь и казалось тогда. Но за делом Мезенцова в Питере последовал очень большой провал, и большая часть видных деятелей попала в тюрьму. Тогда были арестованы Ольга Натансон—эта душа Питера—Адриан Михайлов, так-называемый «Алешка» (Оболешев) и друг. Александру Михайлову удалось спастись. За ним уже гнался кто-то: или жандарм или шпион,—наверно не помню. Но он опередил погоню и, забежав за угол, быстро перескочил забор и там спрятался<sup>1</sup>.

Александру Михайлову с уцелевшими пришлось тогда создавать все вновь. Вызвали они из деревни Квятковского, который с М. Р. Поповым занимались развозной торговлей в Воронежской губернии, и сгруппировали вокруг себя много новых лиц. В это время в Питер понаехали бежавшие из административной ссылки; некоторые из них тоже пристали сюда. В Питере, благодаря всему этому, сразу получился новый состав, и состав довольно значительный, но из лиц, мало проникнутых программой «Земли и Воли». Все это был народ, более способный к деятельности городской, все они больше склонялись к тому, чтобы на правительственные репрессии отвечать действиями боевыми. Путь, намеченный на юге, встретил тут горячих последователей. Старые землевольцы, как Алек. Михайлов и Квятковский, еще недавно мечтавшие о возвращении в деревню, сами прониклись необходимостью выступить на открытую борьбу с правительством, не рассчитывая на народ, имея в виду лишь свои силы.

<sup>1</sup> В тот момент, когда начались аресты, Михайлов был на Дону, куда он был вызван Плехановым, работавшим среди казаков. Но почти сейчас же по приезде на Дон Михайлову пришлось спешно возвратиться в Петербург: его вызвали туда по случаю начавшегося разгрома. В это время, вероятно, и произошло его удачное избавление от погони.—*Ред.*



Таким образом, тут, в Питере, почти все преимущественное значение придавали боевым действиям, не отрицая, однако, и поселений. Но то, что стояли за новый способ борьбы люди новые, не связанные со старыми землевольцами ни дружбой, ни долгой совместной работой, вело невольно к обострению отношений при всяких несогласиях и спорах между старыми и новыми землевольцами. К этому времени старые землеvolьцы-народники отнюдь не разочаровались в своих поселениях, в продуктивности своей работы там. Напротив, они полны были еще веры и потому-то так горячо и восстали, когда зашла речь о цареубийстве, которое, по их мнению, могло убить их работу в деревне или, по меньшей мере, сильно затормозить. Это соображение, надо заметить, и оправдалось потом: когда заведены были урядники, в деревнях стало труднее удержаться. Противодействие народников поэтому было вполне понятно и естественно, раздел стал необходим. Честолюбие отдельных лиц имело, по-моему, совершенно второстепенное значение, и не его, поэтому, я считаю главной причиной раздела, а то, прежде всего, что в состав партии «Земля и Воля» вошел новый элемент из свежих лиц, которые не сами создавали программу «Земли и Воли», которые не выносили ее в своей голове, для которых она была лишь чужое литературное произведение; они были согласны с ней в целях, но не в средствах. Средства их были совершенно разны, и *при отсутствии связующего товарищеского, дружеского чувства* принципиальная рознь обязательно должна была привести к разделу не нынче, так завтра. В самом деле, что представляли Желябов, Якимов, Софья Ивановна, Оловенникова, Ширяев, Исаев, Арончик, я и др. для народников, которые их знали—одних лишь по фамилии, а других—даже и так не знали? Никакая дружба, привязанность, близкое знакомство их не соединяли, и в этом-то и надо искать основной причины окончательного раздела, мне кажется. Для того, чтобы раздела не произошло, надо было, чтобы часть людей заживо обрекли себя на смерть, на полное бездействие или на принятие чужой веры. Но все-таки, пока вопрос не касался существенного, пока спор шел о второстепенных вещах, старые землеvolьцы терпели, допуская своих членов действовать против разных правительственных чинов. Но вот является Соловьев, и поднимается вопрос, который идет в разрез со всем мировоззрением. Тут соглашение трудно, но на первый раз и на это пошли народники. На то, что Гольденбергу угрожали доносом, надо смотреть не в том смысле, что это и в самом деле думали привести в исполнение. Ничего подобного, конечно, не случилось бы. И только, когда произошла соловьевская неудача, когда начался белый террор, когда положение в деревне стало труднее, тогда только народники подняли вопрос о необходимости съезда, о необходимости сообща решить вопрос: следует ли или не следует продолжать дело Соловьева. Литературные статьи, конечно, подливали масла в огонь, но они одни ни к чему особенному не привели бы, если бы спор не



возник заранее из-за практических начинаний, из-за желания довести дело Соловьева до конца. Прежде всего пугало это предприятие, а затем уже являлась боязнь увлечения и перехода и в дальнейшем к подобным делам, что отвлекло бы все силы и средства сюда и оставило в забросе деревню. Но все же, хотя в редакции спор и был ожесточен, хотя некоторые из народников сильно восстали на статью Морозова, но большинство членов «Земли и Воли» как со стороны народников, так и политиков не хотело раздела, и на спорщиков смотрели, как на неуживчивых людей, в чем, помню, особенно обвиняли Плеханова. О разделе больше говорили те, кому круто приходилось от частых пререканий, но другие не особенно с этим спешили, и Воронежский съезд показал, что об этом еще не думали серьезно.

О Гольденберге у Морозова сказано, что так как хотелось собрать на Липецкий съезд побольше сторонников террора, то пригласили туда даже и Гольденберга. Это даже, мне кажется, можно и должно выбросить. Гольденберг был не между прочим приглашен, а потому, что нельзя было его не пригласить. Разговоры о съезде начались при нем. Питерцы относились сначала к нему хорошо, и у них не было еще мотивов не приглашать его. Критику на Гольденберга внесли южане, которые знали его лучше, но южане явились позже, когда Гольденберг был уже приглашен.

Морозов говорит о чтении программы и устава, составленных им. Я до сих пор был того мнения, что записка эта была составлена Михайловым и Тихомировым, а затем на съезде, при обсуждении записки по пунктам, окончательная формулировка, принятая съездом, принадлежит Желябову.

Об агентах Исполнительного Комитета Морозов говорит, что, хотя большинство членов и согласились на их введение, но этот параграф почти не применялся: он помнит одного лишь Клеточникова в качестве агента.

Действительно, русские революционеры очень туго осваивались с мыслью о подчинении. Но все-таки в конце-концов необходимость и более серьезное отношение к делу заставили многих признать это важным для дела, и они смирились, сознавая, что большая боевая организация немыслима на чисто товарищеских только отношениях. Против организованного войска может с успехом действовать лишь еще лучше организованное войско. Тем более, что при расширении организации, при образовании федеративных групп товарищество уже становилось немыслимо, и на первый план выступали чисто деловые отношения, где связывало людей лишь уважение, признание за центром некоторого авторитета, признание за ним прав на руководство. И это, хоть медленно, но входило все больше и больше в практику. Не один Клеточников был агентом; таких агентов было довольно. Я упомяну лишь об известных: Геся Гельфман, Саблин, Ланганс, который скоро был принят в члены,



Франжоли и др. Затем идут провинциальные группы. Правда, на первых порах приходилось охаживать многих, приходилось не ставить вопрос резко, но усилия не пропадали даром, и в конце обыкновенно люди сами сознавали, что иначе немыслимо, что для дела так лучше.

В этом отношении особенно трудно было вести дело со старыми деятелями, которых это коробило больше всего, потому что они видели в этом какое-то обидное для них недоверие, чего, конечно, не было. А только к чему, например, знать всем и каждому фамилии, адреса частных участников разных дел и т. д.? Помню, как на меня ужасно обиделись однажды чайковцы в гор. Николаеве за то, что я им не сказал своей настоящей фамилии, а выдал себя за какого-то Петрова или Иванова и под этой фамилией довольно долго вел с ними дела. Вдруг как-то приезжает туда Аксельрод и обнаруживает мою настоящую фамилию. Беда! Страшная обида! А между тем разве что изменилось, разве я стал другим от этого; разве те рекомендации, что я привез раньше, говорили им меньше, чем моя фамилия, о которой они знали лишь по наслышке? Ничего подобного! Мои рекомендации для них должны были быть более существенны и давали им большую уверенность, что я свой человек, и это они отлично понимали, но недоверие—обида, и они рассердились, оскорбились. Такие, или в этом роде, истории происходили и позже; с ними приходилось считаться, их имели в виду и потому старались не предъявлять сразу принципиальных требований о подчинении, а доводили до этого постепенно, вступая в деловые отношения по частным предприятиям, не затягивая приема в члены, раз убеждались, что человек подходит к организации.

Что касается параграфов устава, приведенных Морозовым, я ничего не могу сказать определенного, так как забыл точную редакцию их, и только должен заметить, что у Морозова, кажется, лучше сохранилось об агентах, чем это я написал. Я совершенно упустил из виду, что мы должны были называться агентами 3-й степени.

О выборах в Распорядительную Комиссию Морозов говорит, что, будто, при этом сказалось очень сильное неудобство организовать тайное общество на централистических началах. И этот вывод он делает, как видно, из неудачного подбора в Комиссию, говоря, что если бы собрание состояло только из питерской группы, то, понятно, не было бы никаких недоразумений, и выбрали бы в Распорядительную Комиссию наиболее осторожных и практических товарищей. Благодаря же иногородным, состав Комиссии оказался не совсем тот, какого ожидали...

Все это место для меня мало понятно.

В Распорядительную Комиссию попали Тихомиров, Александр Михайлов и я. Мы с Михайловым были выбраны по общему желанию, как сказано у Морозова. Остается один Тихомиров, которого многие считали вялым и непрактичным. Положим и так, но при чем же



тут централизм? Южан было четверо всего. Из них я и Гольденберг не знали, что Тихомиров южанин родом. Желябов и Колодкевич, может, и знали, но разве это достаточный повод к выборам в Комиссию, особенно к настоянию на них, раз были несогласные, раз несогласных было много? Все это дело мне представляется не так, и я хочу сказать несколько слов о Тихомирове, как он представлялся мне не в качестве редактора, а в качестве члена организации.

Действительно, Тихомирова не только питерцы, но и южане считали мало практичным, неловким в обыденной жизни. Его боязнь шпионов не раз давала пищу шуткам. Но это не имело никакого значения. На практические дела никто его и не думал посылать, для этого были другие люди; что он опасался шпионов, было даже хорошо. Он лучше, дольше сам сохранялся и не водил за собой так-называемых хвостов (шпионов). Но дело, конечно, не в этом, и не за это его выбирали, а за то значение, за ту роль, какую он играл на первых порах как при создании новой организации, так и при ее действиях в дальнейшем. Его роль и значение, главным образом, вытекали из того, что это был человек начитанный, умный, с литературным талантом, умеющий хорошо, логически излагать и доказывать свои мысли, умеющий склонять и других на свою сторону. Его легко можно было бы назвать головой организации, но только не в смысле руководства, а в смысле способности к теоретическим обоснованиям как практических начинаний, так и принципиальных положений. К этому необходимо только добавить, что в таких случаях Тихомирова всегда надо рисовать рядом с Александром Михайловым. В первое время они составляли настолько одно целое, что для незнающего их хорошо человека трудно было даже разобраться, где начинался один и кончался другой,—так дружно и согласно они проводили свои предложения, свои начинания, так хорошо спевались заранее. Обыкновенно Александр Михайлов, как знающий хорошо положение вещей и обладающий недюжинным практическим умом, являлся с тем или другим предложением. Тихомиров, заранее обсудив это дело с Ал. Михайловым, выступал тогда на собраниях, при обсуждениях теоретическим истолкователем этих предложений и своей логикой способствовал почти всегда тому, что предложение проходило. Таким образом, не участвуя в практических делах, Тихомиров тем не менее имел большое значение при обсуждениях этих дел, и тут он не был вял, напротив, всегда принимал горячее участие. Его выслушивали, с ним спорили, но чаще соглашались. И там, где надо было уметь говорить, Тихомирова посылали на переговоры и с посторонними. Так, он ездил в Киев, и к нему приезжали оттуда для переговоров. Немало ему пришлось повозиться и со Стефановичем. Словом, на Тихомирова смотрели, как на большую мыслящую, литературную силу, и вот в этом-то и надо, по-моему, искать разгадку и того, почему выбрали Тихомирова в Комиссию, и почему потом проходили его



проекты и программы предпочтительно перед проектами и программами других. Кроме того, Тихомиров, бывая чаще на людях, чаще обмениваясь с ними мыслями, лучше зная их, лучше, полнее усваивал и их мысли. Поэтому, когда являлась необходимость выразить общее мнение в виде программы, манифеста, он оказывался более точным, более полным и ярким выразителем настроения товарищей, и потому ему и отдавали предпочтение. Зная это, мне кажется, все относительно значения Тихомирова будет понятно, и не потребуются прибегать к таким объяснениям, как я встретил в «Былом», что новая программа Тихомирова (осенью 1879 года) потому прошла, что он забежал наперед к некоторым заранее. Этому ему незачем было делать, так как он всегда был на народе и мог со всеми говорить, обсуждать все вопросы заранее. Писанная бумага являлась результатом этих рассуждений, в ней лишь формулировалось все в более краткой форме, и только отсюда-то вытекает и общее согласие. В этом-то умении литературно выразить общую мысль и заключались главное значение и роль Тихомирова. За это я называл его головой организации, и это значение Тихомиров удерживал почти до конца, что и выразилось в отдавании предпочтения его письму к Александру III перед написанным Грачевским, которое было тоже хорошо, но длинно. Но, понятно, что с появлением в Питере таких лиц, как Желябов, Перовская, В. Н. Фигнер, Тихомирову пришлось делить свое значение и с ними, однако, это все-таки не дает права умалять и его значения, и я, касаясь других, хотел только выяснить свой взгляд на него одного. Мне кажется, что для исторической оценки его личности в данный момент необходимо было выяснить его действительную роль, которую он играл в большей или меньшей степени в известное время, не касаясь того, что стало с ним после. В свое время Тихомиров пользовался большим значением, на это я и хотел обратить внимание, и этого, мне кажется, не следует выпускать из виду.

*Примечания:*

1. Съездом в Липецке я считаю лишь тот день, в который одобрили программу и был принят устав и сделан выбор Комиссии, назначены редакторы. Это было в лесу, как я описывал. Я помню лишь этот день, а дальше я, верно, уехал. Мне почему-то надо было ехать и кого-то встречать в Козлове, если не путаю, прежде, чем ехать в Воронеж.

2. Вопрос об Александре II был решен в Питере до Липецкого съезда, и на это дело мне было поручено пригласить Желябова, Колодкевича, Баранникова. Правда, предварительно имелось в виду прежде уничтожить Тотлебена и киевского генерал-губернатора, но потом это отменили, предоставив эти дела внепартийным людям. После Липецкого совещания о программе и уставе по поводу Александра II могли лишь говорить о практических уже способах,—как,



где, каким образом это выполнить. Так, например, Баранников предлагал, между прочим, занять еще позицию на З. Двине под Динабургом, где есть высокий мост, и тогда все пути, по которым происходит возвращение из Крыма в Питер, были бы минированы.

З. Воронежский съезд, как решение, а не простое обсуждение вопросов, происходил за городом в лесу, за вновь устраиваемым городским садом.

На реке при катаньи на лодках происходили частные совещания, споры, простые прогулки, и только прием новых членов происходил тут до съезда. У Морозова в числе принятых был, будто, и я, но это, кажется, ошибка. С «троглодитами» я начал знакомиться и принимать участие в их делах, можно сказать, с конца 77 года, т.-е. с приезда Осинского в Одессу. В 78 году осенью я был в Питере и принимался уже, как свой человек, т.-е. мне известны были места типографии, конспиративные квартиры и весь питерский состав. Тогда же меня посылали и в Саратов предупреждать деревенских деятелей о погроме в Саратове. Там была взята квартира, куда являлись из деревень, и об этом-то всех надо было предупредить. Из всего этого я заключаю, что членом «Земли и Воли» я стал раньше, и просто в силу того, что я был чайковцем, меня приняли без всяких, верно, церемоний, т.-е. баллотировок.





1906 г.







## I. Процесс 20-ти.

После 1-го марта на скорую руку поспешили составить 1-й процесс из его участников, выданных Рысаковым, и, повесив их, принялись за составление второго. В 1882 году он и состоялся под названием «процесса 20-ти». На суд попали: Арончик, Баранников, Емельянов, Исаев, Клеточников, Колодкевич, Ланганс, Люстиг, Лебедева, Морозов, Меркулов, Александр Михайлов, Тригони, Тетерка, Терентьева, Суханов, Якимова и я... Помню всего только этих 18 человек, о них и пойдет ниже речь<sup>1</sup>. Александр Михайлов был арестован задолго до 1-го марта<sup>2</sup>. Рысаков его не знал, и жандармы не могли Михайлова прямо причислить к первомартовцам. Меркулов оказался предателем, Люстиг—мало причастным, Терентьева—больше по подкосу в Херсоне под казначейство, Арончик в 1-ом марте не участвовал, но он, стараясь выгородить себя и указывая, что, когда дело совершалось, он находился то там, то в другом месте, этим самым показался судьям очень деятельным членом, и его запрятали с нами в Алексеевский равелин.

Нас судили с сословными представителями; их посадили на самом конце судейского стола в уголку, недалеко от подсудимых, и туда без улыбки трудно было смотреть. С длинной, вытянутой шеей, повязанной цветным платком, сухой, с острым выдающимся носом, сидел там на первом месте какой-то староста или старшина и своей фигурой, точно проглотившей аршин, производил комичное и в то же время тяжелое впечатление. Жалко было видеть его мучительное положение. Неподвижно, уперши глаза на судей, сидел он, вероятно, обливаясь потом, ничего не слыша, ничего не видя. Другие же (предводитель дворянства и еще кто-то) перешептывались, мало как-то обращая внимания на происходящее, и ни одного вопроса с их стороны не было задано<sup>3</sup>. Описывать подробно весь ход суда, конечно,

<sup>1</sup> Кроме того—Гр. Фриденсон и Лев Златопольский. Оловенникова и Тырков, как больные, были выделены из процесса.—*Ред.*

<sup>2</sup> 23-го ноября 1880 г.—*Ред.*

<sup>3</sup> Сословными представителями в «процессе 20-ти» были: московский губернский предводитель дворянства граф Бобринский, ярославский городской голова Вахрамеев и волостной старшина Шалберов.—*Ред.*



я не смогу и только останавлиюсь на частностях. Так, на первом заседании, лишь открылось оно, встает вдруг Александр Михайлов, а за ним еще два-три его соседа, и заявляют, что они отказываются от суда, не признают его достаточно независимым. Председатель, однако, видя, что другие сидят, не присоединяются<sup>1</sup>, не обратил на это внимания и начал суд—чтение показаний Гольденберга, но тут вышел маленький казус. Чтец громко и ясно произносит мою фамилию—Фроленко—и мои приметы, указанные Гольденбергом. «Такой фамилии там быть не может»,—встав, заявляю уверенно я,—«и приметы неподходящие»,—добавляю. На суде я был уже с черной бородой и такими же волосами на голове, а Гольденберг сделал меня рыжебородым. Чтец быстро остановился и внимательно посмотрел в бумагу. «Виноват, здесь стоит Фоменко, а не Фроленко»,—сконфуженно заметил он.—«Да я только потому сделал замечание, чтоб показать лишь, как Гольденберг, не зная многого, прибегал часто к догадкам и их выдавал за действительность»,—объяснил я свою выходку. Для меня лично показания Гольденберга ничего не прибавляли, но для других необходимо было поколебать уверенность в его точном знании. Это одно; затем, когда выяснилось, что на нашем суде главным предателем является модельщик Меркулов из Одессы, судящийся с нами же, тогда резчик по дереву Тетерка, сидевший обычно с ним рядом, придя в суд, развернулся и отпустил Меркулову громкую пощечину. Тот взвизгнул как-то резко, по-заячьи, что неприятно поразило всех. Их, конечно, развели, но ходил слух, что после этого случая Меркулов еще более расширил свои показания и не пощадил уже и своих близких одесских товарищей-рабочих. По суду он был приговорен к смерти, как участник в подкопе на Малой Садовой; однако, правительство выпустило его, сделав лишь своим орудием при дальнейшей ловле народовольцев, когда стал выдавать Дегаев. Чтобы скрыть последнего, на видном месте поставили Меркулова, и выходило, что это не Дегаев, а Меркулов будто продолжает выдавать. Дегаева по-этому долго не подозревали в предательстве, и он смог выдать очень многих, главное—всю военную организацию, Веру Фигнер и других революционеров, не уехавших за границу.

На судах обычно некоторые стараются умалить, скрыть свои дела; у нас Татьяна Лебедева поступила как-раз обратно. У судей никаких данных не было, чтобы обвинить ее в приготовлении динамита, но тогда она сама заявила это. Суду пришлось не принять во внимание ее показания и отказаться от обвинения, так как вызванный экспертом генерал, заведующий правительственным динамитным заводом, заявил категорически, что динамит в маленькой частной квартире приготовить нельзя. Он, правда, ошибся. Весь нитроглицерин и приготовленный из него динамит,—все это у нас готовилось

<sup>1</sup> Это произошло неожиданно, никто заранее об этом не улавливался, и поэтому-то ничего и не вышло.



в частных квартирах, и вся трудность заключалась лишь в покупке азотной и серной кислот, на что требовалось особое разрешение; но для судей, конечно, генерал был авторитетом; мы же (и Лебедева), разумеется, не стали с ним спорить; этим заявлением квартиры избавлялись от лишних подозрений. В видах же будущего допущена была еще одна уловка, условленная на воле, задолго до ареста. Тогда решено было, чтобы при арестах и на суде никто не выдавал себя за члена Исполн. Комитета «Народной Воли», а лишь за его агента, и, притом, за агента второго порядка, чтоб правительство могло думать, что настоящие-то члены все-таки ему не попались. Такое заявление и делали все мы, когда опрашивали нас, принадлежим ли мы к И. К. «Да, принадлежим, но мы лишь агенты второго порядка», — говорили мы все<sup>1</sup>. Действительно, таковые и были на самом деле в партии; это те, что только-что вступали в ее ряды и находились на испытании, так сказать, практикантами. На суде их было человека четыре, считая и Меркулова в их числе, и только из них двое пытались всячески выпутаться из беды. Одному (хотя кое-что и знавшему, но не причастному к делам, Люстигу) это и удалось, но другой, Арончик, только больше запутал себя. В общем же суд проходил очень гладко. Читалось показание предателя или данные следствия. Суд задавал вопрос, признает ли себя подсудимый виновным, тот отвечал, что «нет», но факта не отрицал, и дело шло дальше.

Сделавшись нелегальным в 1874 году и будучи арестован лишь в 1881 году, 16—17 марта, я судился теперь и за Одессу, и за Киев, и Кишинев, и Питер. О моей деятельности на юге рассказано в других очерках в этой книге.

В Питере мне приходилось рыть подкоп под М. Садовой, и я же должен был замкнуть цепь при проезде царя. Последнего обстоятельства Меркулов не знал и не мог потому сообщить и суду. Следователи во время следствия намекали, что им еще многое наклевывается из моих дел, предлагая мне самому их рассказать, дабы не пропало «для истории», как они выражались. Но, видимо, узнать ничего обстоятельно им не удалось, и на суде разбиралось лишь вышеуказанное. Главным обвинителем в нашем процессе был молодой Муравьев, умный и толковый парень. Был и еще другой прокурор, фамилии не знаю<sup>2</sup>; но он удивил меня сильно, начав вдруг обвинять меня не за дела, а за то лишь, что я «свое священное имя», как он выразился, много раз переменял на подложные, что было и неверно: я все время назывался Михайлой, и это знали даже в Одессе жандармы и, не подозревая моей нелегальности, два года не арестовывали, а когда хватились, то заарестовали в церкви похожего на меня какого-то мещанина. Вообще прокуроры как-то мало останавливались на прошлом, хотя между нами много было начавших свою дея-

<sup>1</sup> Говорили, собственно, «агент 3-ей степени». — *Ред.*

<sup>2</sup> Островский. — *Ред.*



тельность с начала еще 70-х годов, и правительству, конечно, это было известно. Морозов, Лебедева, Ланганс и, кажется, Якимова судились по «большому процессу» (193-х), Колодкевич сидел уже в Киевской тюрьме, Баранников, Терентьева — участница херсонского подкопа — Якимова, как нелегальная, давно уже разыскивались...

Нашим адвокатам было мало дела. Их не все взяли; они нужны были взявшим для сношений между собой, на суд же влиять им трудно было, так как все признавали то, в чем их обвиняли. Только Спасович один ухитрился избавить своего клиента Тригони от приговора к повешению. Указывая на плотную, широкую в плечах фигуру последнего, он обратил внимание судей на это обстоятельство и заметил: «Ну, можно ли доверять показанию Меркулова, что Тригони вел подкоп под М. Садовой, когда в этот подкоп необходимо было пролезать через очень узкое отверстие? Размеры вам известны. Такая махина — указывая на Тригони — наверно застряла бы там», — закончил он. Судьи, как видно, признали этот довод вполне убедительным и приговорили Тригони лишь на 20 лет. Помогло этому и то, что когда дошло разбирательство до меня, то я, чтобы поколебать у судей доверие к словам Меркулова, заявил, как участник подкопа, что «на время работ, а работы шли ночью, кроме хозяев посторонние не допускались, и никто не мог знать, кто работает; всяк знал лишь своего товарища. Работало по двое всегда, и приходили они скрытно. Меркулов работал со мною. Только меня он и мог знать, и это тем более, что он не был еще членом партии и, значит, про других работающих не мог знать достоверно, а лишь догадывался»...

Из нас к повешению суд приговорил 10 или 11 человек, в том числе и Меркулова<sup>1</sup>. Затем, когда истек срок подачи на обжалование, приговор передан был царю на окончательное решение. Через две недели приговоренным к смерти объявили, что смерть заменена им вечной каторгой, и только Суханова, как моряка-офицера, нарушившего присягу, казнят. На судьбу же прочих, как говорили, повлияло то обстоятельство, что иностранные послы, будто бы, дали понять, что еще новые казни, после недавно бывших, произведут дурное впечатление в Европе. Царь Александр III нас помиловал, но приказал поместить в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, откуда, по словам тамошнего доктора, никогда не выходят, а лишь выносятся. Для многих из нас это подтвердилось вполне.

<sup>1</sup> К повешению были приговорены: Михайлов, Суханов, Колодкевич, Исаев, Фроленко, Емельянов, Тетерка, Клеточников, Лебедева и Якимова. Меркулов был приговорен, вместе с Морозовым, Баранниковым, Арончиком и Лангансом, не к смертной казни, а к бессрочным каторжным работам. Тригони, Терентьева, Люстиг, Златопольский и Фриденсон получили 20 лет каторги, при чем относительно Фриденсона и Люстига суд постановил ходатайствовать об уменьшении срока. — *Ред.*



## II. Милость.

*(Из воспоминаний об Алексеевском равелине)<sup>1</sup>.*

Кончился суд. Раз прочли нам приговор; через несколько дней еще раз. Проходя из залы суда в камеры, мы немного задержались в коридоре предварилки. О приговоре, о тех ужасах, что ожидают нас впереди, как-то не думалось; не было ясного представления в головах. Прощались будто на время. Никому и в голову не приходило, что это было последнее прости, и, только придя в камеру, каждый из нас невольно был охвачен какой-то неопределенной тоской, предчувствием... Явился Муравьев, спросил о заявлениях и стал уговаривать подать прошение о помиловании, сказав, что наше дело пойдет еще на рассмотрение государя и пробудет там недели две. Я отказался. Он ушел. У дверей форточки скоро показался начальник предварилки и тоже стал толковать о подаче прошения, но, получив отказ, выпросил себе наш обвинительный акт. Зачем ему это понадобилось—не знаю.

На другой день нас перевели в Петропавловку—в Трубецкой бастион. На этот раз мне попалась светлая, теплая камера № 47 или 48.

Первое, чем я занялся тут, было лечение желудка. В предварилке доктора от меня совершенно отступились; теперь я сам придумал себе суп из курицы с черносливом и финиками. Помогло. Полагаю, что этому способствовала и камера, и—еще более—душевное состояние, замечательно спокойное и ясное. Вскоре попалась мне в руки «Технология» Вагнера (в переводе Менделеева). Книга эта сильно заинтересовала меня, и я весь ушел в чтение. Раньше мне не приходилось читать технических книг. Они казались мне очень мудреными. Простота и удобопонятность изложения Вагнера удивили меня теперь и увлекли. Помню, так читал я только в детстве «Робинзона». Незаметно прошла неделя, еще несколько дней; что-то напомнило мне о двухнедельном сроке... «Успею!»—отмахнулся было я и снова принялся за чтение, но, сделав над собой усилие, решил остановиться и обдумать, как поступать перед смертью. Ведь не завтра, так послезавтра надо было ждать окончательного решения... Призвал на

<sup>1</sup> Первоначально—«Былое», 1906, 2.—Ред.



на помощь память... «Требуют перо, чернил и бумагу и пишут прощальные письма, — вспоминается из прочитанного и слышанного в разное время, — затем покупают вина, закусок, фруктов и, подкрепив себя, идут умирать. Отлично!.. так и сделаю!» — решаю вопрос и, порешив, снова принимаюсь за технологию.

Был веселый светлый день; с книгой в руках шагал я вдоль окна, ничего еще не ожидая. Вдруг загромыхало за дверью, и в камеру вошли какой-то генерал, Лесник (смотритель) и двое штатских. Генерал с веселым, ободряющим лицом направился ко мне... «Ну, молитесь богу и благодарите государя! Вы помилованы!» — радостно на ходу говорил он, приближаясь. Я остановился и, когда он подошел вплотную, сделал корпусом движение вперед, едва наклонив голову и не выражая на лице ни радости, ни благодарности. Холодность моего приема, видимо, его несколько удивила. Улыбка исчезла на лице: что, мол, сей сон означает?.. Но это продолжалось недолго; взглянув еще раз и решив, что человек от радости, видно, рехнулся, он круто повернул назад, и вся компания исчезла. Я остался стоять на месте. «Еще неизвестно, во что обернется эта милость» — промелькнуло у меня в голове, и радости на душе никакой не было.

— Дайте перо, чернил и бумаги! — потребовал я вскоре. Когда это желание мое было исполнено, я написал письмо и прошение о позволении обвенчаться с моей невестой; тут же для чего-то прибавил, что согласен ехать на Сахалин для отбывания каторги... Кто-то когда-то втолковал мне, что на Сахалин посылают лишь с согласия самих каторжан. Увы! На просьбу о венчании ответили отказом; о Сахалине совсем промолчали...

В день помилования или на другой день пришла и моя матушка на свидание. Она уже знала о факте помилования и в простоте сердечной полагала, что это помилование полное. Кто-то, должно быть, сказал ей, что через год нас пошлют в Сибирь, и что мы увидимся, а она, бедняга, поняла, что через год мы сможем зажить с ней вместе, и теперь на свидании мечтала об этом вслух, подбадривая меня. Вообще старушка крепилась и не подавала виду, что ей тяжело. Разуверять ее и растолковывать настоящее положение вещей я, конечно, не хотел, и свидание прошло без слез, спокойно. Я просил мать не смущаться, если от меня временно не будет писем: «Вы же пишете чаще!» — просил я в надежде, что письма будут передаваться... Наивная надежда!.. Прошло незаметно полчаса — я и матушка тянемся через окно поцеловаться на прощание...

— Нельзя! — кричит и быстро вскакивает между нашими головами Соколов-«Ирод».

Этого уже не могла вынести матушка, стойкость ее была сломлена, и она разрыдалась... Бедная! еще хорошо, что она не догадывалась, что это было последнее наше прощание, что мы так и не увидимся больше. Она умерла в 1899 г., ускорив смерть попыткой самоубийства. Ее спасли, но через год она все-таки умерла.



Я выскочил со свидания, как полупомешанный, и, только очутившись у своей камеры, заметил, что издаю какие-то странные звуки, точно захлебываюсь от вливаемой мне в горло воды и точно кто-то сдавил его тисками... Так-то началась «милость»!

Нам объявили 20-го или 21-го марта о помиловании.

В пятницу, 25 марта, ночью, слышу сквозь сон, громыкает дверь, кто-то вошел. Не успел я раскрыть глаза, как слышу обычное: «В комиссию!» Поднимаюсь; у кровати стоят унтера, кладут одежду. Первое, что мне пришло в голову со сна,—не выпросила ли матушка новое свидание, чтобы попроситься, как следует. Спешу одеться и, не запахнувшись, бегу-скорей в комиссию, которая была вне Трубецкой тюрьмы. Темнота у входа, мрак на лестнице вызывают во мне смутное недоумение... Поднимаюсь наверх: там стоит на площадке Соколов; дверь в комнату допросов и свиданий заперта... «За мной!»—слышу вдруг резкое шипение Соколова, как только поднялся я на верхнюю площадку. Налево оказалась дверь, а за ней спуск на улицу. Лампа-коптилка бросала тусклый свет. Дверь на улицу была открыта, и там виднелась мрачная питерская ночь. Можно было подумать, что спускаешься в подземелье. Соколов был впереди один. Выйдя на улицу, охваченный темнотою, я слегка задержал шаги,—и в тот же момент две невидимые руки подхватили меня под руки сзади, и мы повернули налево. Соколов даже не оглянулся, так был уверен в ловкости своих агентов. Жандармы стояли, верно, у выходных дверей, но я их не заметил... Мы пошли между монетным двором и Трубецким бастионом. Далее дорогу перегородила стена с воротами; за ними чернели налево другие ворота в Алексеевский равелин. Здесь нас как будто не ожидали. Открылась калитка, и мы вошли под своды крепостной стены; вдали виднелась вода, ближе—что-то темное, точно берег, и на нем мерцал огонек. «Топить ведут!»—мелькнуло инстинктивно в голове... Но с этой перспективой я, помню, как-то удивительно скоро помирился. «Ну, что ж, пускай и топят!»—и в то же самое время, почувствовав, что при выходе из-под ворот на меня пахнул холодный, сырой ветер с Невы, я убоился простудиться. Торопясь на свидание, я не успел как следует застегнуться. Когда жандармы подхватили меня под руки, они еще более распахнули мне грудь, но в глухой уличке, защищенной со всех сторон стенами, это не чувствовалось: там не было ветра... «Да закройте же мне хоть грудь!»—взмолился я к своим провожатым. Жандармы, и без того бывшие, очевидно, в нервном состоянии (они пыхтели, точно везли тяжесть), услышав среди мертвой ночной тишины человеческий голос, совсем потерялись и вместо того, чтобы спокойно застегнуть куртку, сопя и трясясь от страха, бросились зажимать мне рот. Темнота и нервы мешали им схватить его сразу; я слышал, как по лицу ерзало что-то мягкое... Шествие невольно остановилось. «Что такое?»—спросил Соколов в тревоге. Тут только я рассмеялся про себя над своим опасением простуды. «Ничего! ведите,—говорю,—уж»—и мы пошли



дальше. Вошли на мост. Отсюда очертания каких-то зданий впереди стали ясней. Видно было, что огонь горит в окне, а не на берегу. Скоро весь фасад рavelина с воротами посередине и окнами засерел перед нами. Через калитку вошли под своды здания, сделали несколько шагов и повернули направо в узкий коридор. Это и был Алексеевский рavelин,—замкнутое треугольное здание с маленьким садиком внутри. Коридор, не прерываясь, тянулся вдоль всех трех сторон рavelина, начиная с половины первой. У конца второй половины он упирался в глухую стену. Благодаря такому расположению, левая половина передней стороны рavelина была совершенно изолирована от прочих частей. Там была, кажется, кухня и две камеры, но кто сидел там, мы в то время не знали. Позже только выяснилось (по надписи), что в одной камере заключен был Александр Михайлов; куда и когда именно он исчез, я до сих пор точно не знаю<sup>1</sup>. Кроме Михайлова, был там еще кто-то: на это указывали лекарства, которые долго выставлялись на окно коридора, и, гуляя во внутреннем садике, мы видели их. По этой выставке лекарств на окнах заключенные вообще судили, кто из товарищей жив, кто умер<sup>2</sup>...

Меня завели в самый последний или предпоследний номер (18 или 19). Это была довольно просторная камера с плоским потолком, с изразцовой печью, с большим окном. Посредине стояла деревянная кровать с волосяным матрацем, покрытым тонкой простыней и одеялом, с подушкой в белой наволочке; подле—деревянный стол с маленькой лампочкой, деревянный со спинкой стул, в углу стульчак,—все так обычно; ничего страшного. К тому же все белье дали тонкое, чистое; халат из черного, не очень толстого сукна, с широким поясом, точно по мерке сшит; маленькие башмаки пришлись как нельзя лучше. От волнения, а может быть и угара разболелась голова, но на душе было спокойно. Одно только показалось немного странным: через окно не видно было неба. «Ну, верно, как и в Петропавловке, близко крепостная стена!»—решил я и, не подходя к окну, поспешил завалиться спать. Наступило утро; проснулся я и первым делом глянул в окно. «Вот тебе и стены!»—невольно вырвалось замечание... Вместо стен придумали забелить совершенно все стекла наружной рамы. В окне виднелись две рамы. Встаю, одеваюсь, подхожу к окну. Ни черточки, ни точки не осталось прозрачной; что там за окном, нельзя и разобрать. При этом форточки нет, а есть только в верхней части окна небольшого диаметра жестяная трубка с густым ситечком на внешнем конце... Это ситечко очень скоро затянуло паутиной, прочистить его было нечем, и доступ свежего воздуха прекратился, но Соколов не обращал на это никакого внимания. Позже, свернув

<sup>1</sup> Ал. Михайлов умер в рavelине, в изолированной камере № 1, от воспаления легких 18 марта 1884 г.—*Ред.*

<sup>2</sup> Вот фамилии 11 человек, попавших по нашему процессу в Алексеевский рavelин: Михайлов, Клеточников, Исаев, Ланганс, Тригони, Морозов, Баранников, Тетерка, Колодкевич, Арончик и я.



в трубку простыню, я пытался очистить вентилятор, но безуспешно: нужна была спица, а не простыня. Но в первые дни я мало придавал, конечно, значения отсутствию форточки. Явились жандармы с Соколовым, принесли таз, мыло, воду... Надо было спешить умыться, чтобы не задерживать других. Умывшись, поворачиваюсь к столу. Подан чай, черный хлеб, булка. Отлично! Постепенно совсем рассвело, и я принялся за более внимательный осмотр камеры. Утешительного было мало... Ремонт, как видно, производился очень давно. Потолок, стены, когда-то выкрашенные в желтоватый цвет, покрылись сероватым налетом пыли и паутины. Паутина виднелась также во всех углах. Нижняя часть стены аршина на полтора облезла: штукатурка от сырости превращалась постепенно, как видно, в известковый пух. Такой пух виднелся теперь вдоль всей стены до высоты  $1\frac{1}{2}$  арш. Выше, где штукатурка не могла превратиться в пух, она затвердела и почему-то стала почти черной. Пол, когда-то крашенный, сохранил следы окраски лишь по краям. Впрочем, относительно сырости должен оговориться, что настоящую равелинскую сырость я узнал только позднее, в другой камере...

Нас перевели в пятницу ночью, теперь была суббота страстной недели. Несмотря на это, к обеду, смотрю, принесли щи с мясом, жаркое и, если не путаю, что-то еще сладкое. При этом дали салфетку и серебряную ложку. Совсем хорошо! Пищи так много, что Тригони, не в силах одолеть ее, обратился к Соколову с просьбой сохранить для него жаркое на ужин. «Хорошо, хорошо, будем давать на ужин!»—ответил Соколов самым серьезным тоном. Соколов приходил вместе с жандармами всякий раз, когда они что-либо приносили в камеру. День прошел незаметно в уборке, очистке нового помещения. Вечером дали чай, на ужин щи. Никаких ужасов не оказывалось... Запущенность камеры после приборки меньше бросалась в глаза, не так коробила. Будущее не пугало. Предчувствие не потревожило даже сна, и ночь под пасху прошла без кошмаров...

Бодро встретил я утро первого дня пасхи. Чай, пасхи, яйца рисовались впереди. Интриговал вопрос, дадут ли еще что. Загремел замок, внесли воду для умыванья. Я живо, торопливо бросился к тазу и совсем не обратил внимания на то, что принесли жандармы,—такова была уверенность в том, что режим субботы установился навсегда. Умылся, не успел хорошо утереться, вдруг слышу резкое: «Раздеться!» Оглядываюсь и вижу,—на кровати лежит куча старого серогохлама, а у кровати на полу стоят большие неуклюжие коты и рваные суконные онучи... «Нашли же чем огорчить!...»—невольно мелькнула мысль в голове. Разделся. Жандармы подхватили снятую одежду и ушли. Я принялся осматривать новое приданое. Это было уже настоящее каторжанское одеяние. Старая, плохо вымытая дерюга-рубаха и нижние порты, старые, из очень потертого серого сукна, с разрезами для кандалов штаны и старая серая куртка. Но вот облачение кончилось, иду к столу... Где же чай? На столе кружка чистой воды,



кусок плохого ржаного хлеба и маленькая творожная пасочка на блюде... Вот так угостили!

Но почему же было не начать этого режима с первого дня, т.-е. с субботы?! Тогда бы на все смотрелось, как на обычное явление, а теперь невольно закрадывалась в голову мысль о преднамеренности, о сознательном издевательстве... Стал ждать обеда. Каков-то он будет? Вижу, не несут салфетки; вместо серебряной ложки держит один жандарм деревянную. На стол поставили оловянную миску с чем-то мутным, под цвет миски, и в тарелке размазную-кашу. Ушли жандармы с Соколовым. Сел я обедать. В миске оказались знаменитые солдатские щи николаевских времен: вода, клочки рубленой кислой капусты и пять кусочков пузыристых пленок; гречневая жидкая каша с каплей масла в центре вполне соответствовала щам. На ужин дали уже одни щи, но без пленок. Так отпраздновали мы первый день пасхи! Эта же пища пошла и дальше, с той лишь разницей, что в постные дни щи делались якобы со сметками, а в кашу лили чайную ложечку постного масла, вместо скоромного. Гуляний не было (и это при отсутствии форточек). Свет плохой, бледный. По утрам, при очистке стульчаков, зловоние наполняло камеру и, конечно, не успевало проходить за время умывания. Тем более, что вскоре куплены были умывальные приборы, и, значит, время, когда была отворена дверь, уменьшилось... Мы оказались буквально замурованными... Заболели зубы. «Нельзя ли позвать доктора?»—обращаюсь я к Соколову при какой-то раздаче пищи.—«В Петербурге теперь зубы болят у всех, и лекарств от них нет; доктора звать незачем!»—отрезал он.—«Вот как, даже доктора нельзя позвать!»—замечаю обычным голосом...—«Молчать!»—как-то особенно резко, искусственно выкрикнул Соколов...—«Ну, и шут с ним, с вашим лекарством! В другой раз уже не обращаюсь!»—неожиданно сорвалось у меня с языка. Соколов злобно метнул глазами, но молча вышел поспешно за жандармами.

Пищу давали нам не через форточку в дверях, а заносили в камеру. Соколов шел впереди двух или трех солдат и становился всегда рядом со мной за столом, внимательно следя и за мной, и за жандармами, и за полом.

Чуть замечалась где щепочка, соринка, он быстро нагибался, хватал их и уносил. Книг не было. Соседей тоже. Времени свободного—целый день. Как убить время? Вот тут-то мне и сослужил большую службу Соловьев (Русская история), Спенсер и Вагнер. Соловьева и Спенсера я прочел еще до суда, сидя в крепости. Все это помнилось, все давало богатый материал и для мысли, и для фантазий. Много дней прошло в разных заоблачных мечтаниях; шагая из угла в угол почти от утра до ночи, я покрывал всю Россию школами, политехникумами, заводами, фабриками, кооперативными деревнями, селами и городами... Жилось недурно! Жаль—недолго... Скоро фантазия начала иссякать, повторяться...



«Да дайте хоть евангелие!»—не выдержал я, наконец...—«Хорошо, спрошу!»—отозвался Соколов. Проходит день, другой, третий, а книги нет, как нет. Напоминаю. «Да, я знаю: спасителя-то вы почитаете, только богом-то природу считаете!»—не знаю почему, пустился вдруг Соколов в разговор. Я промолчал. Через несколько дней явилось евангелие, а вместе с тем перевели меня скоро в другой коридор, где оказался и сосед. Однако, рассмотрев новую камеру и пожив в ней немного, не особенно-то я порадовался переводу. И прежде было много сырости и грязи, но то, что теперь увидал и узнал я, трудно было бы придумать. Не говоря о стенах, сырость сказывалась на всем. Просыпаюсь как-то вначале, смотрю на пол и диву даюсь: весь он серебряным налетом покрыт. А пол я ежедневно вытирал тряпкой. Встал, потрогал, стирается легко. Вытер. На другой день—то же и т. д. Днем, ходя по камере, я, видно, не давал налету образовываться; но за ночь грибки успевали вырастать настолько, что получалась сплошная беловатая корка. Сырость увеличивалась с наступлением теплой и дождливой погоды. Краска на полу у стен, где еще сохранилась, легко размазывалась теперь. Соль нельзя было держать на столе: в солонке получался рассол. Ее пришлось ставить на вьюшку в трубу печки. Печка, по счастью, закрывалась из камеры (топилась она из коридора). Там же, т.-е. в трубе, прятал я и спички; носил их также и в пазухе. Матрацы, набитые волосом, и те вконец прогнили снизу. К этому, в мае отобрали теплые куртки и дали летние, едва достигающие до пояса. Холодно! А прогулок все нет и нет! Наступили, помню, ясные дни, особенно по утрам. При утренней уборке отворялась дверь, и через коридорное окно виднелась яркая зеленая листва, освещенная солнцем. Так и манило, так и тянуло туда, на волю... Там, за окном, рисовался настоящий рай, красота необыкновенная, а тут... сиди! Ужас этого положения, однако, стал ясен мне гораздо позднее; пока я относился ко всему довольно равнодушно. Как-будто иначе и быть не могло... На то, мол, и шел. Не выдержу—сам виноват: почему не запасаюсь здоровьем!

Спокойствие и бодрость поддерживало и еще одно обстоятельство. Вскоре по заключении пришел как-то Соколов с бумагой и прочел выдержку из каких-то законов. Тут были и розги, и шпицрутены, кажется, до 5000 или до 6000 за дурное поведение, но тут же говорилось, что в крепостях каторжане содержатся только четверть срока, при чем и этот срок, при хорошем поведении, уменьшится, считая десять месяцев за год. По нашему расчету выходило, что меньше семи лет придется сидеть. К этому необходимо добавить еще и русское авось. Авось изменятся обстоятельства, авось...

А время потихоньку шло да шло; яд могилы потихоньку все глубже и глубже забирался в наше тело. Сначала от ходьбы начала появляться скорая усталость, на подошвах стала ощущаться боль, точно образовались мозоли или нажало ногу от неровности подвертки. «Много хожу—решил я—надо больше отдыхать!» Сделал так. Новая беда!..



Посидишь на стуле, глядь,—ноги отекают. «Лучше буду лежать...» Лег... Не помогает: под лодыжками опухоль появилась. «Малокровие!»—решаю я и, найдя ржавый гвоздик в столе, вынимаю его, кладу на ночь в воду и утром пью ржавую воду. Пошел пятый или шестой месяц заключения, когда впервые повели нас гулять (на 15 минут). В первую прогулку дурно сделалось, голова закружилась от непривычки. На дворе, к несчастью, было сыро, холодно, а нас повели в тех летних курточках, что едва лишь закрывали живот. Разрезы в штанах свободно давали ветру гулять в ногах. И многие, если не сейчас, то позднее простуживались очень сильно. У меня же другое огорчение вышло. Нашим выходом Соколов не преминул воспользоваться в целях обыска и нашел мой лекарственный гвоздь, который я на день прятал в стол. Прихожу с прогулки,—гвоздя уж нет. Ноги стали болеть все хуже и хуже; боль—все сильнее и сильнее.

В это время привезли Поливанова, а немного позже, с Кары—Попова, Игната Иванова, Щедрина, Златопольского, Мышкина, Юрковского. Попова посадили рядом со мной. Хотелось узнать про белый свет, но стоять на одном месте у стены становилось все трудней и трудней: ощущалась невыносимая боль... Наконец, и Соколов заметил, что хожу я с трудом. «Что, может, доктора позвать, набегался!»—заметил он, желая и тут чем-нибудь уязвить. Сам я доктора не хотел еще звать, помня свой зарок. В это время, вероятно, уже у многих появилась цынга, и нашу прогулку только ею и надо объяснить. Впрочем, я не знал еще, что и сам был уже во власти этой страшной болезни. О цынге я имел смутное представление: десны кровоточат, зубы выпадают, вот и все. Ничего этого у меня пока не было, и я был спокоен, приписывая боль в ногах малокровию, утомлению. Ушел Соколов, лег я на кровать отдохнуть после прогулки. При этом вздумал от скуки ноги подкинуть кверху. Подбросил раз и чуть не закричал. Одна нога, поднявшись вверх, вдруг опустилась, как плеть, со страшной, острой болью. Глянул под колено, а там уже почернело. Плохо дело!.. Пришел доктор, осмотрел ноги и сделал жест отчаяния.

—Неужели нет надежды?»—спрашиваю его.—«Ходи!.. больше ходи! авось...—вырывались у него отдельные возгласы.—Лекарство пришло! Пей!.. Авось!»—еще раз добавил он, уходя в каком-то раздумьи.

Принесли железо в сахарном сиропе, уксусу, кружку молока. Принялся я ходить. Но болезнь с каждым днем все более и более усиливалась. Вместо небольшой опухоли у лодыжек, опухоль поднялась теперь до колен. Ноги превратились в два точеных, крепких, упругих обрубка; цвет их менялся от красного к серому, синевато-черноватому. Боль в икрах была ужасна, точно кто их сжимал очень туго железным обручем. При этом надо было ходить, и я ходил... Но чего это стоило! Походишь четверть часа и, как сноп, валишься на кровать, и сейчас же не то бред, не то обморок. Сознание, в сущности, не терялось, однако, стоило закрыть глаза, как начинало почему-то



казаться, что болят не мои ноги, а страдает сын злой самодурки-старухи Кабанихи из «Грозы» Островского. При этом сама она стоит тут же у моей головы, как бы окружает ее. Мои же ноги—не ноги, а этот сын, и я наблюдаю лишь со стороны, как злая старуха терзает его. Мне за него больно, а не за себя... Но вот на соборной колокольне начинается перезвон колоколов, и я быстро открываю глаза, живо вспоминаю, что больше четверти часа нельзя лежать: надо ходить!.. Я встаю, но начать ходить сразу не могу. Раз-другой обойду вокруг кровати, держась за нее, как ребенок, и только тогда решаюсь пуститься в путь. Через четверть часа та же история; если не лежишь и не бродишь, то, сидя на кровати, мочишь уксусом опухоль (уксусу, впрочем, давали мало), разминаешь руками икры, делаешь движения ступней; затем через четверть часа встаешь, кружишься вокруг кровати и снова ходишь.

Так проходил день. К вечеру, окончательно выбившись из сил, я валился на кровать, и тут уж никакое сознание, никакая боязнь не могли заставить продолжать ходьбу. Спать! Спать!.. Новая беда: от переутомления и боли не было сна. Забудешься на минутку и проснешься. Прописал доктор морфий. Сначала лекарство помогло, но скоро и оно перестало действовать. Период усиленных болей у меня продолжался более месяца, а потом мало-по-малу стало легче. Судя по лекарству, это происходило во всем равелине. Сначала на окне коридора появился небольшой пузырек с железом. Затем этот пузырек стал расти и вырос в большой; наконец, на окне поставили целую бутыл, чуть не в  $\frac{1}{4}$  ведра. Однако, прогулок не увеличили. Пищу не улучшили. К этому многих простудили на смерть. Соколов, несмотря на погоду, строго держался правил. 15 мая, когда было еще довольно прохладно, он отобрал у нас теплые шапки и теплые куртки, дав короткие, легкие, серые, изобретенные Толстым<sup>1</sup>, курточки с черными рукавами: они не закрывали и живота. На голову дали летнюю фуражку. Ни халата, ни шубенки. Коты ко времени прогулок протерлись насквозь. В таком-то виде он повел нас гулять, и так гуляли мы до 1 или 15 октября, когда по правилам выдается теплая одежда. Даже летом в камере было холодно в таком костюме! Вполне понятно поэтому, что многие очень серьезно простудились, а из простуды развилась, полагаю, у некоторых чахотка. Зато инструкция торжествовала!

Этот Соколов такую еще выкинул раз штуку. Росли в нашем садике три или четыре яблони. Они посажены были поляками, как нам говорили. В этом году на них были яблоки, небольшие, с красным боком. Осенью, поспевая, а может быть и от ветра, они стали падать. Тритони поднял одно из таких яблок и с'ел. Соколов заметил это, сказать ничего не сказал, но на другой же день все яблоки

<sup>1</sup> Дмитрий Андреевич Толстой, мин. внутренних дел с 1882 по 1889 г.—*Ред.*



исчезли. Это он приказал их оборвать, дабы не пострадали инструкции...

Из моих близких соседей в это время хуже всех было дело Ланганса. У него под коленом образовалась такая же чернота, как и у меня, да кроме того он простудился, и показалась кровь горлом. Сил ходить не было, и чернота на ноге стала загнивать.

Прошла осень. Зимой в камерах меньше сырости, воздух чище: одели нас в шубки, дали книг духовного содержания. Мне попалась библия на немецком языке, и я, при помощи русского евангелия, принялся понемногу возобновлять в памяти то, что учил в гимназии и успел уже забыть. Здоровье зимою пошло на улучшение, несмотря на то, что и пища и прогулка не изменились. Мы были все в возрасте около тридцати лет. Этому и можно только приписать, что организм при самой ничтожной поддержке сам одолевал цыngu. К весне болезнь значительно ослабела, но Соколов не дремал. Улучшение он сей же час подметил, и в результате у нас отняли и железо, и молоко. Кто-то просил давать хоть несколько ложек молока — отказали. Цынга, чахотка словно обрадовались и снова принялись за свою разрушительную работу. Тогда Клеточников решил уморить себя голодом, чтобы добиться для товарищей лучшей доли. Сначала Соколов не обратил на это внимания, но когда Клеточников обессилел, явился к нему и с помощью жандармов заставил с'есть наш обычный обед. На другой же день в камере Клеточникова сделалось подозрительно тихо. Два дня после этого Соколов с жандармами проделывал комедию заноса в эту камеру пищи в обед и ужин. Потом бросил. Одна камера опустела...

У меня к этому времени появилась новая боль. Стоило встать на ноги и начать ходить, как в подошву словно вонзались сотни гвоздей, точно кто набил их в подошву башмаков. Невольно вспоминались инквизиционные сапоги для пыток... Выносить такую боль нехватало уже сил, и пришлось больше лежать. Ланганс теперь окончательно слег: у него кровь шла целыми кружками; гниение ног увеличилось... Дали опять молоко; железо тоже бутылками появилось на окне снова. Но было уже поздно: с другого коридора из ближайшей камеры стали доноситься подозрительные фразы доктора и Соколова: «Еще жив!.. Протянет!» Начали следить, чутко прислушиваться к шагам. Жандармы заходят в соседние камеры как-то подозрительно скоро и уходят. Ночной шорох еще более пугает и заставляет внимательней следить за уловками Соколова... «Пусто! Нет больше и Баранникова!» — об'являет вдруг Попов, сидевший ближе к другому коридору. — «Да, — отвечаю, — и мне показалось, что к нему уже не заходили сегодня!» С тем коридором, где сидел Баранников, Тетерка и пр., у нас не было сношений: мешала большая ванная комната.

Догадкам по лекарству на окне, по маневрам жандармов много помогала и та острая напряженность внимания и слуха, которая развивается в тюрьме.



Вначале, когда еще товарищи все стояли живо перед глазами в том виде, как их видал на суде, и в голову не приходила мысль о чьей-либо скорой смерти. Живыми, бодрыми, здоровыми рисовались они в памяти. О своем спокойствии я уже говорил. Но вот умирает Клеточников. Для меня это было неожиданностью... Смерть эта вспугнула беспечность, повернула мысль в другую крайность. Явилась особенная, обостренная боязнь за жизнь каждого, особенно за тех, про которых ничего нельзя было узнать. Лично о себе как-то не думалось; мне почему-то всегда казалось, что я выживу еще год, как определил я раз в разговоре с соседом. За то в каждом шорохе, каждом необычном звуке чудилась мне смерть других, насилие, ужасы. Являлось неодолимое, мучительное желание проникнуть туда, дать умирающему провести хоть минуту с близким человеком. Сама смерть тогда не казалась такой тяжелой, ужасной. Но так давила эта тишина, эта полная отчужденность от мира, от живых людей! Завели человека в пустыню, в непроходимый лес и бросили... Напрасно всматривался он вдаль, кругом нет ни души! Жуть и страх охватывают душу...

А тут, однажды, еще такой случай. Среди гробовой тишины вдруг раздался отчаянный крик погибающего человека, за криком последовала короткая возня—борьба, и слышно было, как что-то тяжелое пронесли по коридору. Что такое? Бьют кого? Или сошел кто с ума? Ужас, отчаяние, жалость охватили разом все существо... От сознания своего бессилия слезы заполнили глаза... Явилось желание ломать руки, кричать, неистовствовать, разбить себе голову... «Но какая польза?»—спрашивал разум. Это ужасное состояние поймет хорошо тот, у кого на глазах тонул, горел и вообще погибал близкий человек; самому же ему пришлось стоять, смотреть и в бессилии ломать лишь руки, безумно бегая по берегу реки или возле горящего дома. Соколов, видно, понял наше состояние и не скрыл: «Сошел один с ума, увезли в больницу»,—ответил он, и, действительно, это был кариец Игнатий Иванов. Его возили в Казань, потом, когда он немного там оправился, возвратили, но уже в Шлиссельбург, где его и ждала могила.

Смерть Баранникова несколько всполошила начальство. Увеличили до 1½-часа прогулку, улучшили мясо в щах, в кашу наливали так много масла, что желудок не в состоянии был его усвоить. Как бы в ответ на это улучшение умер Тетерка. Начальство забило тревогу: этак и все, пожалуй, сделают; тогда и лавочку закрывай; чинам, жалованию, наградам придется сказать прости! Кто-то появился на коридоре и долго смотрел в дверное окно... Открыто приходил и сам Оржевский<sup>1</sup>. Вместо каши решили давать котлеты, а в воскресенье, сверх двух блюд—пирог с клюквой, брусникой, изюмом. Во время

<sup>1</sup> Оржевский, Петр Васильевич, был с 1882 по 1887 г. товарищем министра внутренних дел и командиром корпуса жандармов. — *Ред.*



прогулки окна открывались, и камера, постель проветривались... «Рябчиками буду кормить, если прикажут!»—заявил кому-то Соколов. А между тем еще недавно тот же Соколов давал нам хлеб с огромной примесью куколя, с сороконожками, с сухими личинками. У меня вошло в привычку перед едой разламывать хлеб на мелкие куски, выбирать сор и потом уже есть. И вот, однажды, разломил, смотрю — белеет что-то. Присмотрелся — еще два или три белых хлебных червя. Выбросил... Говорю на следующий день Соколову. «Быть не может! я сам смотрю за печением хлеба!»—отвечает он. Не помню, почему я не сохранил червей. Пришлось промолчать. Разламываю после его ухода хлеб и к своему удовольствию снова нахожу штуки три белых, налитых червя. Сохранил их. Является Соколов. «Вот,—говорю,—смотрите!»—и показываю свою находку. Соколов взглянул, покраснел и, взяв, быстро спрятал хлеб в карман, не говоря ни слова. Я заранее торжествовал, но, оказалось, рано. В следующий приход Соколов смело, нахально стал уверять меня, что это были не черви, а разбухшие зерна ржи... Однако, с этих пор хлеб стал видимо чище. Муку, должно быть, стали пересевать. Уже не попадались больше личинки, сор, хотя куколь и не уменьшился. И вот после такого-то хлеба—«рябчики»!.. Эти «рябчики» очень немногих, впрочем, спасли. Для большей части они продлили лишь время умирания,—у Колодкевича до двух лет; у Ланганса—более двух; у неизвестного на отдельном коридоре лекарство виднелось очень долго и исчезло лишь перед нашим увозом. Исаев умер в Шлиссельбурге вскоре после перевода туда; Арончик, полувывсохший и со страшными пролежнями, очень долго мучился в Шлиссельбурге. Он немного был, кроме того, помешан, а Соколов не хотел этому верить и смотрел сквозь пальцы на то, что тот часто голодает и не принимает лекарств... В конце концов Арончик слег и больше не поднимался до самой смерти, превратившись в живой скелет. К нам приезжал как-то в Шлиссельбург чиновник из департамента. Я его просил, чтобы позволили мне ухаживать за Арончиком. «Никакой уход теперь ему не поможет!»—сказал чиновник. Меня, конечно, не пустили. Арончик скоро и умер. Щедрин, Иванов и Поливанов пережили равелин, но что из того? Поливанов еще в равелине пытался покончить с собой—Соколов заметил и не допустил. В Шлиссельбурге он много страдал и тоже нередко помышлял о самоубийстве. Иванов умер психически расстроенный в Шлиссельбурге. Несчастный Щедрин долго еще мучился в Казани... И все это результат «рябчиков»!.. Про Александра Михайлова мы узнали позже. Он сидел в изолированном коридоре. От чего собственно погиб он (и погиб вскоре), неизвестно. Только Соколов раз как-то проговорился: «Умереть-то он умер, но не от цынги—особо!..» Большого от него нельзя было добиться.

Несколько слов еще о прогулке.

Выводили в садик по одному человеку и сначала не позволяли там ничего делать: ходи, смотри—и только. Дежурный унтер ходил вдоль



одной стороны садика у стен рavelина; часовой, с шашкой наголо, ходил вдоль другой, а сам Соколов помещался в проходе со сводом, через который нас вели в рavelин. Тут была в садик стеклянная дверь, и через нее-то Соколов наблюдал и за нами, и за жандармами. Нужно положительно удивляться его трудоспособности! Позже к нам привезли Поливанова и перевели из Петропавловки еще несколько человек, чтобы подготовить их к отправке в Шлиссельбург, и Соколову приходилось с раннего утра и до позднего вечера торчать в подворотне. И он торчал! И находил еще силы бродить по ночам по тюремному коридору и проверять, все ли благополучно... Шла зима второго года; в садике образовались большие снежные сугробы, являлось сильное желание поразмяться, разбросать снег. Не тут-то было! лопат не дают. Но раз как-то в садик зашел доктор, и я обратился к нему с просьбой о лопате. Тот переговорил с Соколовым, и на другой же день была дана небольшая лопатка. С жаром принялся я за работу, но живо и осекся: в руках, в ногах появилась дрожь, все тело покрылось потом; в голове помутнело... На другой день повторилось то же самое, но уже в более слабой степени, и скоро я мог вполне насладиться работой. К сожалению, снега было мало. За то приближалась весна. Можно было заняться уборкой садика, для чего дали песок и хорошие лопаты. С песком работа заключалась в том, что я задавал себе задачу столько-то раз перебросить кучу с одного места и обратно; затем менял руку: то бросал левой, десять лопат, то правой. Во время отдыхов наблюдал за окнами коридора, стоят ли обычные лекарства, не прибавилось ли чего, не исчезло ли совсем. За себя я и раньше не боялся, теперь и подавно. Но за других сердце постоянно болело, так как я знал, что здоровье многих очень плохо. Выходишь на прогулку и с тоской и замиранием смотришь на окна. Если стоит лекарство,—успокойшься, начинаешь быстро ходить, пересыпать песок, продолжая все-таки, время от времени, бросать тревожные взгляды на окно, на стоящие там чайники. Исчезло лекарство—не стало, значит, человека... В первую минуту не веришь глазам, проверяешь себя наблюдением соседа, с которым перестукиваешься... Потом охватывает тоска, злоба... Начинаешь проклятья посылать мучителям. Мне кажется, легче самому умирать, чем выносить пытку горя от смерти близких людей.

С переводом в рavelин Мышкина, Богдановича, Златопольского и др. у нас установились, наконец, сношения с их коридором. Радости нам это, конечно, не принесло, но теперь хоть можно было точнее узнавать о ходе болезни и в этой стороне тюрьмы.

31 июля 1884 года нас заковали сначала в ножные кандалы, потом уже ночью в ручные и увезли в Шлиссельбург. Привезли нас в Алексеевский рavelин 11 человек. Увезли в Шлиссельбург пятерых. Дождались свободы только трое...

Такова была «милость»!..



### III. Шлиссельбург.

Привезли нас днем; было ясно, хорошо, когда вылезали на свет из баржи, но тут же, недалеко от пристани, поднимались мрачные стены крепости, и радость божьего мира не веселила. Вот и ворота, над ними странная надпись: «Государева тюрьма». Никто не знал, как привязывать кандалы, и они потому так путали ноги, что жандармам буквально пришлось тащить многих. Вдали показалось новое двухэтажное кирпичное здание с большой заводской или фабричной трубой; небольшие, как казалось, окна почему-то тоже напоминали фабрику, которая от крепостного двора отгородилась невысокой стеной с воротами. Едва их прошли, как вышел караул и отдал честь. Эта фабрика и оказалась Шлиссельбургской тюрьмой. Она состояла из двух этажей с 40 камерами и комнатой для жандармов. Камеры небольшие—4×5 арш. Довольно большие окна имели высокий покатый подоконник и могли быть открываемы; их потом забили гвоздями наглухо и сделали вверху открывающуюся фарамышу (верхняя часть окна). Стекла прозрачные, но струйчатого строения, хорошо пропускали свет, видеть же, что творится на дворе, не позволяли. Потолок—сводом; стол со стулом напоминал ученическую парту,—это тоже потом переделали: в стену вогнали 2 толстых железных листа (для стола—побольше, для сидения—поменьше) и подперли их железными же полосами. Тут же у стола помещался кран для воды, под ним раковина, а далее в углу — стульчак конусом с крышкой. Вода и туда была проведена; благодаря этому, стульчак можно было держать в отменной чистоте, и им одно время мы пользовались даже для разговоров: по трубам звуки отлично передавались, но это не входило в программу одиночного заключения, и в трубах скоро что-то устроили так, что прочищать хорошо стульчак стало невозможно, и звуки не передавались. Напротив стола, на противоположной стене, на шарнирах вращалась железная кровать с матрацем и подушкой; эту кровать можно было и опускать, и запирали на замок, приложив с матрацем и подушкой к стене. Пол асфальтовый, шершавый, впоследствии был окрашен желтой масляной краской и представлял обычный вид хорошего деревянного, окрашенного пола. Отопление паровое; в камере в углу помещался круглый с ребрами калорифер. Хорошо была устроена и вентиляция, но ее скоро испортили, сломав все заслонки, когда один повесился, предполагаю —на



них. Из боязни этого же были заделаны кирпичем и углы в камере. Жандармы, смотря через глазок в дверях, не могли видеть, что творится в этих углах, а некоторые нарочно становились туда, когда им надоедало назойливое заглядывание. При размерах 4×5 арш. ходить в камере было очень утомительно и приходилось, чтоб выгадать один лишний шаг, прыгать в углу. По привозе сняли только ручные кандалы; ножные же лишь через неделю, когда увидели, что никаких бунтов не происходит. Пищу сравнительно с равелином упростили, но давали в изобилии. Сильно больным полагалась улучшенная, больничная. Теперь тут дали, наконец, и гражданских книг. Как видно, сохранилась библиотека от времен прошлых, когда сидели в Шлиссельбурге и в равелине поляки. Про одного ходил слух, что его только перед нашим привозом куда-то увезли. В равелине, когда стали давать книги духовного содержания, я выпросил себе евангелие на русском и библию Лютера на немецком языке. Читая их параллельно, я скоро напомнил себе то, чему обучался когда-то в гимназии, и тогда это дало мне возможность прочесть впервые всю библию, а теперь в Шлиссельбурге я стал читать такие немецкие книги, как, напр., путешествия. На понимание более серьезных книг знаний нехватало, да пока и книг других не было.

Через неделю сняли и ножные кандалы и скоро стали выводить, опять также по одному, как и в равелине, на прогулку. Гуляли полчаса. Для прогулки устроили стойла, как мы их называли. На дворе около тюрьмы сделано было шесть небольших помещений, в длину около 18—20 шагов. Высокие деревянные, с двойными стенками, заборы шли по радиусам от центра к крепостной стене и упирались и в нее, и в деревянный забор. Над центром возвышалось крытое помещение; там находился жандарм для наблюдения. В стойла насыпали так много песка, что ноги уходили в него и не слышно было, гуляет ли кто по соседству. Наверху забора как-то образовалась щель в одном отделении, и так как в заборе доски были прибиты с двух сторон, то между ними получилось пустое пространство; этим захотел воспользоваться воробей и, забираясь через щель, принялся себе строить там гнездо. Его тотчас же разорили и щель забили. Попад в тюрьму и встретив тут суровый режим, конечно, редко кто мог этому удивляться. Всякий заранее знал, на что он шел, и раз попался в плен, то чего тут возмущаться, биться головой об стену; плохая пища, плохой костюм, нет прогулок, одиночное заключение, говорят тебе «ты»; но смотритель заранее объявил, что он будет обращаться на «ты», и что ему может тоже всякий говорить «ты»; значит, равенство. Весь вопрос лишь в том, чтобы не было оскорблений, чтобы их избежать; а там—корми плохо, не пускай гулять, делай, как знаешь—меня это не касается. На то я и шел. Выживу, вынесу все это—хорошо; не вынесу, умру,—ну, значит, такова судьба! Душевное спокойствие дороже всего, и всякий старался избегать



столкновений со зрителем. Этим я и объясняю, что в рavelине за два с половиной года у нас ни разу не было серьезных ссор со зрителем. Единственный повод к столкновению—перестукивание—скоро уладился, благодаря скрипучей входной двери. Услышав скрип двери в неурочное время, всякий знал, что это входят или зритель или унтер для наблюдения—все ли в порядке; стука не оказывалось, шума тоже; они уходили, и тогда опять оставались одни конвойные. Лишь один раз у Мих. Родионовича Попова чуть не вышла история со зрителем из-за этого стука. Дело было так. Наш коридор от соседнего, идущего под углом к нему, отделялся большой пустой камерой; в ней нас мыли кое-как по субботам. Попову захотелось завести сношения с этим соседним коридором, и он принялся стучать довольно громко, чтобы там мог услышать сидевший по другую сторону пустой камеры. Оттуда не отвечали почему-то. Попов громче застучал; часовой дал знать, пришел зритель, начал грозиться, но ограничился лишь словами. Попов, видя в свою очередь, что сосед не отвечает и сам не зовет, опытов не возобновлял больше. Таким-то образом, люди мало-по-малу свыкаются, приспособляются к жизненным невзгодам и продолжают жить, тянуть свою лямку, боязливо относясь к могущим произойти переменам. Когда в рavelине загремели кандалы и стало ясно, что куда-то повезут в другое место, что там, наверное, условия жизни переменятся, невольно на сердце заскребло, и в голове прошла мысль: а что, как там еще хуже будет? На душе стало боязно, стало жалко покинуть насиженное место. Это, конечно, продолжалось недолго, один лишь миг какой; жажда новизны быстро превозмогла всякий страх и сожаление, и больше об этом не было и речи. Но вот попадаем мы в Шлиссельбург. С виду здесь чище, казистее, кругом блестит, пища проще, но изобильна и недурна. Дали старые книги гражданского содержания. Но что это? Как вечер, так заглушенный вдали шум, возня, стоны, а затем по коридору что-то протаскивали тяжелое, точно труп. Охватывала дрожь, предчувствие чего-то страшного; становится не по себе, начинаешь метаться по камере, но стены молчат, и только долго спустя тихий стук сообщает кратко: потащили в карцер. На другом дворе находилось старое грязное, запущенное одноэтажное здание, где когда-то держали в одиночках поляков; мы его прозвали сараем. Туда-то, оказывается, и начали таскать в карцер за стук, а так как не всякий шел добровольно, то приходилось насильно тащить, при чем некоторые унтера—одни из усердия, другие для виду—наделяли ведомых и тычками в спину еще. Особенно отличался один старик унтер, и за это судьба, как бы в отместку, устроила так, что два его сына, выросшие здесь же в крепости, сделались революционерами, и, когда нас выпускали, они где-то уже сидели, как жаловался нам же старик при наших проводах. Подобные таскания, повторившись несколько раз, стали случаться реже и реже, но зато теперь явилось новое. Нам давались лампы,



спички, и мы сами их зажигали и ставили, где нам надо: на столе или у кровати, если кто любил читать лежа. Но вот прихожу с прогулки и вижу странную вещь: над столом вбиты в стену кольца, в них вставлена лампа и заперта на замок. Зачем, почему,—является недоумевающий вопрос, и опять только много спустя стук сообщает: «Грачевский потребовал себе новых книг, газет и еще чего-то. Ему, конечно, не дали, и он, облив себя и постель керосином, сжег себя». Вскоре новое событие. Смотритель, жандармы в полной новой форме, точно на смотр, явились в тюрьму, зашли в одну камеру и вывели сидящего. «Прощайте, братцы, товарищи!»,—раздался громкий крик и смолк. Все притихли в недоумении, что это значит; вдруг послышался ружейный залп, трескотня выстрелов. Понятно: кого-то расстреляли. Но за что? По инструкции самое тяжелое наказание—50 розог полагалось. А тут—расстрел; что мог совершить заключенный? Опять прошло немало времени, пока стук не сообщил, что расстреляли Минакова за то, что он будто дал пощечину доктору<sup>1</sup>. У нас, действительно, был молодой, недалекий доктор, который, подобно смотрителю, и себе вздумал говорить нам «ты», вообще вел себя некорректно. Ему это дали заметить, но он не унялся, а Минакова он вздумал кормить насильно, как потом был слух. Минаков требовал себе табаку или папирос, и когда ему отказали, принялся голодать<sup>2</sup>. Минакова расстреляли, а нам вместо табаку стали давать чай, приносили его в стаканах и, как видно, воду кипятили в железной посуде. Однажды мне принесли чай совершенно черного цвета. Я позвал смотрителя, показал ему; он взял и другого уже не дал, но зато скоро начали выдавать нам на руки полфунта чая, три фунта сахара и чайники для заварки чая. Кипяток приносили утром с белым и черным хлебом. Я забыл сказать, что белого чуть ли не фунт давали, черного—полфунта, или обратно; одно помню, что насчет хлеба хорошо было.

Не успела забыться история с Минаковым, как, придя с прогулки, находим, что все окна забиты гвоздями, а у вентиляторов сорваны, сбиты затворки. Опять что-то вышло. И опять тоскливое щемящее чувство не дает покоя. Клименко повесился<sup>3</sup>, и пытался повеситься Тиханович. Тиханович был офицер, который, будучи в Киевской тюрьме в карауле, выпустил Василия Иванова, сумевшего выбраться из камеры на двор. Иванов проделал, по его словам, через печь небольшую дыру на коридор и, послав надзирателя за лекарством в аптеку при тюрьме, вылез, заложил дыру и ушел во двор, где его

<sup>1</sup> §Здесь—хронологическая путаница. Расстрел Е. И. Минакова (21 сентября 1884 г.) был на три года раньше, чем самоубийство Грачевского.—*Ред.*

<sup>2</sup> Слухи о насильственном кормлении Минакова были неосновательны. У Минакова явилось бредовое представление, что доктор Заркевич отравил его или хочет отравить. Казнили явно невменяемого человека.—*Ред.*

<sup>3</sup> М. Ф. Клименко повесился в камере на вентиляторе 5 окт. 1884 г.—*Ред.*



поджидал Тиханович. Сторож у ворот спал, а ключ находится обыкновенно у караульного унтера. По приказанию Тихановича, унтер отпер ворота, и побег состоялся без помех, да так, что никто Тихановича и не подозревал. Судили сторожа и надзирателя с ключником, но когда суд состоялся и Тиханович увидал, что осуждены совершенно невинные люди, он явился сам и заявил, что это он виновник побега. Надзиратели и ключник тут ни при чем. Ему сначала не поверили, но потом, когда при вторичном аресте Василий Иванов рассказал, как было дело, Тихановича судили и запрятали даже к нам в Шлиссельбург<sup>1</sup>. Так началась наша жизнь в Шлиссельбурге, но к этому еще надо добавить чахотку, желудочные, брюшные и разные другие заболевания, включая сюда и душевные. Кроме Щедрина и Иванова, не Василия, а Игната, начавших сходить с ума еще в равелине—здесь присоединились Конашевич и Арончик, т.-е. еще двое, плюс поздней Похитонов; было время, впрочем, когда почти всех считали несколько свихнувшимися, как проговорился однажды новый доктор, но это уже много лет спустя, а пока необходимо сказать, какой ценой получили мы право перестукиваться открыто, не прячась. Как сказано выше, в равелине стук у нас сходил благополучно, но здесь, в Шлюшине, на первых же порах он вызвал и выговоры, и тасканья, и сажанье по карцерам, а затем, когда стук, несмотря на карцеры, не унимался, смотритель прибег к новому способу. Он приходил к стучащим, особенно открыто, и начинал их доносить разными словами и угрозами разных наказаний, вплоть до розог, на что инструкция давала ему право. Мышкину и Попову чаще всего приходилось выслушивать его рацеи, но оба они были карийцы, оба видели и пережили более свободную жизнь на Каре, оба сознавали, что отсюда нет выхода, что они привезены на смерть и что, следовательно, чего же им таиться, чего бояться наказаний? Смерть все равно их ждет здесь и без того. Поэтому на уговоры смотрителя они не обращали внимания и, не таясь, как другие, продолжали стучать, когда являлась охота поговорить. «Наказывай, но только отстань»,—говорил Мышкин не раз смотрителю; но тот уже изверился в силу карцеров, а к розгам не хватало духу еще прибегнуть, и он продолжал свою тактику. Наконец, произошла развязка. Другие говорят, что дело произошло в ужин, но у меня из слов М. Р. Попова сохранилось в памяти, как я пишу. Давали обед через оконце в дверях. Подошли к Мышкину, хотели уже всунуть ему миску с первым и тарелку со вторым, смотритель не утерпел и начал тут же выговаривать Мышкину за стук, стоя за дверью. Мышкин в ответ отталкивает от себя весь обед, и тот обливает смотрителя и унтеров. Снова скорый суд, снова парад и снова ружейная трескотня<sup>2</sup>. Мыш-

<sup>1</sup> Тиханович, пытавшийся—может быть даже неоднократно—покончить с собой, умер от чахотки 28 декабря 1884 г.—*Ред.*

<sup>2</sup> И. Н. Мышкин казнен 26 января 1885 г.—*Ред.*



кина не стало, но зато чуть ли не на следующий же день является смотритель к Попову и просит его сам постучать к Арончику: он с ума сходит, мол, и болен сильно. «Вот так-так: недавно Мышкина расстреляли за стук, а теперь...»—начал выговаривать Попов.—«Что же я поделаю, мне приказано, чтоб стука не было, я и запрещал; теперь разрешили, я и пришел»,—заметил смотритель и при дальнейшем разговоре даже прослезился, по словам Попова: «ты думаешь, я изверг, нет, я только строго исполняю предписание». Позднее за свое рвение он был наказан даже самым начальством. Он выслужился из кантонистов до капитана и, действительно, усердствовал изо всех сил. В равелине, например, не доверяя даже жандармам, он целый день, с раннего утра (луна еще виднелась) и до позднего вечера, продежуривал под сводчатым проходом, наблюдая через окно за гуляющими заключенными и за двумя жандармами, их караулившими, и это—в закрытом дворике. Равелин имел вид треугольника, внутри которого помещался небольшой садик для прогулок. Каждого водили  $\frac{1}{2}$  часа по одному. Чтоб успеть, необходимо было начинать прогулку как можно раньше. Зимой дни маленькие; вот тут-то он и показал себя, будя и чуть не силой выводя гулять некоторых, любящих поспать утром. Пострадал он за свое рвение таким образом. Когда к нам привозили новых заключенных, то их предварительно сажали в старую тюрьму, о которой сказано выше, якобы для испытания, а больше, чтобы подвергнуть более строгому режиму. Держали там от 2 месяцев до года. Первые привезенные как-то быстро очутились у нас, и с ними ничего не произошло особенного; но вот привозят Гинсбург и сажают в «сарай»: так нами была прозвана старая тюрьма. Грязь, мрак, полная мертвая тишина, нарушаемая словами смотрителя о том, чтобы Гинсбург не стучала, не смела бы заговаривать с жандармами; все это подействовало на нее удручающим образом при мысли, что при таких условиях ей придется провести всю жизнь (смотритель, разумеется, и не подумал ей объяснить, что она на время лишь посажена в сарай). Заполучив ножницы, она зарезалась чуть ли не на третий день <sup>1</sup>. Смотрителя вызвали в Питер и сделали такой нагоняй, что с ним случился тут же удар. Произошло, однако, это позднее, а пока он еще царствовал у нас. 1-й комендант крепости совершенно стушевывался перед ним, поступая во всем по его указаниям. Стесняясь при нем говорить нам «ты», он прибегал к такому обороту: «А что, заключенный здоров?», или: «гуляет?» и т. п. Он предоставлял смотрителю распоряжаться по собственному соображению, а тот прислушивался лишь к тому, что шло из Питера, и продолжал не давать прогулок

<sup>1</sup> С. М. Гинсбург была доставлена в Шлиссельбург 1 декабря 1890 года, зарезалась 7 января 1891 г. Здесь память изменила М. Ф. Фроленко: Соколов был уволен в октябре 1887 г., сейчас же после самоожожения Грачевского, и ко времени самоубийства С. Гинсбург его уже больше трех лет не было в Шлиссельбурге.—*Ред.*



вдвоем; мало обращал внимания на заболевших, и у нас в первое время к предыдущим смертям прибавилось еще немало: Гелис, Малавский, Златопольский, Долгушин, Богданович, Немоловский, Варынский... Как-то быстро один за другим начали исчезать.

Из них особенно трагична была судьба Малавского. Это был студент Киевского университета и к революционным выступлениям того времени относился довольно критически, постоянно споря с Мишкой Мокриевичем<sup>1</sup>, у родителей которого он жил на квартире и часто тут с ним встречался. У Мокриевича с Ковалевской была и своя квартира, нанятая для сношений с чигиринцами, но перед ее наятием он скрывался одно время у родных, и тут у них с Малавским за шахматами по вечерам происходили вечные схватки. Когда началось преследование чигиринцев, заарестовали Стефановича, Дейча, Бохановского, добрались и до квартиры Мокриевича. Ему, однако, удалось во-время заметить приход обыска, и он с женой скрылся. Между тем, его мать, не зная, что у сына идет обыск, попросила Малавского отнести на квартиру Мишки ведро, в котором нуждался Мокриевич. Малавский пошел, наскочил на обыск и был арестован. Скажи он сразу всю правду,—его, быть может, и выпустили бы, подержав, пока выяснится дело, но Малавский, вместо этого, сочинил какую-то неправдоподобную историю, стал отказываться отвечать на некоторые вопросы. На него тогда взглянули уже серьезно и засадили в тюрьму. Тут он одумался, дал уже верное показание, но ему перестали доверять и присоединили к делу Стефановича, Дейча, Бохановского. После побега этих трех Малавский остался в тюрьме и первый утром поднял тревогу насчет исчезновения своего товарища по камере, Бохановского. О побеге никто не подозревал, а все думали, что я был убит, когда пошел за сменой, и только теперь поняли суть дела. Малавского скоро судили, но, сверх ожидания, суд его не оправдал, а засудил на 7 или 8 лет тюрьмы. Малавский обжаловал этот приговор. Назначен был новый суд, но тут подошли новые времена, когда юг был объявлен на военном положении, и генерал-губернатор принялся вешать, ссылая. Военный суд приговорил Малавского на 20 лет уже каторги, и его отправили на Кару. Когда, после побегов, на Каре начались репрессии, Малавский, не бегавший и считавший несправедливым свое пребывание в каторге, волновался, горячился больше всех. Его заметили и, как очень опасного человека, отправили с другими к нам в Шлиссельбург. Тут он схватил скоротечную чахотку и умер вскоре. Так-то пустое ведро погубило человека.

Кроме Малавского и тех, что я перечислил, умер еще один—фамилию забыл, но так как привезено было много незнакомых, и сидели они далеко от меня, то о смерти других мне не было известно. Одно

<sup>1</sup> Мишка Мокриевич сначала был в киевской коммуне, а потом стал во главе бунтарей, организовав эту группу.



только было видно, что сначала полная тюрьма, к концу царствования первого смотрителя, опустела почти наполовину<sup>1</sup>.

После первой «льготы» относительно стука последовали и другие льготы. Раньше ни о свиданиях, ни о переписке с родными и речи не было; теперь стали приносить памятные листки—коротенькие сообщения о родных: кто умер, кто жив, кто родился; дали тетрадки, карандаши, обещали купить научных книг, но из этого комичная история получилась. Смотритель обходил всех и записал, кому какие требуются научные книги. Одни просили по математике, другие—по естествоведению, третьи—по истории и т. д. Проходит некоторое время: «пришли,—объявляют,—надо переплесть только». Ждем. Вот и они. «Вам что? по математике? извольте»—арифметика для первых классов,—«а это геометрия»—второму, третьи получили грамматику уездного училища; по физиологии дали Бока: «Будьте здоровы», и все в этом роде. Вот так наука! И ведь знали же люди, что большая часть сидящих были в университетах и других высших учебных заведениях! Правда, между нами было трое рабочих, но из них только один или два нуждались в геометрии. Все-таки, как ни забавна была эта покупка, но она проложила путь к дальнейшему расширению нашей библиотеки, и та мало-по-малу начала пополняться и более солидными книгами: Спенсер, Дрепер, Гельвальд, Менделеев, всеобщая география Реклю, разные философы, энциклопедические словари и т. п. стали постепенно с каждым годом увеличивать ее содержание. Появлялись временами журналы, газеты даже на английском языке. Однажды был допущен француско-немецко-русский журнал, немало было куплено потом всяких книг, и библиотека получилась под конец довольно солидная.

Нам потом отпускалась определенная сумма на покупку книг, и всякий покупал на свою долю то, что ему хотелось, вычиталась у него лишь часть на покупку общих газет, журналов, и только. Не допускалась покупка книг, где в заголовке каким-либо, хоть побочным, образом употреблялось слово «социализм», «социальный» и в этом роде. Затем относительно газет и журналов много раз выходила такая история. К нам почти каждый год приезжало высшее начальство: или министр, или товарищи министра, или шеф жандармов со свитами и спрашивали: «нет ли каких заявлений?» Вели они себя очень корректно, говорили «вы», и с ними можно было разговаривать. Только Шебеко (шеф жандармов) и Валь (градоначальник Питера) позволили себе некоторую резкость. Прочие же, как Оржевский, Петров, Дурново — и большой и малый—Святополк-Мирский<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Кроме названных М. Ф. Фроленко, при Соколове умерли еще А. П. Тиханович, А. В. Буцевич, Л. А. Кобылянский, Игн. К. Иванов, Г. П. Исаев. Ю. Богданович и Л. Варынский, названные им, умерли уже после отставки Соколова—первый в 1888, а второй в 1889 г.—*Ред.*

<sup>2</sup> Генерал Петров—начальник штаба корпуса жандармов. Иван Николаевич Дурново с 1882 г. был товарищем министра внутренних дел. а с



и другие обращались по-людски, и их поэтому просили, например, о покупке книг, журналов. Но выходило так: один разрешит, а другой, приехав и увидав в камере номер журнала или лист газеты, приходил в ужас и, нам не говоря ничего, потом делал начальству выговор, и у нас отнимают журнал. «А зачем на виду оставляете?»—с упреком замечает смотритель. Оказывалось, разрешение давалось лишь словесное и действовало, пока был министром тот, кто его давал. Министры менялись часто, и новый отменял распоряжения старого. Приходилось снова ждать приезда и снова просить, и так несколько раз, но все-таки в период трансваальской войны выдался довольно изрядный промежуток времени, когда у нас появилась даже английская газета *Стеда*, и мы по ней следили за бурской войной. Поливанов научился как-то быстро английскому языку и, читая глазами газету, он нам передавал содержание по-русски. Зато в период японской войны нас держали почти шесть месяцев в полном неведении об этой войне. Мало этого: когда мы спрашивали, не затеяли ли японцы войны, нам смотритель уверенно отвечал, что никакой войны нет; а между тем из статей того же *Стеда* мы знали, что японцы готовятся к этой войне и на подготовку положили десять лет. Теперь этот срок истек, и по некоторым признакам нам казалось, что война началась, но у нас в этот период как-раз снова были отняты журналы и газеты, и мы лишь усиленно хлопотали о них. Достоверно узнали мы о войне так. Сначала кому-то попался обрывок газеты, где шла речь о боях. Но скоро, выходя раз на прогулку, я выносил целую миску разного сора для удобрения своего огорода. Жандарм сзади, жандарм впереди смотрели, как я шел по верхнему коридорчику. Вижу, на полу лежит какой-то комочек из газетной бумаги: «поднять»—является мысль; «отнимут!»—и я нерешительно подхожу, почти прохожу. «Вы уронили что-то»—слышу вдруг голос какого-то жандарма. Я быстро наклоняюсь, хватаю комочек, кладу на кучу в миску, иду на прогулку. Тут, разобрав комочек, нахожу, что весь он составлен из газетных вырезок о различных боях. Из них узнаем, что японцы подходят уже к Мукдену. А смотритель, не моргая, уверял, что войны нет. Когда Мукден был взят, не выдержали и наши жандармы и принялись в своей дежурной комнате так громко ругать Куропаткина за сдачу пушек, что это и нам стало слышно. Поздней, наконец, пришло разрешение допустить и газету, но годом назад. Из нее мы, конечно, мало могли что узнать, однако, это разрешение развязало язык смотрителю и коменданту, и они на спросы теперь охотно стали сообщать самые свежие новости. О падении Порт-Артура и разбитии флота Рождественского мы узнали тотчас же.

1889—министром. П. Н. Дурново посещал Шлиссельбург в качестве директора департамента полиции. Кн. Святополк-Мирский, Петр Дмитриевич, с 1900 по 1902 г. был тов. министра внутренних дел, а с 26 августа 1904 г. по 18 января 1905 г.—министром. — *Ред.*



Я забежал на много лет вперед, но чтоб закончить о книгах, сообщаю уж заодно еще один курьез. То давая, то отнимая журналы, в конце надумали, когда опять во время японской войны получилось разрешение, дать журналы не полностью, а вырвав хронику и внутреннее обозрение: довольно с нас, мол, и беллетристики. Но и повести показались опасными. Тан-Богораз (писатель) в журнале описал жизнь сосланных в Средне-Колымск, и между ними мы сразу узнали одного, Суровцева, бывшего в Шлиссельбурге и незадолго высланного туда<sup>1</sup>. Мы громко, на прогулке, толковали о нем, с нетерпением ожидая следующего номера журнала, чтобы узнать его дальнейшую судьбу. Он в Колымске ухитрился устроить парники, огороды, вырастил разные овощи, даже капусту, и Тан описывал различные случайности борьбы Суровцева с обстоятельствами, в роде того, как собаки, почуяв тепло, забирались на парники, давили стекла и т. п. Все это автор облек в занимательно-шутливую форму, обещая описать продолжение опытов Суровцева уже в гораздо более южных местах, где ему, будто, отводили землю для полевых опытов. Этих-то опытов теперь мы и стали ждать. Приносят новый номер, смотрит библиотекарь: что-то тонковато и без заголовной страницы. Начинает перелистывать, ищет статью Тана—не тут-то было, нет ее! Он к смотрителю: «в этом номере должна быть еще статья Тана, где она?»—«Не знаю, не читал, может, дети, играя книгой, куда затеряли»,—не краснея, ответил смотритель и так и не отдал этого рассказа, сколько с ним ни толковали. А то еще такой случай. Нам под конец жизни в Шлиссельбурге разрешили покупать табак, папиросы; папиросы приносили в коробочках, и там, кроме папирос, еще гадалка находилась, но так как папиросы покупать накладно было для нас, то их очень редко кто покупал; гадалка, конечно, не интересовала. Но вот подошли именины Веры Николаевны Фигнер. Каждому захотелось чем-нибудь позабавить ее, и Лопатин надумал для этого добыть гадалку. Заказываются папиросы, приносят их. Он открывает, гадалки нет. Заказывает другую коробку—и там гадалки не оказывается. Спрашивает смотрителя, удивляется, что так ловко вынуто, что не заметишь вскрытия коробки. Смотритель лукаво улыбается, но все-таки явно не сознается, и гадалки так Лопатин и не получил. Спрашивается: ну, зачем это и предыдущее он проделал? Ни гадалка, ни рассказ об опытах Суровцева никаких тайн тогдашних событий нам не открывали, и, прочтя их, мы все равно не знали бы, что творится на белом свете. Мы подозревали, но подозрения наши строились

<sup>1</sup> Дмитрий Яковлевич Суровцев был освобожден из Шлиссельбурга в 1897 г. и отправлен в Средне-Колымск; в 1905 г. ему было позволено переехать в Якутск. Суровцев был очень своеобразным человеком; в конце-концов он пришел к толстовскому миропониманию—был принципиальным противником всякого убийства, вегетарианцем, поклонником полной простоты жизни и пр. — *Ред.*



на основании совсем других фактов. Об этом скажу, когда пойдет речь о последних годах, теперь же возвращусь к началу и буду о некоторых льготах опять говорить сразу в их последовательном развитии, а не по годам частично. У меня нет хронологических данных, чтобы описывать всю жизнь, шаг за шагом, по месяцам, по годам. Я могу лишь вспомнить, как и что начиналось, напр., льготы с книгами, как развивалось и на чем остановилось или пошло вспять. При чем на темных сторонах нашей жизни я вообще много не останавливаюсь—это смерть, а я хочу указать, что дало возможность выжить и перенести все ужасы 20-тилетней каторги.

Сначала, как сказано выше, выводили на прогулку поодиночке на полчаса и насыпав песку, чтобы не слышно было шагов соседям; удаляли даже птиц. Затем стали давать каждому еще и товарища, но не всем, а только некоторым, по началу держась постепенности, при чем этот товарищ закреплялся настолько, что одна лишь смерть заставляла изменить этот порядок; тогда давали другого товарища на место умершего. Так вышло и у меня. Первоначально свели меня с Исаевым. Три года прошло уже, как мы не видели друг друга после суда—радость немалая: перекинулись живым словом, поделились пережитым, а у Исаева к этому присоединилось желание обратить меня к вере в спасителя.

«Только богу доступно создать такое учение»,—говорил мне с жаром Исаев.

Как видно, раньше, на воле, ему не приходилось читать евангелия полностью, а обрывки, что он заучивал, конечно, не давали ясного представления о целом, и тут, при нашей обстановке, неудивительно, что они его поразили. Я в детстве, и когда был в гимназии, часто почитывал евангелие, увлекался им; «положить душу за други своя», не бояться за это гонений, не пожалеть даже отца, мать ради общего блага и т. д.—все это глубоко впиталось, благодаря нагорной проповеди спасителя. Я был тогда верующим вполне и не раз даже мечтал о диспуте с нарождавшимся неверием. Так было до 6 класса гимназии, но тут начались сомнения, и виновником их был священник. Он, бывая у моего родственника, смотрителя училища, и не стесняясь присутствием молодежи, не раз принимался глумиться над киевскими мощами, рассказывая, как монахи, переодевая кукол, сделанных из тряпок, потом продают, напр., шапочки по очень дорогой цене. Начав с этого, постепенно, когда подробней ознакомился с историей, с теми ужасами, что человечеству пришлось пережить и до Христа, и после него, я мало-по-малу усомнился в промысле, усомнился, чтобы бог мог сознательно обречь на такие страдания человека—и за что!? За нарушение какого-то там запрета; но ведь это сделано было двумя людьми, и за это они были наказаны. При чем тут дети, потом все человечество? Это—одно; а затем—как же так? Спаситель страдал, был распят, принес искупительную жертву за грех первого человека, значит, все прошлое должно быть прощено, забыто,



и человечество, оправданное теперь страданием Христа, должно бы зажить лучшей, более счастливой жизнью. А мы что видим? Опять войны, мучения, инквизиция, Варфоломеевская ночь, семилетние, тридцатилетние войны и т. д., и т. д. Страдания, страдания—и больше ничего; и кто их делает? Люди, называющиеся христианами, и во имя того же Христа. Где же бог? Чего же он смотрит? И как мог он допустить подобную вещь? Пошли вопросы, и, так как никто на них не мог дать ответа, хоть сколько-нибудь удовлетворительного, то это привело к неверию; и вот, когда Исаев оказался верующим, то между нами поднялся жестокий спор. Я, конечно, пустил в ход вышеприведенное. Исаев сначала пытался, было, подобно духовным, говорить, что бог лучше знает, как довести нас до вечного блаженства на том свете; что страдания скоротечны; что они очищают, совершенствуют людей и т. д. Я, конечно, не поддавался; тогда он прибег к последнему доводу: «да, я не могу тебе всего этого объяснить, но вот если б тебе, как мне, пришлось повидать спасителя и поговорить с ним, то и ты, наверно уверовал бы в него. Попроси хорошенько—и спаситель явится тебе»,—с уверенностью начал уговаривать меня Исаев. Он говорил это так просто, что не казалось, после говоренного раньше, странным, совсем не похоже было на помешательство. Вероятно, во время болезни у него и была такая галлюцинация, которую он, при его вере, принял за действительность. Мне, однако, не удалось подробнее расспросить его, как у него происходило свидание со спасителем: пока шел спор, мне казалось неловким расспрашивать, так как у него вырвались эти слова в разгаре, неожиданно: «захоти лишь всей душой и сердцем»,—выпалил он тогда и умолк, перейдя к другому.

Скоро Исаев умер, и мне так и не удалось расспросить подробнее о видении. В равелине, как и другие, он сильно болел цынгой, но оправился и, когда впервые я его увидел, он, казалось, был здоров. Выдался как-то хороший денек, солнце нас пригрело. Исаев тихонько стал напевать: «Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит» и т. д.; и дойдя до «но не тем холодным сном могилы я б хотел забыться и уснуть: надо мной, чтоб вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел»..., он несколько раз с особенным чувством повторил эти слова, точно предчувствуя что-то. На другой день, увидя его лицо при выходе на прогулку, я поразился темно-землистым цветом его. «Что случилось?»,—спрашиваю.—«Пустяки: вчера вечером стало что-то першить в горле, я закашлялся, пошла кровь. Вот и все»,—добавил он, стараясь себя сам успокоить, но испуг с лица не сходил. Теперь не до дебатов было, и мы мирно, тихо, присмирив, повели задушевный разговор о прошлом, о суде, об аресте... На следующий день Исаев вышел уже с ясным, веселым лицом. Испуга в нем и следа не осталось. «Да, признаться-таки, я сначала вчера сдрейфил,—заговорил он,—но, пораздумав потом немного, решил, что не стоит так пугаться. Что смерть! Переход



лишь в новое состояние. Ведь душа бессмертна. Не пугаюсь же я, засыпая на ночь! Это меня совершенно успокоило. Теперь я и смерти не боюсь»,—закончил он, и по лицу его видно было, что он, действительно, примирился с мыслью о смерти. Ночью у него снова шла кровь и в большом количестве, но это его уже не испугало. Процесс у него развивался как-то неимоверно быстро, и несколько дней он не выходил гулять, а когда вышел, это был уже почти мертвец, сильно исхудавший, хотя еще полный надежд на выздоровление. «Было скопление в груди гноя; доктор не мог определить этого и уверял, что легкие чисты. Вдруг гной прорвался, и полная большая кружка его вышла из горла. Теперь я чувствую себя совсем хорошо, авось, и я выкарабкаюсь как-нибудь»,—говорил он, и, видимо, ему еще хотелось пожить. Весна манила, он был молод, моложе почти всех «стариков» по нашему процессу, а и нам было в это время 35—38 лет (самое большое). В следующие три дня сряду Исаев не выходил; на четвертый, когда я спросил о нем, мне сообщили, что он переведен в другую тюрьму: значит — или умер, или уже при смерти. Так больше я его и не увидел. Приговор суда еще раз исполнился, но какой ценой! Сколько страданий пришлось пережить!

За Исаевым на очереди стал Арончик. Он сошел с ума и к тому же заболел. Жандармы долго не верили в помешательство и возмутительно обращались с ним, допустив до того, что он заживо сгнил и представлял из себя скелет, обтянутый лишь местами кожей. Об этом проговорился случайно какой-то департаментский чиновник, приезжавший к нам по поводу книг. Мы знали, что Арончик сильно болен, и просили позволить нам самим поухаживать за ним. «Поздно»,—заметил он и тут же сообщил нам, в каком положении находится Арончик. И, действительно, вскоре камера Арончика опустела. Погиб еще один.

Не то в конце 1884, не то в начале 1885 года приезжал к нам товарищ министра с шефом жандармов. На их опрос: «нет ли каких заявлений», и я и некоторые другие заметили, что хорошо было-бы устроить огороды здесь. Начальство промолчало, и нам казалось, что этот вопрос не прошел. Наступила весна и выдалась на этот год ранняя. К апрелю и снег сошел. Выходим раз на прогулку и видим—за одну ночь вырос высокий досчатый забор между нашей тюрьмой и прогулками. «Что такое? зачем?»,—пошли догадки. Будь стекла в окнах обыкновенные, это не трудно было бы определить: половина тюрьмы была обращена окнами в ту сторону; но через волнистые—ничего разобрать нельзя было. Являлась мысль и о расширении прогулок, и об огородах. Но какие же это могут быть огороды, когда с одной стороны высокая крепостная стена загораживает солнце с востока и юга, с другой—наша тюрьма не пускает его с запада? А пространство между тюрьмой и крепостной стеной—около 30 шагов в самом широком месте. Затем, как житель юга, я знал, что в апреле, даже марте, уже приступают к посевам, а наша стройка



что-то затянулась, и подходит уже май. Предположение об огородах начало в голове замирать, как неожиданно, выйдя на прогулку в начале мая, вижу, что забора уже нет, а там дальше виднеется вышка, под ней длинная стена и в ней двери на небольшом расстоянии друг от друга, как в стойлах. На этот раз меня не повели на прогулку, а завели в шестую дверь под вышкой. Тут оказался маленький огоролик в четыре грядки, длиной в девять аршин и шириной в полтора аршина каждая. Земля была насыпной, ее, будто, привезли из Питера, купив у тамошних огородников; так как грунт еще мало оттаял, то предварительно настлали нетолстый слой соломы и на нее уже сыпали землю, представляющую смесь перегнившего мусора с небольшим количеством настоящей земли. В головах грядок воткнуты были рейки с небольшими дощечками наверху. А зачем—неизвестно; их на другой год уже не стало. В углу огородика помещался у забора кран водопровода, а под краном железный бак, тут же на земле и лейка стояла. Сверх того, дали лопату, очень хорошую, и грабли. Рыть, по существу, незачем было, но ради моциона я усердно принялся перерывать, обдελывать граблями свою грядку, не трогая, конечно, соломы. На другой день выдали семян редиски, редьки, гороха, морковки, свеклы, репы, огурцов—в таком количестве, что ими можно было бы засадить целый огород. Не дали только капусты и брюквы, велев оставить часть грядки незасеянной, говоря, что позднее будет дана рассада их. Не помню, почему я в этот же день не посеял, а пошел в камеру и принялся составлять план, где что посеять так, чтоб это не заглушило друг друга, чтоб можно было пересадить то, что выносит пересадку. При том малом пространстве, что оставалось за вычетом под капусту, не так-то легко было составить план посева, и это так волновало, что плохо даже спалось. Хотелось сделать наилучшим образом, тем более, что в это время я сильно увлекался вопросом о рациональном хозяйстве, огородничестве, мечтая, несмотря на заверения начальства, что из Шлиссельбурга выхода нет и не будет, попасть когда-нибудь на поселение в Сибирь и заняться здесь им, при чем так, чтоб оно могло послужить примером для окружающих. Я знал, как примитивно у нас ведется хозяйство крестьянами, и как малы иногда бывают у них урожаи, благодаря этому. Но, чтоб помочь в этом, надо было самому, конечно, лучше знать, лучше делать. Вот отсюда-то и шло волнение. Книги по огородничеству, сельскому хозяйству лишь много позднее были добыты. За ночь план был составлен; выхожу на прогулку, беру грабли, начинаю делать поперечные борозды. Вдруг входит смотритель и говорит: «подожди сеять, огородники утверждают, что будут холода». С огорчением пришлось остановиться. Погода была хорошая, и как-то плохо верилось, что тут замешался совет местных огородников. Мне снова дали товарища. Это был Поливанов; его грядка находилась рядом; ему тоже не позволили сеять. «Не может быть, чтобы в мае были такие холода, что нельзя сеять», — рассу-



ждали мы и принялись искать нового объяснения. В мае отходит, Поливанов знал, последний пароход на Сахалин. Вероятно, нас хотят отправить туда. Я, по наивности, когда был Оржевский, просился на Сахалин. Погода между тем начала портиться, пошли холодные сырые дни. «А ведь огородники-то правы!»,—удивлялись мы их предвидению и терпеливей начали выжидать теплой погоды, бросив мысль о Сахалине, так как подходило к половине мая, пароходы же отходят в первых числах мая. «Вот и погода, можно сеять»,—говорит смотритель, и, придя в огород, мы видим, что там уже посажена капуста, брюква—нам осталось засеять уже остальное. За это время грядки слеглись, пришлось граблями снова их поверхность перевернуть, и это вышло очень хорошо. Дикая сорная трава пустила корни, и не попорть мы их, потом много было бы возни с полкой. В детстве мне приходилось помогать моей матушке ухаживать за огородом. У нас был чернозем, много солнца (Ставрополь Кавказский), а, между тем, иногда урожай получался неважный. Здесь ни чернозема, ни солнца не было. В нашем огороде солнце показывалось в 8 часов с одного конца. В 11 здесь уже надвигалась тень. В другом конце—позднее появлялось, позднее исчезало, но в 3 часа весь огород оказывался в тени уже. Земля неважная, по нашему мнению; результатов ждали с нетерпением, однако. Вот и редис начал созревать. Я знал, что его надо сажать реже—на дюйм, на пол-вершка; но когда получил семян много, как было утерпеть не посадить гуще? Некоторые, по незнанию, сыпали его так много, что у них получалась гуща с тонкими, длинными, беловатыми стебельками, вместо круглого плода. Будь земля хуже, то же было бы и у нас, но, к нашему удивлению, как у нас, так и на тех двух грядках, что были в нашем огороде—их засевали жандармы по болезни хозяев—редис получился крупный, круглый и сочный. Он не сидел в земле, а как-то вышел из нее наружу, и тут образовались клубни. Земля была рыхлая и оказалась замечательно плодородной. Благодаря этому, мы с Поливановым имели возможность потом все лето баловать себя то редиской—круглой, длинной,—то репою разных сортов, то морковью и горохом, то брюквой; были даже огурцы, но очень мало. Думая, что в августе-сентябре начнутся холода, мы даже спешили очистить свои грядки от овощей и заслужили упрек от смотрителя: «Чего вы торопитесь?»—не утерпел он как-то заметить Поливанову, носившему большими пучками овощи к себе в камеру. Нужно заметить, что в первый год еще и не все удалось, благодаря густому севу.

Напрактиковавшись, позднее мы достигли значительных результатов, и это при таком малом количестве солнца. Выходит, что овощи довольствуются и малым, коротким освещением, но требуют лишь простора, ухода и достаточного удобрения. Несомненно, наша земля и была хорошо удобрена. Привезти же ее пришлось потому, что верхний слой крепостной почвы представлял из себя крепкую смесь земли, щебня и камней, которая получилась и при стройках и по-



правках, и при многократном взятии этой крепости шведами, русскими, плюс естественное разрушение крепостных стен от времени и непогоды. Местами попадались целые пласты окаменевшей извести. После боев, несомненно, заливали толстым слоем извести кровь и проч. Известь к нашему времени и окаменела. Поздней, когда мы проббили эти пласты до глины и песка, то находили даже и человеческие кости, но в небольшом количестве. Все это возможно стало лишь тогда, когда появились у нас и лом, и молот, и крепкие лопаты; пока же, в первые годы, дав по началу хорошие лопаты, их скоро отобрали и только после долгих, усиленных просьб выдали мне какую-то калеку-лопаточку, весною вскопав сами и снова сделав грядки. Мне же нужна была лопаточка, чтобы всячески увеличить слой насыпной земли. Нужно заметить, что имея мало земли, мы усиленным уходом старались, во-первых, убить время работой, а во-вторых, получить наибольшее количество овощей. В этом отношении репа белая, фиолетовая и желтая, а потом брюква—переноса хорошо пересадку и даже нуждаясь в ней—отлично нам помогали. Воды, конечно, мы не жалели, лили больше даже, чем надо. Как стала поспевать редька, редиска, то стали получаться и пустые места, когда их с'едали. Как быть? Тут репа и начала выручать. Посеяна и она нами была густовато, завязывала поэтому клубни медленно. Тогда мы попробовали ее пересадить на пустые места. Отлично. Она живо принялась, живо стала давать изрядные репки, и хотя у некоторых желтых на корнях оказывались болезненные наросты (кила), но есть репу можно было—ее болезнь не проникала внутрь. Таким образом, подсаживая почти все лето, мы имели гораздо больше, чем смогла бы дать нам 9-аршинная грядка. Зная, как нашим овощам необходимо удобрение, мы все листья, всякую траву не выбрасывали, а, напротив, скомкав и намочив, засовывали вниз грядки, с боков, с тем, чтобы потом подсадить что-нибудь в этом месте.

Жандармы, конечно, видели с вышки это, им показались почему-то наши комочки подозрительными, их отрывали и уносили. Сначала мы не замечали этого, но, продолжая засовывать удобрение, удивлялись лишь, как быстро перегнили предыдущие комочки: их не встречалось и следов. Да это, верно, жандармы таскают, догадались мы в конце, проделав маленький опыт в углу, где зарытые листья долго не сгнивали. Говоря об этом громко, когда к нашему огородику подходили на вышке унтера, мы, наконец, добились того, что нас оставили в покое и наши комочки перестали исчезать.

А то такой был случай. У нас еще после раведина не вполне прошла цынга, поэтому мы особенно дорожили редькой зимней, и где какой корень развивался быстрее, лучше прочих соседей, мы за ним ухаживали изо всех сил, а, главное, знали его. Вдруг смотрим—то один, то другой из таковых начинают вянуть, вянуть—погибать. Вынимаем, ищем червяка—другой причины не знаем. Но червя нет, корень здоровый и только завял,



точно был вырван и снова засунут в землю. Что за диво? Кто бы мог это сделать? Другие двое товарищей по огородику были больны и не гуляли. Кто же? А, понятно! На грядке появились следы сапог с каблуками. Мы все ходили в котах, калбуки были у жандармов... Сделав открытие, зову смотрителя, говорю о случившемся и прибавляю: «Зачем унтера берут сами? Если нужно, пусть скажут, мы нарвем, выберем, что лучше, а к чему портить?»—«А почему ты знаешь, что это унтера? Из ваших же кто-нибудь берет!»—окрикнул было меня смотритель.—«У наших нет каблуков, да наши такой пакости, чтобы вырвать и снова всунуть, не станут и делать»,—говорю ему.—«Огороды не ваши. Прикажу, и все заберут»,—грубо отрезал смотритель и ушел. Однако, с этих пор у нас перестали исчезать и увядать лучшие экземпляры. Оказалось, как мы вскоре узнали, что для больных, по их просьбе, смотритель сам посылал жандармов нарывать овощей, хотя проще и целесообразней было бы говорить тем, кто бывал в огороде и знал, где что взять наилучшее, и мог бы выполнить заказ, не портя огорода. Боязнь выдать существование сильно больных, точно мы про это не знали, боязнь говорить по-человечески с заключенными, боязнь потерять престиж,—вот поводы, причинившие нам немало волнений, возмущений. В тюрьме всякий пустяк велик.

Так прошло лето, наступила осень; нас она немножко удивила: мы ждали холодов, а их вдруг не оказалось, и овощи, как редька, брюква, морковь, свекла—могли бы продолжать жить в грядках, а мы все это успели уничтожить. Поторопились—нечего сказать. Упрекали мы себя, но тут выручил смотритель. У них, вне наших огородиков, где-то был сделан еще огород, и там насажена капуста и редька. Редьку слегка испортили черви (личинки), но она их все-таки осилила, выросла изрядных размеров и была замечательно горько-острого вкуса: жгла рот—это была французская черно-серая длинная редька; когда мы остались без овощей, эту-то редьку предложил нам сам смотритель. Как цынготные, мы ухватились за нее с радостью и, обжигая рты, уничтожали большое-таки количество. Давали ее в камеру; на прогулках оставалось лишь одно—разговаривать, рассказывать прошлое, но, главное, спорить.

Начитавшись еще в Трубецком Соловьева, историка-старика, почти выучив наизусть его древнюю Русь, особенно—удельный период, придя в восторг от простоты его объяснений всех войн этого периода, я уже и в дальнейшем увлекался Соловьевым и на многие стороны и явления русской жизни стал смотреть другими глазами. Так, вечевой, например, порядок в Новгороде, Пскове я уже не мог идеализировать, узнав и у Соловьева, и у Костомарова, каков он на деле был, этот порядок, где богатый посадник-купец со своими молодцами производил суд и расправу дубинами, кулаками, сбрасывая с моста в Волхов-реку несогласных, грабя их и т. д. Это был такой порядок, что люди предпочитали московский Шемякин суд (тоже замечательный по несправедливости и подкупности) своему посадни-



ческому. Узнав подробней о безобразиях вечерового порядка, я, понятно, мог его теперь только критиковать; также и действия Стеньки Разина, Пугачева, когда-то считавшиеся мной революционными, теперь для меня часто делались регрессивными, тянувшими людей назад, к дикому состоянию, к самоуправству более сильного. Поливанов возражал, и у нас немало ушло времени на эти дебаты, но, как и всему земному есть конец, пришел конец и нашему спору; о прочем тоже переговорено было.

Чем дальше, тем меньше и меньше находилось материалов для разговоров, и мой Поливанов заскучал, стал поговаривать о необходимости перемены мне и ему товарищей для прогулок; я соглашался; но не желая входить со зрителем на этот счет в разговоры, мы тянули, тяготясь друг другом. Прошла зима, навалило снега в огород; нам дали деревянную лопату. Мы энергично принялись расчищать снег, сбрасывать в кучи, а Поливанов принялся даже делать кубические глыбы и принялся воздвигать стены какого-то здания, конечно, без крыши. Однако, стройка его ненадолго заняла, и мне ясно было, что настроение его не улучшилось. «Давайте-ка зрителя попросим о перемене товарищей» — предложил тогда я первый. Поливанов согласился, и мы так и сделали. «Что? Нового тебе товарища? Еще успеешь нагуляться со всеми. Времени впереди много. Гуляй с тем, кого дали», — закончил у меня зритель свой отказ и вышел. То же было и у Поливанова. Бедняга, он совсем приуныл. Зайдет, бывало, в свою постройку, и долго, долго нет его. Заглянул как-то и я туда. Смотрю, а у Поливанова глаза красные, и он спешно вытирает их. Несомненно, плакал. «Да, ему необходим другой товарищ» — решаю про себя и, не подав виду, что заметил его слезы, начинаю разговор о чем-то, а под конец прогулки предлагаю еще раз пристать к зрителю насчет перемены товарищей, а если он снова откажет, то откажемся гулять вдвоем. Порешив на этом, уходим и делаем, как сказали; нам отказали, и на другой день я гулял один. Вся стройка Поливанова куда-то была увезена, а когда я вернулся в камеру, там моя койка оказалась с матрацем и подушкой приложена к стене и заперта на замок. Так! умеют чем донять!

После обеда я обычно спал около часа, и это так уже вошло в привычку, что трудно было отказать себе в этом, да и к чему? никакой ведь работы за мной не стояло. Надо хотя бы и на полу, да немного отдохнуть. Пол асфальтовый, холодный, моя камера над холодным подвалом, но делать нечего, стелю шинель, ложусь — новая помеха: в подвале помещалась водоканализация и почему-то устроена была так, что производила сильный грохот. Да, кроме того, и дрова нарочно бросали в подвал шумно. Этим зритель в первое время пытался мешать перестукиванию. На кровати этот грохот еще не так отдавал, но когда пришлось лежать на полу, то казалось, что около головы кто-то дубасит, бросает поленьями; заснуть нельзя было. К тому же и простое лежанье на холодном полу дало себя знать: я простудил



себе бок; образовался нарыв, произошло осложнение, и меня поневоле снова положили на кровать, даже дали другой матрац. С Поливановым же вышла иная вещь, как оказалось позже. У нас во время прогулок производился обычно тщательный осмотр всего и обыск. Благодаря этому, как нарочно, когда мы с ним заговорили о перемене товарища, нашли в переплете одной книги у Поливанова записку к какому-то товарищу. Книгу взяли, записку тоже, а Поливанова лишили прогулки на время. Вот почему я оказался один. Отняли же у меня кровать потому, что в записке замешан был и я, хотя и не знал о переписке. У нас чаще практиковался другой способ. Из библиотеки требовалась та или другая книга, и в ней ставились едва заметные точки над той или под той буквой, которую следовало читать. Этот способ был давно многим известен, и потому писалось даже наугад иногда в первой попавшейся книге. Ее брал тоже случайно другой и, заметив значки, прочитывал; тогда узнав, кто писал и в какой именно книге тот просит отвечать, он брал уже ту книгу, писал в ней сам, и сношение устанавливалось, хотя и не всегда, конечно. Книга могла попасть к человеку, не знавшему про этот способ, или мог не обратить другой внимания на точки-черточки. Они часто попадают и в самой бумаге книги. Попробуешь читать, повозишься немного, не выходит, ну, и бросишь, так как не во всякой же книге писалось. Такая вещь вышла у Поливанова в равелине. Он много книг исписал, а ответа не получил. Эти книги людям, знающим этот способ, попались уже незадолго лишь до нашего вывоза оттуда, и отвечать было поздно, да и не нужно. Поливанов и без того знал, где кто, видел, кто умер и т. д.

Пишут таким способом вещи обычные: о фамилии, о суде, о здоровье, о товарищах сосланных и т. п. Но жандармы почему-то очень боятся этой переписки и, заметив присутствие подозрительных точек, принимаются вытирать не только то, что имеет значение, но уже и всякую в бумаге находимую темную точку, где бы она ни была. Трут пальцем, намочив слюнями, и так усердно, что получают дыры. 20 томов Соловьева принесли мне однажды из библиотеки в таком виде, что читать совершенно нельзя было: на каждой строчке не было цельного слова. В Трубецком ежегодно таким путем вся почти библиотека портилась и заменялась новыми книгами. Вкладывание записок в корешки, в переплеты книг—это уже дальнейший этап, когда сношение завязано и передается что-либо более интимное. Тут уже пускается в ход и шифр. Поливанов, условившись стуком, написал записку и вложил в корешок книги, которую другой должен был потом взять из библиотеки...

Поливанов был сын саратовского помещика. Род их довольно значительный и игравший когда-то роль, впоследствии несколько захудал; да и к этому его матушка оказалась ненормальной. Помню, когда в равелин к нам привели Поливанова, то в глазную щелку в дверях я увидал молоденького, лет 19, розовенького, при темноватой коже



лица, гимназистика, низкого роста, быстро промелькнувшего мимо. Он был посажен на другом коридоре. Судили его за то, что он пытался освободить товарища из саратовской тюрьмы. Товарищ-народник не особенно-то был и замешан в пропаганде—он держал в деревне лавочку и оттуда вел пропаганду. В 1880 году правительство и судьи на пропаганду смотрели сквозь пальцы, и нашему народнику грозили пустяки, как потом в действительности и оказалось; но его на прогулку выводили с одним надзирателем и в таком месте, где легко было бежать при малейшей оплошности надзирателя. Требовался лишь экипаж и лошадь. Примеры увоза таким путем были—Кропоткин в Питере и Костюрин в Одессе; молодой, живой Поливанов, ищущий, куда бы приложить свои силы, ухватился за этот случай. Лошадь, повозка, револьвер, сотрудники нашлись быстро. Сношения с тюрьмой устроились. Народник согласился, ему передали нюхательный табак, и в назначенное время Поливанов с лошастью появился вблизи места прогулки. Бросив табак в глаза надзирателю, беглец успел сесть в повозку, и они помчались, отстреливаясь от бегущих за ними. Надзиратель был ранен. Им удалось бы уйти, но на одном повороте колесо задело за тумбу, повозка на бок, они на мостовую, и их тут всех забрали<sup>1</sup>. Суд приговорил за стрельбу Поливанова к смерти, смерть заменили вечной каторгой и послали его в равелин, а потом и в Шлиссельбург, хотя и прокурор, и адвокат, и родичи уверяли его, что он будет послан в Сибирь, лишь бы он подписал написанную ими просьбу о помиловании. Не читая, он подписал, но когда очутился в равелине и, пораздумав, представил себе, что в просьбе могли написать его благожелатели, он пришел в ужас и возмущение. Мысли об этом его стали сильно удручать, мучить, и он порешил покончить с собою. Приготовив простыни, полотенце, он приступил уже к выполнению, как отворилась дверь, вошел смотритель и отобрал все. В дверной глазок теперь уже велено было наблюдать ежеминутно, и о возобновлении нечего было и думать. Пришлось примириться, душевно переболеть, и это-то наложило на жизнерадостного, полного энергии человека печать какой-то грусти, меланхолии... Философия Гартмана особенно пришлась ему по душе. А к тому же он знал о душевной болезни своей матери и побаивался за себя—между тем, это был замечательно способный человек. Он в Шлиссельбурге успел изучить итальянский, испанский, английский языки. Читая английскую газету глазами, он переводил ее тут же на русский, как бы читая ее на этом языке. Память у него была изумительная. Он знал все процессы, фамилии всех подсудимых, кого к чему приговорили. Иногда судившийся забывал многое из

<sup>1</sup> Попытка освободить из саратовской тюрьмы Митрофана Эдуардовича Новицкого была произведена Поливановым 16-го августа 1882 г. Другой соучастник, Райко, был так избит толпой, что тут же умер. Стрелял в надзирателя один Поливанов. — *Ред.*



своего суда, а Поливанов знал и напоминал. Он был для нас живым справочным календарем. Ему нужна была деятельность, притом кипучая деятельность, а выпало сидеть сложа руки (в нашей тюремной жизни он как-то мало принимал участия, сторонясь ее). Он часто предпочитал полеживать где-нибудь в укромном месте и думать о воле. Оставайся он на воле, он, наверное, оставил бы по себе значительный след, но заключение в тюрьму не прошло ему даром. Материнское наследство начало сказываться, и уже нам в последние годы казалось многое в нем подозрительным.

Из Шлиссельбурга его выслали, кажется в 1904 или 1903 году<sup>1</sup>, в Степное генерал-губернаторство, где его родственник управлял этой областью. Поливанов оттуда бежал довольно удачно и пробрался за границу. Побегу, кажется, помогал Гершуни. Но тут на него что-то нашло, и он покончил с собой, оставив записку, что сходит со сцены потому, что не чувствует в себе достаточно сил для ведения новой борьбы. Это было время самого сильного развития террора, незадолго до «конституции». Когда нас провожали из Шлиссельбурга в Питер жандармы, то и они даже сожалели Поливанова и говорили: «Эх, чего он поторопился, вот теперь бы и он ожил при конституции!» В смерти Поливанова обвиняли, правда, еще одну даму, не ответившую, будто, ему взаимностью, но это, по-моему, могло быть лишь последней каплей, главная же причина—это его душевное состояние. В тюрьме с виду он, казалось, ничем не интересовался в нашей жизни, даже сторонился ее, больше полеживал, почитывал да на небо поглядывал, а внутренне кипел ненавистью, злобой к зрителю и жандармам, к порядкам, даже к иным товарищам по заключению, и однажды это прорвалось-таки. Нам позволили завести пару кроликов. Они быстро плодятся. Пока их было мало—это была забава для всех, и их легко было удерживать в одном из наших стойл; но когда их наплодилось много, явились неудобства: кролики ухитрялись пролезать в огороды, на парники, портили все, об'едали кору сирени, деревьев. Завзятые огородники всполошились, подняли вопрос об уничтожении вредителей, но любители кроликов не сразу пошли им навстречу, начались споры, пререкания. Появляется откуда-то кот, начинает таскать молодых кроликов, принимая их за крыс. Одни радуются, другие возмущаются, сторону последних принимает вдруг Поливанов и вместе с ними, поймав кота, убивает его. Мало этого, когда кроличата стали пропадать и после этого, Поливанов заподозрил одного огородника, набрасывается на него в бешенстве, начинает царапать лицо; его оттаскивают, но тут между Поливановым и Тригони поднимается такой жаркий, резкий разговор, что кончается вызовом друг друга на дуэль. Едва-едва она расстроилась; но теперь всем стало ясно, как много накопилось в душе Поливанова и как он внутренне горел, и если сторонился других, искал уединения, то

<sup>1</sup> Осенью 1902 г. Покончил с собой Поливанов в 1903.—*Ред.*



в этом сказывалось понимание себя самого, боязнь прорваться и искание покоя. О покое, о жизни без волнений и были его мечты, часто даже вслух при разговорах. Ему хотелось отдохнуть, хотелось избавиться от вечного кипения и недовольства, для этого он бежал и за границу. По разговорам, его манила Испания с ее беспечной, привольной жизнью, его мечты вслух не раз останавливались на такой чисто личной спокойной жизни. Попав на волю в самый разгар борьбы, когда террор напрягал все свои силы, Поливанов раздвоился; с одной стороны, его тянуло выполнить свою мечту, с другой—он знал, что пассивным зрителем ему не усидеть, и снова волнения, снова нелегальная жизнь, снова положение травленного зверя теперь рисовались ему ужасными; нервы надорваны, душа не успела отдохнуть, успокоиться, в ней сидит к тому же червь сомнения, боязнь за себя, преувеличенная, конечно, моментами его психического состояния, от которого он не успел еще к тому времени избавиться. В один из таких-то моментов он, вероятно, и покончил с собой. Тут и капля могла продолбить камень, и человека очень даровитого, способного, полного еще физических сил—не стало...

Перехожу опять к себе. Мой бок разболелся и причинял сильные страдания; трудно было, одно время, выбрать для тела положение, при котором боль чувствовалась бы слабей. К весне, однако, я стал выздоравливать, появились силы, захотелось скорей снова приняться за огород, но с этим почему-то тянули. Приходит комендант: «А может заключенный выходить работать?»,—спрашивает он в пространство.—«Могу, могу»,—спешу предупредить смотрителя. Они переглядываются, уходят, и на другой день я в огороде. В товарищи теперь дают мне Ашенбреннера—полковника. С ним я был знаком с 1875 года, он сначала служил в Одессе, а потом в Николаеве. Я его снабжал нелегальной литературой, а он ее пускал промежду офицеров. Это был низкого роста, но крепкого сложения человек, мягкий, деликатный; он поражал своим невоинственным характером. Как, зачем он попал в военные?—невольно возникал вопрос при малейшем знакомстве с ним. Логика, философия, вопросы о сущности видимого мира, вопрос о боге... вот что особенно его занимало теперь и что вполне гармонировало с его характером, с запросами его души.

«Да как же это вы воевали?—вырвалось однажды у меня.—Ведь надо же было стрелять, убивать самому?»—«А я не стрелял, я шел впереди—и только». Он участвовал в туркестанской войне и немало порассказал нам о ней. Раз такой был случай: туземцы шли на них, напившись гашишу, точно слепые, ничего не видя, ни на что не обращающая внимания. Против Ашенбреннера, бывшего впереди, надвигался громадный туркмен, размахивая булавой. Убить его ничего не стоило, но Ашенбреннер лишь посторонился и дал ему пройти дальше; солдаты знали об этом и не раз спасали его от смерти. Так, брали какую-то крепость; Ашенбреннер стоял у стены, солдаты лезли на нее. Вдруг его хватают и оттаскивают быстро в сторону. Что такое? Со стены



туземцы, оказывается, бросали бревна прямо в то место, где стоял Ашенбреннер, и он был бы, наверное, раздавлен, если б не солдаты. Еще лучше произошло в самой крепости. В нее ворвались-таки. Ашенбреннер впереди. Пробежали одну улицу — пусто, повернули в другую — напротив баррикада. Неприятель ждет. Назад поздно. Моментально впереди Ашенбреннера вырастает солдатик и тут же у его ног падает, убитый залпом неприятеля. Ашенбреннер остается цел и невредим. Много лет ему потом пришлось поддерживать семью своего спасителя. Кончил он курс в Московском кадетском корпусе довольно хорошо и мог бы пойти далеко, да помешало польское восстание. Ашенбреннера, чтобы он мог скорей выслужиться, хотели определить в действующую армию, а он вдруг возьми, да и откажись. Только приняв во внимание заслуги отца, хлопоты матери, да его молодость, его не отдали под суд, а послали лишь сначала в Бессарабию, а потом в Туркестан.

В 1875 году я его уже встретил в Одессе. Он близко здесь сошелся с одним из уцелевших радикалов, сделался сторонником революционного движения, но его ставило в тупик требование того времени и его приятеля бросить службу, идти в народ, сняв мундир и надев сермягу. «Что я там буду делать? Как, не зная никаких работ, смогу устроиться в деревне?» Он недоумевал, находясь в сильно удрученном состоянии, не зная, чем бы и как он мог быть полезен для революции, а тут начались аресты и на юге: под Николаевом забрали целую кучу молодежи, пошедшую в деревню посмотреть, как штундисты устраивают «тайную вечерю» по примеру первых христиан. «Как быть? бросить службу? а дальше?» — спрашивал он, познакомившись со мной и страшно мучась... Продлись такое состояние надолго, он, вероятно, спился бы, но к 1875 году движение уже сделало шаг вперед, и узкое требование обязательного опрощения заменилось признанием, что во всяком положении человек может быть полезен, лишь бы у него на это была охота. Ашенбреннер воспрянул и энергично принялся за высматривание и за пропаганду среди офицеров, переведясь в Николаев. Здесь в конце организовался довольно серьезный кружок офицеров и выработал даже целую программу, как будут они действовать на случай восстания, а в 80-х годах они уже задумали заняться объединением и организацией военных кружков по всей России. Для выполнения этой задачи и был выбран Ашенбреннер; он поехал, но тут на сцене появляется предатель Дегаев, знавший про николаевских, питерских и других офицеров. Около двухсот военных забрали тогда, судили, сослали, а Ашенбреннер очутился в Шлиссельбурге<sup>1</sup>.

Здесь он прежде всего занялся изучением английского языка и немало смущал унтеров своими попытками выговаривать по руководству; так, оно, например, советовало, высунув немного язык, зажав

<sup>1</sup> О М. Ю. Ашенбреннере см. его книгу «Военная организация „Народной Воли“ и другие воспоминания» М., 1924.—*Ред.*



его зубами, произносить «з»; или, дергая себя за кадык, произносить горловые звуки... Не понимая в чем дело, жандармы долго присматривали за ним, наблюдая в дверной глазок, то подкрадываясь неожиданно, то стоя тут у дверей и слушая как он «дзыкает»: Их частое чирканье глазком положительно выводило его из себя, и он тогда принимался браниться. Опять странность! Тихий, смирный человек, а чего-то бранится, и жандармы начинали уже подозревать, не свихнулся ли человек, но так как вопрос об английском выговоре занимал одновременно многих, то об этом пошли толки и на прогулках. Унтера услышали, как многие потешались этим, успокоились и перестали беспокоить Ашена. Нелегко ему давался этот язык, но он с замечательным упорством одолел-таки его и потом занимался даже переводами на воле. Здесь же, на ряду с изучением языка, принялся вскоре, как только явилась возможность иметь книги, за логику, философию, психологию и весь ушел в них, предоставив в мое распоряжение всю свою землю. Лишь одна брюква его наиболее интересовала. Он отдавал ее печь и в таком виде любил ею побаловаться. Впоследствии он целые лекции читал нам по философии, а пока на второй год ему все-таки пришлось немного познакомиться с огородничеством.

На этот год как-то само собой руководство смотрителя прекратилось, и мы принялись за самостоятельное ведение огорода. Прежде всего изгнана была капуста, отнимавшая целую треть грядки, затем мы постарались использовать все закоулки и пристенки, да и посев мы сделали раньше, заметив, что в конце апреля бывает значительный промежуток теплых и хороших дней. Мы этим воспользовались и посеяли редиску. Она взошла, и хотя снова появился снег, небольшой мороз, выдержала это, и в мае у нас уже получилась овощь. Затем, раньше, мы редис, морковь, свеклу и др. садили каждую отдельно, оставляя между рядами 7—8 вершков незасеянными, иначе, разрастаясь, они глушили бы себя; теперь мы лучше использовали землю. Некоторые, как редис, ранняя редька, французская коротель (морковь), успевают гораздо раньше других, а потому если и их сажать отдельно, то получатся прогалинки, которые мы в прошлый год засаживали репой, но с этим много хлопот, а лучше сажать попеременно. Сеют сначала редко такие овощи, которые успевают поздно,—морковь длинная, свекла, горох, репа,—а между ними помещают скороспелые; тогда, поедая последние, мы получали достаточно простора и для поздних. Никаких пересадок уже не требовалось, значит. Брюкву, которая рассадой поздней садится, помещали по краям грядок, где находились скороспелые сорта. Таким образом, грядка удлинялась почти вдвое, и мы с меньшей затратой сил получали больше овощей; кроме того, и в этом году и в последующие количество земли начало расти и расти. На второй год уже весь 6-й огородик был в нашем распоряжении. Двух больных товарищей не стало, и их земля перешла к нам. В первые три года погибло больше



всего людей, и потому-то у выживших земля стала постепенно увеличиваться. Явились места и для цветов, кустов, а поздней и для фруктовых деревьев.

В первый год мне очень хотелось посадить хоть годовалую яблоньку, даже семячко яблони, но когда я заикнулся об этом, смотритель грубо отказал: «Ишь, чего выдумал!..» На второй год он сам без всяких просьб принес нам с Ашенем несколько кустиков цветной рассады, выписав их из Питера. То же и в других огородах было сделано. Затем, в следующие годы откуда-то стали приноситься кустики сирени, черной смородины, мелкого крыжовника; еще далее разрешили покупать и деревья, но пока в тюрьме продолжались старые порядки, продолжались заболевания, смерти. В конце привозят Гинсбург, она перерезает себе горло. Смотрителю делают в департаменте строгий выговор, с ним удар<sup>1</sup>, и на его место вызывают из Одессы Федорова, бывшего там смотрителем заключенных при жандармских казармах. Человек мягкий, трусливый, он доносил часто в департамент и делал ужасные отзывы о нас, но сразу перешел на «вы», начал делать маленькие уступки нам. При нем чаще стали менять товарищей, поднят был вопрос о мастерских. Словом, с его появлением начинается новая эра нашей жизни, начинается постепенное дарование нам разных льгот. Этому особенно много способствует и новый комендант, некто Гангардт<sup>2</sup>. Благодаря Федорову пострадал у нас явно один товарищ, офицер Лаговский. Против него у суда не оказалось никаких данных, кроме темных указаний шпионов. Поэтому его не судили, а административным путем на 5 лет засадили к нам, не лишив прав. Кончался уже срок этому пятилетию. Нам как-то мало стали давать масла к каше. Лаговский не вытерпел и сделал замечание Федорову при раздаче обеда. По своему обыкновению доносить все в департамент, Федоров, вероятно, представил дело, раздув его, и Лаговского оставили еще на 5 лет томиться в тюрьме. С именем Лаговского связано у меня, между прочим, издание у нас двух рукописных журнальчиков. Один из них всецело вел он, печатая от руки все статьи, а другой издавался Лукашевичем и К°. Лукашевич даже рисовал карикатуры в своем. Но это недолго у нас шло, пока не было книг.

При старом смотрителе коменданты—их сменилось двое или трое—как-то стушевывались, держались на втором плане, не принимали явного участия в нашей жизни, изредка лишь заходя и спрашивая для формы, нет ли каких заявлений<sup>3</sup>. Один при этом садился на

<sup>1</sup> Так было в моей памяти, но это, говорят, ошибочно. Смотрителя, будто, пробрали за Грачевского, который сжег себя раньше.

<sup>2</sup> Полк. Гангардт был комендантом с 1891 г. по 1897 г.—*Ред.*

<sup>3</sup> С 1884 г.—когда открылась Шлиссельбургская тюрьма—до 1889 г. комендантом был полк. Покрасинский, с 1889 г. до 1890—полк. Добродеев, с 1890 до 1891—полк. Коренев.—*Ред.*



кровать, чтобы показать, что он нас не боится; он быстро исчез. Был слух, что голова его находилась не в порядке, и его убрали<sup>1</sup>. Не то представлял Гангардт. Умный, толковый администратор, он сразу взял все дела в свои руки и понял, что многое творится у нас от безделья, от того, что люди не знают, как им убить время, не знают, к чему приложить свои силы. Хождение в камере, хождение на прогулке, чтение мало интересных книг, даже огороды многих не могли удовлетворять, и они тосковали, нервничали, лезли на рожон, вешались, жглись, сходили с ума, заболев, быстро умирали; поняв это, он переменял тактику и вместе с Федоровым пошел навстречу нашим желаниям. «Хотите мастерских? Ладно?» И мастерские начали понемногу открываться. Началось с переплетной и выпилки ажуров, потом открылась одна-другая столярная, и скоро вся старая тюрьма обращена была в столярные мастерские; даже женщины получили по камере. Мужчинам скоро разрешили работать по двое даже. Мало этого, когда начались столярные работы, то понадобились точеные колонки, ножки; тогда отыскивали старый деревянный токарный станок, стали, было, вытачивать на нем, но это оказалось трудновато и очень утомительно. Гангардт не остановился перед покупкой 2-х новых хороших чугунных станков и поместил их в новой тюрьме, дав при этом большой платный заказ. По началу мы работали даром, прежде всего занявшись поделкой новых верстаков. Казенных было всего один или два, затем нужны были для мастерских полки, этажерки, скамейки. Приведя все в порядок, стали делать кое-что и для жандармов, не беря пока денег. Гангардт, назначив определенные суммы на покупку леса и других материалов и отдав их в наше полное распоряжение, сам первый заговорил о плате за наши работы, и мы, делая столы, шкафики, скамьи, точа колонки, стали теперь зарабатывать, как я высчитывал, около пяти копеек в час. Другие зарабатывали больше, но, во всяком случае, не намного. Эти деньги шли в так-называемую экономию каждого и хранились у помощника смотрителя. На них-то я и покупал деревья, кусты, конечно, при помощи товарищей. На заработанные деньги все можно было покупать, я даже купил часы в 1904 году.

В 1891 году, узнав о самарском голоде, мы энергично принялись делать, точить разные вещицы и, присоединив их к тому, что было наделано уже раньше, передали начальству и просили их продать, разыграть, а деньги отослать голодающим. Выручена была настолько значительная сумма, что Людмила Волькенштейн, заведующая отправкой, получила даже благодарность от начальства из Питера. На крепостном дворе, против окон нашей тюрьмы, за низкой стеной, находилась братская могила павших при взятии древнего Орешка (ныне Шлиссельбург). Она была обсажена деревьями, обнесена оградой, и на ней ежегодно в определенный день происходила панихида. Гангардт

<sup>1</sup> Добродеев.—Ред.



надумал обновить ограду и поставить медную доску с именами павших, обратясь к нам с предложением наточить колонок для ограды и вырезать на доске имена, фамилии убитых. К этому времени уже многие у нас научились токарить и с большой охотой взялись за работу; резать же взялся лишь один Антонов. Он учился в Николаевском ремесленном училище при корабельных доках и был отличный кузнец, хороший столяр и токарь, а, главное, очень искусный на все мастерства. Резать он не учился, но здесь как-то попробовал и, быстро наловчившись, согласился взять заказ и выполнил его на славу, сделав сам себе и резец.

У нас не было еще тогда кузницы, и Антонову приходилось ковать на осколке большой бомбы. Работа колонок и доски, давши нам хороший заработок, между прочим, еще вылечила, или, скорее, спасла, можно сказать, одного из нас от серьезного психического заболевания. Шлиссельбург предназначался, главным образом, для террористов и вечных каторжан. Но вот в Киеве происходит суд над народовольцами. Присуждают некоторых в каторгу и, по каторжному положению, хотят обрить при отправке. Они бунтуют, не даются. В Шлиссельбурге оказалось не все полно, тогда некоторых из них вместо бритья везут сюда. Один из привезенных из Киева, увидав это, запротестовал, начал требовать отправки в Сибирь. Ему, конечно, отказали. Он тогда принялся голодать и около тридцати дней, не гуляя, отказывался от пищи, довольствуясь одной водой. В конце, однако, сдался, стал есть, гулять и оказался замечательно деликатным, предупредительным человеком, что оценили даже жандармы и относились к нему с большим почтением. Но голодовка не прошла ему, видимо, даром. Гуляя как-то с одним товарищем, он вдруг начал его гнать от себя: «убирайся, я не хочу гулять со шпионами!» — злобно заговорил он, в глазах загорелись зловещие огоньки. Товарищ ушел, некоторое время больной гулял один. Острый кризис, однако, скоро миновал, и наш киевлянин снова стал гулять с другими, ничем не выдавая бывшего расстройства; одни лишь огоньки в глазах говорили, что не все обстоит благополучно. К счастью, подоспела работа. Точить он научился еще раньше и теперь инстинктивно ухватился за свое спасение. Точили парами, и между токарями началось соревнование, какая пара выточит больше колонок в день. Колонки, большие, тяжелые, точились из березовых кругляков; требовалась, кроме умения, большая сила, большое напряжение, а тут конкурс, да еще с настоящими токарями-рабочими; пришлось поэтому потеть страшно. Заметили скоро, что воздух в той мастерской, где работал киевлянин, отличается замечательно острым, неприятным запахом пота. Свежий человек долго не мог бы его выносить. Зато, когда кончилась работа—что-то более двухсот колонок—зловещие огоньки в глазах киевлянина почти исчезли, человек оказался совершенно нормальным, и за ним больше никогда ничего не замечалось. Оказывается, болезнь вышла точно потом, так-сказать, работа направила мысль.



в другую сторону, отвлекла, заставила забыть то, что раньше волновало, и человек воскрес.

Эта работа, вылечив человека и дав нам изрядный заработок, сослужила и еще одну службу. При точении получалась масса стружек. «Куда их деть?», — недоумевали жандармы. — «А тащите-ка их ко мне в огород», — говорю им. Они посмотрели было вопросительно, зачем мне такая уйма, но зная, что я тащу в огород всякий сор, соглашались, и скоро в моем огороде получается целая гора стружек. Все — и товарищи, и унтера — улыбаются, подтрунивают, что я засорил свой огород на много лет. «Пожалуй, и не дождетесь, когда они сгниют и дадут вам удобрение», — толкуют мне. Но стружки, смоченные дождем, быстро нагреваются, быстро начинают тлеть, и к весне третьего года у меня получилась отличная компостная куча; прибавив глины и песку, я значительно увеличил количество земли в своем огороде. Это я и потом делал, и когда однажды вздумали переменить заборы и сняли старый, то оказалось, что слой земли за десяток лет увеличился до 1 аршина в толщину. Таким путем, значит, возможно всюду создать себе подходящую почву, и Бельгия доказала это на деле, как узнал я потом, переводя с французского Изабо — руководство по сельскому хозяйству для Бельгии. Открытие мастерских повело за собой невольно и многое другое. Чаше стали менять товарищей по прогулке; на покупку леса, семян отпустили определенную сумму и предоставили нам самим ею распоряжаться. Раньше все покупалось начальством; это приводило иногда к неудобствам: покупалось не то, что нам требовалось, или одному, который просил о чем-либо, покупали, а другому не хватало общих материалов. Один хотел цветов, другой — кустов, овощей. На удовлетворение всех не было денег. Получалось неудовольствие. Выдача определенной суммы и предоставление возможности самим ею распоряжаться избавляло и смотрителя, и коменданта от личных разговоров с нами. Гангардт, поняв это, пошел и дальше. Он позволил нам выбрать себе старосту по огороду и по общему хозяйству. На этих-то старост и выпала теперь довольно-таки тяжелая работа удовлетворить, по возможности, всех. Старосты должны были составлять и меню обедов, и расписание, кто с кем и в какие часы будет гулять, работать, и общий список, кому что купить.

Отпущенные деньги мы разделили между всеми, и каждый составил для себя список, что ему надо. Староста же из этих списков делал общий, а когда покупку привозили (для этого специально отряжали заведующего мастерскими унтера, и он ездил в Питер), раздавал, сообразуясь с записью каждого. Неудовольствие при этом происходило лишь в том случае, когда унтер не находил чего, или покупал материал неважного качества. Иногда не дозволялось начальством что-нибудь, а унтер сказать прямо стеснялся и говорил, что не нашел. Но все это улаживалось между нами самими, и начальство оставалось в стороне. Теперь не было нужды обращаться к нему и с прось-



бами о перемене товарища, огорода. Достаточно накануне сказать старосте да условиться с кем, когда желаешь погулять,—и делу конец. Староста внесет в расписание, что тебе надо, и жандармы сами в назначенный час переведут без разговоров. Этим я воспользовался в следующие годы и перевелся в 1-й огород. Мой 6-й огород: очень был короток, в нем мало было солнца. Первый же огород был и много больше 6-го, и в нем солнце затенялось лишь нашими стойлами да забором 2-го огорода. В первом огороде явилась возможность поставить огородное дело на настоящую ногу. Впоследствии здесь нами было устроено много парников, но мне не пришлось в нем долго пробыть. У нас начались попытки к завоеванию новой льготы; захотелось повидаться, поговорить с соседями по огороду.

К 1-му огороду прилегали два стойла; в одном из них гуляли Вера Николаевна Фигнер и Людмила Александровна Волькенштейн; с ними некоторым особенно захотелось поговорить, повидать их, и мне пришлось уступить свое место и перейти в 5-й длинный, узкий, темный огород, но теперь я уже не так гнался за солнцем, ища лишь больше земли, и к этому нам удалось выхлопотать позволение постройки еще двух довольно больших огородов, 7-го и 8-го. В 7-м я потом надолго и опочил. Земля сюда тоже была перевезена, но когда я заикнулся о навозе, мне заметили, что его нет в Шлиссельбурге, что его надо выписать из Питера, что он ценится на вес золота... и чтоб доказать это, действительно, выписали куль или два навоза из Питера. Все это, конечно, оказалось не так, но об этом после, а пока перейду к завоеванию новой льготы. В самом городе Шлиссельбурге были, оказалось, постоянные дворы, где можно было добыть, по словам унтеров, сотни пудов навоза, но начальство там почему-то не хотело покупать.

Из мастерских нам позволяли брать инструменты и к себе в камеру, где мы иногда доделывали начатое в мастерских и в огороде. И вот однажды, принеся коловорот с широкой перкой в огород, один надумал провернуть круглую дыру в заборе и, приложив глаз, посмотреть на соседа, сказать ему слово-другое. Жандармы заметили и после прогулки забили дырку. На другой день дырок явилось уже две—для каждого глаза—и не в одном, а в нескольких огородах. Смотритель забил тревогу. Поднялись объяснения, начались уговоры не подводить его, но это не помогало. По нашем уходе дырки забивались, но на следующий день они уже расширялись, и вместо дыр получались маленькие отверстия. Тогда смотритель пошел на такую уступку: «Ну, хорошо, пусть будет небольшое отверстие, но к нему сделайте дощечку, чтоб закрывать, когда уходите и когда придет высшее начальство». Ладно, на это мы согласились, и, таким образом, у нас явилась возможность говорить с соседями и видеть их, а, значит, и Веру Николаевну Фигнер и Людмилу Александровну Волькенштейн. Однако, на этом дело не остановилось. Начальству новая льгота была очень не по душе, и оно само натолкнуло нас просить



понизить забор ради якобы солнца. При первом же случае, как только приехало к нам высшее начальство и произнесло свое: «нет ли каких заявлений?», — огородники заговорили о недостатке солнца у нас из-за высоких стен и заборов. Местное начальство, вероятно, поддержало наше заявление, и вот, уйдя из огородов, слышим какой-то стук, работу плотников в них. «Снимают верхи у заборов и ставят решетки», — об'являют сидящие в камере с окнами в огород. Стекла к этому времени были вставлены уже обыкновенные, и, значит, видеть можно было, где не мешала вышка. Действительно, на другой день во всех огородах стены понизили на полтора аршина, поставив лишь наверху редкую решетку. Теперь надобности в щелках не было, и мы, поделав деревянные помосты, стоя на них, легко могли разговаривать через решетку. Эта льгота нас совершенно, можно сказать, воскресила и излечила как от психических, так и физических недугов и заболеваний. С этих пор не было больше таковых, и только Юрковский, заболевший уже давно, умер в новый период да Похитонов неожиданно сошел с ума. Около решеток, в особенности тех, где гуляли Вера Николаевна и Людмила Александровна, теперь сосредотачивается, так-сказать, вся жизнь. Их стойло оказалось в центре, около 1-го огорода и 2-х еще стойл, так что около них могло поместиться 6 человек сразу; меняя очереди по часам, мы в один день могли потом повидать их, поговорить. Здесь у нас устраивались лекции, именинные торжества, чтение книг, обучение языкам и т. д. Вспоминая это время, невольно при этом приходится поражаться и удивляться необыкновенной самоотверженности, тактичности, выдержанности и чисто братскому, любовному отношению ко всем нам этих милых, дорогих мучениц. Наши прогулки, начавшиеся с ½ часа и постепенно разрастаясь, дошли ко времени решеток уже до целого дня. В 8 часов утра нас выпускали в мастерские, на прогулку, в огород. Всякий шел, куда хотел. В 12 часов на обед запирали до часа, а там снова выпускали; зимой до 3-х часов, когда давался чай, а летом и после чая до захода солнца. И вот все это время Вера и Людмила часто дежурили даже в холод, сырость в своей прогулке № 5, чтоб только дать возможность отвести другим душу свою, и никаких требований с их стороны, никакого раздражения, капризов никто не замечал; напротив, всякий знал, что найдет здесь привет, ласку, поощрение, и шел с полной верой встретить здесь успокоение, поддержку, сердечное отношение к своим начинаниям, — касается ли это изучения науки, языка, огорода, мастерства, или даже нового толкования апокалипсиса. Зато и мы, вырастим ли что особенное — цветок, ягоду, овощ, выточим ли красивую вазу, колонку, сделаем ли изящную шкатулочку, шкафчик, научимся ли чему — все это первым делом несем показать, подарить, попотчевать, поделиться с Верой и Людмилой. И не было большего удовольствия, как услышать от них: «Ах, какая прелесть! Как изящно, вкусно (ягоды), велико (овощи)!!»



Они сами научились и столярить, и токарить, и переплетать, и делать разные сладости, наделяя ими и нас в торжественные дни; понимая толк в работах, они могли оценивать и наши, критикуя или хваля.

Это происходило в огородах. Теперь надо сказать и про мастерские в старой тюрьме. Это было запущенное одноэтажное здание с 8—10 камерами, большой комнатой для дежурных, кухней и длинным коридором вдоль камеры. За ним недалеко высились крепостные стены, а в узкий промежуток между мастерскими и крепостной стеной глядело окно Иоанна Антоновича. Камеры, кроме одной, были невелики, темны, грязны; поэтому, как только стали работать по двое, пришлось просить отворить на коридор форточки в дверях. Их отворили. На коридоре складывались доски. Чтобы их взять или отрезать часть, необходимую для работы, надо было выйти на коридор. Жандармы, по просьбе, отворяли дверь, и тот или другой выходил, но, выйдя за доской и видя открытые форточки, как было утерпеть, не подскочить к форточке соседа, соседки и не заговорить! «Нельзя! Как можно!»,—поднимали шум унтера. Раз дело чуть не дошло до вызова из караулки солдат. Они даже были вызваны, прибежали с ружьями, но тот же унтер, который их вызвал, испугался, бросился к ним навстречу и отослал назад...

После этого разрешили подходить к форточкам, и этим, конечно, не преминули воспользоваться, чтоб перекинуться словом-другим, пожать руку, а тут является новая нужда, необходимость в новом расширении коридорной льготы.

Двор старой тюрьмы, отделяясь высокой, толстой стеной от двора новой тюрьмы, был довольно велик, на нем складывали дрова. Огородники, облюбовав этот двор, принялись его понемногу завоевывать. В одном углу близ сарая росла громадная рябина, показывающая, что почва здесь хороша и глубока; кроме того, в этом районе было много солнца и мало ветра. Один огородник, Сергей Иванов, сначала выпросил себе небольшое солнечное местечко для посадки такой овощи, которая не требует ухода,—тыквы. За С. Ивановым потянулись другой-третий... Смотритель упирался, всячески тормозил занятие этого двора, но кончилось тем, что через два-три года весь двор перешел в наше владение. Мы его разделили на участки и принялись огородничать, но тут явился вопрос, как выполнить требование, что одновременно могут быть лишь двое в огороде и на прогулке. Помогли парники. При питерской погоде за парниками необходимо почти постоянное наблюдение,—надо то открывать, то закрывать, особенно весной—этот мотив и убедил начальство, и оно разрешило выходить из мастерских на время к парникам. Парники были только у двух сначала, но выходить стали, конечно, все и только наблюдали, чтоб многим не скопиться, хотя во время трансваальской войны происходило и это.

О парниках мы начали подумывать, как только мало-мальски увеличилось количество огородной земли. Особенно, когда пристроили



еще два огорода, 7-й и 8-й; но тогда мне сначала ответили, что нельзя, будто, в Шлиссельбурге достать навоза и, как сказано выше, выписали куль или два из Питера. Но это было до Гангардта. При нем же сначала заведующий хотя и купил навозу, но мало—это повело лишь к крупному с ним разговору; тогда Гангардт зимой покупает сам очень много, и мы увидали, как навалили целую гору навозных мерзлых глыб возле сарая. «Можете брать, кто хочет!»,—объявляют нам. Мы разбираем, выкапываем ямы, делаем парники, к ним рамы и наваливаем навозных глыб. Около 1 марта пытаемся заставить навоз гореть. Льем кипяченую воду, подсыпая известь, укутываем: не тут-то было. Парники наши молчат, и пока солнце греет, в них показывается теплота, нет солнца—холодно. Бились мы, бились, так и бросили, пока в мае не начало солнце действовать. Гангардту, конечно, об этом сказали; он сначала, приписывая все нашему неумению, не обращал внимания, но, видно, кто-нибудь ему объяснил, что беда произошла оттого, что он накупил у огородников старого, уже перегоревшего в парниках навоза, и тогда он разрешил покупать нам самим у соседних крестьян. Это как-раз совпало с завоеванием нами двора у мастерских; там теперь были сделаны первые хорошие парники, и в них заложен уже настоящий навоз. Крестьяне брали, кажется, по 35 коп. за воз и накладывали его удивительно мало, как нам казалось; дело с ними вел, конечно, заведующий мастерскими. Незадолго до 1 марта мы навоз старались заставить немного гореть и тогда набивали парники, крепко утаптывая. Около 1 марта обыкновенно начинаются теплые солнечные дни; ими старались пользоваться, чтобы парник загорелся, как следует, и, дав немного пройти первому пару, сейчас же начинали сев, чтоб все успело взойти, пока продолжались солнечные дни. Основным посевом были огурцы, затем—дыни, между ними же помещали разную рассаду: цветную капусту, брюкву, кольраби, помидоры, поздней—табак. Рассада в мае вынималась и высаживалась в грунт.

Как только начались огороды, мы тотчас же принялись записывать не только маленькие наблюдения по огородничеству, но и ежедневную погоду: дождь, снег, солнце, ветер, а поздней, когда явилась возможность самим сделать ртутный барометр, то и температуру. Барометр находился в ведении Новорусского, он наблюдал и в определенный час стучал количество градусов. При чем не раз происходил такой курьез. Человек стучит на хорошую погоду, а смотришь—начинает дождить, и обратно. Зато ежедневные записи имели большое значение, когда они собирались за много лет; тут ясно обнаружилась известная последовательность и повторяемость в погоде.

Сильный мороз в это время, за все 21 год, наблюдался всего однажды, но это был какой-то особенный год, когда в тени, у стен, земля оттаяла лишь в начале июня. Кроме огурцов, дынь, раза два пробовали выводить астраханский арбуз, но полной зрелости и сладости он не достиг и отнимал много места; поэтому его оставили в покое. Дыни



тоже не были сладки, но душистость и вкус имели. Огурцы шли очень хорошо и плодили богато. Не с'едая всего, иногда отдавали заведующему хозяйственной частью, а он за это осенью покупал такое же количество на базаре и отдавал нам, а мы их солили на зиму. Летом в большом ходу были у нас малосольные огурцы. Мы не жалели чесноку, укропу, и они получались довольно пикантного вкуса. Но верх торжества достигли Попов, Антонов, Лукашевич—парниковисты, когда им удалось вырастить столько помидоров, что их хватало на всех к борщу и щам. Помидоры, выведенные в парниках и высаженные у стены, обращенной к югу, росли и плодили очень хорошо, но вполне созреть успевали лишь отдельные экземпляры; большую же часть приходилось срывать, когда они начинали бледнеть и появлялась желтоватая прозрачность. Однажды это пришлось сделать поздно вечером даже экстренно. Барометр быстро начал понижаться и к утру сулил мороз. Пришлось на ноги поднять жандармов, объяснить, в чем дело, и они настолько к этому времени вошли в наши интересы, что не отказались вывести в неурочное время, поздно вечером, Попова, и он оборвал все. Помидоры бледноватой зрелости отлично потом вызревали в лежке за оконным стеклом, в камере, на солнце. Этим чаще всего и пользовались, не додерживая, не дожидаясь морозов. В полутеплых парниках еще выводилась крупная земляника «Лакстон-нобль» (С. Иванов), но это была роскошь, так как земляника хорошо удавалась и в открытом грунте, лишь дать ей побольше навоза, золы. В парниках еще разводилась рассада цветов и табаку, но цветами занимались немногие, табак же продолжался года три, недолго, как помнится.

Табак нам не разрешали, но завзятые курильщики, томясь ужасно, засушивали листья различных трав и деревьев, всячески пытались удовлетворить свою потребность, и это продолжалось довольно долго, пока не явилась у нас возможность выписывать семена через старосту. Вышла такая вещь: поместить прямо семена табаку в список нельзя было, цензура все равно вычеркнула бы; тогда, пользуясь незнанием латинского языка наших рецензентов, мы с прочими цветами выписали и цветок «никоцианы белой», а затем и никоциану американскую, т.-е. настоящий американский табак. Цензура это пропустила, семена были куплены, рассада выращена, посажена в грунт и отлично пошла. Тут только, придя как-то в огород, где рос табак, Гангардт немного сердито спросил меня и Юрковского, бывших в огороде: «А это что?»—«Какой-то лопух»,—не запнувшись, ответил с улыбкой Юрковский. У табака, действительно, бывает много розовых цветов, и листья его довольно велики. Гангардт, ничего не говоря, повернулся и ушел. Мы ждали, что табак вырвут, но этого не произошло. Мало того, табак требует много возни с ним и много места. Его надо сушить, как-то томить, снова сушить. Погода осенью плохая, на дворе сушить нельзя, все приходилось проделывать в камерах, в мастерских, пустых комнатах, и жандармы на этот раз



не мешали. Листья табака получались красивого светло-кофейного цвета, больших размеров, но очень крепкого одурманивающего свойства. Курильщики сначала набросились на него, но скоро еще усиленной стали хлопотать, чтобы им разрешили лучше покупать табак с воли; но этого почему-то долго не разрешали, и только наш табак помог разрешению. Приехал к нам министр Горемыкин—развалина, как он показался всем<sup>1</sup>. Поздоровавшись и промямлив едва внятно обычное: «нет ли каких заявлений?»,—не дожидаясь ответа, он медленно обводил, как бы безучастно, глазами по стенам вокруг, дотрагиваясь иногда то до тюфяка, то до одеяла, то еще до чего. Суровцев на его вопрос заметил, что у него «много» (заявлений). «О, нельзя ли поменьше»,—протянул по-стариковски Горемыкин и тем сразу зажал рот говорившему; тот умолк, не надеясь, что его внимательно выслушают. Другим, однако, удалось-таки высказать наши пожелания; а зайдя к одному завязтому курильщику, Горемыкин на себе испытал, каков наш табак: с ним чуть дурно не сделалось, и он тогда же разрешил покупку табака и, кроме того, позволил для спанья уходить в другую свежую камеру, кто хочет. Так что в нашем распоряжении теперь могли быть целых три комнаты—мастерская, жилая для дня и спальня,—так опустела тюрьма, бывшая когда-то полной. Горемыкин с виду будто нас не слушал, а на поверку потом вышло, что все наши заявления, сказанные якобы на ветер, были исполнены. В его свите оказался кто-то, который записывал всякое наше слово, и мы получили и сапоги, и журналы, и газеты, и табак, и разные другие мелочные позволения, о которых теперь даже забыл.

Мало этого, до сих пор нам постоянно толковали, что из Шлиссельбурга нет выхода, что мы находимся в ведении самого царя и что только от него зависит наш выход и пребывание. Поэтому к нам даже не применяли манифестов, и лишь Ювачева одного, который раскаялся и просился в монастырь замаливать грехи, царь выпустил быстро, сначала на Сахалин, а потом на свободу. Горемыкин же первый начал пробивать в этом отношении брешь. Рассмотрев, что к нам попали не одни только помилованные на вечную каторгу, а есть и срочные, он, применив к ним манифест, распорядился выпустить их в Сибирь, а оставшимся прислал сказать, чтоб они не отчаивались, что очередь скоро дойдет и до них. Это не исполнилось—он был как-то быстро сменен, но тогда его обещанье многих подбодрило-таки. С первым же манифестом при воцарении Николая II вышла такая история: не только мы, но и жандармы, узнав о манифесте, начали ждать его применения к нам. Понижение наказания на одну ступень вело к тому, что почти вся тюрьма должна была быть очищена, а жандармы распущены. Они жили на жалование, а не отбывали повинность. Возможность потерять теплое местечко их

<sup>1</sup> Иван Логинович Горемыкин, с 1895 по 1899 г. — министр внутренних дел.—*Ред.*



сильно огорчала, беспокоила за будущее, и вот—то тот, то другой потихоньку начинают просить нас похлопотать для них о местечке, когда мы очутимся на воле. Мы обещаем, но проходит день, другой, неделя—что-то из департамента нет освободительной бумаги. А между тем, смотрим, жандармы подняли голову, не пристают с просьбами, повеселели. В чем дело? Пришло известие, что к ним манифест велено не применять! Так!.. Погоревали, потужили мы малость, но пришлось примириться и продолжать свою жизнь.

Огороды, мастерские были поставлены на настоящую ногу, теперь явилась возможность, с расширением земельной площади, с появлением к этому всяких книг, заняться немного и садоводством. Многие, набросившись на книги, отчасти оставили свое огородничество; тогда более упорные огородники берут эти огороды в свое ведение и, давая кое-что из овощей хозяевам, распоряжаются их землей по своему усмотрению. Земли получается много, и, уделяя часть под огород, остальную, как менее удобную, пускают под кусты, деревья. Устраивается зимой подписка, набирается небольшая сумма, и весной выписываются малина, клубника, черная, красная и белая смородина, вишневые, грушевые, яблонные деревья и английский крыжовник,— всего понемногу, конечно. Начинается садоводство. Первый порадовал нас крупный крыжовник. Ему пришлась почва по вкусу, и один куст дал нам несколько фунтов вкусных, сладких ягод. Смородина сначала дала мало, и получилась мелкая ягода. Фруктовые деревья принялись, но шли туго. Им, видимо, требовалось сильное удобрение при нашей почве. Тогда я придумываю такую вещь (садоводство всецело, можно сказать, пало на меня). У Энгельгардта—профессора-землевладельца, ведшего в Смоленской губ. свое хозяйство,—говорилось как-то, что из костей получается отличное удобрение, если их смешать с золой и негашенной известью, налив водой и поставив на солнце. Зову Гангардта, объясняю ему дело и прошу купить костей, негашенной извести, позволить с кухни принести солдатам побольше золы и дать большой чугунный котел. Все это быстро он приказывает исполнить, и мне отводят даже целый пустой узкий дворик, что находился за мастерскими, для производства опыта. Здесь, наполнив чан костями и переслоив их золой и негашенной известью, наливаю водой доверху, начинаю ждать брожения. Подходила весна, солнышко в этом укромном уголке пригревало хорошо, и вскоре, дня через три-четыре, появилось пузыристое течение—полоски. Еще некоторое время—и кости вместе с золой и известью можно было смешать в однообразную массу—кашицу. За первым чаном был заложен и второй, но он почему-то медленно действовал, хотя в конце и тут кости разложились. Получилось изрядное количество ценного фосфорно-щелочного удобрения. Отделивши часть для огородов, остальное я пустил под смородину и деревья. В конце мы собирали изрядное количество ягод. Из них варилось варенье, и долго Вера Николаевна по субботам, когда бывала ванна, посылала каждому по маленькой порции к чаю. В огороде



Веры Николаевны под крепостной лестницей находилась ниша, заделанная спереди и имевшая дверь. Ниша представляла из себя отличную прохладную кладовую, и в ней хранилось и варенье, и соленье, и прочее. Итак, с кустами дело ладилось: черная, белая смородина и крыжовник родили хорошо, малина—не так, земляника—тоже хорошо. Но с деревьями первой посадки дело не ладилось, часть их погибла, другие же пошли лишь в рост, но плодов не давали, кроме сибирской яблони с мелкими терпкими фруктами. Фруктов получалось на сибирке изрядное количество, но даже и варенье из них с трудом елось. Составляю тогда новый список: покупаю теперь два карлика, 3 шпалерных яблони, 1 кардон и 3 деревца в горшках. Для последних вырываю яму, делаю к ней стеклянную крышку и сажаю туда; здесь деревца зацветают, но только черешня дает десятка два ягод. Два или три завязавшиеся яблочка на двух яблоньках не вызревают, черешня же, угостив малость, к осени погибает; была у меня еще одна черешня в 6-м огорожке. Родила тоже около 20 ягод и потом погибла; кардон, карлики и шпалерные пока не могли еще плодить: были молоды. Собираю снова у других, сам напрягаю все силы, чтоб скопить рублей 20, и делаю третью выписку. Заказ посылается в Дерпт (Юрьев), в садоводство Даугуля. Раньше выписывалось из Петербургского помологического сада, но здесь у многих деревцов шейка оказывалась примороженной настолько, что, поживя немного, многие погибали, или хотя и росли, но давали плоды поздно и неважного вкуса. Не то вышло с Даугулем. Он выслал осенью, когда уже снег начал выпадать, и хотя я, придерживаясь руководств, выписывал молодые деревца, он, к удивлению, прислал настолько взрослые, что на некоторых сохранились засохшие, видно, с весны еще яблочки. Ветки, чтоб упаковать, пришлось скрутить, поломать... Я был в отчаянии, однако, посадил, ветки выправил, перевязал, замазал, стал ждать весны с большим страхом. Но вот и она. Начинаю бегать к деревьям, жду распускания. Батюшки, появились цветы, много цвета. Как быть?!.. Руководства Шредера, Люкоса и товарищи-крымчаки, знающие дело, говорят: «сорви цветы, если хочешь иметь плоды в будущем». Легко сказать! а каково-то мне! Много лет добивался человек увидеть своё яблочко,—и вдруг его сорвать в самом зародыше! «Нет, будь, что будет, а рвать не стану»,—решаю я тогда, когда яблочки завязались, видимо, начав расти. Знатоки только головой качали. «Я зато буду их удабривать изо всех сил»,—говорю им в утешение. Яблоки остались, выросли и дозрели настолько, что есть их можно было и в сыром виде; но мы больше предпочитали их печь, а из печеных делали фарш; его давали на кухню, и повар по воскресеньям угощал нас пирогами из наших яблок. Пирог из яблок, брусники, клюквы, изюма полагался и казенный, но когда явились у нас яблоки, деньги на покупку их, брусники и проч. повар тратил на сахарный песок и выдавал его нам, а мы помещали в фарш. Таким образом, у нас получался отличный яблочный



пирог. К этому, когда начали плодить яблоки от Даугуля, то и другие яблоньки захотели с ними конкурировать, и у нас осенью начал получаться десерт. Боровинку, титовку, белый налив и суслейпер возможно было есть в сыром виде. Апорт выросал очень велик, до  $\frac{1}{2}$  фунта, но без всякого вкуса—ватный. «Слава Петербургского сада»—ранет—только на 15-й год дал нам сразу 1.500 твердых, как камень, яблок. В них был вкус, и сваренные в сахаре они давали душистое варенье, но так как требовалось много сахара, и вкус все-таки был хуже смородинного или крыжовенного, то и эту «славу Петербургского сада» предпочли печь и тратить на пирог. Были у меня два грушевых дерева, но плодики на них получались немного больше кондитерских, с едва заметными признаками вкуса сырой, незрелой груши. Выручали яблоки, несмотря на то, что я поступил вопреки указанию знатоков и руководств. Дело в том, что перед покупкой последних яблонь у нас явился богатый источник замечательно хорошего удобрения, открылись залежи, так-сказать, шлиссельбургского гуано...

Против главного тюремного здания помещалась караулка на нашем же дворе. На потолке ее водились простые голуби. За многие годы нашей жизни они расплодились ужасно, забирались даже в камеру Поливанова и здесь в вентиляторе ухитрялись делать себе гнезда. Поливанов их сам, правда, приманивал, но другим пришлось поделаться сетки из проволоки, дабы не пускать их к себе, ограничиваясь кормлением их и воробьев на прогулках. В крепостных стенах, где только лишь вываливался камень, голуби сейчас поселялись парой, делали гнезда и поднимали отчаянную драку со всяким пришельцем, желающим занять то же место. Целыми днями тянулись иногда такие драки, и тут только была видна и высказывалась вполне кротость голубиная. Впрочем, дело не в этом, а в том, что голуби, оставляя на потолке помет, покидая старые гнезда, умирая в молодости и старости, постепенно наслоили очень толстый слой из всего этого. Каким-то путем мы это узнали и предложили солдатам за небольшую плату набрать в мешки этого помета и сбросить нам с потолка. Начальство, ради очистки потолка, не препятствовало этому, и у нас явилось отличное удобрение. Ожидая привоза яблонь от Даугуля, я вырыл большие ямы и, насыпав в них по мешку такого удобрения в каждую, тщательно перемешал всю почву; осенью, по сборе уже урожая, я снова, рассыпав по мешку под каждое дерево, взрыхлил и перемешал землю кругом. Являлась, правда, боязнь, как бы сильное удобрение не пожгло корней, но этого не случилось, и мои яблоньки, так удобренные, плодили ежегодно на славу. Сжечь же сильным удобрением мне однажды случилось цветную капусту. Высадив рассаду таковой и не дав ей окрепнуть, я принялся вдруг усиленно ее поливать Вагнеровским удобрением (смесь фосфорных и аммиачных соединений). Вся моя капуста погибла, у нее почернели корни. Пришлось вновь сеять рассаду. У яблонь или корни оказались крепче,



или растворение комочков помета происходило медленней, и корни успевали использовать их без вреда. С яблонями и яблоками я забежал вперед, чтобы представить более цельную картину, как последовательно развивалось дело, но к этому необходимо еще напомнить, что происходило все не вдруг, не в один-два года, а тянулось на протяжении десятков лет, и только незадолго до выхода в 1905 г. дошло до того, что мы частенько стали баловать себя собственными пирогами из яблок своих деревьев; я не говорю «своего сада» потому, что деревья были разбросаны по разным местам и сада не представляли. Таковой садик поздней, было, на-время явился, но быстро исчез,—о нем после. Возвращаюсь назад.

Итак, гангардтовские порядки значительно улучшили, успокоили нашу жизнь; она стала содержательней, явились цели, задачи, и люди перестали биться головой об стену. Это оценили в департаменте, и Гангардт получил другое, более высокое назначение. К нам прислали мягкого, добродушного начальника <sup>1</sup>. Предоставили на его усмотрение дозволять или нет новые льготы и надолго как-то оставили нас в покое, прекратив посещения из Питера. К этому появляется новый доктор, замечательно сердечно, внимательно отнесшийся к нашим интересам <sup>2</sup>, и новый заведующий мастерскими—молодой офицер, которого за его податливость мы прозвали Лебоном. Из старых—остался Федоров; он, хотя и продолжал писать в департамент про нас ужасы, но т. к. явно не мешал, то на него никто и не обращал внимания. Жизнь пошла так: в 7 часов утра приносили кипяток и через форточку в дверях наливали воды каждому в его чайник. В 8 часов камеру отворяли, и можно было уходить в мастерскую, на прогулку, в огородик. В 12 часов всех снова запирали по камерам и давали обед. В час дня наши камеры отпирались тем, кто хотел выйти. Любящих же отдохнуть оставляли закрытыми, пока они сами не просили, чтобы их выпустить. В три часа чай и запирание, зимой окончательно, летом же еще раз выпускали, пока светило солнце. От чая до 9 часов дозволялось еще ходить в гости друг к другу. Нам, как сказано, выдавалось  $\frac{1}{2}$  фунта чаю и 3 фунта сахару на месяц; по переводе на деньги это равнялось 1 руб. 35 коп.; за эту сумму теперь позволялось купить чаю, кофе, сахару, изюму, яиц...

Словом, комбинируй, как знаешь, но не выходи лишь из определенной суммы. Я, например, брал  $\frac{1}{2}$  фунта ячменного или хорошего кофе,  $\frac{1}{4}$  фунта чаю и на остатки—сахар. Суровцев брал один сахар. Чай он не признавал. С хлебом происходила такая же точно история; брали  $\frac{1}{2}$  фунта белого,  $\frac{1}{2}$  фунта черного, а  $2\frac{1}{2}$  коп. записывали в экономию; или брали 1 фунт белого,  $\frac{1}{2}$  фунта черного. Экономии

<sup>1</sup> Полк. Обух.—*Ред.*

<sup>2</sup> Н. С. Безроднов.—*Ред.*



ческие деньги составлялись путем остатков от разных ассигновок. На хлеб, обед, ужин, мастерские, огороды, на книги каждому отпущалась определенная сумма. Иногда от этой суммы часть оставалась неизрасходованной, она-то и записывалась в экономию; к ней присоединялись и заработанные деньги по мастерским. Не позволялось переводить в экономию лишь обед, ужин же можно было; он ценился лишь в 5 копеек, дабы обед мог быть лучше. Только одному Суровцеву, как вегетарианцу, да С. Иванову, больному легкими, разрешили переводить обед в экономию, и они покупали еду по собственному вкусу: молоко, яйца, баранки... Наш вегетарианец не был раньше таковым, он пользовался общим столом, но постоянно болел желудком. Прочтя как-то в медицинской энциклопедии, что для исправления желудка лучше всего хлеб да вода, он отказался от мясных обедов, чая и даже начал было голодать, когда ему не захотели заменить обед тем, что он просил, кажется, огурцами, которых тогда у нас еще не было. Начальство, однако, скоро уступило. Он перешел на хлеб, сырую воду, овощи, сухие фрукты, сахар, клюкву и, к удивлению всех, начал поправляться, поздоровел и выглядел под конец полным, румяным. С С. А. Ивановым вышло еще лучше. У него шла горлом кровь, одно легкое совсем было плохо. Доктора определили, что он уже не жилец на белом свете. Лекарства бесполезны. Но больному умирать не хотелось, и он принялся за самолечение, отказавшись тоже от мясного обеда. Молоко, яйца, баранки, хлеб, иногда свежая рыба — вот что стало его главной пищей... Чай и кофе он пил, но, главное — он увлекался парниками и другими работами, утомляясь до упаду от них, между тем, как доктора советовали ему покой и тишину. Доктора знали, что он нарушает их предписания, но, махнув рукой, предоставили ему полную свободу делать, что хочет: все равно ведь умрет! Вышло, однако, обратное: сначала кровь унялась, потом легкое, опав, начало мало-по-малу зарубцовываться, и в конце-концов человек воскрес, дожил до 1905 года, был выпущен на свободу и жив, кажется, до сих пор. Почему ошиблись доктора, чему приписать выздоровление, трудно сказать, но, несомненно, пища и внутренняя энергия, усиленная работа оказали свое благотворное действие. Он, действительно, минуты не оставался без работы. Столярил, огородничал, переплетал книги, шил ботинки дамам, делал портфели, коробочки, пек торты и т. д., успевая еще читать книги, газеты, беседовать с товарищами. Вел, вопреки докторам, можно сказать, кипучую жизнь, а выздоровел.

С обедами у нас произошла такая вещь: сначала общий стол был довольно простой и давалось пищи весьма изрядно. Больным доктора могли прописывать улучшенную, но не всякий решался просить у доктора лучшей пищи, хотя и ясно видел, что простая ему не идет впрок. Доктора же первые были не из чутких и сами не догадывались, а между тем Бущинский, несомненно, погиб у нас от этой простой пищи, что показало вскрытие. Тогда вновь приехавший доктор от-



меняет такой порядок и, смешав деньги на больничную пищу с деньгами общего стола, устраивает общий очень сносный мясной обед, для больных и здоровых одинаково.

Поваром-экономом был очень добропорядочный унтер, который, видимо, не крал и угощать нас начал по праздникам даже телятиной, бараниной, покупая по случаю дешевле обычного. Он же потом и пирогами яблочными нас угощал, не отказываясь от лишних хлопот.

Таким образом, под конец и с пищей устроились недурно, а тут на подмогу является еще возможность и самим кое-что готовить в кухне при мастерских, в сарае. Раньше в этой кухне варили сами унтера нам клей для столяров, клейстер—для переплетной. С появлением Лебона варка того и другого переходит к нам, и мы делаемся хозяевами кухни. Солдаты утром приносят дров, затапливают, уходят, мы можем варить, что хотим. Между нами оказались, кроме женщин, кулинерами Антонов, Сергей Иванов. Антонов отлично умел делать куличи, блины, пироги... Иванов—торты, разные сладости. Выбирался день, праздник какой или именины; ставилось тесто, приготавлилась начинка, сладости, и в кухне начиналось печение блинов, пирогов. Лебон, как заведующий мастерскими, брал все это на свою ответственность и допускал свободное хождение. Вообще Лебон с первого же дня своего появления стал выказывать особенную независимость, самостоятельность; при его малом чине это казалось не то чтоб странным, подозрительным, а скорей что-то обещающим, скрывающим за собой какое-то улучшение нашей жизни. Он охотно разговаривал со всеми и иногда задавал вдруг такие вопросы: «А что бы вы стали делать, если бы очутились на необитаемом острове? Разве вас так интересуют огороды?» и т. д.

При нем в мастерских наступила полная свобода; унтера перестали мешать выбегать к парникам, на грядки, а в довершение всего 8-го ноября Лебон допустил устроить в одной мастерской общий обед-бал.

У нас оказалось много именинников 8-го ноября. Когда появились решетки, мы праздники и именины устраивать стали в клетке В. Н. и Л. А., приносили большой стол, накрывали его чистой простыней, а на нем ставился большой самовар, принесенный солдатами с кухни. Затем стол устанавливался разными закусками; сладостями, пирогами, тортами, наливками собственного производства, и торжество открывалось. В. Н. и Л. А. помещались у стола,—за решетками 6 мужчин. Женщины наливали чай, передавали его и закуски мужчинам, и пиршество продолжалось час, более; затем первая смена уходила, приходила вторая, третья и так, пока не были угощены все... Таким же образом устраивались и выставки овощей, с той лишь разницей, что вместо самовара и закусок всюду размещались овощи, фрукты; их взвешивали, определяли, оценивали вес, достоинство и потом, удовлетворенные, уходили по камерам. Подходил ноябрь...



У нас оказалось 6 Михайлов<sup>1</sup>. Один, правда, не в ноябре был именинником, но это не важно. Обращаемся к Лебону и говорим ему, что хорошо было бы устроить именины в мастерской, а не на дворе, только как быть? Нам бы хотелось всем вместе собраться! До сих пор этого даже на пасху не разрешали. «Ладно! я устрою вам, — ответил Лебон, — готовьтесь», — и, действительно, 8-го числа была прибрана одна большая мастерская, 5-я. Лишнее вынесено, посредине поставили под углом два верстака, покрыли простынями, и зал был готов. Живо на верстаках появились торты, пироги, закуски, наливки, даже настоящая водка, сладости, — все собственного производства. Тогда позваны были сюда все из тюрьмы, даже Вера и Людмила, и началось пиршество. Наливкой угостили и Лебона. Он все время дежурил на коридоре и охранял наш пир. После еды и закуски, выпив предварительно по маленькой рюмочке водки, принялись за пение и танцы. Гребешки служили флейтами, и кто умел танцевать, мог сделать несколько туров. Мастерская оказалась мала, и с танцами трудно было разойтись, но все-таки всякий мог теперь сказать, что у нас и в Шлиссельбурге был один светлый праздничный день, когда он хоть на миг да забыл про свое заключение.

Водку, т.-е. спирт, сначала гнали в кухне на глазах жандармов, как бы в виде химических опытов. Нагревался на плите небольшой чайник с бродильной жидкостью и со стеклянной трубкой. Охлаждая пары в трубке, получали по каплям спирт. Это было так мало, что унтер не обращал и внимания, не догадываясь, что капает. Но вот, когда первая рюмочка побывала во рту любителей выпить, у них проснулось сильное желание пропустить и вторую, третью. Производство, значит, необходимо повести в более широких размерах. Антонов добывает большой чайник, устраивает из него перегонный куб и как-то ухитряется поместить незаметно все это в вентиляционной печи вместе с лампой. У нас ввели электрическое освещение, обыкновенные лампы позволили иметь для подогревания чая, кофе. На них пеклись и маленькие торты, поджаривали, варили, что надо. Для этого поделаны были Антоновым жестяные конфорки и трубы, чтобы защищать стекло лампы от брызг. Когда куб с лампой устроились, тогда приступили к затору. Нам, между прочим, разрешили покупать сухие фрукты, орехи, миндаль, изюм и проч. Вот изюмом-то теперь и воспользовались; заставив его бродить, клали в куб и получали спирт-коньяк; разбавив водой, имели водку, которой и начали было баловаться любители. Однако, это продолжалось очень недолго. Федоров и Лебон не ладили между собой и принялись доносить друг на друга. Один — об именинах, другой — о водке. Прислали следователя, он расспросив, разузнав все — уехал. Федоров и Лебон оба слетели. Производство Антонова прекращено, и покупка изюма воспрещена. Это, впрочем, не мешало и потом понемножку приго-

---

<sup>1</sup> Попов, Тригони, Ашенбреннер, Фроленко, Шебагин, Новорусский.



товлять спирт, но тут некоторые были увезены, в том числе и Людмила Александровна Волькенштейн, в Сибирь, у других пропал вкус, да и новые времена наступили, при новых же обстоятельствах не до пиров было.

Впрочем, пока что, у некоторых из нас оказалось еще новое занятие. Как-то Вере Николаевне удалось добыть себе небольшого хорошенького цыпленка. Он быстро приручился и неотступно бегал за ней, вертясь часто у ног. Маленькие цыплята вообще забавны, при своей подвижности, живости немало могут доставить удовольствия любителю. Таков был и этот. Вера Николаевна привязалась к нему и вдруг неожиданно наступает на него. Цыпленок умирает. Вера — в слезы, совсем загрустила, загоревала, браня себя. «Ничего, не плачьте: мы вам петуха и курицу заведем, они выведут не одного, а целый десяток цыплят», — стали утешать ее и, действительно, уговорили зрителя купить сначала простую курицу, а потом еще породистых петуха и курицу. Теперь стали с нетерпением ждать, когда же курица занесется. Было сделано гнездо в одной «прогулке», и в него ежедневно принялись заглядывать, отыскивая там свежего яйца. «Есть» — прибегают, наконец, один и показывает другим. Одни верят, другим яйцо кажется подозрительным: что-то скорлупа не особенно бела, свежа. Однако, молчат. «Нет, — под конец сознается утешитель, — это покупное яйцо, его я нарочно подложил». Но через несколько дней курица и вправду занеслась, и у нас началось разведение куроводства.

По началу купил Василий Иванов в питерском птицеводном хозяйстве 2-х плимут-роков, петуха и курицу, и одну виандотку, потом — В. Н. — петуха и курицу, черных лангшанов. Новорусский сделал маленький инкубатор, достал у жандармов свежих яиц и вывел в инкубаторе около десятка простых цыплят; я в этом пошел еще дальше: накупил яиц в птицеводном хозяйстве — и итальянских (куропатчатых), и белых брама, и виандотов серебристых, и еще какой-то породы. Поздней прикупил я молодого белого итальянца и молодую серую — с перьями кружевного рисунка — браму. Выстроили небольшой курятник в 6-м огороде, для той же цели воспользовались нишей в 6-м огороде и, наконец, закончили постройкой целой избы в огороде у меня. Мы выпросили у коменданта бревен и сложили в 7-м огороде избу в две комнаты, с окнами и дверьми. Покрыли горбылями, подбили паклей стены, и 7-й огород превратили, таким образом, в птицеводное заведение, и я стал до тысячи яиц выгонять в год и более, а цыплят до 2-х сот в лето, — это для продажи, дабы покупать корм. От белого итальянца и серых плимут-роков в последний год получилась даже очень хорошая ноская помесь белого цвета. Года три — четыре куроводство доставляло нескольким людям немало забот, хлопот, а вместе с тем и немало приятных минут при наблюдении живых, забавных цыплят; к ним невольно привязываешься еще и потому, что приходилось их самому вынянчивать, вы-



хаживать в первые дни вывода, недосиженных же даже вынашивать в пазухе, на руках.

Трудно определить заранее, какое яйцо оплодотворено, какое нет, и часто из 15—13 яиц выходит 7—8 цыплят. У меня раз из 6 купленных яиц вышел всего один цыпленок. Наибольшая беда происходит, в особенности, с покупными яйцами в образцовых птицеводных заведениях. Когда мы их покупали, то заранее знали, что часть яиц окажется неоплодотворенными, часть—несвежими; а однажды одно яйцо у меня оказалось совершенно пустым после трехдневного лежания под квочкой. Не то, конечно, когда кур мало, когда хозяин может следить за ними и набрать яиц наверно оплодотворенных. Тогда и одна квочка сможет вывести достаточно цыплят, и выгодно будет ее одну пустить с ними. Со многими же квочками еще одно неудобство\* бывает. Начинается вывод, собирается уже значительное количество цыплят, и берет нетерпение скорей отдать их матери. Отдаешь, а тут происходит вывод и у оставшихся квочек. Хорошо, если цвет вновь вылупившихся подходит к прежним. Наседка, которой отданы цыплята, не узнает тогда о прибавке и принимает новых питомцев без спора. Но не то получается, когда цвет новых птенцов резко отличается от старых. Наседка их гонит, бьет, убивает даже, если не взять их у нее. Благодаря этому приходится таких цыплят выхаживать, воспитывать уже самому. Занятно, но хлопотно. Таким путем я вырастил себе чудесного белого браму, прозванного нами Мишкой за то, что по выводе он похож был на маленького медвеженка: белый, толстый, пушистый; его чуть-чуть не убила квочка: у ней были черные цыплята, а когда дал я ей еще ночью белого Мишку, она стала явно волноваться, а утром, лишь он вылез из-под нее, бросилась и убила бы наверное, если бы я не следил за ней и во-время не схватил его. Этого Мишку, когда он вырос, знали и жандармы и долго утешали меня, когда его с другими пришлось продать. «Слышите! Это ведь ваш Мишка поет!» Кур пришлось сразу всех продать, о чем скажу позднее; их раскупили жандармы, и они находились, значит, на другом лишь дворе за стеной нашей тюрьмы.

Одно время нам предлагали даже корову дать для ухода, для пользования молоком, но на это не нашлось охотников. Так жизнь и время постепенно сглаживают острые углы камней и дают возможность ходить по ним. Вначале я как-то попросил доктора дать мне клюквы или разрешить купить клюквы. «Да где ее взять?»—удивленно заметил он.—«Как где? Отсюда, т.-е. с севера, ее по всей России развозят. Я сам в Киеве покупал ее»,—говорю ему.—«В этом вся и беда. Ее увозят всю, и нам ничего не остается». Так, шельмец, и не дал мне клюквы. Поздней мы ее и бруснику покупали сколько угодно для маринования впрок, для варенья, просто для еды. Вышла та же история, что с семечком яблони. Сначала отказали в семечке, а потом выписывали деревья, а новый смотритель—Гузь по фамилии—



сам предложил маленький дворик за мастерскими, чтобы там устроить фруктовый садик.

Наши мастерские (или сарай, попросту) тянулись на довольно значительном пространстве от внутренней крепостной стены до наружной, выходящей на озеро (Ладожское). За сараем, на расстоянии 10—12 шагов, срыва шла крепостная стена. Тут получался теплый защищенный от ветров уголок-ящик, который мне только раз позволили использовать, как сказано выше, для разложения костей, да осенью пускали срывать спелую рябину. Сюда выходило окно из комнаты Иоанна Антоновича. Гузь, увидав, как я интересуюсь деревьями, и сообразив, что за мастерскими им будет гораздо лучше (на наших дворах сильно донимали ветры), выхлопотал разрешение на отведение нам под садик дворика и предложил уже сам мне засадить деревьями. Я сказал товарищам, все согласились с охотой, и мы принялись за подготовку ям, земли. Вырыли много глубоких ям, землю из них, т.-е. камни, глину, песок, выносили в огороды на носилках, а на место их тащили из огорода хорошую землю, завалили ею ямы, насыпали грядки и тогда, купив яблонь, кустов разных, насадили всего и стали ждать результатов. Работа произведена была очень большая. Зато деревца, кусты принялись, садик получался хоть куда: на кустах ягоды появились на второй год, малина даже в первый стала плодить. Яблоки на третий завязали немного плодов. Вдруг, «нельзя,—говорят,—туда ходить». —«Что такое, почему?» Не объясняют. А между тем знаешь, что и Гузь, и начальник корпуса (комендант), и новый доктор, даже новый заведующий мастерскими, офицер—все они всячески в своей области стараются как-нибудь да улучшить нашу жизнь. Смотритель охотно выписывает яйца, сам ездил в Питер в птицеводное заведение, привез мне белого итальянца и серую браму, сам выхлопотал дворик под садик. М. Р. Попову он подарил хорошенького котенка и позволил держать в камере. К нам на службу он был выписан из Сибири. На груди у него был значок академии генер. штаба, а между тем он на удивление был мало развит, получив, как видно, чисто домо-строевское воспитание. Его, например, поражало, что мужчины подходят к форточкам женских мастерских и разговаривают с ними. Он в ужас однажды пришел, когда я, неся показать первые хорошие ягоды земляники Вере Николаевне, вскочил к ней на прогулку, вместо того, чтобы сделать это через решетку и т. д. Этот смотритель чуть ли не послал об этом донос в Питер, во всяком случае знаю, что сделал выговор старосте. Слыша, как многие интересуются на прогулке пением и выражают желание попеть хотя бы на клиросе в крепостной церкви, лишь бы повидать людей, он задумал вдруг, приняв это в серьез, устроить нам церковь и открыл забитый ход в бывшее помещение Иоанна Антоновича. Нам предложено было—не желаем ли мы, чтоб из квартиры Иоанна Антоновича устроена была для нас церковь. «Батюшки! Господь с вами! На что нам церковь!—загово-



рили все.—Пойти в крепостную церковь, где бывают посторонние люди, это одно, а чтоб итти в свою церковь и смотреть на тех, кого ежедневно видишь—на что? Мы и так видимся...» Вопрос не прошел. Пролом заделали, выход заперли и над устройством церкви поставили крест.

Зато новый доктор, при согласии начальника корпуса, оказал нам громадную услугу. Он, сделавшись членом общества «музея прикладных знаний», которое снабжало школы разными коллекциями, гербариями, моделями и пр., давая их на время, привез нам гербарий и сказал, что мы можем и от себя делать их. Можем делать ящики, делать коллекции и т. п. Благодаря этому открылся у нас новый способ приложения сил. Вера Николаевна ухватилась за составление гербариев, мужчины—одни ей помогали, другие взялись за делание ящиков, за точение блюдечек для минералов, третьи исправляли модели, делали новые; работа закипела. Музей стал присылать и непереpletенные книги, журналы. Их мы прочитывали быстро, переплетали, отсылали, вновь получали и т. д. На присланных коллекциях Лукашевич прошел с нами полный курс низших ископаемых и минералогию: читал лекции в центральной прогулке. Листья, цветы засушивались и пришивались к бумаге, закладывались в толстую папку, передавались доктору, и он отвозил вместе с ящиками, коллекциями, переплетенными книгами в музей. На первых порах вышло, было, маленькое огорчение: листья и цветы не были пришиты, а приклеены; из музея их прислали назад, и Вера Николаевна даже всплакнула от огорчения. Она все силы употребила, чтобы первый гербарий вышел изящным, красивым, и вдруг его возвращают. Однако, следующий был сделан по всем требуемым правилам, и дело наладилось.

У нас не стало даже хватать времени, как ни странно это для тюрьмы. В самом деле: надо было поработать в мастерских, в огородах, повидать товарищей, поговорить, посмотреть присланные коллекции, книги, самому что для них сделать—весь день уходил незаметно на разные работы; вечером спешно надо было прочесть журнал, газету, сборник. Долго держать журналы, газету, «Ниву» нельзя было, а хотелось всякому пробежать их. Поэтому установлена была очередь, время, сколько держать, и журнал, газета, быстро чередуясь, переходили от одного к другому. Едва успеешь пересмотреть одно, как открывается форточка, и тебе дают новое, требуя данное раньше. Кроме музея, нам давали в переплет и другие лица книги, их тоже надо было просмотреть, да книги—из собственной библиотеки, которая пополнялась теперь нами самими. Это отнимало немало времени и на чтение, и на их переплет. Относительно переплетанья теперь даже повинность у нас была введена. Сначала такой повинности не было. Люди рвались к работе и брались за всякую, лишь бы убить время; когда работ стало много, их стали выбирать. От переплетной отлынивать начали. Всякий обязан был переплесть в год определенное количество книг.



Музей, присылая нам минералы, камни для делания коллекций, навел на мысль сделать и себе пособие, наглядно показывающее, как происходило постепенное образование, наложение земной коры, начиная с самых древних и кончая последними временами. На нашем дворе оказалось очень много осколков гранита, гнейсов и других пород вулканического происхождения. Часть была куплена, часть взята из музейных коллекций. Из осколков делались маленькие кирпичики. Их складывали, и в конце получилась колонна, где внизу находились древние породы и наложения, а дальше шли все новей и новей. Лукашевич составлял, Василий Иванов помогал, — и получилась очень ценная вещь. Вообще, музей некоторым помог и хорошо изучить составление гербариев, разных коллекций и познакомиться с естественными науками. Новорусский, по выходе из Шлиссельбурга, заведывал в Народном Доме Паниной отделом научных пособий, а позже был сделан даже директором сельско-хозяйственного музея в Питере. Лукашевич написал по выходе очень выдающийся трактат по естествознанию и заслужил похвальный отзыв, даже медаль от ученых экспертов...

В это время наша жизнь достигла, можно сказать, высшего развития относительно льгот. Двери в огородиках, на прогулках, т.-е. в стойлах, перестали запирасть; всякий выходил, заявив лишь унтеру на вышке, куда он идет, и наблюдая, чтобы быть двум. На дворе же около парников собиралось иногда для чтения газет гораздо больше. Начальнику корпуса давали знать, он всходил на крепостную стену, наблюдал наше сборище, но видя, что мы скоро расходимся, прочтя газету, не сделал ни разу замечания. Не только в кухне, но и в камерах позволялось, имея лампу, посуду, сковородки, кастрюльки, варить, жарить, печь. Для кур я покупал целыми кулями затонувший подмоченный овес; его приходилось рассыпать, сушить на рогожах на дворе у тюрьмы, вне моего огородика. И это допускалось без присмотра жандармов. Мало этого, по вечерам, до окончательного запиранья нас в 9 часов на ночь, позволили теперь не только ходить в гости мужчинам друг к другу, но чтобы не было обидно, то же разрешили и Вере Николаевне. Была только та разница, что мужчины заходили друг к другу, не больше одного, в камеру и там пили чай, закусывали вместе. Относительно же В. Н. так устроили: она у себя, приготовив чай, закуску, ждала гостей; позволяли приходить двум; они подходили к ее дверной форточке, садились на коридоре на принесенные с собой скамейки, и через открытую форточку начиналась беседа, чаепитие, закусывание. Чаше, однако, сама В. Н. ходила в гости. Тогда ей приходилось сидеть в коридоре, а в камере помещались хозяин и еще один его гость, и опять через форточку говорили, угощались. Это продолжалось не больше одной зимы, но потому ли, что наступили новые времена, или потому, что ее увезли — хорошо не помню. Между тем, на воле снова начался террор, и про нас, забытых одно время, вспомнили, велели подтянуть, отняли жур-



налы, газеты. Мы о том, что творится на белом свете, не знали и диву начали даваться, когда вдруг заметили, что наш академик, державшийся раньше очень свободно и не боявшийся заходить без жандармов даже в мастерские, теперь стал жандармов брать, остерегаться чего-то начал. Двери на прогулках заперли снова, и поднялся вопрос о переводе с большого двора, где были мастерские, парников (стойла-прогулки) в 1-й огород и о закрытии мастерских в сарае. Столярные верстаки размещают в пустых камерах новой тюрьмы. Наш садик отнимают: понадобился для чего-то другого. Прошу хотя бы кусты мне возвратить. Мне приносят несколько искалеченных, поломанных кустиков крыжовника—и только; все остальное пропадает, весь наш громадный труд погибает. Что такое? Новое событие!..

Для уборки мастерских приходили солдаты, которые приносили и дрова на кухню. С ними, когда не случалось жандармов, иногда заговаривали некоторые. Один выходил в отставку и предложил М. Р. Попову отвезти к его матери письмо, взяв адрес. Он ехал в Ростов, где она жила. М. Р. написал и передал ему; сделал он это потому, что ему почему-то долго не выдавали очередного письма от его матери. Я уже говорил, что сначала нам лишь коротко сообщалось о положении родных, теперь же позволено было писать дважды в год. Матушка М. Р. была самая аккуратная в этом отношении и присылала во-время. Ее письма имели то преимущество, что их наши цензоры пропускали часто, не вычеркивая. Это происходило оттого, что она писала много, день за днем, и притом все слова слитно, без знаков, без промежутков, сплошь; читать ее очень трудно было для спешащего чиновника, и ее письма приходили неиспачканными. В них всегда находилось что-нибудь и кроме известий о здоровье, болезни родных. Описывать нашу жизнь нам не позволялось. Письма матушки Попова всегда ожидались с нетерпением не одним только М. Р., но и другими. На этот раз письмо почему-то задержали. М. Р. обеспокоился сильно и решил ей послать письмо через солдатика, спрашивая, что с ней. К несчастью солдат не сказал, что он неграмотен и, придя в казарму, стал просить написать адрес на письме М. Р. своего товарища. Тот, сообразив, в чем дело, донес; солдата арестовали, письмо отобрали и, не сказав ни слова М. Р., принялись за ним и другими усиленно следить. Я говорил раньше, как некоторых раздражало, сердило, когда жандармы начинали часто подкрадываться ночью к дверям и чиркать глазком. Делай они это открыто, едва ли кто стал бы обращать и на открывание, и на смотрение в глазок внимание. Не то получается, когда слышишь «рып-рып» крадущегося человека; у дверей он замирает и затем, быстро чиркнув глазком, снова молчок. Раз-другой вытерпишь еще, но когда начинает повторяться это «чирк» часто, становится невтерпёж, и даже такие тихие люди, как Ашенбреннер, начинали браниться. В последнее время это чирканье почти прекратилось, его не замечали, но когда



перехватили письмо, оно возобновилось, и особенно у дверей С. А. Иванова, который часто гостил по вечерам у М. Р. Попова. Не понимая в чем дело, С. А. скоро обратил внимание на чирканье и, чтоб избавиться от него, взял и закрыл глазок изнутри. Унтер поднял шум. С. А. согласился открыть, но требовал не надоедать ему подсматриванием; в котором не было никакой нужды. На время дежурный удерживался, но потом опять принялся «рыпать» и чиркать. С. А. закрыл снова. Унтер к телефону; дал знать начальнику корпуса; тот, не разобравши дела, прибегает к нам с жандармами, врывается в камеру С. А. и велит одеть его в сумасшедшую рубаху и посадить в карцер; с Сергеем Андреевичем припадок; он кричит. Это слышат все, поднимается стук в двери, крик, требования доктора. Наконец, доктор приходит, начинает успокаивать, говоря, что и рубашка уже снята, и С. А. Иванов уже в своей камере оправился от испуга... Оказалось, что без разрешения доктора даже комендант не может приказывать одеть в сумасшедшую рубаху. Доктор, комендант, жандармы ушли, все успокоились, уснули. На утро первым вопросом на прогулке, конечно, поставили, как ответить начальнику за его выходку, хотя С. А. оправился и вышел тоже. Тут выступает В. Н. и начинает говорить, что ничего пока не надо делать, что лучше она напишет об этом родным. В департаменте прочтут, разумеется, родным не передадут, но тогда нам виднее будет, как поступить, раз департамент посмотрит на это сквозь пальцы. С этим согласились все, и В. Н. пошла писать. А мы разошлись по своим огородам, мастерским. Письмо у В. Н. было, кажется, даже написано уже, ей оставалось позвать лишь смотрителя, отдать его ему и просить передать начальнику корпуса для пересылки в Питер. Так она и сделала, но смотритель быстро возвратился и заявил, что начальник не соглашается отослать ее письмо. Нам было известно, что все наши письма обязательно должны быть посылаемы в департамент полиции, и уже дело департамента передать или не передать их родным. «Скажите это начальнику и попросите его отослать»,—уже настойчиво потребовала В. Н. Я раньше говорил, что этот смотритель-академик при своей некоторой доброте отличался домостроевскими взглядами. Он начальника корпуса величал «вельможей» и старался выставить какой-то важной персоной, которую нельзя вызывать попросту для переговоров, когда нам нужно, как мы делали это раньше. Вельможа мог лишь приходить по своему усмотрению, и тогда, мол, только возможно обращаться к нему с нашими заявлениями. Зачем он проделывал такую штуку, было непонятно. Так и тут, вернувшись к В. Н., он начал было говорить, что нельзя тревожить начальство, что «мы все равно этого письма не пошлем» и т. д., и при этом стал улыбаться и с такой интонацией говорить, точно имел дело с неразумным требованием мало взрослой девочки, не обращая внимания, какое впечатление произвел отказ и как серьезно его просят. Его улыбки, его смешков В. Н. не вынесла, подскочила к нему, схватила за оба



эполета, сорвала их и бросила на пол. Он спокойно нагнулся, поднял и понес их к начальнику корпуса, а В. Н. вышла на прогулку, и объявила нам о случившемся, снова ушла в свою камеру ждать, что будет дальше. Мы отлично понимали важность происшедшего, а потому сейчас же решили прекратить всякие работы, всякие куроводства и перестали выходить на прогулку. У меня с В. Н. к этому времени набралось 45 кур. Я позвал начальника корпуса. Теперь он тотчас же пришел; я попросил продать наших кур. На другой же день утром не стало ни моей избы, ни моих кур. Приехал следователь, а скоро и новый доктор. Начальник корпуса и смотритель исчезли незаметно; их сейчас же уволили, как только в Питере узнали о происшедшем; хороший наш старый доктор еще раньше ушел. Началось следствие. И следователю, и новому, специально присланному для этого дела, доктору мы рассказали, как было дело и как сама В. Н. уговаривала нас ничего не выкидывать против начальника. Это, казалось, приняли во внимание, объяснили ее поступок временным сильным возбуждением и ее не трогали. Но нам, конечно, не говорили об этом, и мы пережили, продолжая не гулять, сидеть по камерам, немало тяжелых минут и часов, даже недель.

В наш садик, как я сказал, уже давненько перестали пускать, а тут по стуку плотников мы стали заключать, что там идет какая-то работа; в окно удалось подсмотреть, что из караулки, крадучись, пронесли какой-то помост, столбы, ступеньки. «Уже не вешать ли В. Н. хотят?!» — пробегает предположение и бросает всех в пот и в ужас. Проходит день, другой, неделя. Нет! В. Н. не трогают. Что же это такое строят? «Кого-то привезли в канцелярию, и приехали чиновники в черном», — объявляет, наконец, Антонов, сидевший против дороги в крепость. Всю ночь не спал, наблюдая, что будет дальше, но все-таки как-то не заметил, как провели в наш садик Балмашева. Только видел, как уходили люди в черных сюртуках утром из крепости. Оказалось, что все приготовления шли ради Балмашева, убившего Сипягина. Его повесили, а мы, посидев в добровольном заточении еще некоторое время и видя, что В. Н. не трогают, принялись гулять. Она лишена была лишь переписки на шесть месяцев, да тоже посидела, пока мы не гуляли.

К нам не привозили новых очень долго, и потому мы совершенно не знали, что творится на белом свете; из газет смутно только узнавали о разных студенческих беспорядках. Глухо, кратко говорилось о забастовках, и никакого определенного заключения из этого нельзя было сделать. О терроре никто и не заикался. Вдруг, неожиданно появляется у нас, незадолго до истории с В. Н., Карпович, убивший министра просвещения Боголепова; какими-то судьбами его не казнили и привезли к нам. Будь более толковый смотритель, привоз одного человека не мог бы нарушить наладившейся жизни... Наш домостроевец ухитрился это сделать. Вместо того, чтобы на время, как полагалось по инструкции, изолировать Карповича совершенно,



поместив его в сарае, он посадил его в новой тюрьме с нами и вообразил, что его приказание не стучать, не переговариваться, не давать книг Карповичу и т. д. будет исполнено всеми пунктуально. Как бы не так! Стук, переговоры через дверь, через стенки забора, перепрыгивание в клетку Карповича на гуляньи, обмен записками и т. п. пошли ежедневно.

Все это началось тотчас же, как только почуяли появление нового человека. Его интересовали мы, нас еще больше интересовало узнать, каковы дела на воле. Карпович был первой ласточкой, открывавшей весну, и как было утерпеть, чтобы не спросить его, не взглянуть на него, а смотритель даже это запрещает вдруг, грозя, что часовой на крепостной стене может и выстрелить. Окна камеры Карповича выходили на 7-й огородик, откуда можно было видеть его, если бы он ухитрился взлезть на окно и продержаться немного там. Он это пытался делать по началу, чтобы взглянуть через форточку на нас и показать себя. Вот это-то страшно перепугало нашего недоросля-академика, и он стал грозить часовым и возможно даже, что отдал и приказ стрелять. В Харькове был же случай, что часовой убил заключенного, подошедшего близко к окну и смотревшего в него. С Карповичем же как было не стучать, когда к этому времени стук дошел до того, что сам же смотритель приходил иногда к старосте и просил его передать какое-нибудь спешное дело, например, что обед будет не тот, что по меню значится, а другой, или еще что другое. И тогда староста брал в руки небольшой камень, становился у калорифела и дубасил на всю тюрьму. Наблюдавший за барометром Новорусский ежедневно—утром и вечером—стучал громко температуру, а тут запрещают стучать к Карповичу. На прогулках через решетки все свободно разговаривали, а с Карповичем не смей. Ну, всякий и подходит к его дверям и, хоть они закрыты, заговаривает с ним. На прогулке Лопатин перескакивает к нему, передает, берет записку. Жандармы отгоняют, выводят из «прогулки». Новорусский, пользуясь снежным сугробом, повторяет. Со смотрителем ежедневные объяснения, споры, кутерьма... Карпович не выдерживает и начинает голодать, требуя перевода на общее положение. Другие начинают сговариваться о его поддержке тем же—перестают гулять, но тут присылают чиновника из Питера. Приехавший, расспросив в чем дело, уговаривает Карповича прекратить голодовку, обещаясь уладить дело. Действительно, Карповича переводят на общее положение, и все опять приходит в норму, хотя Лопатин целый год не гулял из-за этого, а мы немало потрепали наши нервы и, главное, безо всякой нужды. Тем более, что мы не знали—чего ради?! Мы не знали, что на воле начал разыгрываться террор, и там наступили новые времена. Об этом мы узнали только после истории с В. Н.

Новому коменданту и новому смотрителю приказано было подтянуть нас и всячески постараться перевести на первоначальное положение, лишив всяких льгот. Комендантом теперь оказался тот офи-



цер, который нас заковывал в Алексеевском равелине и, будучи помощником смотрителя, вместе с нами попал в Шлиссельбург. Служа здесь сначала в крепости, а затем в самом городе, дослужился он до полковника, и, когда неожиданно у нас сменили из-за В. Н. коменданта и смотрителя, то назначили его к нам и поручили восстановить старый режим. Написать такое предписание было нетрудно, но Яковлев—фамилия нового коменданта—отлично понимал, что это вещь довольно сложная: не только затруднения могли происходить от нас, но и жандармы свыклись со многим новым, и для них возврат к старому будет труден. Поняв это и будучи, как оказалось, человеком неглупым, он принял очень удачную тактику.

Когда у нас несколько улеглось, и мы успокоились насчет судьбы В. Н., Яковлев, придя к старосте, открыто сказал ему и про то, что наступили новые времена, и что ему велено нас урезать, перевести на первоначальное положение. «Но я знаю,—продолжал он,—что это нелегко сделать. Служа в городе, я все время следил за вашей жизнью и за вами, знаю все и понимаю, какие нежелательные осложнения вызывал прежний режим, с новым же уже сжились и мы, и переходить на старое не так-то легко. А потому давайте сообща произведем кое-какие урезки в том, что вам не особенно дорого. Например, у вас много накопилось по камерам ламп, разной посуды, ножей, вилок. Без них легко обойтись. Что надо, на кухне все могут сварить, сжарить, подать. Ножи в обед давать будут казенные. Вечером их отберут: ночью они вам не нужны. Прогулки, огородики запрут, но дежурные попрежнему будут выводить по первому требованию. Газеты, журналы теперь запрещены, но это не мешает снова поднять ходатайство по поводу их» и т. д.

Мы не стали упираться: отдали мало необходимое, примирившись на время и с лишением журналов, газет. Иногда выходили такие курьезы: наши ножи отобрали, дали казенные, при чем ручки на ножках расшатали настолько, что они легко снимались; и вот вечером сдавая нож, возьмешь его за лезвие, а ручку протягиваешь унтеру; тот берет, дергает, ручка остается у него, а нож у дававшего. Он улыбается, получая лезвие отдельно. Все знают, что отдавая тупой ножик, всякий мог оставить у себя топор, молоток, долото. Работа допускалась и в камере, и туда можно было брать и инструменты. Так и многие другие мелочи улаживались к общему удовольствию и не вели к столкновению.

Как раз в эту пору нам неожиданно разрешили вдруг и кузню. Почти двадцать лет Антонов добивался этой кузни, но начальство все боялось чего-то и не разрешало. Наконец, допустил Николай II с оговоркой, как передал заведующий мастерскими, «чтоб только не зашибли себе пальцев». Куплены были меха, наковальня, напильники, дали нам извести, песку; мы натаскали больших камней, сами сложили печь, сделали кузню, и Антонов с Карповичем принялись орудовать. Сломалась длинная железная ось на казенной шлюпке, не то



на маленьком пароходике. В городе ни один кузнец не мог исправить. Обратились к Антонову; не имея приспособлений, он, однако, при помощи дощечек, планок так ровно, хорошо сварил полom, что все удивлялись только. Для столяров в последнее время купили два или три американских рубаночка: они вылиты из чугуна. Один упал, и верхняя часть у него расшиблась. Исправить полom чугуна очень трудно, но Антонов, поломав голову целую ночь, придумал-таки возможность исправить и исправил. С кузней началось делание и перочинных, и садовых ножей, и чайных щипчиков для колки сахара, и топориков для пресс-папье, и необходимых мелких инструментов для той же кузни. Для столяров был сделан станок, чтобы распиливать брусья, доски на более узкие полосы. Словом, в мастерских, в прогулках не произошло никаких стеснений. Вместо отобранных, по новым правилам, ножичков, теперь завелись собственные изделия. Один садовый нож сохранился у меня и до сих пор. Таким образом, приказ о возвращении вспять, мало нарушив по существу нашу жизнь, благодаря Яковлеву, прошел благополучно и не повел ни к каким серьезным столкновениям.

В Питере, однако, продолжали мечтать о возврате и надумали отнять у нас решетки. Деревянные заборы за 18—19 лет успели подгнить в нижних частях. Их велено было подновить, а, кстати, снять решетки и даже стены несколько повесить против построенных вначале. Это была более уж чувствительная урезка, и вот, выйдя как-то гулять, видим—в одних местах уже высятся новые высокие заборы без решеток, в других—сняты лишь старые, и видно, как много—почти в аршин высотой—накопили мы земли в своих огородах. Забили тревогу, позвали Яковлева. «Да, велено, но давайте снова хлопотать о решетках, наверно уступят!»—успокоил он. А наблюдатель в разговоре как-то проговорился, что льготы отнимают еще и потому, чтобы о них снова пошли хлопоты, иначе льготы будут все расти и шириться без конца, а так можно будет кружиться на одном месте. И, действительно, хлопоты о решетках скоро увенчались успехом; хотя и не всюду, но в главных местах их возобновили, только они теперь оказались на большей высоте, и потому пришлось повышать и наши помосты.

Вскорости начало сказываться наступление чего-то нового. Приехал министр Святополк-Мирский. Из разговоров с ним и из отдельных фраз, проскальзывающих то там, то здесь, мы поняли, что идут толки о каких-то представителях по выбору правительства, что на этот счет опрашивают даже земства. К нам заявляется неожиданно княжна Дондукова-Корсакова<sup>1</sup>. Комендант в большом недоумении: к нам никаких женщин не пускали, только градоначальник Питера

---

<sup>1</sup>. О М. М. Дондуковой-Корсаковой см. В. Н. Фигнер «Запечатленный труд», том II.—Ред.



Валь приезжал с женой, да и то оставлял ее во дворе. Было приказано принять княжну и дать со всеми свидание в камерах, кто желает. «Просите о журналах, газетах»,—замечает нам смотритель или Яковлев, полагая, что княжна имеет большое значение в Питере. Шла японская война, но мы только подозревали ее; начальству почему-то приказано было умалчивать о ней, «чтобы не волновать», как потом объясняли они, и категорически отрицать, пока мы случайно, как сказано выше, не узнали из подброшенных или утерянных газетных вырезок, что война идет уже давно. Коменданту, смотрителю неловко было отнекиваться, и они сами хватались за всякий случай, чтобы выйти из неловкого положения. Поэтому указывали нам на княжну и приготовили ей торжественный, чисто министерский прием, не подозревая, что княжне запрещено было, кроме веры и религии, говорить с нами о чем-либо постороннем. «Мирское меня не интересует: бог, спаситель, религия—вот, о чем я пришла с вами побеседовать»,—стала она толковать нам на первом свидании, но тут же дала понять, что цель ее пробить все-таки для нас хоть щелку на волю. «Я буду бывать у вас часто; комендант обещал мне отвести комнату в самой крепости; тогда на досуге переговорим подробней»,—заканчивая первое посещение, говорила она и, действительно, через несколько дней появилась снова, но уже без всякой помпы. Комендант сразу же понял свою ошибку и не только не дал ей квартиры в тюрьме, но еще приказал жандармам подслушивать, когда она к нам заходила беседовать. Это была религиозная фанатичка, мечтавшая, было, обратить нас к вере, но в то же время неглупая и очень энергичная старуха. Нас поражала ее настойчивость, нетребовательность: ей пришлось, благодаря отказу коменданта, приютиться в каком-то плохом номерке, где не было даже порядочной кровати. Она даже заболела в первые дни, но все-таки не уехала, а снова пришла к нам. «Немало болела и сокрушалась я вашему неверию, но, помолвившись спасителю, теперь успокоилась, набралась сил и вот опять пришла»,—говорила она. Некоторые стали отказываться от свидания с ней, за других она с большой силой ухватила и, прекратив проповедь, начала понемногу сулить возможность выхода для нас, стала строить, но все иносказательно, планы такого выхода вслух, но про себя задумала подарить нас опять-таки церковью. Выбрали даже место около тюрьмы, но неудачно: там находилась сточная яма, а по церковным правилам строить в этом месте нельзя было. Про постройку узнал случайно М. Р. Попов. Он—сын священника, учился в семинарии, знал про это правило и поднял теперь об этом вопрос. Кроме того, и другие, узнав про затею княжны, стали ее отговаривать, и церковь осталась в проекте.

Вскоре за княжной появился у нас и митрополит Антоний. Он захотел нас повидать, потолковать. Этот о религии не заикался, вел себя очень просто, расспрашивал о нашем положении, предлагал писать ему, обещал сделать возможное.



Один из нас, Стародворский, надумал проситься в Манчжурскую армию—солдатом. Получилось разрешение дать нам газеты—годом назад—и журналы без внутреннего обозрения и без хроники. Комendant и смотритель перестали теперь скрывать войну и стали сообщать самые последние новости. Между нами сейчас же образовались две партии: одни желали победы Японии, другие—России. Первые в разбитии России видели возможность заполучить конституцию; вторым жалко было разорения России, гибели такой массы народа. Конституция же все равно должна была быть—и при разбитии, и при победе, по их мнению. Стародворский всегда был сторонником могущества России, и хотя имел личные расчеты, но мысль послужить, поработать в пользу ее играла тоже немалую роль в его стремлении послужить в Манчжурской армии. Об этом он говорил с митрополитом. Его просьбу приняли, но с ответом медлили.

Матушка В. Н., чувствуя приближение своей смерти, употребляет все усилия и добивается понижения наказания В. Н. на одну ступень, т.-е. на 20 лет. На это соглашаются, и в 1904 году В. Н. увозят от нас. Увозят тогда же и Ашенбреннера, к которому Горемыкин успел применить манифест. Нас становится все меньше и меньше. Я пропустил увоз еще в 1902 году Тригони и Людмилы Волькенштейн на Сахалин и смерть Похитонов раньше. Последний неожиданно как-то заболел острым помешательством, был увезен в питерский Николаевский госпиталь и там быстро скончался<sup>1</sup>. Удивительно, что ни мы, ни доктора не подозревали совершенно его болезни, хотя задним числом и вспоминали, что в последнее время он стал сначала не воздерживаться от громкой брани за глаза по отношению одного своего товарища. Затем стал сам писать и предлагать другим, чтобы писали не полными словами, а сокращенными; при стуке сокращение слов было обычным явлением, а потому и на это никто не обратил внимания, а только его работы в мастерской показались всем подозрительными вдруг. Он задумал изящный шкафчик сделать; рисовал он хорошо, и рисунок шкафчика сам составил. Остов шкафчика был сделан, надо было приступить к мозаике. Выбрав рисунок и выпилив уже, принялся он за наклейку, вставку кусочков фанерки. По началу дело пошло, но скоро ему стало казаться, что оно тихо подвигается вперед. Заторопился, началась путаница; бросил, взялся за резьбу. Опять та же история: пока резал внимательно, медленно, резьба выходила хорошо, начал торопиться—стал портить. Тогда он берет уже большую стамеску, большую киянку (деревянная столярная колотушка) и начинает бить изо всех сил киянкой по ручке стамески; работа пошла быстро, но вместо рисунка получилось углубление и осколки; доска не выдерживает, расщепливается, колет; Похитонов сердится, берет другую доску,—та же история.

---

<sup>1</sup> Н. Д. Похитонов был увезен из Шлиссельбурга 5 февраля 1896 г., а умер в госпитале 4 апреля 1897 г.—*Ред.*



Всем товарищам, которые с ним работали или увидали его работу, только теперь стало ясно, что дело плохо. Позвали доктора, показали ему недоконченную путанную мозаику Похитонова, и он сейчас же велел его посадить в отдельную комнату. Здесь, следя за ним, скоро заметили, что он поднял кровать, лег на пол и хочет направить себе железную ножку на горло. Очевидно, и сам он понял свое положение и хотел покончить заранее. С кроватью не удалось; тогда он разбивает очень толстое оконное стекло и осколком пытается зарезать себя. Стекло отнимают, хитростью сажают его в карету и увозят в Питер.

После увоза В. Н. и Аша нас остается совсем мало: всего десять человек. Постепенно увезены были Лаговский, Янович, Манучаров, Мартынов, Панкратов, Шебалин, Суровцев, Тригони, Людмила Волькенштейн, Аш, Вера Николаевна Фигнер. Но тут мы стали замечать, как из караулки, крадучись, жандармы носят обед в старую тюрьму. Караулка — против окон нашей тюрьмы. Жандармы на время обеда прямо шли сначала к нам, неся, будто, нам обед, но, подойдя к тюрьме, поворачивали и, проходя близко по тротуару у стены, проносили в старую тюрьму. Нам, когда они это делали, не видно было их, но тут мы стали считать выносивших обед из караулки; это сразу обнаружило, что обедов выносят больше, чем для нас следовало. «Значит, кто-то привезен и посажен в старую тюрьму», — решаем мы. — «Туда часто ходят», — подтверждали наблюдатели из окон. Привоз новых, посещение княжны, митрополит, затем какие-то особые угощения солдат пирогами (родился наследник), — все это наводило нас на мысль о важных событиях на воле, но каких? «Зачем приезжает княжна? Она несколько раз приезжала, проживая в городе, и посещала нас. Зачем митрополит?» — задавали мы себе вопросы и гадали, гадали на все лады. Несомненным казалось лишь одно: нас хотят выпустить и пытаются узнать, что мы теперь из себя представляем, не возьмемся ли опять за террор. «Но если выпустить, то чего же тянуть? Осенью, наверно, выпустят», — решаем и принимаемся готовиться, хотя огородов не бросаем; напротив, запасаемся и на зиму. У нас был большой погреб — яма.

Прошла осень, наступила зима. О нашем увозе ни слова. Даже княжна реже делает намеки. Немного погоревав, успокаиваемся, принимаемся за обычные дела, но известия о январских событиях 9-го числа снова заставляют мечтать о свободе, приурочивая почему-то это к весне. Я даже саквояж начал себе делать на дорогу, сделав его еще и Стародворскому, а раньше Ашу. Жандармы видят мою работу и не раз спрашивают, кому это я делаю, и улыбаются иронически, понимая, что себе на дорогу. С вышки им все наши разговоры были хорошо слышны, а в то же время они знали, что наши мечтания пока не имеют под собой твердой почвы. С одним саквояжем у меня так и вышло. Сделал я его, а нас не увозят; куда его мне? Зову смотрителя и прошу передать его в пользу голодающих. Его



берут, но неизвестно, что делают. Весна 1905 г. нас снова обманула, снова пришлось отложить до осени. Снова принялись за огороды. В первый огород, куда перенесены были парники, позволили, вместо двух, четверем одновременно заходить. Тут жандармы как-то сообщают вдруг, что к нам скоро из старой тюрьмы перевезут замечательного человека—европейскую известность. Ждем, но вместо перевода европейской известности, увозят Стародворского. Жандармы и мы были уверены, что его отправили в Сибирь, как вдруг, смотрим, привезли его обратно. Что такое? В чем дело? Оказывается, об отправке незачем и думать; в России после 9-го января события пошли быстрым шагом вперед, и ждут конституцию, Народного Собрания Стародворского вызывали лишь с тем, чтобы узнать, что он имел в виду, просясь в армию. Он об'яснил; тогда с ним немного пооткровенничали и предложили, не хочет ли он послужить; «мы теперь сами народники и ищем сотрудников»,—добавили они. Стародворский отказался. — «В таком случае вам придется еще посидеть, пока не осуществятся правительственные предначертания»,—закончил беседу Рачковский, если не ошибаюсь, и Стародворский очутился у нас, рассказал все, и тогда мы еще больше принялись мечтать о свободе, тем более, что созыв представителей должен был состояться весной 1906 года.

«Они нас уже, наверно, освободят!»—толковали мы, еще раз пережив в начале осени 1905 года момент разочарования. За месяц до октября, наконец, переводят к нам из старой тюрьмы Мельникова и Гершуни (европейская известность, по словам жандармов). От них мы теперь только узнали, что творилось и творится на белом свете. Особенно Гершуни не стеснялся говорить обо всем даже с жандармами и этим совершенно расположил их в свою пользу. Теперь он нам целыми днями рассказывал и о рабочем движении, и о Зубатове, и о Гапоне. Была у нас назначена даже очередь для хождения в ту прогулку, где он гулял. «Вы к Гершуни?»—спрашивал дежурный, когда просишь его, бывало, отворить и перевести.—«К Гершуни»,—ответишь.—«Идите, идите, он вам там наскжет много... Ну, что, наслушались?»—сочувственно замечает он, когда возвращаешься в свое место. Так своей откровенностью и открытой пропагандой подействовал Гершуни не только на простых жандармов-унтеров, но даже смотритель и комендант увлеклись им и разрешили ему покупку даже книг по социологии, чего нам никогда не дозволялось.

Несмотря на манифест 17 октября и «конституцию», нас все-таки не освободили, а лишь сенат, на основании манифеста, сделал постановление—всех, кто просидел 15 лет в Шлиссельбурге, освободить и отправить еще на каторжное поселение в Сибирь. Это означало, что 4 года человек пробудет в полном распоряжении полиции без всяких прав, а затем 3 года ему будет воспрещен в'езд в Питер и Москву, и он будет все время находиться под надзором полиции. Я пробыл в заключении от 1881 г. по 1905 г.—24 года и 8 месяцев.



Казалось бы, можно было бы те лишние 9 лет и 8 месяцев, что мною проведены в тюрьме, зачесть в счет каторжного положения, но реакция ответила, что правительство сдачи не дает, и мне пришлось, таким образом, стать совершенно свободным лишь в 1912 году. Впрочем, об этом еще после, а пока надо вернуться еще в Шлиссельбург. Там, как сказано, мы переживали приливы и отливы. Разочаровавшись в весенних надеждах, мы откладывали на осень. Зимой снова начинали ожидать весны, и так—включительно до осени 1905 года, когда, опять ничего не получив в сентябре, решили, что придется, мол, как видно, посидеть еще до весны. Мы знали, что весной должна была открыться Дума, и тогда, мы надеялись, она нас уже наверно освободит. Остановившись на этом, успокоились и снова принялись, кто за что—я кончать, между прочим, саквояж, несмотря на подтрунивание товарищей и улыбки жандармов. Стародворского вторично увозят, это снова поднимает целый ряд предположений, догадок, но, не зная о конституции, что она, наконец, дана, оказывается, мы все-таки были далеки от действительности.

О том, как мы, наконец, дождались освобождения и распрощались со Шлиссельбургом, я рассказываю в другом очерке. Здесь же свое описание нашего пребывания в Шлиссельбурге я считаю нужным закончить объяснением того, почему я мало останавливался на темных сторонах нашей жизни и много места отвел второстепенным фактам, подчас мелочам.

О темных сторонах писано много другими, особенно хорошо и полно это изобразила В. Н. Фигнер<sup>1</sup>. Тут уж нового ничего не скажешь и не добавишь. Но мне не раз приходилось слышать: «Да как же это вы могли это перенести и выжить свои 24 года с лишним?». Вот на этот-то вопрос я и хотел ответить. Ужасы, правда, велик к смерти, но рядом с ними было нечто такое, что давало людям возможность цепляться за жизнь и тянуть, тянуть свое существование. На таких-то фактах, обстоятельствах я нарочно и останавливался дольше, дабы показать, что человек способен приспособиться и в аду, даже так, что иной со стороны еще и позавидует, забывая, что неволя и в золотой клетке убивает, в чем, главным образом, и состоит весь ужас вечного заключения. Все страдания физические, душевные, как временные, преходящие, перед мыслью о бессрочности совершенно могли бы показаться нестоящими и внимания, если бы человек в состоянии был поверить в действительность такой угрозы. Сколько раз нам говорили, что мы похоронены навсегда, чтобы мы оставили все надежды попасть на волю,—и все-таки, не знаю, как кто, а я постоянно мечтал о возможности попасть на большой свет, хоть в Сибирь, хоть на поселение, и только после 20 лет у меня начала иногда появляться страшная мысль о том, что, пожалуй, гово-

<sup>1</sup> «Запечатленный труд», т. II. «Когда часы жизни остановились»... М., 1922.—Ред.



рили и правду о бессрочности, и я стал даже тогда бояться смотреть через окно на далекий горизонт неба, видневшийся за крышами крепостных казарм. Продлись, укрепись дальше такая мысль,— и тогда, конечно, как и Мышкина, пустое обстоятельство могло бы привести человека к тому, что он не захотел бы тянуть лямку. Надежда—великая вещь; она только одна и держала и держит людей на земле.



## IV. Свобода<sup>1</sup>.

### Выезд из рavelина.

Было чудное утро. На рассвете 1 августа 1884 г. от пристани Петропавловской крепости отделилась громадная, черная баржа и на буксире небольшого пароходика двинулась вверх по Неве.

Баржа напоминала собою одну из тех барок, на которых когда-то держался Литейный мост. Ее черная, выпукло-закрытая палуба, общий мрачный вид и тихий ход невольно наталкивали на сравнение с черепахой. В данный момент, однако, эту баржу вернее было бы назвать «братским гробом», наподобие «братских могил»: в ней везли людей, осужденных на вечное заключение, т.-е. людей заживо похороненных.

За два с половиной года перед тем эти люди были приговорены к смерти. Их было много: целых десять человек. Такая цифра для того времени казалась чудовищной; и казнив одного (это был военный)<sup>2</sup>, прочим заменили смерть бессрочной каторгой. Но зато для отбывания ее был выбран в Петропавловской крепости Алексеевский рavelин с его ужасным режимом, специально выработанным для этих людей; при этом режиме смерть неизбежно должна была настичь их очень скоро.

Так и вышло: серые камеры, плохая пища, отсутствие воздуха и прогулки, при полной бездеятельности, сделали то, что уже через 5—6 месяцев цынга охватила всех заключенных, осложнившись у некоторых еще легочными заболеваниями. Через год явилась смерть, за ней вскоре другая; предвиделись новые. Тогда улучшили режим: дали хорошую пищу, увеличили прогулку, стали проветривать камеры. Однако, тех, кто уже очень надорвал свои силы, эти улучшения не спасли: они продлили только их страдания, но смерть взяла все-таки свое, и их не стало.

Уцелели лишь наиболее выносливые. К ним присоединили еще свежих, недавно переведенных из других мест заключения, и теперь всех решено было отправить в только-что отстроенную новую тюрьму, лучше приспособленную для вечного заключения и строже обособлен-

<sup>1</sup> Первоначально—«Вестник Европы» 1912, № 4.—*Ред.*

<sup>2</sup> Н. Е. Суханов. Он был расстрелян в Кронштадте 19 марта 1882 г.—*Ред.*



ную. Находясь на острове, окруженная со всех сторон водой, изоляции она достигала наилучшим образом, но зато давала заключенным больше воздуха и света.

### О т п р а в к а.

Накануне 1 августа, в необычное время, в рavelине то в той, то в другой камере, неожиданно для нас стали раздаваться стук и лязг цепей. Смотритель с унтерами и кузнецом ходили по камерам и заковывали одну половину арестованных в ножные кандалы. Закованным даны были пояса с кожаными подкандальниками и велено приготовиться к ночи.

Зачем? к чему?.. Ответа не получалось!.. Предоставлялось каждому гадать по-своему. Ясно было лишь одно: хотят куда-то перевести или отправить в другое место. Но куда? Голова напрасно кружилась в догадках.

А тут наступил вечер, пришла ночь, а о переводе ни духу, ни слуху. Всюду полная тишина.

Уж повезут ли? Не отложено ли до завтра? Люди, измученные пережитыми волнениями дня и бесплодностью усилий разрешить возникавшие в мозгу вопросы, мало-по-малу стали уже забываться кошмарным сном, лежа, в ожидании отправки, на своих койках во всем одеянии. Вдруг чуткое ухо сразу уловило давно неслышанный грохот экипажа по мостовой. Сна не стало; все насторожились... Часы Петропавловского собора проиграли полночь... По камерам стал ходить офицер с унтерами, и всем закованным надели еще и ручные кандалы.

Скоро по коридору разнесся звон кандалов, слышался топот ног, и все опять смолкло. Увели!.. Но тут стук уезжавшего экипажа пояснил, что увезли! Прошел, казалось, час, или больше, когда снова раздался стук экипажа, и снова повторилось громкое отпирание новой камеры, топот ног, звон кандалов, от'езд экипажа и затем выжидательная тишина. Так повторялось много раз...

Увозили в наемной карете. Унтер был за кучера. Смотритель играл роль фореитора. Внутри кареты с увозимым помещалось двое вооруженных унтеров. Он, увозимый, больной и в кандалах, казался страшным, опасным. Везли по совершенно пустой, глухой крепостной улице.

Глубокая ночь, яркие звезды на чистом, далеком небе и какой-то особенный голубовато-фантастический отсвет от фонарей на стенах крепости, на всем окружающем мелькнул на миг перед глазами увозимых, когда их выводили из рavelина, при усаживании в карету. Все это быстро прекращалось, но еще стояла у каждого перед глазами в особо заманчивом виде необыкновенной красоты картина.

Тихая грусть охватывала на миг! Жаль становилось расставаться хоть с ужасным, но все-таки уже насиженным местом. Неизвестность



будущего невольно пугала. Увоз ночью, точно крадучись, облакал поездку таинственностью. Предосторожности, чтобы никто об этом не знал и не догадался, делали ее загадочной, темной.

Карета останавливалась у громадных боковых ворот крепости. Форейтор соскакивал и что-то говорил стражу у калитки ворот. Привезенных высаживали и через калитку выводили на пристань.

Здесь первое, что попадалось в глаза, это несколько старых, высоких и тонких, в военных шинелях с красной подкладкой, людей, стоявших почти неподвижно по обеим сторонам продолговатой пристани.

У самой пристани чудилось нечто темное, похожее на эшафот с лесенкой, ведущей на него. Сюда-то и направлялось шествие.

Вблизи скоро выяснилось, что это не эшафот, а верх баржи. Через отверстие наверху каждого спускали глубоко-глубоко на ее дно, где и помещали в отдельных, нарочно сделанных для этой поездки, чуланчиках без окон, с небольшим лишь глазком в дверях, да дырой в потолке.

Чуланчиков в барже было несколько, и все они были изолированы друг от друга значительным пустым пространством, в котором толкались еще унтера, не считая караула у двери каждого чулана. Унтера—человек двадцать с небольшим—перевозились в новое заведение вместе со всем хозяйством равелина.

К утру нагрузка кончилась, и баржа, взяв лишь половину заключенных (другая таким же путем отправлялась на следующий день), двинулась в путь.

День выдался на славу. Баржа плавно, не колыхаясь, двигалась на воде. Сидящим в чуланчиках через дыру в потолке виднелись лишь клочек ясного неба и слабо колыхающийся красный флажок на барже, говорящий всем встречным, что везут казенное имущество, и притом—взрывчатое. В чуланчике было темно, и жуть невольно овладевала узниками. На досуге вопрос: куда везут и зачем?—возникал сам собой. Напуганное воображение сначала отвечало, что, вероятно, везут в море, дабы потопить; но чувство, жажда жизни протестовали против такого ответа и заставляли придумывать все новое и новое, не останавливаясь даже перед отправкой в Сибирь или на Сахалин каким-то кружным, водным путем. Всех сбивала таинственность и то, что везут водой. О том, что в Шлиссельбурге отстроена новая тюрьма, никто и не догадывался.

Кусок хорошо зажаренного мяса, данный на полпути для закуски, у всех окончательно отбил мысль о потоплении. Утомившись блуждать в догадках, узники в полудремотном состоянии, ни о чем уже не думая, продолжали путь, когда в час дня, или около, баржа стала у пристани Шлиссельбургской крепости и начала опять по одному выгружать своих пассажиров на берег.

Здесь каждого быстро подхватывали два унтера под руки и, почти волоча—многие от болезни, другие от неумения подвязывать кандалы сами не могли двигаться—через ворота с надписью «Государевы»,



проводили по крепостному двору и вводили через новые ворота на особый дворик, где еще издали виднелось длинное, красное двухэтажное здание, похожее на завод или фабрику. Это здание и поглощало, одного за другим, всех приведенных. Так свершился в'езд. Прошло более двадцати лет; многие сложили здесь свои кости; но часть, несмотря ни на что, каким-то непостижимым путем осилила все ужасы этих лет и дождалась дня, когда перед ней открылись ворота чудовищной крепости. И вот они снова на пристани, снова их куда-то хотят везти; но какая поразительная разница с той отправкой и привозом много лет тому назад!

### Выход из Шлиссельбурга.

Был конец октября; с утра моросил дождь; к обеду он разошелся, но осеннее небо, не пуская на землю солнечных лучей, наделало свой серовато-унылый вид на все окружающее. Несмотря на это, на пристани Шлиссельбургской крепости замечалось большое оживление. Толпились солдаты, унтера, их жены; виднелись офицеры, доктор, дамы, а среди всех проходили восемь человек в серых халатах. С ними дружелюбно прощались, кто словами, кто брал за руки, некоторые даже целовались<sup>1</sup>.

Явно происходили проводы. На Неве неподалеку держались два небольших финских пароходика.

Под'ехала лодка; в нее село четыре человека в сером, один офицер и несколько унтеров. Их быстро перевезли на первый пароходик.

Второй пароход подошел к пристани, и на него взошло еще четверо в сером, офицер и несколько унтеров. Все они остались на палубе. Не успел второй пароходик двинуться в путь, как с берега замахали платками дамы. С пароходика отвечали тем же. Это было тоже в час дня или около того. Двадцать один год тому назад был ясный день; вся природа дышала полнотой жизни, отражая и чистую синеву неба, и яркое солнце, но в сердцах приехавших людей была осень, был мрак неизвестности. Отуманенными глазами, едва взглянув на этот блеск природы, они и тут обратили внимание не столько на красоту, жизнерадостность ее, сколько на то, что в ней и тут нашлись темные места: вдали, на противоположном берегу, виднелась чахлая, редкая, полуобгорелая древесная поросль. Ее-то и запомнили больше.

Теперь же все как-то вышло наоборот. Серый осенний денек придавал и всему окружающему такие же тона; все говорило об увядании, замирании, но в сердцах от'езжавших была весна, радость,

<sup>1</sup> Освобождение произошло 29 октября 1905 г. На волю вышли: М. Ф. Фроленко, С. А. Иванов, Н. А. Морозов, Г. А. Лопатин, М. В. Новорусский, И. Д. Лукашевич, П. Л. Антонов и М. Р. Попов.—*Ред.*



ликование проснувшейся жизни, и это невольно отражалось и в тех восторженных взглядах, что они бросали кругом, впиваясь в пространство, зачаровываясь открывающимися видами, простором, воздухом, и в том, что под этим же впечатлением, видимо, у них произошло и прощание, прощание самое сердечное, как бы родственное, и с кем же? А с теми, которые еще недавно, всего три дня назад, считались их врагами и которые, действительно, способны были по одному слову-приказу наделать им всяких бед или мучений, вплоть до лишения их жизни.

Но вот было произнесено слово «свобода», хотя и неполная, и все враждебные чувства разом куда-то исчезли: враги вдруг превратились чуть не в друзей, и большей благожелательности, чем видневшаяся на лицах провожавших, трудно было бы и ожидать. И она невольно передалась отъезжавшим, заразила их. На миг они забыли все зло, страдание, вынесенное ими за годы заключения, и, простив всех и вся, отдавались радости всецело, от всей души, готовые обнимать, целовать всякого, жать ему руку.

Такова-то сила любви, счастья! Таков-то был выход-выезд, на ряду с другими, и части тех, которых когда-то привезли в крепость на живое погребение, и которые, вопреки всем расчетам, все-таки выжили, не задохнулись в этой могиле и дождались дня, когда она открылась, снова выпустив их на божий свет.

Как могли так долго люди выжить? Как, откуда бралась у них сила столько времени переносить все ужасы бессрочного, т.-е. безнадежного заключения?

Да! ведь, люди, поместив их в могилу, сказали и не раз повторяли, что они посажены навсегда, на всю жизнь, чтоб о выходе они и не думали<sup>1</sup>. Было отчего прийти в отчаяние, но тут-то и сказалось стремление жизни биться за свое существование до последнего, дав человеку надежду, как источник неиссякаемой энергии.

И в самом деле, не будь надежды, разве мыслимо было бы прожить так много лет, и притом людям, большинство которых предполагает, что с распадением тела распадется душа и сознание. Единственно, что таких людей может удерживать и удерживало от смерти,—это то, что с бессрочностью неохотно мирится мысль, не допускает ее. Они надеялись, что не нынче, так завтра люди одумаются, найдут это бесчеловечным и откроют могилу, тем более, что на бессрочное держание в могиле нет даже и закона, и делается оно вопреки ему.

Только надежде, поэтому, и надо приписать то, что люди находили и силу, и возможность переносить все невзгоды, болезни, душевные страдания. Те, у которых она пропадала или была очень слаба, на первых же порах повели себя так, что или сами кончали свою

<sup>1</sup> Чтобы чаще напоминать об этом, для них даже и костюм особенный придумали: серая куртка с черными рукавами и серая шапка с черным крестом во все дно верха.



жизнь—вешались, жглись, резали себя—или привлекали к этому других, т.-е. начальство, совершая что-либо, за что их били, держали в карцере, расстреливали.

Вдруг, числа 25—26 октября, неожиданно приходит начальник управления и велит служителям созвать всех в самый большой огород, где помещались парники заключенных и где ради них дозволялось бывать одновременно вместе четверем заключенным, между тем как обычно гуляли или работали лишь по двое.

Благодаря этому, огород часто служил, кроме места парниковых и огородных работ, еще и местом свидания, местом, куда всякий нес свои новости и узнавал чужие. Здесь они обсуждались, делались выводы, и затем все разносилось по отдельным прогулкам.

Особенно много таких собраний выпало на последнее время. Появилось двое новичков—Гершуни и Мельников; их только-что перевели из другого отделения, отделения испытуемых. Вновь заключенных не сразу помещали в главную тюрьму, а предварительно на год сажали еще на испытание, как выражается устав, в старую тюрьму, существовавшую раньше и одно время обращенную, было, в мастерские после того, как она сыграла на первых порах еще роль карцера.

У новичков было что рассказать, и они, как люди недавно пришедшие с того света, привлекали одно время всех в парниковый огород. Установлена была даже очередь; все стремились узнавать новости, предположения прибывших. Но всему бывает конец,—и запас новостей быстро иссяк; начались повторения. Интерес уменьшился, стремление в этот огород ослабело. Когда в указанный день унтера стали звать всех в огород, многие не придавали этому большого значения и, рассчитывая узнать все равно позже, не особенно торопились туда, предпочитая раньше закончить то, чем всякий был занят.

Сбор несколько затянулся; тогда, не дожидаясь всех, начальник управления прочел бывшим налицо предписание департамента перевести восьмерых стариков в Петропавловскую крепость на основании сенатского постановления, состоявшегося 21 октября в силу манифеста 17 октября.

По этому постановлению сената для бессрочных шлиссельбургская каторга теперь определялась в 15 лет, затем шло 4 года поселения и 3 года поднадзорной жизни. Но все это узналось подробно и точно лишь позднее; тогда все внимание сосредоточилось лишь на требовании перевести в Петропавловскую крепость. «Зачем, почему туда, а не прямо в Сибирь? Да в Сибирь ли? И в какое место?»—сыпались вопросы со всех сторон. Недоумение было полное, ибо раз манифест состоялся, отправка в Сибирь естественна, но тогда к чему еще Петропавловка?! В таких случаях в Сибирь обычно отправляли прямо из Шлиссельбурга. Петербург являлся лишь простым этапным пунктом, а теперь, видимо, главный вопрос будет решаться там, и в чем он будет заключаться, опять неизвестно.



Начальник управления или сам хорошо еще не знал этого, или скрывал: на все вопросы он отвечал уклончиво, предположительно. «Вероятно, в Сибирь! А впрочем, ну, куда этих, например, везти в Сибирь!»—вдруг говорил он, указывая на выглядевших наиболее больными, бледными. Или: «А меня, ведь, вот газеты требовали отдать даже под суд за то, что я продолжаю держать вас, несмотря на сенатское постановление о вашем освобождении»,—вставлял он, нето оправдываясь, нето лишь из желания поговорить.

— Департамент предписал, было, мне немедленно вас доставить в Питер, но я, зная, как у вас много добра, уговорил дать вам три дня на сборы. Брать можно с собой все, но имейте в виду, что вас везут в Петропавловку, а там, конечно, будут осматривать уж основательно!—закончил свои объяснения начальник управления.

Беседа с ним длилась довольно долго. Однако, она не только не уяснила дальнейшей судьбы увозимых, но еще больше только запутала.

На лицах многих первоначальная радость сменилась недоумением, каким-то разочарованием, даже злобой: из всех уклончивых ответов начальника ясно вытекало, что о полной свободе нечего пока и думать, что придется еще пережить и все ужасы бесправной поселенческой жизни, которая, пожалуй, окажется почище Шлиссельбурга.

Такие мысли не могли веселить; некоторые приуныли, но зато другие, не заглядывая далеко в будущее, отбросив или истолковав все недомолвки начальства в свою пользу, преисполнились самых радужных надежд и упований.

Видя унылость первых, они, укоряя, напоминали им, как те еще недавно рвались на волю, мечтая раньше о понижении наказания на одну лишь степень, а теперь... «Чего нос повесили?—с упреком слышался возглас:—действуйте!» Скоро, под влиянием отчасти этих жизнерадостных людей, но еще более в силу собственной потребности хвататься хоть за соломинку, у пессимистов мало-по-малу стали проясняться лица; в них также заговорила светлая надежда, и они, отбросив мрачные предчувствия, с увлечением принялись за укладку, за сборы в дорогу. Укладывать же было что. За долгую жизнь накопилось немало: различные коллекции, гербарии, целые томы исписанной бумаги, разрисованные на память шкатулочки, другие поделки,—все это надо было уложить, упаковать, подвергнуть внимательному пересмотру, дабы избежать потом в петропавловской таможне конфискации. Целые груды тетрадей, в силу этой боязни, были отнесены в кузню и сожжены там самими же авторами. Возни, хлопот получалось немало. Хорошо было тем, кто заранее верил своим предчувствиям и заготовил сундук или саквояж на дорогу. Теперь это пригодилось и было очень кстати. Такие оказались победителями. Смех над ними сменился уважительным шопотом даже унтеров: «Этот-то, видно, был догадливей, заготовил!».

Тем, кто не имел ничего, приходилось спешно сбивать ящики, покупать чемоданы. Три дня прошли незаметно, точно в кипении.



Ведь, кроме упаковки, необходимо было переговорить еще друг с другом, с остающимися.

Теперь разрешено было собираться в одном огороде всем вместе, и тут происходил самый оживленный, самый интересный обмен мнений, надежд, передач поручений, поклонов.

Особенно много оживления и веры в светлое будущее вносили два остающиеся: Гершуни и Карпович. Им объявили сразу, что вместо вечности будут держать одного 15 лет, а другого еще меньше, так как он был на 20 лет только осужден. Они, как ближе знающие современную жизнь, с жаром теперь доказывали, что не только увозимых, но и их ждет вскоре полная свобода. Температура была повышена, и ею невольно заражались все. О прощальной грусти и печали не было и помину. У всех на лицах виднелась почти уверенная радость, сознание, что, очевидно, так оно и будет. Проводы носили, поэтому, совершенно не тот характер, какой наблюдался раньше, когда увозили кого-либо в Сибирь, или вообще на волю. Тогда и те, что оставались, радуясь свободе увозимых товарищей, все-таки не могли подавить в себе чувство тоски, горя от разлуки с ними, считая, что, ведь, это последнее прощанье, что, быть-может, больше уже никогда не удастся ни встретиться, ни даже обменяться письмами. В свою очередь, и отъезжавшим было не по себе и на душе скверно. Их радость подавлялась мыслью, что они покидают, и покидают навсегда, тех, с кем сжились, сроднились; порой им даже чудилась как бы виноватость их в том, что их вот увозят, а другие остаются. Некоторые не соглашались добровольно одеваться в дорогу. Все это и вносило в проводы грусть, слезы, тоску и делало их похожими на проводы покойника. Не то было теперь: о грусти, печаловании не было и помину; все толковали о воле, свободе, о скорой встрече, как будто это было уже решено, и только не дошло лишь сюда распоряжение.

В недалеком будущем перед глазами стали носиться перспективы чего-то большого, крупного, интересного. Это и поглотило все внимание; разлука казалась мимолетной, ее горечь отошла на второй план, и все сосредоточилось на мечтаниях вслух об этом прекрасном будущем.

### Отъезд и путевые заметки.

Трех дней как не бывало. Наступил последний день. Дали суп, кисель, сиги. Сиги, кажется, прислал от себя доктор. После обеда позволено было еще раз собраться всем вместе в огороде.

Гершуни<sup>1</sup>, со слезами радости на глазах и с дрожью в голосе

<sup>1</sup> После выхода из Шлиссельбурга восьмерых старых заключенных там еще остались Гершуни, Карпович, Мельников, Созонов и Сикорский, привезенные гораздо позднее. Последние двое содержались отдельно от всех остальных.—*Ред.*



от сильного нервного возбуждения, прочел от'езжавшим маленькую, но горячо и сердечно написанную им прощальную речь. Другие на словах высказывали свои пожелания. Уезжавшие бросились с ними целоваться, прощаться; радостное настроение как бы разом породило всех, сделало близкими, дорогими.

Вскоре в огород явился начальник управления, и от'езжавших увели в канцелярию. На дорогу им выдали полный новый тюремный костюм: серую шапку, серый халат, серую куртку и серые штаны. Из старого остались лишь сапоги с высокими голенищами и шубы. Вводили когда-то через ворота, и тут встречал караул, выводили же теперь чрез проход домика, где помещалась кухня и комнаты для караула. Попав на главную дорогу, откуда видны были окна второго этажа тюрьмы, от'езжавшие обернулись и еще раз послали прощальный поклон тем, что остались. Все они стояли в своих окнах и в свою очередь кланялись, давая знаки рукой, весело жестикулируя.

Вошли в канцелярию. Здесь толпились унтера, доктор, смотритель, караульный офицер. Немного спустя пришел начальник и произнес нечто в роде прощально-благодарственной речи: он благодарил за то, что мы ему дали возможность, не прибегая к крутым мерам, выполнять его тяжелую задачу—следовать предписаниям высшего начальства. В последние два-три года оно захотело вернуть тюрьму к старому режиму и настрого приказало начальнику восстановить этот режим, сместив перед этим его мягкого предшественника и смотрителя. Такое дело было, действительно, трудным. За годы долгого сиденья люди путем тяжелых жертв, упорных, настойчивых хлопот добились так-называемых льгот, т.-е. незначительных уступок, небольших послаблений. По существу это были пустяки, но для них они были дороги и сами по себе, и как трофеи якобы побед. К тому же от этих льгот и для местного начальства стало лучше, спокойней: люди менее нервничали, ушли в свои занятия, в работу на огороде, принялись даже за куроводство.

Вдруг перемена. На пост министра внутренних дел вступает Плеве; начинается подтягивание опустившихся вожжей. В тюрьме сменяется добродушный начальник, не сумевший без шума и скандала применять предписанные новые правила<sup>1</sup>. На его место назначается другой, и ему велено уничтожить все льготы, повернуть на старый путь.

Отдать такой приказ было нетрудно, но выполнить представлялось задачей уже не столь легкой. Люди, добившись с таким немалым трудом льгот, держались за них крепко. К тому же надо было все-таки иметь хоть какой-нибудь видимо разумный предлог для отнятия, а так вдруг, здорово живешь, наказывать неповинных, даже и привычным исполнять приказания не рассуждая, показалось немножко стыдновато. Поэтому пришлось пойти на компромисс, на улаживание явившихся недоразумений путем долгих разговоров, урезониваний.

<sup>1</sup> Полк. Обух. Был комендантом с 1897 по 1902 г.—*Ред.*



Все это блистательно и выполнил новый начальник управления<sup>1</sup>. Он много лет тому назад, еще в рavelине, начал свою службу в качестве офицера и все время, повышаясь в чинах, находился в крепости или около—в городе. Знал потому людей хорошо, знал, как подойти к ним, как надо с ними действовать, и ему удалось умно повести дело так, что и волки были сыты, и овцы остались целы. Поворот назад не вызвал крупных столкновений, и все потому, что отлично была понята невозможность полного возврата к прошлому. Не только заключенные, но даже надзиратели настолько сжились уже с новыми порядками, что о полном повороте нечего было и думать, и на деле все скоро приняло свой обычный вид.

Приказ был объявлен; начались, было, стеснения, лишение льгот, но рядом шли и нарушения настоящего приказа. Получалось нечто курьезное, странное, но с этим мирились обе стороны. Все ограничивалось разговорами, объяснениями, обходом приказа. Например: велено отобрать перочинные ножи и вообще ножи собственной подделки, и их отбирают. Но обедать без ножа трудно. Тогда получают казенные, дешевые, тупые, с едва держащимся черенком. На ночь их отбирают. В то же время, ведь, все работают в мастерских, все могут пользоваться, значит, не только острым ножом, но и топором, а в кузне—и громадным молотом; выходит явная несообразность, и это видят, понимают, конечно, все, а потому распоряжение о ножах исполняется лишь формально. Неказенные ножи скоро снова водворяются, казенные же хотя и продолжают на ночь отбираться, но всякий знает, что ими ни себе, ни другому нельзя нанести вред, рану, и их ежедневно на ночь отдают при взаимной улыбке отдающего и берущего. Подобное свершилось и с прочими пунктами новой инструкции, а потому-то и не выходило серьезных недоразумений и столкновений.

Этому немало помогала еще некоторая выдержка со стороны заключенных, навык вести разговоры с начальством: не прибегать к вызывающим поступкам, резким словам. На это и намекал теперь начальник управления, за это он и благодарил, говоря, что ему не пришлось применять никаких крутых мер, карцера и т. д.

Не успел он закончить свою речь обычными пожеланиями счастья, успеха в новой жизни, как из толпы унтеров быстро вышел один седой старик и бросился целоваться, как родной, с тем, что уцелели еще от рavelинского сиденья. В качестве надзирателя вместе с ними он находился там, вместе с ними его перевезли в Шлиссельбург, и здесь он все время оставался, только служа при крепостной канцелярии, а не в тюрьме. «У меня двое сыновей пострадали также»—слышалась его жалоба.

<sup>1</sup> Полк. Яковлев. Был комендантом с 1902 по 1906 г.—*Ред.*



Атмосфера некоторой натянутости быстро изменилась. Все бросились прощаться с от'езжающими. Кто жал руки, кто просил о присылке карточек; пожелания сыпались со всех концов.

Вышли из канцелярии. Тут шпалерой стояла вся крепость: солдаты, жены унтеров, дети, две-три дамы; на всех лицах играла улыбка благожелательности, полного сочувствия. Неподалеку виднелись белые куры. Стоявшие, заметив, что эти куры привлекают внимание одного уезжавшего, предупредительно объяснили ему, что это, мол, ваши, вашего завода, из тех, которые были когда-то распроданы с аукциона предыдущим начальником. Когда наступил момент поворота и куроводство пришлось ликвидировать, то кур продали с аукциона, и от всего куроводства осталось одно воспоминание; но еще долго слышались вдали, на крепостном дворе, голоса знакомых петухов, вызывавших даже у надзирателей желание высказать нечто в роде соболезнования. «Ишь ты, а ведь это «Мишка» орет!» Или: «Слышите, как «Итальянец» заливается!»—не удерживался то тот, то другой унтер обратить внимание заключенного. На другой год этого пения не стало слышно.

Прошли мы двор, ворота; теперь надпись «Государевы» осталась позади. На пристани на миг остановились, залюбовавшись развернувшейся перед глазами картиной.

Простор и ширь Невы, городок, луга, леса, деревни, иной воздух, манящая к себе синева над рекой и лесами вдали,—все это казалось необычайно красиво, было полно мягкой прелести, задушевности, влекло к себе, вызывая воспоминание чего-то знакомого, родного, хотя и давно забытого. Серые тона осеннего денька не только не уменьшали красоты виденного, но, напротив, при том повышенном настроении, в каком находились люди, казались еще более картинными, чудесными.

Правда, отсутствие ярких красок порой вызывало тихую грусть, сожаление о чем-то, но это продолжалось лишь миг, и все облекалось чарующей мягкостью, не уничтожая радости, вызывая восторг.

На пристань высыпала вся крепость, и здесь снова повторились сцены прощанья, слышались пожелания, быстрые обмены словом-другим. Все вдруг как бы почувствовали себя близкими друзьями, кой-кто даже обменялся поцелуями с совершенно незнакомыми лицами. Проводы выходили на славу, необычайно сердечными! Увозимым, вместо того, чтоб спрятать их на дне кают или баржи, как было двадцать один год тому назад, позволили остаться на палубе пароходиков. С берега им кланялись, махали руками, дамы—платками.

Пароходики, взяв пассажиров, быстро, как бы на перегонку, понеслись к Питеру. Сердечность проводов окончательно покорила уезжавших, и они, забывшись на минуту, отдались теперь всецело радостному настроению. У них кружилась голова, их опьянял и чистый свежий воздух, который они с жадностью впивали в себя, и то, что пришлось только-что пережить, видеть.



С утра моросивший дождь перестал итти. Облака разошлись. Природа, как бы поняв, что происходит нечто необычное, угостила славным осенним деньком. Так произошел наш выезд.

Было тихо, свежо, прозрачно; ширь, простор как бы поднимали, возбуждали человека; с любопытством, не отрываясь, смотрели люди на берег, на темную могучую реку. Деревни, дачи, леса, отдельно стоящие деревья, даже телеграфные столбы казались интересны, заманчивы; все привлекало, заставляло останавливаться на себе подолгу, как нечто новое, впервые виданное или полузабытое. В каком-то чаду и тумане стояли люди на палубе и не могли оторвать глаз от окружающего, от дали, окутанной в мягкую синеву. Нетерпение брало их скорее узнать, видеть: а что лежит дальше за этой синевой?

У людей с светлыми пуговицами развязались языки, и они с большой предупредительностью объясняли увозимым все, на что обращали те свое внимание.

Вот Шлиссельбург. Вон там, на другом берегу, вокзал железной дороги, ведущей на Питер.

Далее, налево, Преображенская гора, где были погребены солдаты, павшие при осаде бывшего Орешка, ныне Шлиссельбурга. Гора поросла сосновым лесом, мало походит на кладбище, и только в памяти людей сохранилось еще об этом воспоминание.

Затем указано было на лесопильню. Там закупались обычно доски, брусья для столярных работ шлиссельбургских узников, а для парников—горбыли (крайняя доска с полукруглой поверхностью; она получается, когда распиливают круглый брус на доски).

— А вон уж и сосны Петра!..—послышался возглас.

Налево, на берегу, несколько сосен, — одна уже засохшая,—резко выделялись из окружающей поросли. Всех удивило, что за 200 лет они мало выросли. «Да это обман глаз! Посмотрите-ка на телеграфные столбы! Какими тонкими, невысокими столбиками они нам кажутся отсюда!»—заметили более догадливые.

Едущие на втором пароходике оглянулись назад. Крепость серым, прозрачным пятном едва виднелась среди воды.

— Ну, прощай!—заикнулся, было, благодушно один, находясь еще под влиянием проводов; но на это раздался возглас другого:

— Сгинь, провались ты, проклятое место!—и к нему присоединились все, повернув свои спины к призраку.

Соснами кончались, так сказать, воспоминания обстоятельств и событий, связанных с Шлиссельбургом. Теперь на сцену выступила сама по себе местность, виды, то, что встречалось. Поражала и невольно бросалась в глаза пустыньность, безжизненность окружающего, берегов, самых поселений.

Широкая могучая река бесплодно уносила свои воды в море, оставаясь совершенно неиспользованной. Не видно было даже рыбачьих лодок на ней, почти никакого движения. Встретился лишь один паро-



ход. Громадная сила пропадает задаром. То же и относительно берегов: они слабо, очень слабо заселены.

Прошло немало времени, а между тем едущим попались лишь одна деревенька, дачный поселок, кирпичный завод,—вот и все на довольно большом пространстве, и это в нескольких десятках верст от такого центра, как Питер.

Говорят, мало земли, необходима Манчжурия, Корея, Китай, даже Индия, а вот тут, под боком, в двух шагах лежат громадные пространства, которыми можно бы было воспользоваться, но они почему-то остаются втуне, а люди бегут за десятки тысяч верст на Уссури, Амур, в Туркестан.

Чем это объяснить? Говорят, теснота! Но тогда почему же вот тут пусто, нет людей, нет поселений, не видно жизни, не видно нигде движения? Даже там, где стоят избы, красуются дачки, кругом—на улицах, около домов—мертвая тишина, сон. Глядя на это, вчуже становится жутко, берет оторопь: ведь, не даром же это, ведь, есть же на то и причина какая-нибудь?..—возникал сам-собою вопрос. Не три женщины, шедшие по большой дороге, одна корова и одна собака, попавшиеся на глаза за этот промежуток времени, не «слыхали» этого вопроса и потому ничего не «отвечали». Люди же в сером со светлыми пуговицами пожимали лишь плечами, виновато улыбаясь, и тоже молчали.

Как бы в утешение, чтобы ободрить и дать надежду на лучшее будущее, они за то впервые решились теперь сообщить едущим просто в сером, что в России дана конституция, и притом самая либеральная.

При дворе, говорили они, было много споров, несогласий относительно того, какую дать русским конституцию, а именно: куцую или уже без всякой урезки. Споры длились долго и жестоко. Вынесена была самая либеральная, с приказанием опубликовать.

Люди просто в сером слушали это, умилялись и, что странно, верили, дополняя лишь наивность рассказа кой-какими поправками про себя.

— Ну, да!—замечали они.—Так оно и должно быть! На то и центральная власть, чтобы итти всегда вперед! Вон Петр! Всюду был сам первым, во всех концах России оставил свой след.

Вера, радужные надежды сгладили разом все дурные впечатления и эту жуть, навеянную слабой заселенностью, некультурностью страны.

— Теперь все пойдет по-иному!—весело затолковали едущие,—надо только побольше знания, энергии, и завтра же Нева превратится в Сену, в Темзу!—размечтались люди.

— Господа, а ведь скоро должны быть и Невские пороги! Смотрите, не пропустите! Вчера там, говорят, разбился пароход! — раздался, прервав мечты, голос одного, выдавшего когда-то Днепровские пороги и полагавшего, что Невские будут в том же роде.



Все внимательно стали вглядываться вдаль, сосредоточенно направив глаза вперед, ожидая с минуты на минуту увидеть клуб белой пены, торчащие камни, скалы, услышать отдаленный грохот. Не тут-то было! Время шло, люди смотрели, смотрели до того, что глаза заболели, — а картины, нарисованной воображением, все нет, как нет!

— Да где же эти пороги? Скоро ли, наконец, они будут? далеко ли?—носятся по палубе вопросы людей, потерявших терпение.

— Скоро, скоро!—утешали светлые пуговицы, — вон, смотрите, впереди видна широкая заводь—залив, на ней лодка, а кругом сильно рябит! Там и есть самые пороги!

Все впились в берега, в реку, отыскивая того, чего тут не было.

Невысокие берега, обширный залив, тихая вода, подернутая слабой зыбью, на берегу небольшое зданье с вымпелом,—вот и все, что представилось едущим, когда они приблизились к указанному месту. Ни торчащих камней, ни гребней скал не оказывалось.

— Да где же тут самые пороги?

— А вот и они!—мы их переезжаем! — с улыбкой замечает один моряк-унтер.

— Как же говорили, что здесь пароход разбился?

— Это верно! Посмотрите налево! Там торчат из воды доски—это и есть разбитый пароходик. Гряда под водой проходит от здания с вымпелом к другому берегу и скрыта темной водой так хорошо, что камней не видно; одна лодка показывает, в каком направлении проходит порог. В нем сделан узкий проход, и кто в него не попадет, гибнет; но едучи через проход, можно совершенно даже не догадываться, что тут рядом смерть.

— Что же это за пороги!—недовольно ворчали все, ожидавшие увидеть нечто грандиозное, великое. Некоторые, чтобы не пропустить порогов, ни на минуту не спускались в каюту погреться, хотя холод давненько их пронимал. К вечеру на реке стало свежеть.

Разочарование усилило холод, заставило вспомнить, что они к тому же голодны, и что их давно приглашают в каюту закусить.

Палуба быстро опустела, все ушли в каюту и принялись за приготовленный завтрак—очень обильный и хороший. Хватило как увозимым, так и их охране. Поднялись разговоры.

Один взглянул в окно и бросился к нему ближе. «Посмотрите, посмотрите, какая красота!»—раздавались его возгласы.

Трое других—это было на втором пароходике—также прильнули к окнам.

Перед ними, как в кинематографе, пронеслась чудная картина: широкая, могучая река, покрытая как бы снежным или серебряным покровом, волнуясь, бешено мчалась мимо.

Волны ударяли в окна, заливали их, кружились около. В общем как бы целое громадное поле, покрытое серебристо-белыми гребнями, уносясь со страшной быстротой назад, двигалось мимо.



В частностях картина эта менялась всякий миг, и потому насытиться ею, оторвать глаза было трудно. Все, как прильнули, так надолго и остались у окон. Чудилось, что движется не мертвая, бездушная сущность, а что-то живое, могучее, заставляющее невольно признать и его силу, и даже сознательность. В конце необычайная напряженность утомила всех и заставила снова подняться на палубу, чтобы передохнуть от сильных ощущений.

Только здесь, недалеко от Петербурга, берега стали делаться все более и более населенными, чаще и чаще вдаль начали вырисовываться высокие трубы заводов, фабрик. Дачи приняли более богатый, вычурный вид; ясно, что обитает в них дачник—не бедняк.

Однако, кирпичных домов поблизости еще мало, преобладает дерево. В одном месте скучилась целая масса деревянных сараев с такими же крышами.

Сараи стоят тесно друг около друга. Малейшая искра—и громадный пожар!

— Не беда! Застраховано!—отвечали светлые пуговицы!

Надвигался вечер, сумерки. Дерево в постройке заменилось кирпичем. По берегу пошли сплошные громады зданий, заводы, фабрики. Промелькнули доки, около — стояло два новых военных парохода. Далее начиналось предместье города. Что-то мрачное, загадочное представляли освещенные дома, улицы, темные тени двигающихся конок, сами люди. Здесь происходила всеобщая стачка недавно. «Не было работы!»—говорили шопотом провожатые, как бы боясь испугать громким говором прошедшую тишину, и под этот говор все представлялось в ином свете.

Быстро проехали Александро-Невскую лавру, Смольный институт.

— Пожалуйста в каюту! — вдруг заторопились светлые пуговицы. Они увидали, что на первом пароходике никого на палубе уже не осталось. Сошли; снова стали любоваться рекой, но в темноте выходило не то, а тут и мост. Одни предполагали—Литейный, другие не соглашались; подняли спор.

— Вот и Петропавловский собор! — с торжеством заключили свои доводы первые.

Вопрос был решен, и скоро, действительно, пароходики, пройдя под Троицким, быстро повернули направо и причалили к пристани Петропавловской крепости.

### Петропавловка.

Ворота оказались закрытыми. Видимо, не ожидали. На пристани никто из начальства приезжих не встретил. И их даже не сразу впустили.

В недоумении толклись люди в полутемноте, пока шел доклад и делалось распоряжение о впуске.



Над Питером стояла красновато-мутная луна, и сам он вырисовывался в неясных темных очертаниях. Звезды одна за другой загорались на глазах приезжих и невольно привлекали внимание к себе, к далекому, чистому небу.

Наконец, ворота отворены; все входят, и их поражает новая волшебная картина. Длинная зеленая аллея, освещенная точно фосфорическим светом, с собором на конце, представляла необычайно красивый, декоративный вид.

По ней, однако, не пошли, а, повернув налево мимо казарм, очутились в темном проходе, где проза жизни в виде развешанного солдатского белья и серых стен разом вернула к действительности.

Петропавловская крепость—а именно Трубецкой бастион—после Шлиссельбургской крепости всем приезжим показалась и более грязной, и более мрачной.

Эти длинные, подвало-образные камеры, какой-то специфический запах, полусвет, запыленные, с частыми железными переплетами, окна, крепостная стена, возвышающаяся так близко за окном—все это очень и очень пришлось не по душе прибывшим. А тут ко всему этому узнают они, что прогулка в крепости длится менее 15 минут (три минуты на вывод и ввод и 12—на прогулку).

Прибывшие давно уже отвыкли от такой прогулки; на старом месте они почти целый день проводили на воздухе—и вдруг 12 минут!..

— А нельзя ли соединить все эти прогулки в одну и выпускать всех нас вместе?—обратились они к смотрителю бастиона.

— Никоим образом!—выкрикнул тот резким, неприятным голосом. Он был глух от ран в голову, нанесенных ему на турецкой войне. Относительно приведенных ему никаких особых инструкций не дали; поэтому он принял их, как обычных вновь прибывших арестованных, и если в чем пустом отступал, то по собственному уже почину, на свой страх.

В первый день на свидании у меня вышла такая история.

Моя сестра<sup>1</sup>, спрятав небольшой букетик цветов на груди под кружевами, пронесла его благополучно через все заставы. На свидании, вынув, она уже протянула, было, его мне, как смотритель, сидевший неподалеку и читавший газету, быстро повернувшись, схватил букет и, нервно оторвав один лепесток, заметил: «Вот даже этого не могу позволить передать!»...

Смятый букетик остался лежать на столе.

На другой день вся картина быстро изменяется.

Прежде всего прибегает смотритель и об'являет, что по его якобы просьбе комендант крепости разрешил привезенным общую прогулку.

На свидания стали приноситься и открыто передаваться теперь не

<sup>1</sup> Собственно—не сестра, а отдаленная родственница. См. очерк «Вера Дмитриевна Лебедева».—Ред.



только букетики, но целые букеты, даже короба с чудными живыми цветами, несмотря на глубокую осень, а потом и зиму.

Журналы, газеты, книги, разная еда, консервы, фрукты, сласти— все это теперь было позволено и беспрепятственно пропускаться. Все это шло с воли, сопровождалось сердечными приветствиями, восторженными словами, окутывало прибывших сердечно-любовной атмосферой.

Они были оправданы! Теперь их называли за перенесенные страдания мучениками, чуть не святыми.

Это было в их глазах уже не то, что получение свободы в силу указа по манифесту, как бы из милости. Это было признание их правоты в прошлом. Оно больше не порицалось, вызывало, напротив, похвалу.

Из обвиненных они вдруг обратились в обвинителей и теперь бодро и смело могли смотреть на всех, не боясь встретить укоров и осуждений.

Тихая, светлая радость спокойствия охватила их, и глухой тюремный дворик в первый раз, вероятно, увидел странное зрелище оживленных, веселых лиц.

На общей прогулке передавались всякого рода новости, узнанные при свидании, читались отрывки из книг, сообщались курьезы, вызывавшие смех, примерялись костюмы, осматривалось постепенное превращение серого костюма в черный. Говор, смех стояли в воздухе более часа. Надзиратели держались кучкой в стороне и уже не подслушивали и не записывали.

Так прошло несколько ясных, безоблачных дней. Но в Питере погода быстро меняется; скоро и на нашем небе стали появляться тучки.

Прежде всего дали прочесть и списать точный указ сената. Оказалось, что бессрочных, уже просидевших от 20 до 25 лет, несмотря на то, что по указу каторга определялась в 15 лет, все-таки должны отправить на четыре года в Сибирь, как поселенцев, и продержат под надзором полиции сверх того еще три года. Сенат определил все наказание ограничить 22 годами, а фактически для некоторых оно получалось в 35 лет почти. И когда на это было обращено внимание, то получился ответ: «Правительство сдачи не дает!», т.-е. что с возу упало, то пропало! Продержали человека, положим, лишних десять лет—ну, что-ж! Закон обратной силы не имеет, и твои десять лет, значит, пропали.

Второй тучкой явился слух о готовящихся и происшедших погромах, о нагайках казаков, продолжавших свои расправы, как будто ничего нового не произошло.

С каждым днем тучи стали увеличиваться. Сначала, по случаю забастовки на Сибирской железной дороге, везти привезенных в Сибирь начальство не решалось, а потому охотно соглашалось отдать их на поруки даже непризнанным родным. Предполагалось к тому же, что Дума весной все равно их освободит окончательно. Последнее



предположение скорб, однако, начало тухнуть, и тогда явилось раздумье, а с ним и придирки, затяжки. Согласившись, например, меня отдать на поруки в Москву, теперь вдруг объявили, что туда нельзя, надо поручителя из другого города. Как-будто родные живут по всем городам, и их легко там найти.

Далее, допустив одному отъезд произвести открыто, других уже отправляли с предосторожностями, ночью, неожиданно, едва сообщив тем, кто брал на поруки. Выходила странность: освобождаемых боялись показывать, боялись оваций. Их как бы выкрадывали у самих себя, притом не разом, а урывками, по одному.

Время потянулось в тягостном ожидании; нетерпение, отчасти и боязнь,—а что, как откажут поручителю?—невольно закрадывались в душу остававшихся еще, и свидания на дворе с каждым днем стали менее оживленными; на них легла тень раздумья, некоторого страха за будущее, печаль разлуки.

### Отъезд из Петропавловки.

Семья наша все-таки мало-по-малу таяла, и, наконец, через три недели дошла очередь до меня. Сестра, бывшая у меня на свидании, категорически, с уверенностью заявила мне: «Ну, дорогой, завтра мы уж наверно с тобой покатым. Все формальности покончили, и требуется лишь подпись Н. В 12 часов я ее получу, а вечером и ехать будет можно. Будь готов!»

Весело говорила она, радуясь, что пришел конец всем ее мытарствам, радуясь еще больше за меня: завтра я увижу свободу, завтра тюрьма, ее ужасы,—все это останется где-то позади, далеко, в одних воспоминаниях.

Приехав на вокзал, я увидел сестру с ее сыном, ожидавших меня на платформе.

Вошли в жандармскую комнату, и тут оказались еще трое, которые пришли меня проводить. Это были—один из наших же шлиссельбуржцев, вышедший за несколько дней ранее, и двое старых товарищей. Одного я не узнал и, приняв совсем за другого, долго с ним разговаривал, удивляясь, что мы как-будто не вполне понимаем друг друга.

Перешли в вагон. «Да за кого вы меня принимаете?—вдруг слышу вопрос того, с кем я говорил.—Я ведь Н. Помните Одессу?». Батюшки! Вот перемена-то! Я ждал, что придет меня проводить брат моего друга и, не зная его в лицо, полагал, что говорю с ним. Удивительно, как могло это выйти!

Н был когда-то мой близкий приятель. Молодое лицо его я хорошо помнил, как живое, но неожиданность встречи и некоторое изменение в чертах лица против того, как я его рисовал в своем воображении, сделали его неузнаваемым. Ему пришлось перенести массу страданий, и они-то молодое, красивое и полное жизни лицо превратили если не в старое, то в больное, изможденное, трудно узнаваемое.



С товарищем, вышедшим немного раньше, произошло превращение совершенно обратное. В плохой тюремной шубенке он выглядел больным, дряхлым человеком. Несколько дней свободы и хороший новый костюм сразу сделали его почти молодым, жизнерадостным. Послышался последний звонок. Провожавшие вышли; мы, т.-е. я, сестра и ее сын, остались одни, и только когда двинулся поезд, у всех невольно вырвался вздох облегчения: наконец-то мы едем, наконец-то уж не вернут назад.

Меня должны были сопровождать до места назначения два гороховых пальто, но сначала их не было видно: они сидели особо, и это придавало вид полной якобы свободы.

После перенесенных волнений, мы молча теперь отдыхали, изредка перебрасываясь словами с сестрой. Ее сын ушел в другое купэ. Мысль плохо работала, в голове пробегали лишь отдельные воспоминания то из далекого прошлого, то из ближнего. Вот мы едем с офицером. Окна в карете задернуты, но я, полуоткрыв штору, жадно всматриваюсь в темноту и пытаюсь определить, где мы проезжаем, какие изменения произошли в Питере. Темно, мокро, грязно. По улицам бегут мужчины, женщины. У последних странные шляпы с большими навесами над лбом, и меня заинтересовывает вопрос: видят ли они что впереди? Попался конный патруль и напомнил про тревожные времена, про готовившийся в Москве погром. Что-то там нас встретит?..

— А, Летний сад! Ну, здорово! Вот и не оправдалось предсказание!—думаю про себя и вспоминаю, как 25 лет тому назад везли меня тут в Петропавловку, и я, обращаясь к Летнему саду, сказал вслух:—Прощай! Увидимся ли когда!?

— Неужели вы считаете это возможным когда-либо?—вырвался возглас у сопровождавшего меня капитана.

— А почему же и нет? Времена меняются!—отвечаю ему.

Капитан, испугавшись, что он якобы выдал тайну моей судьбы, умолк и больше не стал уж говорить...

Какой-то шум у дверей купе прервал мысли. Неумелая рука пыталась отворить дверь.

— Куда вы? Зачем? Мы сейчас располагаемся спать!—энергично запротестовала сестра, подскочив ко входу.

— Никак не можем! Приказано!—слышу чьи-то голоса и вижу, как мои хранители настойчиво стараются протиснуться в полуотворенную дверь. Поднялся спор, уговоры, убеждения, что это нелепо, не имеет никакого смысла. У самой двери перед купе, в коридоре, было два кресла, и там можно было сидеть; но на все наши резоны получался лишь один ответ: «Никак нельзя! Приказано! Мы не помещаем!..» Пришлось уступить, и в ногах у меня и сестры очутилось по стражу. Русская несуразность начала давать о себе знать.

Спрашивается: не курьезно ли?

Человека везут не в тюрьму, а на волю и боятся, что он может убежать. Убежать в присутствии поручителя и за несколько часов



раньше того момента, когда стража, довезя до места, оставит его совершенно одного. Ведь, приехав в имение, где нет ни полиции, ни урядника, убежать было легче и удобнее!

А тут довольно грубо и бесцеремонно врываются в купе, где спит женщина.

Забытие, начавшее, было, переходить у меня в тихий, спокойный сон, этой историей было сразу превращено в сильное возбуждение, и как я ни уговаривал себя, что все это пустяки, что на это не стоит обращать внимания—ничто не помогало, и сна, как не бывало. Всю ночь пришлось проворочаться на диване и только к утру малость забыться кошмарным, чутким сном.

Голова отяжелела, налилась свинцом; известие, что под'езжаем к Москве, принято тупо, безразлично. Ноябрьское серое утро не веселит. На Рязанском вокзале какое-то опустошение: в зале 1-го класса столы не накрыты, нет блестящего самовара; темно, пустынно, нет лакеев.

— Что такое?

— Забастовка служащих!—отвечают.

Нельзя даже стакана чаю выпить.

— Не беда! Я достану!—утешает сын сестры, и, действительно, скоро чай был добыт, и мы принялись в ожидании поезда освежаться.

Здесь пришло нас встретить несколько знакомых сестры. Разговорились. Зашла речь, конечно, о современном положении вещей, о том, чего можно ожидать в скором будущем.

Из москвичей некоторые своеобразно смотрели на это будущее, так что у меня невольно вырвался возглас:

— Да неужели же вы и взаправду думаете, что мы так близки к осуществлению у нас социализма?

— Несомненно! Посмотрите на нашу литературу, на наши сатирические журналы! Разве что-нибудь подобное есть в Европе?—набросились на меня, показывая мне газеты, журналы, что принесли с собой.

Пришлось замолкнуть со своими сомнениями; но, встретив потом месяца через 3—4 одного из этих оптимистов, я увидел, как его мало обоснованный оптимизм быстро превратился в самый мрачный пессимизм.

К вечеру мы были уже на той станции <sup>1</sup>, откуда шла дорога в имение <sup>2</sup>, и здесь в городке находилась квартирка исправника. Мои охранители, оставив меня на станции с родичами, приехавшими повидаться со мной, сами отправились к исправнику докладывать о благополучном прибытии, и больше я их уже не видал.

В имении, как нам обещали в Питере, их не должно было быть.

<sup>1</sup> Зарайск.

<sup>2</sup> Бортники.



Действительно, на первых порах так оно и было, и мы двинулись теперь одни.

Была зима. Всюду снег расстился белой, ровной степью. Тишина и жуткость охватили вдруг, когда мы поехали проселком. Начинало вечереть; впереди надвигавшиеся сумерки пугали своей безлюдностью, пустынностью. Ни людей, ни деревьев; одна гладкая степь и степь. Сбиться с дороги, особенно ночью, ничего не стоит. Вехи и днем на проселках плохо видны.

Так проехали верст 7—8, когда, наконец, увидали огонь в окнах поселка и самый поселок, церковь, барский дом.

Отсюда дорога пошла более разнообразная. Появились бугры и буераки, лощины, поросшие лесом, а там и имение, куда мы ехали.

По чудной березовой аллее кучера лихо подкатили нас к крыльцу, и мы, наконец, очутились дома, где нас уже ждал чай, ужин, тепло и уют.

Так совершился выход на волю. Тюрьма и ее режим, подневольное состояние отошли в прошлое, остались где-то далеко-далеко позади. Об них как-то и мысль совершенно пропала, куда-то сгинула точно. Началась новая жизнь, жизнь человека якобы уже свободного, жизнь, к которой так рвалась душа, рисуя ее такой заманчивой, содержательной.

Весь первый день прошел в осмотре хозяйства. Рига, скотный двор, коровы, лошади, свиньи, лес, сад—все это возбуждало внимание, сильно интересовало, давало пищу для разговоров. Неподалеку находилась школа, выстроенная и содержащаяся на средства сына сестры<sup>1</sup>. Побывали и там. Красивая одноэтажная постройка в русском стиле, с квартирой для учительницы, напомнила мне те образцовые школы, какие были выстроены когда-то на Московской выставке. Молодая, вся ушедшая в свое дело, учительница дополняла приятное впечатление. Первый день прошел хорошо. Но вот к ночи все родичи уезжают в Москву, и я остаюсь один. В доме водворилась жуткая тишина, и лишь стенные часы нарушают ее своим тиканьем, заставляя прислушиваться к чему-то и чего-то ждать, ждать без конца, заставляя даже не раз просыпаться ночью.

Поэтому утром на другой день встал я рано, точно на мне лежала новая обязанность и заставляла меня не проспать. Встал я, напился чаю... «Ну, а дальше что?» Со мной были книги, старые газеты, журналы. «Почитать разве что? Нет, пойду лучше пройду по хозяйству, посмотрю лошадей, коров»,—решаю я и с тем иду в конюшни, на скотный двор; заглядываю в ригу. Все это я осматриваю, кое о чем спрашиваю, но, странно, почему-то вижу, это меня не так заинтересовывает, не возбуждает любовного, хозяйского отношения, как-будто безразлично. А между тем, сидя в тюрьме, я, ведь, только о том

<sup>1</sup> Это было имение Владимира Петровича Лебедева, который взял меня на поруки. Он был племянник Т. Иван. Лебедевой—моей жены.



и думал, как бы изучить и завести свое хозяйство, как бы сделать его образцовым, дабы оно послужило примером для окружающих. И вдруг безразличие. Чем же объяснить это?

В первый момент я, впрочем, объяснял это новизной дела и малым вообще знакомством с хозяйством, а потому, много не раздумывая, стал изобретать новые способы, как убить время.

Неподалеку виднелся лес, и туда шла довольно наезжанная дорога через подлесок. Давненько-таки уже не видал я леса; его вид издали заманчиво манил к себе, обещал что-то красивое, могучее. Прохожу с полверсты, спускаюсь в яр и наталкиваюсь на родник-колодезь. Дорога огибает его и поворачивает назад. Дальше ходу нет. Лес уже рукой подать. Стоит лишь подняться наверх из яра, но идти туда заказано. Снег лежит глубоким слоем, не проберешься туда.

Поворачиваю и решаю погулять в саду при доме. Та же история. В саду дорожки зимой не расчищались, и снег опять не пустил. Вернулся, принялся за чтение. Плохо и тут пошло дело. Газеты казались устарелыми. В то время события чередовались быстро одно за другим, и потому газеты, привезенные с собой, не удвлетворяли. Книг же совсем не хотелось читать.

Пообедал, малость соснул; стало сереть; поехал прокатиться.

Вечером заглянул в школу. Учительница с грудой тетрадок у стола исправляла ошибки. Мысль, что помешал человеку работать, не дает покою, и, поговорив недолго, спешу домой.

Принимаюсь за чтение. В доме мертвая тишина. Мало-по-малу она как бы начинает охватывать и тебя. Боишься нарушить ее. Боишься громко стукнуть, смело двинуть стульями, стараешься и ходить-то неслышно. К чему-то все прислушиваешься. Чтение идет вяло, и скоро замечаешь, что мысль унеслась в пространство и там блуждает где-то. Из прочитанного ничего не понял и даже не могу ответить, о чем читал.

За окном далеко шумит-завывает тоскливо ветер на опушке сада. И кажется, что оттуда надвигается что-то страшное, грозное. Оказывается, все внимание и ушло на слушание голосов и стонов, несущихся из сада.

Под конец делается жутко и нудно, не по себе. Нападает страх, нечто в роде предчувствия якобы наступающих бед. В груди появляется ноющая боль. Никакие резоны не помогают. Спешешь поскорей лечь, уснуть. Но безотчетное беспокойство не раз будит ночью, а утром почему-то чуть свет все напоминает, что пора вставать, надо раньше напиться чаю<sup>1</sup>.

Зачем, к чему?! Непонятно.

Так началась для меня свободная жизнь.

В воскресенье, по большим праздникам наезжали родичи, знакомые. На миг дом наполнялся жизнью, интересом. Но проходил празд-

<sup>1</sup> В крепости уже разносили в 7 часов кипяток для чая.



ник, все гости раз'езжались, и я опять оставался один. Опять являлся вопрос, как убить время, чем наполнить его.

С одной стороны, неопределенность поселенческого состояния, а с другой—и сама природа, окутанная толстым слоем снега, по необходимости удерживали дома, мешали пользоваться свободой, воздвигали как бы невидимую вокруг стену. Приходилось поневоле ограничиться усадьбой, каким-то прозябанием в ней.

Чай, осмотр хозяйства, лошади, коровы, свиньи, мало интересующее чтение, потом еда, сон, небольшая прогулка,—вот и все. И это после такого оживленного общения с товарищами, какое было у нас в последние годы,—и к тому же еще в такое время, когда Россия переживала необычайные дни, когда каждый день приносил что-нибудь новое, а ты сидишь дома и даже во-время не можешь узнать, что творится на белом свете.

Неудивительно, поэтому, если первые дни свободы вскоре показались мне не днями свободы, а днями нового заключения, днями гнетущего ожидания чего-то впереди нехорошего, нерадостного. Рвался человек к жизни, к движению, жаждал войти в общение с живыми людьми, слышать их речи, их предположения, начинания — и вдруг, хотя и милые, но все-таки бессловесные коровы, лошади... и затем опять ожидания и снова ожидания.

Это-то выжидательное положение и отбивало охоту к чтению, делало равнодушным к хозяйству и вечно беспокойным, держало настороже, заставляло тревожно биться сердце. Днем, еще чаще ночью, щемящая боль являлась постоянной спутницей, и тревога, боязнь что-то пропустить, куда-то опоздать, чего-то не доделать в срок охватили всего и стали держать в сильно напряженном состоянии.

Беда, когда действительно задашь себе какую-либо задачу или явится надобность куда-нибудь поехать, что-нибудь сделать. Всю ночь кошмарные сны не дают спать; то-и-дело просыпаешься, смотришь на часы, как бы не проспять, хотя хорошо знаешь, что в известный час тебя разбудят и приготовят все необходимое для поездки; все-таки вскакиваешь сам задолго до этого, побуждаемый внутренней тревогой.

Эта тревога отравляет и самую поездку. Дорога, поля, вдали леса, буераки,—все это кажется окутанным какой-то мглой, неуютно, неприглядно, пугает какой-то молчаливой пустынностью.

А когда в первый раз поехал я в ближайший городок и наскочил тут на большой базар и толпы новобранцев, то этот шум, гам толпы окончательно смутил меня и показался необычайным. Пришлось самому себя урезонивать, чтоб не обратиться вспять.

Боязнь толпы, впрочем, скоро прошла у меня. Я с удовольствием потом вмешивался в нее и любил даже находиться в толкотне. Но все это случилось позднее, когда явилась возможность более свободного передвижения, когда гнет невидимой стены перестал застилать свет. Пока же присутствие стены чувствовалось на каждом шагу и мешало



дышать полной грудью. «Нет! ты еще не свободен!»—говорила она на каждом шагу и невольно заставляла ждать каких-то еще новых бед впереди.

Закончу маленьким случаем, бывшим в первую же поездку в городок.

Ехал я по какой-то улице в санках, вдруг, вижу, с тротуара бросаются по направлению ко мне два босяка и с криком: «Михаил Федорович! Здравствуйте!»—просят остановиться. Я в первый раз был здесь. Никаких знакомств у меня не было, а тем более между босяками. «Что за диво?»—думаю. Но из любопытства велю кучеру остановиться.

— Замерзаем, хоть на пару чайку дайте! — подбежав, заговорили босяки.

— Да откуда вы меня-то знаете?

— Знаем!—отвечают и бегом, получив на чай, скрываются.

Так и до сих пор я не знаю, как могли они узнать мое имя, или это была простая случайность.



## V. На воле<sup>1</sup>.

«Ну, вот, мы как-будто и на воле,—писал я одному товарищу вскоре по выходе из Шлиссельбургской крепости,—но свободы-то пока я еще и не чувствую»... Много-много лет где-то глубоко таившаяся и никогда не угасавшая надежда осуществилась!.. Смутная мечта-видение превратилась в действительность!.. Казалось, радость, покой, веселье должны бы охватить все существо. Но не тут-то было!..

Сознание говорит о свободе, а все мое существо кричит: этого нет! И моя душа продолжает томиться ожиданием чего-то нового, более светлого и яркого, что даст уже настоящую волю. А то, что я испытываю сейчас, еще не подлинная жизнь, а что-то переходное, межеумочное...

Я томлюсь в рамках положения, придуманного для нас сенатом. Оценив почти тридцатилетнее сиденье в крепости в 15 лет и наградив нас еще поселенчеством и поднадзорным состоянием, сенат связал каждого по рукам и по ногам, отдав на 7 лет на полный произвол полиции. А тут еще я попал не в город, а в деревенскую глушь и очутился в полном одиночестве.

На Руси вообще редки населенные места, а там, куда попал я, это чувствовалось особенно резко. Стояла зима. Снег белел вокруг необозримой пеленой. И глаз лишь кое-где вдали усматривал серо-буроватые пятна небольших деревень с господским домом или церковью. Когда-то здесь, как видно, были громадные леса. Но теперь от них осталось одно лишь воспоминание в виде небольших жидких перелесков, разбросанных по буграм и оврагам. Старый лес сохранился лишь местами у помещиков...

В былые времена эта снежная пустыня хоть иногда на праздники оживлялась шумным наездом помещиков друг к другу. На рождество здесь пели, плясали ряженые. Ныне все это молчит, точно непробудным уснуло сном.

В настоящее время все усадьбы помещиков больше связаны с Москвой, Питером, другими большими городами, чем с соседями. Сюда наезжают летом свои родные или близкие знакомые, и вся жизнь сосредоточивается в тесном кругу.

<sup>1</sup> Первоначально—«Русское Богатство» 1913; № 5.—Ред.



В одну из таких-то усадеб попал и я. Родичи привезли меня, денек пошумели, а там—и в Москву. И я остался в большом доме один, лишь с кучей газет, книг, брошюр. Около усадьбы не было даже деревни. Она находилась верстах в двух. Дороги в лес, в поле, на реку занесены снегом. Далеко не разгуляешься, и вот, сделавши утром обход по двору, заглянув на конюшню и скотный двор, побывав на риге, я дальше не знал, что делать, возвращался домой, усаживался за стол и брался за книги, газеты...

Сижу, глаза бегают по строчкам, но смысл их я плохо усваиваю. Мысли через окно несутся в сад, еще дальше. Там слышится завывание ветра, тревожное, страшное, точно надвигается целая буря. Я перестаю читать. Тоска одиночества охватывает меня; сердце гложет щемящая боль, бросаю недочитанной газету, встаю и иду за версту в школу. Там есть живой человек, там хоть словом можно перекинуться. На минуту отдохнешь, забудешься, но, вернувшись в пустой дом, еще сильнее почувствуешь одиночество. Ляжешь спать, но свист в саду ветра, даже равномерное тиканье часов долго тревожит тебя, вызывая какое-то беспокойное настроение. В сердце опять поднимается щемящая боль, точно ожидаешь какой беды. Забудешься, заснешь, но много раз просыпаешься и все поглядываешь на окна, не начало ли светать? Почему-то казалось, что должен обязательно вставать рано, хотя в этом никакой нужды не было.

Даже Шлиссельбург и Петропавловка последнего времени, когда нам разрешили общую прогулку, рисовались теперь в памяти, как сладкий, интересный сон. Там нас было много. Мы ежедневно сходились, говорили, спорили. Нами всесторонне обсуждались общественные вопросы. Мы полны были всяких светлых упований, надежд. И вдруг одиночество! Неудивительно, что по сравнению с оживлением Петропавловки настоящая жизнь казалась тоскливым кошмаром.

Могут спросить, а почему же я не ехал к соседям, почему не заводил знакомства с ними? Очень просто!.. Ближайший сосед был человек самых крайних правых воззрений, и ехать к нему значило заранее рассчитывать на сухой прием. Про других, более дальних соседей, не было, правда, таких точных указаний. Но они не вели вообще знакомства с нашей усадьбой, и невольно останавливал вопрос: как-то еще примут, как бы не нарваться на неприятность? Вообще наше поселенческое положение очень сильно мешало во всем. Поедешь в уездный город, даже просто кататься, и все время преследует опасение, как бы не пришлось иметь дела с полицией. Нас не снабдили никакой бумажкой, кто мы такие. А при тех тревожных временах, когда на каждом шагу требовались паспорта и удостоверения личности, поневоле часто приходилось отказываться от дальних поездок и прогулок, чтобы избежать задержаний, представлений по начальству и т. п. историй.

Вот в первое время я и сидел больше дома. В воскресенье, в праздники картина менялась: наезжали родственники, знакомые, больше



из Москвы; навозили газет, новостей, слухов, светлых ожиданий. День пролетал быстро. Но в голове получался какой-то туман. Вскоре светлое в вестях стало заменяться все более и более темным и, наконец, превратилось в один сплошной мрак и ужас.

События зимы 1905 г. всем известны; о них нечего и распространяться: они не могли принести успокоения. Тем более, что, кроме смутных сначала слухов, а потом известий из газет и от приезжих, вскоре печальная действительность стала подтверждаться разными невеселыми картинками, которые пришлось видеть уже самому...

Поехал я, например, в город. Вижу, по проселочным дорогам, еле двигаясь в глубоком снегу, то там, то сям тащатся сани с торчащими оттуда головами в шапках и картузах, обвязанными платками. Равняюсь с ними и тогда разбираю, что они нагружены разным скарбом, мешками, узлами, на которых тесно сидят люди,—больше мужчины, хотя есть и женщины,—все, видимо, городской люд. Иным не хватает мест на возу, и они идут около.

Угрюмое и злобное молчание встретило меня вместо обычного приветствия. Очевидно, все еще были под впечатлением ужасных событий и ушли в себя. То бежал из Москвы простой люд, когда там семеновцы взялись водворять порядок.

Беглецы первое время по прибытии в родные деревни еще бодрились, не прочь были порой и рассказать о своих подвигах, показывая потихоньку нож или плохонький револьвер, но скоро наступило сплошное уныние, плач. Страх быть вызванным на суд охватывал всех. Боялись даже те, кто никакого участия в московских делах не принимал. Но родственники не верили их словам и уже заранее оплакивали их с утра до вечера, наводя ужасную тоску на окружающих...

А то докладывают как-то, что приехала управительница усадьбы знакомых помещиков. У меня в это время случился из Москвы родственник. Она как-то узнала про это и захотела его повидать.

Приглашаем войти. Захлебываясь от слез, ломая руки, порывисто обращается она к нам и умоляет:

— Скажите вы мне только правду! Можно его спасти, или так-таки его и повесят? Ведь он еще мальчик, совсем дитя!.. Ведь он не виноват!

Несвязно, торопясь, спешит она высказать свои мысли, бросить свои вопросы, думая, что мы все отлично знаем и понимаем, о чем она говорит. Усадили, дали воды выпить, стали расспрашивать.

Оказалось, что в Москве ее племянник взят в доме Фидлера, но при каких обстоятельствах—она ничего не знала, а мы и того менее. И пришлось утешать общими фразами. Она немного успокоилась и уехала. После оказалось, что молодой человек был освобожден. Но то, что пережила его бедная тетка, останется у нее, вероятно, в памяти навсегда. И таких случаев было в то время много, и все разговоры только вокруг того и вращались, что передавали о драмах одна ужаснее другой.



Шли толки и о погромах помещичьих усадеб. Но это вызывало больше недоумение: как объяснить уничтожение лесов, избиение скота и многое другое? Сначала все это происходило где-то еще далеко и потому у нас многих мало трогало. Однако, скоро и мне лично пришлось пережить немало неприятных минут.

Вечер. Я пью чай, читаю — не читаю газету, по обыкновению томлюсь.

— Пожар виден! — слышу из коридора крик прислуги.

Выхожу, и, действительно, на горизонте колеблется обширное зарево, то временами уменьшаясь, то снова захватывая на небе огромное пространство. Жутко смотреть на отдаленный пожар: кругом водворяется какая-то странная тишина. Люди стоят, смотрят и молча переживают ужас того, что происходит там. И только временами, когда пламя усиливается, слышатся отдельные возгласы: «Еще выбросило! Вон, вон занимается новое!».

Я скоро ушел, не дождавшись конца. Но явился староста и стал выкладывать свои сведения. У такого-то крестьяне лес уже порубили, у такого-то хлеб из амбара забрали и поделили. А вот, что сейчас горит, так это, кажись, усадьба одной барыни...

Словом, издалека разгромы перебросились и к нам. Пошли слухи, преувеличенные страхом, стали раздувать всякий пустяк. Все настожились. Одна сторона как бы выжидала сигнала к выступлению, нападению. Другая — готовилась отражать. Впрочем, об активном отпоре никто серьезно в то время еще и не думал — это позднее началось.

Ко мне вечерами иногда заходил староста потолковать насчет хозяйства. Однажды, поговорив о том, о другом, он как-то вдруг перескочил на разгром помещиков, и таинственно заметил:

— Подбираются и к нам!..

— Что вы?! Откуда это?!..

— Самого на-днях допытывали, буду ли я защищать господское добро, если придут. Ну, я ответил: костями лягу, а не допущу! Пусть через меня шагают!

Кто были вопрошавшие, он не сказал. Однако, не верить старому человеку не было оснований.

И я начал ждать.

В усадьбе при доме были две огромных овчарки. Днем их держали на цепи, на ночь — спускали. Ночь. Спишь, но спишь чутко и разом просыпаешься, услышав в саду неистовый лай. «Там рига сбоку, — вероятно, пришли», — проносится в голове. Начинаешь раздумывать о том, как поступить, когда придут в дом. Страх за свою жизнь, собственно, не чувствовалось. Но ужасно корбило то нелепое положение, в каком по необходимости очутишься. Защищаться, конечно, не станешь: нет оружия, да и рука не поднимется. Объяснять, кто ты такой, и в силу этого требовать, чтоб тебя оставили в покое, дико в такие минуты. Да и кто поверит? Крестьяне знали лишь, что приехал



какой-то отдаленный родственник и хочет отдохнуть тут,—вот и все. Наконец, стоять и спокойно смотреть на происходящее, сложа руки и не говоря ни слова,—такая роль тоже возмущала до глубины души.

— Нечего сказать, приятное положение! просидеть за народ 25 лет, а потом ему попасть на вилы!—пытался я острить и, вероятно, кисло улыбаться впотьмах, прислушиваясь к лаю собак. Вилы, тут, конечно, упомянуты ради красного словца: о них не могло быть и речи. Известно было из газет, что жечь жгут, но убивать не убивают. Притом же наша усадьба находилась в очень хороших отношениях с ближайшими деревнями. Ее владельцы устроили им школу, содержали ее на свой счет и в тяжелые минуты всегда приходили на помощь крестьянам. Враждебного отношения тут нельзя было и ожидать... Но то время было все-таки особое время.

Так, верстах в 10—12 от нас находилась еще одна усадьба в подобных же условиях. Ее хозяин часто помогал ближайшим крестьянам. Но вот однажды к нему на луга пустили, не спросясь, лошадей из чужой деревни. Он велел загнать. Приходят крестьяне этой деревни. Начинается объяснение: сначала—спор, но потом все заканчивается миром, и в результате распивается даже мировая бутылка.

— А ведь не нынче-завтра мы все-таки придем к тебе на усадьбу делить твое добро: у тебя хороши коровы, да и хлеба немало,—полусмешливо-полусерьезно разболтались под конец крестьяне.

Говорилось это добродушно, по-приятельству. Но ясно было, что такая мысль у них бродит.

Хозяин знал, что эта деревня слыла за очень решительную, смелую, а потому перепугался не на шутку. И вот, когда ушли чужаки, он пригласил своих ближайших соседей-крестьян, рассчитывая найти в них себе защитников.

— Вот были рябковцы и похвалялись забрать себе и мой хлеб, и моих коров (у него была целая молочная ферма). Так как вы, ребята: будете меня защищать или отдадите на разгром?—задает он вопрос.

— Вестимо дело! Зачем нам давать тебя в обиду? Как не помочь?.. Да разве же можно позволить, чтоб эти разбойники-рябковцы разобрали твой скот?—горячо заговорили все разом пришедшие.

— Ну, нет! У нас самих, вон, совсем стало мало коров—сам знаешь! Как можно отдать рябковцам? Нет! Коли на то уж пойдет, так мы лучше твоих-то коров себе возьмем,—закончили они самым спокойным, рассудительным тоном.

Этого не случилось, и я привел этот эпизод лишь для пояснения своей мысли, что то было особое время. Казалось, все верили, что наступила пора, когда земля и добро помещиков должны будут поступить в общий раздел. По деревням лишь ждали бумаги, указа свыше. Достаточно было слуха, что в волости получен какой-нибудь пакет, как молва сейчас же разносила об этом весть со своим вольным толкованием.



Всякий печатный клочок бумаги со словом «земля» был в состоянии поднять деревню, а затем, когда крестьяне поднимались и шли делить господское добро, тут они уже не особенно разбирались, кто был хорош, кто плох, тем более, что толпа составлялась обыкновенно из жителей разных деревень. Для такой толпы всякий помещик, всякая усадьба могла стать целью нападения, лишь бы нашелся один энергичный человек, который повел бы их смело вперед.

Хорошо сознавая это, я не особенно полагался ни на обещание старосты «лечь костьми», ни на хорошие отношения соседних крестьян. Только позднее мне пришлось однажды услышать успокоительные слова. Для починки кой-чего я пригласил в дом столяра из дальней деревни. Он заметил, что у нас во многих местах прогнил пол в столовой.

— Пора бы пол-то перестлатъ: дом-таки давненько стоит!—указывая на щели, говорит он мне.

— А чего его обновлять?.. Ведь все равно не нынче-завтра сожгут!—отвечаю ему я полушутя.

— Что вы? Никто и не думает жечь вашу усадьбу. Можете спокойно ее поправлять. Мне это хорошо известно,—с убеждением добавил он.

Это вполне и оправдалось потом. Я и сам перестал вскоре думать о нападении. Чувство опасности как-то притупилось. Вначале же напряженное ожидание прямо мучило, все валилось из рук. Не раз мне пришлось слышать в это время от помещиков:

— Да хоть бы скорей приходили! По крайности, кончилась бы эта глупая неопределенность, выжидание. Знали бы, что делать, а то нет охоты ни за что взяться.

Скоро у меня прибавилась и еще неприятность... В силу сенатского постановления нас должны были бы отправить из Шлиссельбурга на поселение в Сибирь. Но там шла забастовка на железных дорогах, а впереди ожидалась первая Дума. И вот начальство решило раздать нас на поруки родственникам, оставив в России. Однако, разом расстаться с нами, сдать с рук на руки поручителям показалось ему опасным. Поэтому каждому из нас дали еще двух провожатых, присовокупив успокоительные слова, что они доведут нас только до места назначения, а там, сдав местному начальству, вернутся в Петербург. Сначала так и было. Провожатые, доехав до уездного города, сейчас же меня оставили, доложив лишь исправнику о благополучном прибытии. В усадьбу мы отправились одни, и там у меня уже не было никаких хранителей.

Так прошел месяц-другой, пока не переменялся губернатор. Просматривая дела, новый губернатор обратил внимание, что в одном уезде живет у него опасный человек и—что всего ужаснее—без всякого надзора. Исправник взял на себя лишь обязательство сообщить о побеге, если я исчезну из усадьбы. Допустить такое послабление губернатору показалось немыслимо, и в уезд полетело предписание...



Было яркое, бодрое утро. Березы, покрытые искрящимся инеем, представляли волшебную картину. Я только что вернулся с обычного обхода конюшни, коровника, риги и засел читать или писать,—сейчас не помню.

— Приехали помощник исправника и просят вас выйти в столовую!—слышу я неожиданно сзади тихий, испуганный голос прислуги.

Меня передернуло. «Что такое»?—думаю. Выхожу, называю свою фамилию. Мы не были знакомы. Полагая, что помощник приехал просто навестить меня, пытаюсь завести беседу. Не тут-то было: мой собеседник плохо поддерживает разговор, видимо, мнетя, чем-то смущен и все поглядывает на прислугу. Чтоб удалить ее, прошу приготовить нам закуску, приглашаю гостя выпить. Не успела женщина скрыться, как помощник, быстро нагнувшись в мою сторону, почти шопотом заговорил:

— А ведь я вам неприятную вещь должен сообщить!

— Что такое?

— Да велено к вам поместить двух наблюдателей: один будет в штатском, а другой—уж извините—в военной форме, и притом вы им должны еще при себе и квартиру отвести!—закончил он упавшим голосом.

— Это невозможно! Вы сами знаете, что я живу не в своем доме и распоряжаться тут не могу!—запротестовал я горячо.

— Да. Но вот предписание от губернатора. Прочтите! Здесь я не при чем!—оправдывался бедняга. Это был человек старых времен, когда власти к богатым помещикам относились с большим уважением, и ему обидеть моего родича казалось верхом неприличия.

Стал он читать бумагу вслух; слышу: «... и он должен указать им квартиру»...

— Что же! — говорю — отлично. За полторы версты отсюда есть деревня, а там, я знаю, у одного крестьянина сдается комната. Вот и пускай ее наймут!

— Вы, значит, указываете на эту квартиру?—подхватывает радостно помощник, напирая на слово «указываете».

— Да, указываю!—повторяю я.

Начальство облегченно вздыхает и дает мне подписать, что бумага была мне пред'явлена.

— Теперь еще вас надо будет показать стражникам! Они что-то замешкались в дороге... Но сейчас, верно, прибудут!— снова заговорил помощник.

Скоро доложили об их прибытии. Им велено было притти к нам. В коридоре слышались шаги. В дверях показались две громадных, мохнатых манчжурских папах... Пауза... Помощник не спешит нас знакомить и не отдает распоряжений насчет квартиры. Встаю сам и иду к стражникам.

— Здравствуйте! Вы вот что сделайте!—говорю я им.—Ступайте сейчас на деревню, найдите там себе комнату,—на кухне вам скажут,



у кого она есть,—а завтра утром приходите ко мне. Да, чур, не болтать, зачем вы здесь!—закончил я свои наставления.

— Слушаем!—отвечают стражники и, повернув, уходят.

Вслед за ними уехал и помощник. Дал он им от себя еще какие наставления, не знаю. На другой день, напившись чаю, спрашиваю:

— А что, пришли стражники?

— Сидят на кухне!—отвечает кухарка, она же и горничная.

Отправляюсь к ним, здороваюсь и, чтоб сказать еще что-нибудь, спрашиваю:

— Ну, что, как у вас на деревне? Все благополучно?

— Все обстоит благополучно!—отрапортовал, вытянувшись, старший. Мне даже показалось, что он поднял руку, дабы взять под козырек.

Так началась охрана, и это представление стало повторяться ежедневно по утрам.

Перекинувшись в кухне двумя-тремя словами, мы расходились. Стражники после этого куда-то исчезали, и я их не видел до следующего утра. Казалось бы, надзор и его неудобства были невелики, но меня он сильно волновал. Хотя стражников не было видно, но их присутствие чувствовалось на каждом шагу. Без них я не мог никуда ни ездить, ни ходить далеко вне усадьбы. По предписанию, я обязан был брать в своих поездках всегда одного хранителя—это портило даже обычное катанье, и я перестал кататься. Затем пошли расспросы со стороны местных жителей. Сначала предположили, что стражники были вызваны для охраны усадьбы,—в то время некоторые помещики уже обзавелись ими,—но скоро увидели, что это не подходит, и начались снова расспросы. Это мне надоело, и я начал хлопотать о снятии надзора, ссылаясь на петербургские уверения, что на месте охранников не будет.

На дворе становилось теплей. Люди понемногу начали вылезать из хат. Мои стражники—тоже. И теперь частенько я стал видеть, как они блуждали по двору. Оказалось, что с кухни они уходили в казарму рабочих, где и просиживали раньше по целым дням, там же и столуясь. Им не было отпущено денег на жизнь, и они у меня же просили одолжить им. «Нечем кормиться»—объясняли они свою просьбу. Как сказано выше, я всячески уклонялся от разных поездок, чтобы не брать провожатых. Но вот была мною задумана маленькая тепличка, и явилась настоящая необходимость съездить в город закупить лес, заказать рамы.

Иду на конюшню. Прошу заложить сани.

— Мне никак нельзя ехать с вами! у меня много работы!—заявляет кучер.

— А вы умеете править?—обращаюсь к одному стражнику, который неподалеку откуда-то вынырнул в это время.

— Мы из крестьян, как не уметь!..

— В таком случае поедemте со мной в город!



— Хорошо-с!—с радостью согласился тот.

Нам запрягли санки, и мы покатали.

В городе, по приезде на постоянный двор, мой страж сейчас же бросил меня и куда-то ушел на все время, пока я возился с заказами и покупками. На этот раз неудобства от хранителя не вышло. Однако, повторять поездки я уже не решался. Ровно через месяц стражников не стало: наши хлопоты увенчались успехом.

Нарядившись в парадную форму, они пришли прощаться и тронули меня своими сердечными пожеланиями.

Вместо них за мной поручили теперь наблюдать и следить уряднику, который и стал под разными предлогами частенько навещать нашу усадьбу, пытаясь повидать и меня, а, кроме того, расспрашивая подолгу старосту. Видимо, он посвятил его в тайну, что сразу отразилось в его опасливом отношении ко мне. Староста стал избегать меня, уклоняться от разговоров. Собственно, лично для меня частые визиты урядника были бы и безразличны. Но так как это давало пищу длинным языкам и бросало как бы тень на усадьбу, то получалась все-таки неприятность. Даже ссылка в Сибирь порой стала теперь представляться мне почти заманчивой. Там сразу попал бы в определенные, всем понятные условия. Там много своих. И, значит, я очутился бы в своей знакомой среде, где все знают, кто ты, и нет нужды играть какой-либо роли. Ты есть ты, а не какой-то там фиктивный барин.

Я стал просить сестру похлопотать о переводе меня хотя бы на минеральные воды Кавказа<sup>1</sup>. Я сильно страдал катаром желудка, и просьба имела серьезное основание. Начались хлопоты. Теперь я немного успокоился, принялся возиться то с тепличкой, то с парниками, с огородом и т. д. Наступила весна. Я посадил квочку на яйца, стал воевать с воронами, которые принялись было таскать живых цыплят. А тут зароились пчелы—надо было их ловить, смотреть, где садился рой. К этому времени и усадьба оживилась. Поприехали на лето родичи, знакомые, молодежь. Начались игры, прогулки в лес, катанье в лодке ночью, зажигание костров. Словом, жизнь изменилась. Можно было бы и не уезжать.

«Поездка на воды разрешена. Жди. Сестра»—читаю принесенную телеграмму, и меня разом охватывает жажда движения и перемен. Интерес к настоящему пропадает мигом.

После ряда передраг и полицейских придирок, о которых я рассказываю в другом месте<sup>2</sup>, является ко мне урядник и дает из Питера бумагу, прося расписаться. Читаю: «Секретно». А дальше коротко: «Отпустить (такого-то туда-то) немедленно». Отношения меняются

<sup>1</sup> Мне-то, собственно, хотелось попасть в какой-нибудь большой город. Но для просьбы необходимы были мотивы. Таковыми же могло быть лишь лечение.

<sup>2</sup> См. очерк «Вера Дмитриевна Лебедева».—Ред.



разом. Об этапе нет и речи. Мне сейчас же выдают проходное свидетельство и не посылают даже городского проводить хоть до вокзала. А вокзал был в ста шагах от полиции. Впрочем, по незнанию, а, может, и умышленно, не преминули все-таки подстроить маленькую неприятность.

Весь мой путь на Кавказ был исчислен в пять-шесть суток, и строго-настрого приказано было прибыть на место в этот срок и явиться по начальству, грозя за просрочку разными параграфами закона. Я поверил дословно сказанному—и мчался, мчался без оглядки... Мне надо было заехать в Ростов повидать товарища. Не тут-то было! Я едва выгадал денек-другой, чтоб взглянуть, хоть бегло, на свою родину и свою слободку. Приезжаю в Пятигорск. Бегу скорей в полицию. Там нет пристава, а есть его помощник. Иду к нему, называю свою фамилию, показываю бумагу и прошу засвидетельствовать, что явился во-время. Тот недоуменно слушает, а потом, не торопясь, говорит:

— Я вас не знаю! принять не могу!

— Я не здесь буду лечиться! Мне надо в Ессентуки ехать!—спешу я пояснить ему, почему мне необходима прописка.

— Я вас не знаю и принять не могу. Поезжайте, куда хотите!—уже нетерпеливо повторяет помощник.

«Ну,—думаю—верно, он ничего не знает. Надо с самим приставом увидаться»... Остаюсь до следующего дня и с упорством добиваюсь свидания. Пристава насилу удалось уловить в полиции лишь вечером. Являюсь, повторяю вчерашнюю процедуру и вдруг к удивлению слышу то же:

— Мы вас не знаем. Принять не можем! Поезжайте, куда вам надо!

Чего же я торопился? Не досадно ли? Однако, я все еще боюсь оказаться неисполнительным. Еду сей же час в Ессентуки и бегу там в полицию. Застаю опять лишь помощника пристава и повторяю просьбу записать, когда я явился. Тот упирается. Я настаиваю. Он неохотно делает надпись на одной моей бумаге. Тут же сам я вписываю в книгу, где буду жить: квартира мне уже была найдена Михаилом Родионовичем Поповым, который прибыл туда раньше. Покончив с полицией, успокаиваюсь, наконец, и принимаюсь за лечение, т.-е., пью щелочные воды и беру ванны. Проходит почти месяц.

— Чего же ты в полицию не заявишься?—встревоженно заговорил как-то Родионыч, возвратясь из сада.

— В чем дело?—спрашиваю.

— Да встретил я в саду пристава. Он рвет и мечет, что никак не могут найти тебя. Пришли, наконец, твои бумаги, а они не знают, где ты, и даже, здесь ли.

— Я же был у них и записал свой адрес!—говорю я.



— Все-таки сходи, повидайся. А то еще отпишет, что тебя нет, хотя я его и уверял, что ты здесь.

Иду в полицию. На сей раз там был пристав,—из туземцев, говорит по-русски с акцентом. Узнав, кто я, набрасывается с выговором о неявке в свое время.

— Был!—говорю.

— Как был, когда я не знаю? Я первый раз вас вижу!

— А вот смотрите!—говорю я и показываю на своей бумаге надпись помощника пристава.

— А где же вы живете? Почему адреса не сообщили?—в том же сердитом тоне продолжал пристав.

— Даже собственноручно вписал его!

В адресной книге, действительно, находится мой адрес.

Пристав набрасывается уже на служащих: почему они ему ничего не сказали?

— Я всех городских разогнал вас искать, а они молчат!—оправдывал он свой гнев.

Это был довольно добродушный человек, но любивший иногда показать, что он «гроза». С ним несколько раз выходили у меня и Родионича курьезы. Он нас постоянно путал: меня принимал за Родионича, его—за меня. Полиция находилась у курортного сада. Идешь оттуда и иногда встретишься с выходящим или приходящим приставом.

— А, здравствуйте! Вот хорошо, что встретились. Скажите, пожалуйста, Фроленко еще здесь, не уехал?—обращается он ко мне.

— Здесь!—говорю.

— Но куда он запропастился? Почему никогда я его не вижу? — продолжает он, по обыкновению горячась.

— Напротив—говорю—вы его видите!

— Где? Когда?—порывисто спрашивает пристав.

— Да вот хотя бы сейчас, например!—отвечаю я ему смеясь.

— Ах! а я вас принял за Попова...

В этом же роде, но по другому поводу, происходили с ним сценки и у Родионича.

В общем же полиция нас здесь совершенно не тревожила. И я, можно сказать, впервые, наконец-то, восчувствовал настоящую волю-свободу. А между тем, когда меня провожали сюда, были страхи, как бы не очутился я еще в худших условиях, чем это было в России. Ведь здесь еще так недавно происходили восстания, усмирения: казалось, легко наскочить на недоразумение. И вдруг—полная свобода. Я ожил, и снова интерес к работе, планы устройства жизни зародились в голове.



## VI. Памяти отошедших.

### 1. Сергей Жебунев и Кобиев.<sup>1</sup>

В 1873 г., когда уже мы, москвичи, перешли к занятиям с рабочими, и мне передали небольшую артель на заводике шипучих вод, недалеко от Хитрова рынка, я, чтобы было ближе ходить, поселился тут же в одних номерах сомнительной чистоты во всех отношениях. Достоинство этих номеров состояло в том, что тут не спрашивали паспортов и совершенно не обратили внимания на то, что среди жуликов поселился студент. Бедность загоняла сюда и не студентов—словом, жить было спокойно, и вот летом, в конце, как-то ко мне вдруг, смотрю, вваливаются Кобиев и еще неизвестный мне молодой, худощавый, нервный, подвижной человек. Кобиева я знал, а молодого человека он представил мне, как Сергея Жебунева<sup>2</sup>. Оба они учились в Швейцарии, а теперь, по их словам, нашли, что нечестно углубляться в науку и думать лишь о своей карьере,—надо это бросать и скорей приниматься за простой народ, надо его вытаскивать из темноты на божий свет. «Мы едем на юг, будем учительствовать, вести пропаганду революционных идей, нас—целая компания. Читая за границей только «Отечественные Записки», мы все как-то сразу пришли к выводу, что мы обязаны вернуться в Россию и немедленно приняться за работу в деревне. Одни уж поехали, а мы двое заехали узнать, как обстоит дело в Москве». Кобиева я знал еще по гимназии. Он был сын генерала из Грузии и к нам в гимназию попал поздно, в последние классы. Учился неважно, но примкнул сразу к кружку более радикальному. По окончании гимназии, под влиянием Нечаевского процесса, он в 71 г., так же, как и я, очутился вдруг в Петровской академии, и мы целой компанией ставропольцев зажили сначала вместе даже, но скоро новые петровские порядки разочаровали многих, и мы начали разбредаться. Кобиев в начале 72 г. уехал за границу—туда в тот год была большая тяга—и о нем пропал слух, а теперь он вдруг вынырнул и, казалось, пришел к тому же выводу, как и я. Однако, я не решился посвятить их в наши московские дела, не сказал, что

<sup>1</sup> Первоначально — «Каторга и Ссылка» 1924, № 5. — *Ред.*

<sup>2</sup> Сергей Александрович Жебунев род. в 1847 г., умер 10 июня 1924 г. Один из самых ранних деятелей хождения в народ. — *Ред.*



состою уж и членом революционного кружка, а ограничился лишь общими неопределенными фразами, что люди не спят, а понемногу двигаются. О том, что мы в Петровках начали устраивать литературные вечера и хлопочем о выработке своего мировоззрения, он знал и понял, что все, значит, продолжается. Поэтому они стали оба просить поддерживать с ними сношения, переписываться и сообщать, если что случится. Дали свой адрес и т. д. Затем перешли мы к более простым личным темам. С. Жебунев вдруг и спрашивает меня: «А что это у вас за книжка, что вы больше читаете?» Я как-то не нашелся сразу одним словом охарактеризовать такие книги, как Спенсер, Бокль, Дрепер, Лавров, Милль, Соколов, и бухни вдруг: «Да такие, которые более специальный какой-нибудь вопрос разрабатывают». — «Как! Это в такое-то время и вы находите возможным заниматься чтением специальных книг! Это мерзко! Подло просто!» — вдруг неожиданно разразился мой нервный гость. Милейший Сережа, он так горячо, искренно выругался, что я даже не обиделся, увидев сразу, что под словами «специальные» он разумел книги по академическим предметам, и потому нарочно спрашиваю: «А вы читали, например, Спенсера или Лаврова?» — «А, это другое дело. Я-то, выходит, не так вас понял». И мы почти всю ночь тогда проговорили, а о чем — я теперь, конечно, не помню. Только знаю, что впечатление у меня осталось о нем, как о милом и искреннем человеке, горячо преданном революции. На другой день они уехали. Раза два мы перекинулись письмом, а затем их скоро забрали всех. К моему огорчению, я узнал, что они провалили и меня, внося в список своих членов. У них оказался предатель.

## 2. И. М. Ковальский.

(Заметка к воспоминаниям С. Лиона)<sup>1</sup>.

Тов. Лион в своей статье, говоря о Ковальском, замечает, что к Ковальскому в Одессе относились иронически за его, будто бы, пессимизм. Это, по-моему, не вполне верно. Правда, к Ковальскому было отношение несколько с усмешкой, когда заходила о нем речь, но улыбку вызывал не его пессимизм, а скорее оптимизм, его непрактичность, то, что он мало обращал внимания на окружающую действительность и строил теоретические планы из головы. Он был как бы не от мира сего, имел много странностей, как человек, живущий только своей духовной жизнью.

В 75 году мне одно время пришлось жить с Ковальским в Николаеве вместе с Дробязгиным. Мы тогда вели дело со штундистами, и Ковальский, как знаток св. писания, являлся нашим главным представителем.

<sup>1</sup> «Каторга и Ссылка» 1924, № 5. Там же первоначально помещена и статья М. Ф. Фроленко. — *Ред.*



Но дело пока не в этом, а в том, что, живя вместе, а потом в Одессе встречаясь в 76—77 г.г., я никогда не замечал у него ни малейшего пессимизма. Правда, мы оставили Николаев, бросили возиться там с деревенскими штундистами. Дробязгин и я ушли в бунтарство, Ковальский переехал в Одессу. Но когда я встретился с Ковальским в конце 76 г. в Одессе, я снова видел, что он продолжает дело с городскими одесскими штундистами и еще подыскал себе какого-то пожилого интеллигента из немцев в помощники. Притом надо заметить, что мы хотя и отошли от тех прибугских деревенских штундистов, т.-е. живущих по Бугу, что приезжали к нам в Николаев, но это вовсе еще не означало, что мы махнули и вообще рукой на деревню—нет. Ничего подобного. Бросив одних, мы начали строить планы насчет других—и только недостаток денег затянул выполнение этого нового набега на деревню, а затем подвернулось уже готовое якобы восстание в Киевской губ., куда я ушел с Дробязгиным, Ковальский же с Юрковским. Златопольский переехал в Одессу, где, как только мы встретились, Ковальский первый заговорил: «Ну, что-ж. Одно не выгорело, не беда. Будем искать другого»,—и он в это время, знаю, подобрал себе небольшую кучку молодежи и читал им лекции и вел беседы о революции, а в то же время не прекращал сношений ни со штундистами, ни с одесскими радикалами, пытаясь последних даже объединить на устройстве одной общей революционной кассы, а потом типографии. Во всем этом я также не вижу пессимизма. Напротив. Правда, относительно кассы дело не пошло, но тут сказалась его непрактичность. Все одесские радикалы находились в довольно-таки плохом денежном состоянии. Ковальский знал это и по себе, а между тем предлагал составить революционную кассу из процентных взносов со своих заработков, каковые имели два—три человека в размере 25—30 руб. в месяц, и вот из этого-то он и хотел устроить банк. Идея о банке у него засела еще в Николаеве; там у нас после нашей возни со штундистами осталась небольшая рыжая свинка. Куда ее деть? Недолго думая, Ковальский уговаривает штундистов устроить свой банк и в основу, как фундамент, положить эту свинку, отдав ее на кормление одной семье. Свинку берут, подкармливают и спокойно потом с'едают—банк рушится. Но Ковальский в Одессе снова поднимает вопрос о кассе и, конечно, проваливается. Тогда он прибегает к новому способу. Ему сообщили, или он как-то узнал, что некоторые из либералов согласны ежемесячно давать по сколько-то нашему брату. Ковальский достает приличный, хотя ему и не по плечу, костюм и самым серьезным образом обходит их. Сколько он собрал таким путем, не знаю, но я видел, как его с улыбкой провожали его же друзья, когда он отправлялся в обход. Конечно, иногда над ним подтрунивали—Дробязгин, например, целую шуточную поэму написал, когда мы жили в Николаеве, но все-таки это не мешало относиться к нему с должным уважением, как к человеку, глубоко и серьезно относящемуся к революции. Трунить же над ним было не-



трудно. Он к этому подавал, как оригинал, массу поводов. Одна его фигура, когда его кто видел идущим куда, невольно заставляла и самому улыбнуться и другим рассказывать. Широкополая шляпа, пиджачек с чужого плеча, короткие брюки, грязное белье из полотна, ботинки и широко шагающая, как-то ныряющая, неуклюжая фигура с рыжей бородой невольно бросались в глаза. А к этому, когда почти все наши стали носить револьвер, обзавелся им и Ковальский и помещал его сзади под пиджаком на поясе. Знающие, по выпуклости на зад, сразу, конечно, это видели и, придя куда-нибудь, не упускали случая подтрунить на его счет. А он полагал, что очень хорошо законспирировал его. В Николаеве мы не всегда могли иметь обед в кухмистерской. Питались чаем с хлебом, творогом, яйцами. Ковальский покупал творог, всегда выбирая самый ослизлый, испорченный, яйца тоже. Я с Дробязгиным не могли есть, а он ел, как видно было, с большим удовольствием.

В университете ему показалось, что у него завелись глисты, и тогда он придумывает для лечения ходить к морю и пить там морскую воду. Помогло,—говорил.

Вышел у нас как-то сахар. Остался лишь один кусок пиленый. Купить нового—нет денег. «Бросим жребий»—предлагаем мы с Дробязгиным. «Нет,—говорит Ковальский,—дайте мне третью часть». Даем ему треть. Он берет, колет этот кусочек еще на несколько малюсеньких кусочков и начинает, опуская их по одному в стакан, пить якобы в накладку. «Неужели чувствуется хоть какая-нибудь сладость?»—спрашиваем.—«Даже очень сладко»—отвечает серьезно.

Штундисты ежегодно устраивают тайную вечерю, где старший брат играет роль спасителя, другие—апостолов; тут происходит преломление хлебов и прочее. Николаевцы захотели посмотреть на это. Штундисты из'явили согласие. Ковальский взялся быть путеводителем. Вечеря должна быть в одной деревне, где Ковальский бывал. Поехали, вышли на какой-то железнодорожной станции. Пошли в деревню; шли, шли по полям—нет, не туда. Повернули, опять шли, шли—нет, не туда. Снова надо поворачивать, но тут на выручку явились жандармы и вместо деревни предложили всем вернуться в Николаев, а там их, до выяснения дела, засадили попросту в тюрьму. Это было в 74 г., когда шла ловля радикалов, отправившихся в народ. Жандармы, со станции увидев, что какие-то молодые люди и молодые барышни чего-то блуждают по полям, решили их попытать, кто они и чего тут ходят. У наших же один оказался нелегальным; увидав жандармов, он бросился наутек, у других же, когда спросили документы, их не оказалось. Вот их потому-то и заперли. Ковальский совсем не умел ориентироваться в мало знакомой местности и это еще раз доказал. Ему поручили в Николаеве спрятать тючек с нелегальной литературой. Он пошел в ближайший лесок, зарыл тючек в землю и ушел. Вскоре тюк понадобился. Пошли с Ковальским за ним, но так до сих пор тючек и не найден. Ковальский не нашел того места, где зарыл.



Вот ряд таких промахов, с одной стороны, а с другой стороны, все его странности и были причиной, что на него и на его некоторые предложения смотрели несколько с усмешкой, хотя его умение логически мыслить и говорить всегда ценили. Что же касается до того, что будто он первый стал проводить мысль—защищаться при арестах, то это опять-таки неточно. В 75 г., когда мы возились с мирными штундистами, никто еще не помышлял заводить оружие, и вопрос о сопротивлении не поднимался еще—это было летом. Но вот в Герцеговине, Черногории поднимается восстание, наши заграничные товарищи, как Кравчинский, Клеменц и др., шлют воззвание в Россию и присылают даже нарочно в Николаев Аксельрода звать меня и других. Но в это же время поднимается и Чигиринская история в России (тогда, в конце 75 года, является бунтарская программа). Решая, куда лучше направить свои силы, большинство из нас в Николаеве сказало, что в Россию. Один лишь выразил согласие, но не поехал; и только позднее Дзвонкевич, Волошенко и Бальзам отправились спасать братьев (Бальзам был убит, Волошенко и Дзвонкевич вернулись), то же сделали еще несколько человек, но главное то, что как только явилось бунтарское направление, люди стали запасаться оружием, принялись за обучение стрельбе. Юрковский в Николаеве, пристроив кузнечный мех (осень 75 г. и зима 76 г.), в обыкновенной хате выковывает с Бальзамом ножи-кинжалы. Попко с компанией, ведя сношения с контрабандистами и перевозя нелегальщину и типографию, тоже вооружается,—словом, вопрос об оружии выдвигается на первое место, а рядом с этим, конечно, является не у одного кого-либо, а у всех мысль о том, что раз у тебя есть в кармане оружие, то ты его должен будешь пустить в ход, хотя бы человек и не задавался ясно формулированной целью—непременно оказать сопротивление. Я помню такой случай. Мне приходилось несколько раз ходить из Николаева в Одессу и обратно, и вот помню, когда, наконец, у меня оказался в кармане маленький, плохонький револьвер, данный мне на дорогу Мокриевичем, и я пошел из Одессы в Николаев, то мне казалось, что я иду не один, а с каким-то другом, товарищем, который не даст уж меня в обиду, наверно защитит, потому я чувствовал себя удивительно хорошо, покойно; между тем никто из нас тогда и не поднимал вопрос о самозащите. Это было ясно, конечно, для каждого, кто брал в руки оружие и начинал его носить с собой постоянно. Ковальский потом в своих беседах, конечно, мог говорить и на тему о необходимости самозащиты и относительно отпора жандармам, но сказать, что ему первому пришла эта мысль—нельзя. Момент новой наступившей стадии в способах революционной борьбы создал и выдвинул на первое место эту мысль, а не отдельные лица. То Юрковский скажет—«я первый», киевские бунтари скажут—«нет, это мы». Брат Владимира Мокриевича, Иван, еще за границей стал обучаться стрельбе и попадал, говорят, в ворон, когда вернулся в Россию—и таких, наверно, много было, так что говорить о пер-



венстве нет нужды, и притом это не столь уж важно. Ковальский характерен не этим, а тем, что в нем сказался революционер того времени, ищущий и нащупывающий новые пути, новые способы к осуществлению революции, поэтому бросая одно, он брался за другое, потом третье. Его остановили на устройстве типографии; не будь этого, он пошел бы дальше и, я уверен, не остановился бы, не пошел вспять, а так же, как и другие, прошел бы последовательно и через другие этапы.

Логически думать он умел и обладал довольно выдающимся умом, мог толково передавать другим свои мысли, и из него, наверное, получился бы выдающийся теоретик-писатель. В Николаеве он работал в «Николаевском Вестнике», но непроизвольный, чисто автоматический толчок жандарма, сбив его с ног, лишил революцию видного деятеля. И что досадней всего—жандарм-то был из сочувствующих. Их целую команду распропагандировал Щербина, сидевший у них в заключении вместо тюрьмы при казармах. Это был наилучший из жандармов, и его поставили у выхода из дверей на улице, когда производили обыск в типографии. Ковальский, выстрелив и напугав вошедших с обыском, воспользовался переполохом—это ведь была первая у нас подобная встреча—выскочил и бросился наутек, но когда он выбегал уже на улицу, тут жандарм подставил ему ногу, совершенно инстинктивно, не думая. Ковальский упал и был арестован. Жандарм только тогда сообразил и понял, что он наделал, и в тот же день, ночью, прибежал к Златопольскому, хотел бросить даже службу, бежать за границу, но его уговорили остаться, и потом он носил письма заключенных, но Ковальский погиб.

### 3. Михаил Родионович Попов.

Михаил Родионович Попов был членом «Земли и Воли», а когда она разделилась на «Черный Передел» и «Народную Волю», то остался в «Черном Переделе», придерживавшемся программы «Земли и Воли».

Однако, несмотря на то, что теоретически Михаил Родионович был земледелец, практически он принадлежал скорее к народовольцам, чем к чернопередельцам. Человек дела, жаждущий работы, при боевой натуре, он не мог усидеть в деревне, когда пребывание в ней свелось к обычному существованию. Благодаря урядникам, усиленному шпионству вести пропаганду в деревне стало невозможно, и Мих. Род. поселяется потом, в 79—80 годах, в Киеве и здесь начинает вести дело с рабочими, задумывает устройство типографии, хочет завести сношения с чигиринцами, задумывает разные террористические предприятия и т. д. Вообще вся киевская его деятельность ведется в духе «Народной Воли», и в Шлиссельбургской крепости он мне говорил, что собирался уже перейти в «Народную Волю», но арест



помешал этому. А между тем еще в 1879 г., когда явился Соловьев в Питер и просил землевольцев помочь ему в деле убийства Александра II, Родионыч восстал против этого всеми силами души, находя такое дело в высшей степени вредным для народников, живущих по деревням. Споры были настолько жарки, что в их пылу люди доходили до выражений, что если найдется Каракозов, то найдется и Комиссаров. Так было в споре, но большинства уже коснулось веяние времени: с юга надвигалось новое направление, и спор закончился тем, что решено было помогать Соловьеву<sup>1</sup>, и Родионыч, больше всех возражавший, взял на себя слезку за выходами Александра II.

В этом сказалась потребность его натуры действовать, работать, а не быть зрителем, как вышло и после Воронежского съезда, и эту основную черту Родионыча можно легко проследить и прочтя статью Сватикова в «Галлерее Шлиссельбургских узников», где о нем подробно сказано вплоть до заключения в тюрьму, и расспросив тех, кто с ним находился в заключении. До тюрьмы мы с Родионычем как-то мало были знакомы, хотя принадлежали оба к землевольцам, но встречались больше случайно и всякий раз на каком-нибудь деле. То он собирается в «народ»; то покупает лошадь для развозной торговли по деревням Воронежской губернии; то он спешит в центр на замену арестованного члена; то он собирает членов на Воронежский съезд, чтобы решать вопрос о терроре; то он с другим устраняет одного шпиона-provokatora, подбивавшего Лебедеву устроить в Москве тайную типографию<sup>2</sup>; то он в Киеве советуется насчет выбора заведующей в ту типографию, что сам задумал. Это все встречи до заключения.

Но вот сижу я в Алексеевском равелине (1882 г.) и уже успел цынгой заболеть: ноги отказываются ходить. Вдруг слышу лязг кандалов. На нас их не надевали. Кого-то, значит, привели со стороны и посадили рядом со мной. «Кто? Как фамилия?» Сей же час началось перестукивание, как только ушло начальство и наступила тишина.

«Попов!»—слышу в ответ и сначала никак не могу понять, какой Попов. Про Родионыча я знал, что он отправлен уже на Кару, и поэтому долго недоумевал, пока он не объяснил целой длинной истории своего привоза с Кары. На Каре было несколько побегов. Помогала вся тюрьма. Бежали по жребию. Первыми были вынесены из тюрьмы в столярные мастерские на кроватях, якобы для починки их, Мышкин

<sup>1</sup> Не совсем так. Было решено не запрещать отдельным членам партии помогать Соловьеву,—но это рассматривалось, как их частное дело, а не партийное.—*Ред.*

<sup>2</sup> 26 февраля 1879 г. в Москве, в Мамонтовских номерах, был убит Рейнштейн, предатель и provokator. Убийство было обнаружено лишь через несколько дней. Исполнители остались нераскрытыми. Только несколько лет назад стало известно, что главную роль в этом акте играл М. Р. Попов.—*Ред.*



и один рабочий<sup>1</sup>. Вместо них на койки положили чучела. Побег скрывался недели две, и Мышкин добрался с товарищем до Владивостока и только тут был арестован. Через две недели были вынесены еще двое, потом еще и еще двое, но уже чаще, и тут побеги, наконец, обнаружались. Началась ловля, переловили всех, а по возвращении разные мероприятия, до избиений включительно, пали на всю тюрьму. Родионычу не выпал жребий бежать, но битья и карцеров он перенес очень много, при чем в заключение всего его с некоторыми другими, как наиболее протестовавшего против насилий, привезли в Питер, и одних поместили в Алексеевский равелин, других—в Трубецкой. Таким-то путем и очутился Родионыч моим соседом. Из его рассказов про карийскую жизнь видно было, что и там он играл не последнюю роль и числился в разряде бунтарей, людей способных на все. Он был там и пекарем, он и подкопы рыл, он, составив небольшую артель, и золото добывал, он являлся и помощником старосты, когда требовалась сила и решительность. Золото промывать было надумано с двойной целью: подкормиться и денег скопить. Кто изъявлял желание добывать золото, тому платили хорошо, и, кроме того, отпускалась хорошая пища с мясом (на Каре же кормили очень плохо и недостаточно). К несчастью, промывать золото никто из наших карийцев не умел, а уголовный, приглашенный ими в товарищи, промывал так, что они не только не зарабатывали себе на побег, как предполагалось, но еще обносились, побили сапоги, порвали одежду. Пришлось бросить. Старосте же пришлось помочь при таком случае. На Каре некоторые заключенные, исходя из того положения, что их насильно сюда привезло начальство, отказывались от повседневных работ. Не хотели убирать камер, помогать повару по приготовлению, носить дрова, воду, чистить картофель и т. д. Отказывались и баню готовить. В первом случае трудно было воздействовать, и ограничивалось дело лишь тем, что предоставляли им есть неочищенный картофель, когда он бывал, а бывал он редко, но с баней вышло иное. Когда протестанты не захотели в их очередь истопить баню, тогда староста пригласил другую очередь, а вместе с тем подобрал себе несколько человек на помощь, на случай, если явятся в баню и те, что отказались топить ее. Баню истопили, воды наносили другие...

— Готово! Пожалуйте! Пошли мыться, Смотрят—у дверей стоит староста и при нем Родионыч с товарищами. Пришли мыться и протестанты.

— Вас не пущу!—говорит староста.

— Это почему? Баня казенная!.. Нас обязаны мыть!..

— Ладно! Не пущу!—говорит староста и дает знать Родионычу. Мигом он с товарищами подхватывает протестантов и оттаскивает их в сторону. Так и не дали им помыться, заставив таким путем

<sup>1</sup> Знаменитый массовый побег с Кары был весной 1882 г. Товарищем Мышкина по побегу был рабочий Хрущов.—*Ред.*



в следующий раз уже не надеяться на то, что их обязан кто-то мыть. Родионыч играл тут главную роль, и в тюрьме на Каре вообще о нем составилось такое мнение, что ему часто приписывалось то, чего он и не совершал...

Попав к нам в равелин, он прежде всего задумал завести сношения с другим коридором, который отделялся от нашего большой камерой, где по субботам нас мыли... Родионыча посадили рядом с этой камерой.

Промежуточная камера была довольно велика, и, чтобы сидящий за ней мог услышать стук, требовалось, по крайней мере, для первого раза стучать очень громко. Это не смутило Родионыча, и он, захватив с прогулки небольшой камешек, принялся дубасить так, что часовой сей же час поднял тревогу. Прибежал смотритель и сделал строгий выговор. Это не помогло, однако. Родионыч, переждав малое время, снова начал делать свои опыты и опять безуспешно: сосед молчал, а смотритель, получив донесение о стуке, не упустил, конечно, случая покуражиться и пригрозить.

Угроз Родионыч не побоялся бы, но, сделав еще несколько попыток менее открыто и не получив опять ответов, он решился оставить этот опыт и принялся за новый. Нам вскоре привезли кучу песка, дали деревянную лопату и предложили желающим переливать из пустого в порожнее, т.-е. перебрасывать эту кучу с одного места на другое. Родионыч и ухватился за это дело. Перебрасывая песок, он крепко прижимал к ручке лопаты записку, написанную заранее и слегка намазанную жеваным хлебом. Записка, пока он работал, приставала вплотную и отчасти успевала замазаться. Поэтому жандармы, при беглом осмотре лопаты, не замечали ее, и она оставалась на лопате. Не сразу открыли ее и наши. Первый заметил Мышкин, сидевший на другом коридоре, и таким путем установилось, наконец, сношение с этим коридором.

Тут только мы наверно узнали, кто там успел умереть, кто болен, кто здоров; об'яснилось и то, почему не было ответов, когда Родионыч стучал: сидящий по ту сторону ванной комнаты был сильно болен и затем умер, но жандармы долго еще заходили в его камеру, якобы заноса пищу. Осенью 1884 г. нас из равелина перевели в Шлиссельбургскую крепость, и тут для Родионыча наступило скоро очень тяжелое лихолетье. В равелине у нас со смотрителем как-то совсем было мало столкновений. У Родионыча, как сказано выше, началось, было, оно, но быстро прекратилось. У других и того не было, и этому помогла скрипучая дверь. Стучать в равелине запрещалось, но входная дверь, когда входили дежурные жандармы или смотритель, всякий раз выдавала их приход, и стук прекращался на это время. Простой же часовой, ходивший в коридоре, как-то не догадывался или не понимал, если стучали тихо. Мы же с Родионычем делали так. Я ложился на кровать или садился за стол и начинал обгорелой спичкой записывать на столе его стук. Родионыч же, улучив время, когда



часовой уходил в другой конец, быстро начинал стучать. Таким путем он мне простучал не только о событиях на Каре, но и все свои стихотворения, целые поэмы. К несчастью, не было бумаги, и хотя я их тогда заучивал наизусть, но потом забыл. Сейчас вспоминаю лишь и то не самые стихи, а лишь смысл одного места, где Соловьев в своей речи на суде говорит судьям, что «казнить меня вы, конечно, не преминете, но знайте, верю я, что на моей могиле все-таки дуб свободы разовьется!» В Шлиссельбурге как-то о своих стихах М. Родионыч умалчивал, и про них никто не знал, да и сам он, верно, не был о них высокого мнения; так они и заглохли, а между тем в них много было интересного по содержанию, хотя форма и отделка хромали на обе ноги.

В Шлиссельбурге с первого же раза стук был обнаружен, и началось гонение. Некоторые, как Мышкин, например, не хотели и скрывать стука. Смотря на свой перевод с Кары в Шлиссельбургскую крепость, как на похороны заживо, они говорили, что дорожить в таких случаях жизнью не стоит и потому не стоит скрывать стука. Как нарочно, Родионыч сидел над Мышкиным, и вот тут-то для Родионыча и начался самый ужасный период. Его много раз таскали в карцер и сажали лишь на хлеб и воду. Однажды, сидя в карцере, он вздумал подняться на окно и взглянуть через форточку на божий свет. Подоконники в окнах во всех камерах были очень покаты, дабы нельзя было на них стать, но Родионыч, ухватившись за повисшую фарамыгу (верхняя часть окна, вся откидывавшаяся вниз на петлях), поднялся и стал смотреть, как вдруг сорвался и повис на одном пальце. Его сняли, но палец, причинив сильные физические страдания, остался навсегда испорченным. Вскоре смотритель, видя, что карцер не прекращает стука, прибег к новой попытке: он приходил к стучащему и начинал донимать угрозами, грубостью, намекая, что в его распоряжении есть статья о 50-ти розгах. Так было с Мышкиным и Родионычем. Им он надоедал до того, что они просили его наказывать лучше, да только оставить их в покое; но смотритель не переставал, и вот в последний раз, вероятно, произошло то же. Смотритель стал выговаривать, угрожать; это взорвало Мышкина, и он запустил в смотрителя миской, облив его щами. Вскоре Мышкина расстреляли, но в результате через день или два тот же смотритель пришел к Родионычу и сам же стал просить его постучать Арончику, который начал сходить с ума, и когда Родионыч стал выговаривать ему за Мышкина, смотритель заплакал и заговорил: «Ты думаешь, я изверг—делаю от себя! Вовсе нет! Приказывают! Служба! Ничего не поделаешь! Вот разрешили стучать, и я сам прихожу к тебе просить стучать!»—закончил Ирод свои оправдания.

Этот Ирод, уморив в Алексеевском равелине плохой пищей и отнятием стакана молока начавших, было, выздоравливать от цынги, когда начальство потом испугалось смертей и приказало кормить хорошо, говорил: «если прикажут, то и рябчиками стану кормить!»



Теперь тоже все ждал приказов об облегчении, а пока строго выполнял инструкцию и довел двух до расстрела; один повесился <sup>1</sup>, один сжег себя <sup>2</sup>, несколько сошло с ума, очень много умерло от простуды по карцерам от разных причин, легко устранимых при более человеческом отношении.

При новом смотрителе наш тюремный режим начинает понемногу слабеть. Родионыч пользуется этим, чтобы добиться улучшений, и, мало-по-малу, совместно с другими, достигает того, что жизнь в Шлиссельбурге делается довольно сносной. Новый смотритель, хотя и посылал в департамент о нас, а особенно о Родионыче, ужасные характеристики, но побаивался его и почти всегда исполнял то, о чем хлопотал Родионыч.

В этом отношении на долю Родионыча выпало так много, что если все перечислять, то пришлось бы рассказать подробно всю нашу жизнь в крепости. Родионычу, принявшему деятельное участие во всех работах, приходилось хлопотать и об улучшении порядков в мастерских, и об увеличении участков земли, и о парниках, и о том, чтобы к ним позволяли выходить не двум только, а большему числу. Благодаря Родионычу завелось у нас и куроводство, хотя сам он не водил кур, и т. д. В огороде Родионыч остановился на парниках, и выведение огурцов, помидоров сделалось его коньком. Он разводил и дыни, и арбузы даже, но это было не главное.

В столярстве полировка и лакировка, а затем делание шкатулок обратилось у него как бы в специальность, и шкатулки его работы попадали на волю. Немало его изделий попало и к жандармам. Они охотно давали нам заказы сначала даром, а потом и за деньги. Платилось, конечно, недорого, а наши мастера, стараясь делать возможно крепче и тратя на это много времени, дабы подгонять возможно плотней, без заклепок, этим самым понижали плату еще более, так что в час усиленной работы выручалось пять, немного более, копеек.

У нас можно было заниматься еще токарством, переплетным делом, а в последнее время и кузнечеством, но Мих. Родионович, выбрав столярство, остановился на нем и другими ремеслами уже не увлекался. Для нашей библиотеки каждый из нас обязан был переплести известное число книг, но и в таком случае Родионыч или брал на себя исполнить какую-нибудь другую работу для библиотеки, напр., делание полок, этажерок, или присоединялся к кому другому и выполнял второстепенные работы. Зато по столярству он работал не только в мастерских, но часто еще брал работу к себе в камеру и тут кончал ее. В земляных работах по огороду лучшего товарища, когда требовалась работа вдвоем, например, ношение земли на носилках, трудно было найти. Тут он работал до упаду, как говорится: от усталости иногда начинал даже спотыкаться, но все-таки не бросал,

<sup>1</sup> Клименко. — *Ред.*

<sup>2</sup> Грачевский. — *Ред.*



пока не кончал задуманное. Земельные владения наши были невелики, но удивительно, как много мы придумывали сами себе работ с землей и тратили на это очень и очень много времени и труда.

Благодаря этому, когда огородик, где я с Родионом вели дело несколько лет под ряд, стали разгораживать и сняли старый забор, чтоб поставить новый, то обнаружилось, что там, где почти не было земли (нам для огородных гряд купили и привезли землю со стороны), теперь за несколько лет мы создали слой почти в три четверти и более. В огород мы стаскивали глину, песок, стружки,—все, что только попадалось где в другом месте, создавая себе массу работы, что давало возможность убивать время настолько, что его нам нехватало, и мы не знали, что значит скучать, и если томились тюрьмой, то не от скуки, а оттого лишь, что были прикованы к одному месту, чувствуя над собой гнет, который во всякий момент мог обрушиться на нас и раздавить. Это-то постоянно и держало людей в каком-то ожидательно-напряженном состоянии, мешало душевному спокойствию и равновесию. Подобное настроение, особенно в первое время, вызывало часто нежелательное явление, нетерпимость к чужим словам, поступкам, желание особенно подчеркнуть замеченное бревно в чужом глазу, и у Родиона на первых порах, вследствие этого, сложились настолько неприятные отношения с некоторыми, что он не раз жаловался мне, что его нарочно изводят соседи стуком между собой об нем же, критикой его поступков, слов. Пытаясь успокоить, я уверял его, что это, вероятно, с его стороны ошибка, но после оказалось, что один из его соседей был уже ненормален и, действительно, мог это проделывать. Наконец, он окончательно сошел с ума и был увезен. Его болезнь, однако, не сразу была замечена, и он в сильной степени был причиной тех трений, что выходили иногда между некоторыми, при чем он являлся большей частью лишь орудием в руках некоего Оржиха, привезенного позднее. Этот Оржих и христианство собирался принимать и, попав к нам, стал христосика из себя корчить, а позднее подал прошение о помиловании и был помилован. Родион, очень чуткий ко всякой неправде и лицемерию, быстро раскусил эту личность и по своей прямоте стал выводить его на чистую воду. Скоро Оржих стал понятен и другим. Оржиху, конечно, это не понравилось, и тогда он, сбросив личину смирения и миролюбия, повел интригу—и так ловко, что тюрьма и не заметила, как разделилась на два лагеря. Впоследствии все это сгладилось, когда явилась возможность всем видаться, говорить, но на первых порах вызывало неприятные явления и, главным образом, по отношению к Родиону и еще двум-трем.

Оржих, притворяясь больным, якобы, сердцем, отличался в то же время замечательной трудоспособностью и энергией, и это дало ему возможность снискать расположение начальства. Поэтому, когда Оржих подал прошение о помиловании, скрыв это от большинства, то наше начальство поддержало его просьбу, хотя не одобряло само



подобного поступка. Оржиха помиловали, но почему-то не сразу увезли в Сибирь; тогда он сказался больным и засел в камере. На вопрос, почему не хочет гулять (все видели, что он совершенно здоров), Оржих, наконец, признался, что боится Попова—«побьет еще!»—хотя у Родионича и в мыслях не было бить его.

В 1905 г. этот Оржих во Владивостоке снова очутился в рядах революции, но, узнав во-время о надвигающейся карательной экспедиции, бросив всех и вся, улизнул в Японию, а оттуда, кажется, в Чили или Перу и стал разводить страусов, как передавал слух. Теперь он может заявиться легко к нам в Россию, поэтому на нем я и остановился немного больше, чем он стоит того. У Родионича не было к нему даже враждебного отношения, и он относился к нему, как к хитрой, пронырливой лисице, и трунил над ним, когда он, прикинувшись умирающим, например, прыгал по двору по удалении жандармов, будучи вынесен на матраце на свежий воздух. Все ушли со двора обедать в тюрьму, Оржих же, видя это, поднялся—и ну прыгать, но попался одному опоздавшему, и обман обнаружился<sup>1</sup>.

Такому-то человеку нетрудно было мутить воду, и на первых порах это ему вполне удавалось, благодаря тому, что общение между нами вначале было довольно затруднительно. Поздней, особенно, когда увезли Оржиха, отношения значительно изменились, но Родионич уже не мог забыть прошлого и до конца держался в некотором отдалении от тех, кто верили Оржиху. Этому способствовало еще и то, что, занятый парниками, столярной и вообще разными работами с лицами более ему близкими, он и не чувствовал нужды сближаться с новыми лицами. В последнее время, когда в воздухе началась носиться надежда на возможность выхода из тюрьмы, Родионич, хотя на словах и не верил в него, но в мечтах и на прогулке со мной стал очень часто развивать мысль, как хорошо было бы собрать всех уличных хулиганов и детей-босяков в каком-либо большом городе и устроить для них земледельческо-ремесленный приют, где и заняться их воспитанием. И вот, по освобождении, в 1905—1906 г. он вдруг получает от бывшего сотоварища по «Земле и Воле», к этому времени разбогатевшего, предложение поехать за границу и зажить там на покое. Ему была обещана покупка хорошей дачи-виллы тысяч в 40 специально для Родионича. Тогда Родионич вспоминает наши мечты о приюте и пишет мне, чтобы я ехал к нему, что деньги на приют теперь найдутся. Деньги на дачу он рассчитывал обратить на приют, но так как их было все-таки мало на ведение дела, то мы решили купить где-нибудь на юге или в Крыму землю с усадьбой, заняться хозяйством и на доход с него уже вести приют. В 1906 г.

<sup>1</sup> Борис Оржих был арестован 22 февраля 1886 г. в Екатеринославе. Был судим за попытку восстановления «Народной Воли». Приговорен к бессрочной каторге. Сидел сначала в Петропавловской крепости, где пытался покончить с собой. В начале 1889 г. переведен в Шлиссельбург. В 1898 г., после подачи прошения, освобожден.—*Ред.*



с'ехали мы с ним в Ессентуках и Кисловодске и принялись сей же час за поиски, прося знакомых искать еще и в Крыму. Вскоре стали намечаться и разные имения. Тогда Родионыч пишет бывшему товарищу<sup>1</sup>, что вместо заграницы он предпочитает устроиться лучше в России, объяснив ему подробно, зачем и почему. Ответа не получилось. Снова и снова пишет Родионыч, но времена меняются, меняются и благие пожелания у товарища. Он ответил, наконец, но ответил в том духе, что людям не от мира сего трудно будет повести хозяйство: мы, наверно, прогорим, а потому об нашем начинании нужно еще подумать, потолковать и т. д. Так мы и остались при одних думах, раз'ехавшись после Кисловодска в разные стороны. Полагаю, однако, что останься Родионыч жив, теперь бы мы, наверно, пытались с ним еще раз осуществить свою мысль; по крайней мере, я еще не оставляю ее, хотя и расширяю несколько.

#### 4. Воспоминания о П. А. Кропоткине<sup>2</sup>.

Познакомился я с П. А. в Москве в 1873 году и провел с ним тогда один лишь вечер, но этот вечер остался у меня в памяти навсегда одним из самых светлых воспоминаний, и все это благодаря, главным образом, одному Петру Алексеевичу.

В то время в Питере и в Москве поднимался очень важный вопрос—продолжать ли занятия с рабочими, или оставить это, так как расчет на них не оправдывался, и самим лично отправиться в деревню, «в народ», как тогда выражались.

Чтобы окончательно решить этот вопрос, и был приглашен из Питера в Москву П. А.

На квартире Наташи Армфельд собрались тогда: Цакни, Кравчинский, Рогачев, Князев, Аносов, я, Наташа,—других не помню. П. А. председательствовал. Решено было бросить занятия и начать подготовку непосредственно самим, обучившись какому-нибудь ремеслу: столярному, сапожному, башмачному и др. Таким образом, этот вечер является для нас тем поворотным пунктом, с которого мы пошли в народ весной 1874 г., но я, собственно, говорю об этом лишь для того только, чтобы указать, при каких обстоятельствах произошло наше знакомство с П. А. Главное, мне хочется обратить внимание на то, какое впечатление произвел на меня, да и на других, П. А. Молодой, живой, симпатичный, а главное, простой, в высшей степени располагающий к себе, он как-то сразу заполнил нас своею приветливостью, своим благодушием. Ясно было, что он и умней,

<sup>1</sup> Тищенко.

<sup>2</sup> Эта статья была прислана М. Ф. Фроленко в день открытия Музея П. А. Кропоткина в Москве 9 декабря 1923 г.; была прочитана на заседании Комитета и напечатана в № 1 «Бюллетеня Всерос. Обществ. Комитета по увеков. памяти П. А. Кропоткина» (М., 1924 г.).—*Ред.*



и развией тебя, но это не пугало, не отталкивало; напротив, он так умел подойти к человеку, что даже и я—в то время за неразговорчивость и нелюдимость прозванный кавказским медведем—тут вдруг разошелся и, не стесняясь, начал высказываться. У меня была артель рабочих человек в 10—12; я ходил к ним заниматься, и мне было ясно, что их трудновато было бы склонить к хождению в народ с нами. Это были городские парни и стремились лишь к улучшению своего положения, ради чего с охотой набрасывались на арифметику и грамматику. Раньше нас это смущало, но мы как бы старались этого не замечать, умалчивать об этом. П. А., однако, легко заставил нас все выложить начисто, и, рассуждая об этом в других случаях, мы провели замечательный задушевный вечер; вдруг все почувствовали себя такими близкими, родными, точно мы век прожили вместе. Вот почему этот вечер остался у меня самым светлым воспоминанием из этого времени. После того мы не видались с П. А. более 35 лет. Но вот в 1908 году я попадаю в Лондон. Узнаю адрес П. А. и с женой отправляемся его искать. Он жил за городом. Улицу мы нашли скоро, но дом почему-то не могли сразу отыскать и стали спрашивать прохожих. Вдруг из-за решетки забора слышен оклик: «я здесь, что вам угодно?» Голос его я сразу узнал, бежим к нему, и,—о, диво!—перед нами то же лицо, та же милая сердечная приветливая улыбка, тот же человек, правда, постаревший и пополнившийся, но суть-то, душа, бодрость, чисто братское отношение остались те же, что запечатлелись 35 лет тому назад, и это не было первое мимолетное впечатление; напротив, при позднейших свиданиях оно только закрепилось еще более и останется таким навсегда, и думаю, что не у меня одного, но и у других. Поэтому еще раз да живет вечно память о нем!

### 5. Татьяна Ивановна Лебедева<sup>1</sup>.

Татьяна Ивановна была «чайковка», судилась по «процессу 193», затем собиралась, было, быть хозяйкой тайной типографии, но когда провокатор Рейнштейн, устраивавший ее, был уличен и убит, то Т. И. стала нелегальной.

Познакомился я с ней в начале 1879 года. Соня Перовская, бежав из административной ссылки, задумала освободить из Харьковской централки кого-либо из своих товарищей, осужденных по «процессу 193» и привезенных в 1878 г. в централку под Харьковом. Для этого она поселилась в Харькове, завела сношения с одной из централок через доктора и матушку, кажется, Дмоховского и начала подбирать людей, входить в соглашение с другими насчет укрытия бежавших и т. д. В числе приглашенных на это дело оказались я и Т. И.

<sup>1</sup> Первоначально—«Каторга и Ссылка» 1924, 2.—Ред.



Нас она познакомила, но обстоятельства того времени шли быстрым шагом, часто сменяли друг друга, и мы все очутились в середине лета за другими делами. Сначала мне неожиданно пришлось уехать в Херсон. Там потребовалась экстренно моя помощь для окончания подкопа под казначейство,—участники выбились из сил, а заменить их было некому,—это одно. Затем задуманы были с'езды—Липецкий и Воронежский—и мне, как южанину, поручили сзывать, приглашать туда. Вопрос шел об Александре II, и это надо было решить сообща, так как некоторые, как Плеханов и другие, находили вредным для пропагандистов уничтожение Александра II. И вот, когда всеобщий Воронежский с'езд дал свое согласие на охоту за Александром II, Соня Перовская, вместо Харькова, поехала уже в Москву и занялась устройством подкопа под полотно Курской железной дороги. Я отправился, было, в Симферополь, но, не найдя там ничего подходящего, уехал в Одессу и тут вскоре поступил сторожем при камнях, сложенных у железнодорожной будки на 12-й версте от Одессы. Живя в будке, я должен был заложить мину под шпалы дороги и взорвать Александра II, когда он будет возвращаться в Питер из Крыма, где он был летом. Будка состояла из двух комнат, и в одной, оказалось, уже жил железнодорожный плотник с женой; это было неудобно, но тут выручила беременность плотничихи. Она ждала скорого разрешения от бремени и, боясь остаться в критическую минуту без женской помощи, уговорила мужа перейти в следующую будку, где было целых две женщины.

Будка освободилась. Чтобы не поместили кого другого, решено было скорей найти кого-нибудь, кто согласился бы разыграть роль моей жены. По паспорту я считался женатым. Сначала выбор пал на Фаню Морейнис, как более мне знакомую, но, подумав и разобравши дело, нашли это неудобным: Фаня где-то раньше встречалась с железнодорожным мастером, в ведении которого находился мой участок, и он знал ее, как радикалку; таковым он был и сам, но его вводить в дело считали все-таки опасным. Тогда вспомнили про Татьяну Ивановну. Она считалась народницей, как и Перовская. Их даже не пригласили на Липецкий с'езд. Но Перовская, узнав о нем, ужасно рассердилась и сейчас же после Воронежского с'езда взялась, как я сказал, за подкоп в Москве. То же вышло и с Татьяной Ивановной; она, не колеблясь ни минуты, сразу согласилась на предложение принять участие во взрыве полотна под Одессой и стать моей фиктивной женой. Ей я уступил большую комнату, где жил плотник, а сам остался в меньшей, и принялись мы потихоньку за подготовку. Пробили в моей комнате стенку для проводов, стал собираться я вскапывать под будущий, якобы, опород землю вдоль полотна жел. дороги, имея в виду воспользоваться удобным моментом для заложения динамитных ящиков под рельсы или шпалы. Динамит хранился частью у нас, часть же еще оставалась в Одессе вместе с батареей бутылью. Кибальчич, Исаев, В. Н. Фигнер,



Колодкевич, Златопольский были в это время в Одессе и готовили все, что нам необходимо было для взрыва. Я нарочно по ночам ходил к своим камням сторожить, чтобы опять-таки выбрать лучший момент. Так шло время. Как-то плотничихе вздумалось сходить в город. Туда-то она пошла, а оттуда едва-едва дотащилась до нашей будки и тут уже осела, просясь и ночевать у нас. Пришлось, конечно, согласиться, и мы ее поместили в моей комнатке. Но вот приходит ночь, пора спать ложиться. Я беру свое одеяло, подушку и собираюсь расположиться на лавке. Для Т. И. мною был сделан широкий помост и на него навалено много кураю-колючки (травы), которой на юге топят печи и кормят верблюдов. Т. И., заметив мое намерение, подходит и тихо говорит: «Глупо, что вы...» Я и сам сознаю, что неудобно посторонней женщине показывать наше фиктивное сожительство. Но как быть? Мы так еще мало знакомы друг с другом, что даже говорим еще друг другу «вы». Смотрю, Т. И. спокойно начинает покрывать весь курай широкой простыней, кладет две подушки и два одеяла, каждые отдельно. Тушим свечу, закутываемся каждый в свое одеяло, ложимся спинами, не касаясь друг друга, и, таким образом, спасаемся благодаря Т. И. от сплетни, лишних разговоров о нас; а это было важно еще и вот почему: незадолго перед этим заходил к нам мастер с двумя служащими—они развозили жалование по сторожкам. Т. И. мыла у печки белье и сильно покраснелась. У нее были чудные черные глаза—глаза ласточки-касатки—и черные вьющиеся волосы: она напоминала Татьяну Пушкина в «Евгении Онегине». Пришедшие, увидав ее, остановились в недоумении: милое лицо, умные глаза, необыкновенно маленькие руки в белесоватых пятнах (результат тюремного сиденья),—все это их поразило и говорило им, что перед ними не сторожиха, а просто барышня, и они, задав один-два вопроса насчет рук, поспешили уйти. Услышь теперь они, что мы и спим-то отдельно, разговоры и толки дошли бы, пожалуй, и до Одессы.

Это Татьяна Ивановна сообразила раньше меня, и, несмотря на то, что она всегда держалась строго относительно нашего брата и никогда не допускала никаких ухаживаний, панибратства, тут она, в интересах дела, решила уже малость поступиться, и мы зажили спокойно, как брат и сестра. Хотя позднее, когда лучше узнали, больше ознакомились и полюбили друг друга, мы и поженились, но это уж иное дело.

Плотничиха, отдохнув, на другой день ушла, а мы теперь, никем не тревожимые, принялись продолжать подготавливаться к осеннему возвращению из Крыма Александра II. Кибальчич где-то отыскал и купил очень сильную Румкорфову спираль и приготовил запалы. Словом, все уже было заготовлено, ждали лишь известий насчет выезда Александра II, как вдруг сообщают, что Александр II не поедет через Одессу. Яхта, на которой он должен был ехать, наскочила в бурю на мель около херсонских берегов. Александр II напугался



и теперь поедет железной дорогой. Там, в Александровске, его ждал Желябов, и туда теперь повезли спираль и часть динамита, что была в Одессе. Мы же с Т. И. стали собираться в путь-дорогу; это было необходимо тем более, что Гольденберг, повезший одесский динамит к Желябову, попался в Елисаветграде и начал вскоре выдавать. Он раньше не знал, где мы живем под Одессой, но, как на зло, проезжая в Одессу мимо нашей будки, он увидал Т. И., узнал, догадался и, конечно, сообщил жандармам. Взяв это в расчет, надо было торопиться. Наняли мы повозку и, поставив под сиденье сундук, в котором был в ящичках динамит, двинулись в Одессу. Возница, желая в одном месте сократить путь, погнал лошадь рысцей напрямки через поле, изрезанное колесными колеями. От ночного заморозка они немного окрепли; наша повозка, а вместе с ней и наши жестяные коробки с динамитом запрыгали, застучали в сундуке. «А что, если б возница узнал, что мы сидим на динамите. Что бы он сказал?» — невольно вырвалось у нас, когда мы взглянули друг на друга. Скоро, однако, мы уже добрались до наезженной дороги и благополучно докатили до приготовленной квартиры. Может показаться безумием, что мы допустили такую вещь, но дело в том, что в Петровской академии мне дважды пришлось быть при опытах даже не с динамитом, а с нитроглицерином, который гораздо легче взрывается, и то он почему-то не взорвался, хотя профессор взрывал его не толчками, а электрическим током. Это было на лекциях по химии. Для взрыва нужна сильная искра, а этого у нас трудно было достичь, хотя каких случайностей не бывает?

В Одессе делать пока было нечего, и мы раз'ехали, сойдясь лишь позднее в Туле, Орле, откуда в 1880 году, уже поженившись, направились в Кишинев. Тут представилась возможность устроить легко подкоп под казначейство из соседних дворов и домов... Действительно, приехав в Кишинев, мы сразу же натолкнулись на пустую квартиру напротив казначейства; нас отделяла от него лишь узкая улица. Однако, эту квартиру мы не наняли: хозяйка и хозяин показали нам очень назойливыми и любопытными людьми. Поэтому предпочли взять недалеко другую, хотя и менее удобную, но зато хозяин ее, и как иностранец, и как содержащий гостиницу, до нас не касался. Мы оказались полными хозяевами маленького дома в три комнаты с кухней и с парадным ходом на улицу. Тут мы и основались: я и Т. И., как хозяева, Меркулов — наш будущий предатель — в качестве жильца. Одна барышня взяла на себя роль кухарки-порничной. Двое москвичей — Фриденсон, другого забыл — должны были только приходить на работы, а жить отдельно. Залу, довольно прилично обставленную, мы разгородили парусинной перегородкой на две части. Передняя часть назначалась для приема гостей, задняя же — для помещения земли из подкопа; больше нам некуда было сыпать ее, и мы, как только устроились, подняли с пола нашей спальни доски и принялись за работу. Почва оказалась — глина. Дело



пошло быстро. За пологом образовалась уже изрядная горка, как вдруг стали замечать, что против нашего дома на другой стороне улицы какой-то человек с утра до вечера сидит на завалинке и все смотрит на наши окна. Чего ради? Мы никаких знакомств в Кишиневе не заводили, паспорт у нас был хорош. Но мало того, прибегает ко мне в спальню, где шла работа, наша горничная и испуганно шепчет: «Пришел пристав, зовет вас, он уже в зале». Делать нечего, выхожу. Пристав, увидав хорошую обстановку, видимо, стеснялся и стал извиняться, прося дать ему наш паспорт. «Я уже прописался»,—говорю я ему.—«Да я знаю, но»...—и он привел какой-то повод. Я вынул свой паспорт, отдал ему, стараясь не пускать его дальше середины зала; двинься он дальше, легко мог за перегородкой увидеть землю. Пристав ушел; мы принялись обсуждать и причину появления шпиона напротив, и приход пристава. Несомненно, наш первый хозяин, обиженный, что мы не наняли квартиру у него, а взяли другую, пошел и взбудоражил полицию. Паспорт у нас был хороший, но все-таки, хотя приходивший пристав и не выказал никаких попыток к более внимательному осмотру нашей квартиры, Т. И. решительно стала настаивать, чтобы я не ночевал дома, а пошел бы в гостиницу и там бы провел ночь. Бросать обоим квартиру мы находили неудобным, и я, после небольшого спора, уговаривая ее лучше не ночевать дома, все-таки ушел, чтобы успокоить ее. Она сильно волновалась, боясь за мою судьбу.

Ночь прошла благополучно; рано утром я был уже дома. Меркулов, уезжавший перед этим в Одессу, вернулся, и мы снова принялись, было, за работу, как вдруг получаем письмо из Питера, которым нас требуют немедленно всех туда. Задумано новое предприятие на Александра II, и нужны люди. Делать нечего. Заваливаем подкоп вынутой землей, заделываем пол. Меркулов отлично закрашивает его так, что потом потребовалась его же личная помощь и указание, чтобы найти место подкопа. Уезжаем. Полиция посылает на вокзал для слежки хозяина, но нас не трогают.

В Питере Т. И. прежде всего приняла участие в приготовлении нитроглицерина и динамита. Первый при своем приготовлении вызывает сильные головные боли даже у здоровяков. Т. И. не была особенно крепкой и потому сразу же стала испытывать эти боли. Однако, она продолжала работать, пересиливая боль, заглушая ее лишь отчасти крепким кофе, который несколько утишал боль. Несмотря на уговоры других, она долго еще подвергала себя мучениям, но тут на выручку явилось еще новое заболевание. Поднимаясь на пятый этаж, где была мастерская, она надорвалась, неся кислоту в бутылки, и после этого слегла на некоторое время, а к этому еще сырая квартира прибавила простуду. Т. И. поневоле пришлось оставить посещение мастерской. Вместо этого, когда она через месяц немного оправилась, на ее долю выпало спасти нескольких из нас от полюданья,—как-то иссякли все наши денежные ресурсы. Пришлось



сначала продать все лишнее из костюмов, вещей, но скоро дошло и до нелишнего. Каждая копейка стала дорога. Тогда Т. И. предлагает готовить обед на нескольких товарищей в нашей квартире и выполняет это одно время, несмотря на то, что после болезни была еще сильно слаба. Прошел кризис,—Т. И. опять за динамит: смешивать нитроглицерин с сахаром, селитрой. Тут уж голова не болит, но легко может произойти взрыв. У Исаева оторвало раз три пальца (собственно, их искалечило и пришлось отрезать). На Малой Садовой шли теперь работы во-всю. Мне приходилось на ночь уходить туда в очередь. Тогда на долю Т. И. выпадало еще сидеть дома одной и охранять нашу квартиру, где находились провода и готовый динамит.

Но вот и 1-е марта; Александра II не стало; Рысаков начинает выдавать всех, кого знает. Однако, квартир он не знает, и до нас жандармы никак не могут сразу добраться. Мы продолжаем жить на воле, выдаемся и между собой, и с публикой, как вдруг добираются и до Кибальчича и его арестовывают. Не зная этого и не ожидая ничего подобного, 16—17 марта еду к нему и насккиваю на засаду: меня берут, а Т. И., видя, что я не являюсь домой и день, и другой, бросает квартиру; перед тем арестовали еще Перовскую, и Т. И. стала так мало укрываться, что похоже было на то, что она желала быть арестованной. Ее легко выследили и забрали. Тут она сразу наповорила на себя столько, что на суде и мы, и судьи только диву давались. Так, когда мы жили в будке под Одессой, мне казалось совершенно естественным и само собой ясным, что как закладку мин, так и их взрыв должен буду сделать я. Об этом у нас и вопрос не поднимался, и вдруг на суде узнали, что Т. И. взяла взрыв на себя. Мне, конечно, пришлось это отрицать и заявлять, что этого я и не подозревал, считая это своим делом.

Затем, никто из предателей не знал, что Т. И. принимала участие в производстве нитроглицерина и динамита, но Т. И. сама заявила об этом. Судьи даже не поверили и вызвали нарочно эксперта-генерала, заведывающего динамитным заводом под Питером, и задали ему вопрос: «Возможно ли в небольшой квартирке подобное производство?»—«Нет»,—отрезал деревянный генерал. Такое поведение Т. И. я об'яснял тем, что Т. И. боялась, как бы ее не пощадили и не освободили от смертной казни. Ей не хотелось отставать от товарищей, и она всеми силами помогала судьям вздернуть ее вместе с другими. Ее, действительно, приговорили к казни, но, вместо скорой смерти, заставили промучиться несколько лет. Смерть нам заменили вечной каторгой. Но Т. И. с Якимовой предварительно засадили в Трубецкой бастион Петропавловской крепости и тут подвергли такому режиму, что через год, т.-е. в 1883 году, ее уже не вывели из Трубецкого бастиона, а вынесли на простыне или носилках, чтобы посадить в карету для отправки на каторгу; там она и умерла, в каком году не знаю. Раны на ногах и по всему телу, при желудке,



отказавшемся работать, окончательно доканали ее, по словам Брешковской.

«Тело угасло, но сильный, великий дух Т. И. навсегда остался с нами»,—так заканчивает Брешковская свое описание Т. И. Тем, кто лучше хочет познакомиться и узнать Т. И., необходимо прочесть воспоминания Е. К. Брешко-Брешковской («Голос Минувшего», 1918 г., № 10—12)<sup>1</sup>. От себя же могу лишь кратко сказать, что Т. И. была человеком, который, раз вступив на известный путь, идет уже до конца, не озираясь по сторонам, и не оглядываясь назад. От 1871 до 1881 года она прошла все, можно сказать, этапы, начиная со школы, распространения книг, занятий с рабочими и кончая террором, и всюду отдаваясь всецело и сознательно, она уже не думала о себе. Она была умна, знала хорошо историю, умела ее передавать, заинтересовывать других, но все это она не любила выставлять напоказ, редко высказывалась,—никогда я ее не помню принимающей горячее участие в спорах,—и в то же время с ее мнением всегда считались, раз она находила нужным его выразить. А как и в каком духе она могла влиять на своих учеников, я наблюдал в трех случаях. Из них получились люди в самом лучшем смысле этого слова, и если бы правительство 70-х годов не пресекало деятельность подобных людей в самом начале, мы, наверное, избегли бы теперь многих нареканий во взяточничестве, бесчестности, плутовстве и прочих наследиях прошлого.

## 6. Вера Дмитриевна Лебедева<sup>2</sup>.

На с'езде политкаторжан, происходившем недавно в Москве, подходит ко мне некто, — фамилию не могу вспомнить, — и, с упреком обращаясь ко мне, говорит: «Почему это никто ни слова не промолвит и не напишет о Вере Дмитриевне Лебедевой? Ведь, вероятно, многие в Москве знают и помнят, как она немало помогала политическим и сидящим, и несидящим. Так как Вера Дмитриевна оказала большие услуги и мне, то я решил рассказать хоть о том, что сделала она относительно меня, в предположении, что это вызовет и других на воспоминания о ней.

Вера Дмитриевна, урожденная Дубенская, была женой московского мирового судьи. Его сестра, Татьяна Ивановна Лебедева, народоволка, в 82 г. приговорена была к смертной казни, но, по замене бессрочной

<sup>1</sup> Я потому отсылаю всех к Брешко-Брешковской, что ей, как человеку постороннему, и виднее, и удобнее было описать Татьяну Ивановну; никто не заподозрит ее в пристрастии, что возможно относительно меня; от этого я и не пускаюсь в детальную характеристику Т. И., держась лишь внешних фактов; впрочем, этого я бы и не мог сделать так хорошо, как сделала Брешко-Брешковская, и мне потому остается лишь одно,—это сказать, что я с ней во всем согласен и готов подписаться под ее воспоминаниями.

<sup>2</sup> Первоначально—«Каторга и Ссылка» 1924, 6.—*Ред.*



каторгой, замучена в Трубецком бастионе до того, что через год по отправке на каторгу ее вынесли оттуда уже на руках. Сестра Веры Дмитриевны, Екатерина Дмитриевна Дубенская, в 70-х годах находилась в близких сношениях с Кравчинским, Клеменцом и др. чайковцами. Семья Лебедевых уже с 70-х годов является маленьким гнездом, где радикалы того времени находят и союзников, и приют в горькие минуты. Я лично в то время не бывал там и позднее познакомился с Екатериной Дмитриевной, а затем и с Татьяной Ивановной. Поэтому сказать больше о 70-х годах не смогу. Но вот наступает наш суд в 1882 г.; я вдруг узнаю, что Вера Дмитриевна приехала в Питер и не побоялась усиленно хлопотать о свидании со мной, как мужем Татьяны Ивановны, хотя она знала, что наш брак правительство не признавало. Перед ее энергией, вероятно, не устоял бы прокурор, но я сам испортил все дело. До ареста мы, народовольцы, рассуждали однажды насчет возможности попасть каждому из нас под суд, говорили, что в этом случае нам лучше всего не брать адвокатов, не защищаться и вообще отказываться от показаний и от признаний в знакомстве с кем бы то ни было, хотя бы это знакомство с очевидностью усматривалось бы по делу. Руководствуясь этим, я и не взял себе адвоката и не только не признал своего брака с Татьяной Ивановной, но даже отказался и от знакомства с ней. В виду этого, Вере Дмитриевне, конечно, трудно было доказать прокурору наше родство с ней. В свидании со мной ей было отказано, но она все-таки добилась, что мне передали от нее провизию, вино, деньги, сюртук для суда. Я был взят на улице, и моя квартира не была открыта, дворник же почему-то не донес, что я и Т. И. неожиданно пропали.

Всякий, сидевший в заключении, конечно, поймет, насколько было для меня приятно и как меня тронуло внимание человека, который и не знал-то меня и в то же время мог навлечь на себя неприязненный взгляд жандармов. Наше дело, как-никак, считалось в то время очень важным. Ведь всего лишь год истек после казни Александра II, и Александр III рвал и метал.

Прошло много лет после этого, я очутился надолго в Шлиссельбурге. Наступил 1905 г., объявлена была конституция. Правительство решило выпустить нас, шлиссельбуржцев, на поселение. Из Шлиссельбурга нас 8 человек перевезли в Петропавловскую крепость, в Трубецкой бастион, где мы сидели 23 с лишним года тому назад, и вот тут вдруг вызывают меня, чуть не в первый же день привоза, к смотрителю бастиона в его кабинет. Иду и вижу там какую-то даму. Она бросается ко мне, обнимает, целует, говорит, что она Вера Дмитриевна; тогда и я начинаю понимать, в чем дело. За корсажем у ней была спрятана роза; улучив момент, когда смотритель отвернулся, она быстро вынимает эту розу и дает мне, но смотритель успел уже заметить, подскочил, выхватил розу и, оторвав один лепесток, заметил: «даже этого лепестка не могу дозволить». Но на другой день он уже передавал нам сам целые короба с цветами. Дело в том, что он



был совершенно не осведомлен относительно того, чего ради нас к нему привезли, и смотрел на нас в первый вечер, как на обычных каторжан. Только на другой день ему объяснили, видимо, все, и тогда цветы, фрукты, общие прогулки и т. п. были нам разрешены. Вера Дмитриевна в первый же вечер сказала мне, что она хлопочет о взятии меня на поруки, и что ей уже обещали, что это на-днях состоится; при этом она убеждала меня не особенно рваться и возмущаться задержкой. Нас, собственно, после Шлиссельбурга должны были бы отправить в Сибирь для отбывания так-называемого каторжного положения: 4 года полного бесправия и 3 года поднадзорного состояния, но уже с паспортом. В это время на Сибирской железной дороге шла забастовка. Отправить нас туда побоялись и решили отпустить родным на поруки. Вера Дмитриевна каким-то путем ухитрилась втолковать и министру внутренних дел Дурново, и еще кому-то, что я, как муж Татьяны Ивановны, прихожусь ей родным, и они согласились, было, отдать меня ей на поруки в Москву; однако, реакция надвигалась быстрыми шагами; не прошло и нескольких дней, как начал дуть противный ветер. Моя отправка стала все задерживаться. Вера Дмитриевна, не говоря мне о причинах, видимо, ужасно сама волновалась, уговаривая меня не волноваться и, конечно, ездила, хлопотала, делала все, что было в ее силах, и, наконец, добилась ответа: «Вам в Москву его нельзя дать на поруки, найдите родича из провинции». У Веры Дмитриевны был сын, служивший в Москве и имевший небольшое имение в Рязанской губернии. Узнав ответ, она вызывает сына в Питер, уговаривает его взять меня к себе в имение и направляет его ко мне на свидание. Ночью это устраивается, он мне приносит прокламацию, объясняющую, зачем и почему ходят люди с красным знаменем, и тут же сообщает, что ему дают меня на поруки, и что мы скоро поедем в имение. Вера Дмитриевна и я опять начали каждый день ждать отправки. Но она снова стала задерживаться. Уж многих увезли, а Веру Дмитриевну все водили «завтраками» и под конец проделали еще такую штуку. Сказали последнее «завтра», предупредив даже меня, в котором часу будет отправка, чтобы я приготовился. Ей, однако, утром в назначенный день, когда она поехала узнать, состоится ли отправка, вдруг в каком-то учреждении ответили: «не знаем, поезжайте в другое». Она спешит туда, но там такой же ответ, и посылают еще куда-то... Света божьего не взвидела она, испугалась за меня, как на меня подействует новая задержка; весь день она пробила, узнавая — повезут или нет. И только перед вечером ей, не помню в каком-то учреждении, наконец, сказали, чтобы она не беспокоилась, а ехала бы на вокзал и там найдет уже и меня.

Так оно и было. Меня вечером привезли на вокзал, и только там мы встретились. Проделали же жандармы все это ради того, чтобы Вера Дмитриевна не сообщила о нашем выезде другим, и чтобы не было сборищ, оваций, какие были при первых отправках. 20 октября нам объявили о переводе, а вывезли меня лишь 8 ноября.



Итак, мы поехали в Рязанскую губернию, в г. Зарайск. В сопровождение нам дали «гороховца» (полицейский стражник; полиция помещалась на Гороховой улице, отсюда и «гороховцы»). В Зарайск приехали ночью. Надо было мне самому явиться к становому приставу, но тут оказались нравы проще: «гороховец» с сыном Веры Дмитриевны отправились одни. Пристав принял меня заочно, «гороховца» отпустил, и в имение мы двинулись уже одни, без всякого провожатого. С Владимира Петровича Лебедева становой потребовал лишь одного: дать ему знать, если бы я вздумал убежать. Тот обещал, и так как для надзора за мной отпущено было всего-на-всего 300 руб., то и губернатор и становой решили этим и удовлетвориться. Словом, меня оставили жить в имении Лебедева совершенно без всякого надзора. Так сначала и пошла моя жизнь. Ни Вера Дмитриевна, ни Владимир Петрович в имении не были. Они из Москвы наезжали ко мне лишь по воскресеньям. Если бы я захотел убежать в понедельник, то они узнали бы о моем побеге лишь в субботу вечером, т.-е. на пятый день, когда я успел бы доехать до Парижа; следовательно, исполнив свое слово, они нисколько не могли бы мне повредить.

Прошло несколько месяцев моей деревенской жизни. Мне надоел постоянный надзор за мной, все-таки позже производившийся то специально присланными охранниками, то местным урядником. Я надумал проситься на минеральные воды — лечить мой желудок. Вера Дмитриевна снова садится в вагон и снова летит в Питер. Там ей удастся скоро добыть разрешение, и она дает телеграмму об этом, но предупреждает; чтобы я не выезжал в город, а дожидался ее в имении. Ждем. Вот и она. «Ну,—говорит,—вот хорошо, что ты не уехал, а то насиделся бы еще снова в тюрьме и немало». — «Как так?» Она рассказала, что, направляясь в имение, зашла в гор. Зарайске в полицию узнать, получили ли они бумагу относительно моей отправки и когда они думают это сделать. «Бумагу получили,—ответили ей,—и когда он явится к нам, мы его посадим в тюрьму и будем ждать okazji для отправки в г. Рязань. В Рязани же сделают то же, т.-е. посадят в тюрьму и будут ждать, когда наберется достаточное количество отправляемых на юг, тогда его и повезут с ними». — «Когда же это может состояться?» — «Месяца через два-три, а может и больше». — «Да ведь он для лечения получил отпуск на три месяца всего, все это время он, значит, и просидит в тюрьме?..» — «Очень возможно, но мы тут не при чем».

Узнав это, стали мы судить и рядить, как же быть. «Поеду я к губернатору», — решает Вера Дмитриевна и мчится в Рязань. Невеселой вернулась: принял грубо, страшал даже, а в конце предложил следующее. На наш счет мы должны были повезти двух жандармов, кормить их и дать им на возвращение. Вера Дмитриевна получала всего 50 руб., живя в Москве, тратила еще на Красный Крест и др. В их доме и теперь происходили постоянные политические сборы то на то, то на другое. Ее сын, Владимир Петрович, тоже ухитрялся быть весь в дол-



гах. Он на свой счет содержал большую школу, и его имение ему не только не давало доходов, но он ухлопывал на него все свое жалованье и еще призначал. Поэтому для нас расход на дорогу и на содержание двух жандармов был довольно чувствительной тратой. Не согласится ли губернатор на одного жандарма? И в этом духе пишем мы ему заявление, но в то же время Вера Дмитриевна снова садится на поезд и мчится в Питер. Проходит немного времени, как ко мне является урядник и передает якобы секретную бумагу. Читаю и вижу—это выписка из сенатского постановления о том, чтобы меня отпустить без задержки немедленно. Таким-то образом, наконец, получил я полную свободу и поехал на Кавказ уже вольным человеком, и это только благодаря необыкновенной энергии и настойчивости Веры Дмитриевны. Если к этому прибавить, что она уже была немолода и не совсем здорова, то неудивительно, как должен был я быть благодарен за все ее хлопоты обо мне и заботы; забыть это трудно, и вот почему я и взялся напомнить о ней. Подробностей того, что делала Вера Дмитриевна, я не мог знать, ибо мне семь лет нельзя было жить в Москве, и я только случайно проездом бывал за это время там раза два, да после,—в 1913 г., кажется,—недолго прожил в Москве; и вот тут я видел воочию, как за столом сын ее, Владимир Петрович, перекатывал по столу золотые, а она все это ловила и передавала в руки разных политических деятелей и в Красный Крест для сидящих. Таким образом, их дом, как я узнал, оставался верен сам себе вплоть до последнего времени, когда ее сын и она умерли. Она болела камнями в почках. Сын умер от удара. Этого сына когда-то учила Татьяна Ивановна Лебедева, и он, получив в последнее время очень хорошо оплачиваемое место, массу денег тратил через Веру Дмитриевну на политических, хотя сам и не состоял ни в каких кружках.

Память о Вере Дмитриевне, вероятно, жива еще у многих. Вспомня-нем же ее добрым словом и скажем ей сердечное спасибо. Такие люди много помогли революции.

## 7. Из воспоминаний о Вере Ивановне Засулич<sup>1</sup>.

В 1875 году некоторые члены разложившейся киевской коммуны, как-то: Мокриевич, Стефанович, Маша Коленкина и др., составили группу так-называемых бунтарей. Я не знаю, была ли Вера Ивановна в коммуне<sup>2</sup>, но уже в конце этого года, когда я пристал к этой группе, она считалась ее членом, и когда зашла речь о поселениях в деревнях, то Вера Ивановна, не зная меня и даже никогда не видавшая (я в это время застрял в Одессе), согласилась играть роль моей жены и сама вместе с Марусей Ковалевской отправилась в де-

<sup>1</sup> Впервые напечатано в № 3 «Каторги и Ссылки» за 1924 год.—*Ред.*

<sup>2</sup> В киевской коммуне В. И. Засулич участия не принимала.—*Ред.*



ревню Цибулевку, высмотрела там пустую хату, наняла ее якобы под чайную и поместилась в ней. Я пришел поздней. Была весна и страшная грязь; меня взялись довести только до одного торгового села, а дальше пришлось двигаться на своих-двоих.

В нашем селе, расспрашивая, где поселилась моя жена, я наскочил, прежде всего, на сельское правление и писаря, который потребовал мой паспорт. Он взял его, понюхал, полизал языком и только тогда, найдя все в порядке, занес его в книгу. У нас не было чистых бланков для написания паспортов, и мы пользовались старыми; сперва мы смывали с них текст двухлористой известью и щавелевой кислотой, затем усиленно промывали их водой; вымытый таким образом бланк мы проклеивали крахмалом. Неопытные уголовные этого последнего не проделывали и легко попадали впросак. Непромытый бланк имеет кисловатый вкус и бывает, как тряпка. Мой паспорт удовлетворил писаря вполне, и он с радостью согласился на мое приглашение отпраздновать наше новоселье в ближайшее воскресенье. Старшина и староста в свою очередь обещали тоже притти.

В своей хате я застал Василия Лепешинского и Машу Коленкину, но они, узнав, что я пригласил на новоселье начальство, ушли в свою деревню, где у них была лавочка.

В воскресенье собрались у нас старшина, староста, писарь, лесничий, которого мы и не приглашали, и затем хозяин дома с женой. У них был в том же дворе еще и другой дом—хата. Вера Ивановна, украшая нашу хату лубочными картинками, купила и всю царскую семью и поместила ее в переднем углу около образов.

Начался пир. Чай, постная закуска,—в то время был великий пост,—и, главное, конечно, водка. Наши гости, малость подвыпив, неожиданно нас очень утешили и удивили. Они, глядя на портреты царской семьи, нисколько не смущаясь, принялись зубоскалить и отпускать двусмысленные замечания насчет царевен и царевичей.

Кто-то застучал в двери; выхожу. Оказывается, сотский, почуяв выпивку, зашел узнать, почему мы так долго сидим. Пригласил и его выпить. Выпил, ушел, но вскоре снова явился и, видимо, еще где-то хватил. Опять, обнося всех, и его угостили, но теперь он не ушел, а затеял спор с лесничим. Не успели мы разобрать, из-за чего идет спор, как они схватились и начали драться и барахтаться. Насилу их разняли; сотского вытолкнули за дверь, но пир уже был нарушен, и все вскоре разошлись. На другой день лесничий явился с жалобой, что во время борьбы у него пропали из кармана деньги. «На земле в хате,—говорим мы ему,—мы ничего не находили». Он удовлетворился этим и ушел, но тут нас снова поставила в неловкое положение наша хозяйка дома. Вере Ивановне она принесла квашеных бураков (свекла) и рассола для борща. Этот борщ и был сварен, но—на беду—с салом, а не постный, и стоял уже в печи, когда к обеду пожаловала к нам вдруг и хозяйка. Как тут быть? Поставили самовар, угощаем чаем, а хозяйка все смотрит на печь, но тщетно; нельзя же было оскандалиться



на первых порах скоромной пищей в пост. Так мы и проморили несколько часов ее и себя одним чаем, давши зарок впредь избегать подобных промахов.

Вера Ивановна, вообще, как-то мало придавала значения тому, чтобы не только быть на самом деле, но хотя бы даже и казаться деловитой хозяйкой. Роль Марфы ее совершенно не занимала, и когда подошла пасха, то она категорически отказалась хлопотать о производстве куличей, пасок и всего прочего. Эту роль на себя взяли Маруся Ковалевская и Дробязгин. Я же должен был им доставить муку, масло, яйца и проч. На страстной неделе Маруся и Дробязгин перебрались к нам, и тут началась работа, но их приход чуть-чуть не повел к драме.

Маруся, в качестве швеи, жила в другом селе, а в это время решила бросить его и с узлами—в сопровождении Дробязгина и еще кого-то—вечером отправилась к нам. Этого я не знал и, будучи в Смеле, зашел по дороге, как было условлено, сначала за ней. Из ее села к нам дорога шла лесом; не найдя ее дома, я и пошел этим лесом. Взошла луна; тихо, хорошо было в лесу. Вдруг слышу голоса. Я сразу сообразил, что это, вероятно, и есть Маруся со своими помощниками. Подхожу к небольшой поляне и ясно вижу, что они отдыхают на другой стороне. Быстро направляюсь к ним и кричу: «А что тут за люди такие?» Дробязгин вскакивает с револьвером в руке и бросается ко мне, но крик Маруси: «Да это Михайло»,—не дал ему спустить курок; тут и он уже узнал меня. Дальнейшее наше путешествие, и даже шествие,—с узлами в селе, напрямик через чужие дворы,—прошло благополучно: никто нас не видел и не остановил. Маруся и Дробязгин водворились у нас на житье, и мы с ними принялись за приготовление куличей. Вера же Ивановна, сидя в углу на лавке, только иронически посматривала на нас, не принимая ни малейшего участия в наших сбиваньях яиц, мешании теста, шитье форм из картона и тому подобном. Подходит четверг; уже готово разное тесто: жидкое, полужидкое. Маруся, с книгой в руках, все время командует, приказывает затопить печь, наливает тесто по мерке в формы, и когда печь истопилась, мы их сажаем. С часами наблюдаем за временем печенья; «пора»,—говорит Маруся. Открываем заслонку и диву даемся: по нашим предположениям куличи должны были подняться и упираться в свод печи, а вместо того не видно ничего. Вытягиваю первую форму: что-то тяжелое—и не видно кулича. Заглядываем в форму: батюшки, на дне лишь видна осевшая лепешка! Вынимаем другую—то же самое; третья, четвертая—не лучше. Вера Ивановна торжествует, но по скромности своего характера и из жалости к нам удерживается от резких насмешек, ограничиваясь улыбкой. Мы в унынии, но в нашем распоряжении есть еще пятница и суббота. Погоревав немного, вечером мы составляем план нового опыта. Чуть свет—снова в соседнее село, верстах в 3—4 от нас; там большой базар. Накупаю опять яиц, масла, миндаля, изюму и т. д. Приношу домой, и мы вновь принимаемся



за работу. В субботу все готово; мы сажаем в печь жидкие куличи, но к ним на всякий случай присоединяем один из простого густого теста. Ждем. Вот пора и вынимать. Открываем заслонку и с ужасом видим ту же картину: наши куличи не подпирают собой свода, а лежат на дне форм в виде тяжелых лепешек, и только кулич из простого теста вышел, как следует быть. Вот тебе и пасхальные куличи, которыми мы рассчитывали поразить сельчан! А тут только мы спохватились, что из-за них мы позабыли и про окорок, и про колбасы, и вообще про все остальное, что у нас полагается к столу на пасху. Хорошо еще, что удалась обычная простая пасочка, которую пришлось освятить, когда хозяин приехал за нами в церковь; не догадайся мы ее сделать, совсем бы оскандалились. Но она, конечно, не могла заполнить стол, и, благодаря этому, пришлось ограничиться лишь приглашением хозяев дома, о других и думать было нечего. Мы даже окна закрыли ставнями с той стороны, где напротив был кабак и люди толпились целыми днями.

Эта история сразу открыла нам глаза и показала, что мы взяли на себя неподходящую задачу. О чайной, которую мы имели в виду открыть, и думать было нечего, раз Вера Ивановна не имела ни малейшей склонности к хозяйству. Когда я в первый раз пришел домой, меня прежде всего поразили сенцы и пол в хате. В сенцах от грязи и сору было ступить трудно, а пол в хате представлял такие всюду выбоины, что легко было споткнуться и упасть. Бабы обычно чуть не ежедневно его подправляют, замазывают. У нас об этом никто и не думал. Решили чайную не открывать, а подыскать в другом месте что-либо более подходящее для нас. Но тут произошло одно небольшое обстоятельство, которое еще более ускорило наше бегство из этой деревни. В конце праздников задумал нас навестить один из наших киевлян. За это время нас посетили многие из своих, как-то: Стефанович, Дейч; но у этого был паспорт чиновника; притти ему пешком, как делали другие, показалось неудобным; поэтому мы воспользовались общественной лошадью с повозкой, что находились у нас на постоялом дворе в другом селе, а именно, в Смеле, где хозяином двора был как бы свой человек, хотя это был простой еврей, делающий все из-за денег. Дробязгин—за кучера, чиновник—за барина двинулись из Смелы к нам, и, не разочтя времени, приехали лишь ночью в наше село. В Малороссии ночью села охраняются вартой, т.-е. группой молодежи. Ради праздников она была навеселе, и ей хотелось подурачиться. Вдруг варта видит наших путников: «Стой, кто?»—раздаются возгласы. Будь наш чиновник настоящим,—он бы накричал, нашумел, и все бы уладилось. Вместо этого, за него принялся ругаться с вартой Дробязгин. Тогда их потащили в сельское правление к писарю. Писаря не оказалось. Пошел я к старшине, но он отказался вмешиваться в это дело, и нашему чиновнику пришлось провести ночь в правлении. Только лошадь удалось нашему хозяину взять к нам во двор, дабы она не голодала. Утром, когда явился писарь,



прочел паспорт и увидел, что варта накуралесила, нашего гостя с извинениями отпустили, и он пришел к нам, но после этого мы быстро покончили со своей квартирой, снялись и разошлись.

Вера Ивановна уехала в г. Крылов и поселилась там уже, как городская жительница-мещаночка; я же с Мокриевичем нанял дом в другом селе, подальше от нашего.

Таким образом, опыт опрощения для Веры Ивановны закончился, и она больше уже никогда не пыталась играть в него. Несомненно, это было не по ней. Даже самый костюм крестьянки на ней сидел и выглядел как-то странно. Сапоги на высоких сбившихся каблуках мешали ей ходить, и она от боли принуждена была ковылять. Платье оказалось очень коротким, высоко поднятым. Платок на голове ухитрялся постоянно сбиваться на бок. Благодаря всему этому она выглядела и старей, и некрасивей, чем была на самом деле.

Прошло некоторое время. У нас, кроме частных квартир по деревням, был еще общий дом — так сказать, штабная квартира—в г. Елисаветграде. Туда мы наезжали из деревень, там некоторые из нас жили и подолгу. Приезжаю я как-то туда и вижу двух, как будто новых, молодых, довольно красивых барышень; одна оказалась даже с полными розовыми щеками. Хочу уже спросить, кто они такие, но, присмотревшись, вижу, что это Вера Ивановна и Маруся Коленкина. Вид Веры Ивановны в городском костюме совершенно преобразился, а ее душевное, более спокойное, состояние привело и к полноте, и к красоте. Ясно—это был чисто городской житель, и, только находясь под влиянием тогдашнего времени, она согласилась на неподходящую для ее натуры роль. Зато попробовав, она уже больше никогда и не пыталась браться за нее. Будучи по существу человеком способным на всякий подвиг, она, когда у нас зашла речь об образовании конного отряда<sup>1</sup>, первая с Марусей Ковалевской стали требовать, чтобы в этот конный отряд были допущены и женщины, имея, конечно, в виду и себя; несомненно, если бы дело дошло до военных действий, она была бы не последней. Мы все уже были вооружены револьверами, она тоже имела его и немало упражнялась в стрельбе с Марусей.

Наше бунтарство было жандармами разбито в этом же 1876 году. Мы разбрелись, было, потом собрались на короткое время в Харькове. Здесь еще раз мы виделись с Верой Ивановной на некоторое время, но затем она уехала в Питер, и только в конце 1877 года я снова услышал о ней. Она и Маша Коленкина, добыв какими-то путями 1.000 руб., прислали на юг В. Осинского с целью предложить, не найдутся ли желающие заняться освобождением из Киевской тюрьмы

<sup>1</sup> Этот конный отряд должен был, разезжая по деревням, поднимать в них восстания, уничтожать в них правительственные учреждения, отбирать землю у помещиков и передавать ее крестьянам и вести партизанскую борьбу с правительственными войсками.—Ред.



Стефановича, Дейча и Бохановского, арестованных по Чигиринскому делу. Им грозила, несомненно, смерть.

Вскоре Мокриевич, Волошенко, Попко и я согласились поехать в Киев, но так как там не было еще заведено даже хороших сношений с тюрьмой, то Осинский, Волошенко, Попко и я двинулись в Питер, чтобы предварительно заняться охотой на Трепова. Попко и я наняли даже в Питере против полицейского управления комнату и стали следить за выездами Трепова, но тут Вера Ивановна нас предупредила. Она знала, что кто-то ведет дело против Трепова и, встречаясь со мной, даже спрашивала, двигается ли это дело у троглодитов, как называлась та группа, к которой примыкал отчасти Осинский. О том, что я и Попко ведем дело, мне, конечно, нельзя было ей говорить. В свою очередь и она о себе ничего мне не говорила. На ее вопрос я ответил только, что дело находится в периоде слежки. Узнав это, она прошла к Трепову на прием и сама выстрелила в него, ранив его в живот. Ее схватили, судили, но присяжные оправдали. Жандармы, при ее выходе из суда, хотели, было, ее все-таки снова схватить, но тут публике удалось их оттеснить, а ее, усадив в карету, укатить и спрятать так, что ее не нашли, и она потом уехала за границу. Скрывалась она, кажется, у Веймара, а, главным образом, у Грибоедова, как мне передавали.

О заграничной жизни Веры Ивановны, лично я, сидя в Шлиссельбургской крепости, конечно, не мог ничего знать, но слух о том, что она поражала европейцев своей скромностью и беспритязательностью, меня несколько не удивил: он вполне соответствовал тому представлению, какое сложилось у меня о ней за то короткое время, что мы были вместе.

Вера Ивановна, несмотря на довольно значительную начитанность и на то, что она имела свои вполне самостоятельные обо всем мнения и убеждения, редко, однако, выступала на собраниях и никогда не старалась выдвигаться вперед, напоказ другим. Когда поднимался какой-нибудь вопрос, она, высказав свое мнение, обычно, не вступая в полемику, умолкала. Это был человек, живший больше своей внутренней жизнью и не особенно охотно пускавший чужого заглядывать в ее «святая-святых». Около месяца мы прожили, как выше я говорил, вместе в деревне, и за все это время мы так и не удосужились ближе узнать друг друга, получше уяснить себе взаимные взгляды. Только, помню, вначале, после того неудачного новоселья, когда у нас вышла драка, оставшись одни, мы поглядели друг на друга испытующе, хотели, было, потолковать по душе, как говорится, но и тут у нас ничего не вышло. Посмотрев молча друг на друга издали, мы так и разошлись по своим углам: она—на свою убогую кроватку, я—в угол на лавку, и с тех пор уже и не пробовали даже глазами изучать друг друга. Благодаря этому, о внутреннем мире Веры Ивановны я и не могу ничего сказать больше; люди, знающие ее лучше, пусть заполнят этот пробел, а я скажу еще только несколько



слов о нашем последнем свидании с ней. Это было уже после моего освобождения не то в 1910 г., не то в 1912 г. — точно времени не помню. Она жила в Питере в доме литераторов, занимая там небольшую комнатку. Приехав в Питер и узнав, что Вера Ивановна тоже тут, я отправился навестить ее.

Картина, которую я увидел, отворив дверь в ее комнату, сразу напомнила мне прошлое. Вера Ивановна с книгой в руке сидит за столом, заваленным всякой всячиной. На окнах, на другом столе лежат вещи, стоят чайники, тарелки с недоеденной пищей, плохо вымытые стаканы; в углу сложено нето грязное белье, нето хлам какой-то; кровать кое-как закрыта и т. д. Словом, Вера Ивановна осталась вполне верна себе до гроба. На житейские удобства она не обращала совершенно внимания. В это время она, по ее словам, имела какое-то дело с рабочими, и вот там-то и была вся ее душа и сердце, а удобства, еда, питье,—это все скучная, неприятная обязанность, навязанная нам природой, и она отбывала ее, как тяжелую повинность, стараясь отдавать ей как можно меньше времени. Я не был в Питере при последних днях ее жизни, но полагаю, что таковой она пошла и в могилу.

Спи же, дорогой товарищ, спокойно, а память о тебе еще долго будет ходить по земле.

### 8. А. И. Зунделевич <sup>1</sup>.

В каком году впервые я познакомился с «Зундом» я не помню, но только это было на юге—в Одессе. Он привез нелегальную литературу и упорно настаивал, чтобы мы ее даром не давали, а требовали деньги. «Только заплатив деньги, человек будет беречь книгу, газету»,—говорил он, споря с нами. «Покупным дорожат, даровое же быстро бросают!»—был его довод. Мы приписывали этот довод заграничной практике, полагая, что, мол, верно, там так практикуется, и, перестав спорить, делали потом, кто как находил лучше и удобнее. Таково первое знакомство. Затем в 1878 году (кажется) я застаю его уже в Питере, энергично настраивающим тайное печатание; при моем приходе на его квартиру, я застал его и других за выпиливанием гуттаперчевого или резинового вала для типографии. На ряду с этим мне его представляют, как человека, очень ловко ведущего дело переправки через границу и людей, и книг, и типографских принадлежностей.

Далее он попадает в Сибирь, на Кару, я—в Шлиссельбург, и мы не видимся до 1908 года. Только в этом году, вырвавшись за границу, я еду с женой в Лондон и поселяюсь в одном доме с «Зундом». Он занимал в рабочем квартале небольшую комнатку в нижнем этаже, а мы заняли пустую—в верхнем. В это время он представлял из себя

<sup>1</sup> Напечатано впервые в № 1 «Каторги и Ссылки» за 1924 год.—*Ред.*



очень типичную, красивую фигуру: большая окладистая борода, полное правильное лицо напоминали какого-то патриарха-родоначальника. Один английский скульптор восторгался его фигурой и вылепил очень удачно его голову, лицо, бороду. Интересно узнать, сохранился ли этот бюст? Жил «Зунд» на средства, заработанные им в Сибири при постройке железной дороги; этому помогала его практичность и деловитость.

Жил он так: утром, вскипятив чаю и напившись, он шел в лавку, покупал мяса, овощей и, придя домой, все это вымывал, водворял в кастрюлю и ставил на керосинку, которая помещалась на его столе. Этот стол стоял обычно около его кровати — комната была узкая, короткая. Зажегши керосинку, он брал газету или книгу в руки, ложился на кровать и, читая их, по временам следил за варкой в кастрюле. Когда, по его мнению, все уваривалось, он поднимался к нам и звал обедать. Суп или щи у него выходили очень вкусными, так как мяса он покупал, не скупясь, и одним блюдом мы трое — я был с женой — наедались до отвала. По вечерам он ходил в какой-нибудь клуб; в разговорах он всегда высказывался за немецких социал-демократов. В социал-демократическом движении он только и находил смысл, видя лишь в нем одно спасение мира. После нашего отъезда он с женой Кравчинского — Фаней Личкус — занялся, как нам передавали, сельским хозяйством, но как оно у них шло, не знаю. По словам всех ближе знавших этого человека, он был незаурядной личностью и по деловитости, и по своим достоинствам.

Мир же праху его!

## 9. Михаил Васильевич Новорусский <sup>1</sup>.

Михаил Васильевич Новорусский родился в сентябре 1861 г.

Сын деревенского псаломщика, он раннее детство провел в среде крестьянских детей, подчас исполняя роль няньки своих младших братьев. Они, конечно, мешали ему играть, и он не раз обращался к богу с горячей мольбой избавить его от них, но когда они умирали (а умирали они частенько — у отца их было 13 человек), он тосковал.

Это раннее пребывание М. В. в трудовой деревенской семье и наложило на него особую печать деловитости и трудоспособности.

Достигнув школьного возраста, он поступает в духовное училище; по окончании которого проходит последовательно семинарию и академию. Последнюю он кончил с большим успехом, и его прочат даже в профессора, — оставалось лишь написать магистерскую диссертацию.

Но в 1887 году его вдруг арестовывают, судят, приговаривают к смертной казни, но заменяют ее бессрочной каторгой и заключают в Шлиссельбургскую крепость.

<sup>1</sup> Напечатано впервые в № 7 «Каторги и Ссылки» за 1925 год.—*Ред.*



Что послужило поводом к этому? «Участие в подготавливавшемся покушении на Александра III»,—ответили бы жандармы. Но на деле это было совсем не так.

Первоначально, когда Новорусский появился у нас в Шлиссельбурге, мне передавали, что он будто бы совершенно не знал того, что готовилось покушение на Александра III, и что в его квартире хранился динамит и разные кислоты, необходимые для производства нитроглицерина. Все сделано было лишь с согласия его невесты и тещи. Новорусский узнал обо всем этом лишь во время обыска.

По другой версии,—по словам В. Н. Фигнер,—Новорусский сам сообщил, что А. Ульянов, один из замышлявших взрыв, обратился к нему за разрешением приготовить на его квартире динамит, и он позволил.

После похорон Новорусского я спросил его жену, Полину Матвеевну, не знает ли она, как было дело. Она мне рассказала следующее:

Была коммунальная квартира, на которой жили невеста Новорусского со своей матерью и еще кто-то из приготавливавших динамит. Когда динамит был приготовлен, все прочие ушли. Охранять квартиру было некому; тогда перебрался туда Новорусский. Не успели еще убрать разные кислоты и часть динамита, как (через три дня) Новорусский был арестован.

Новорусскому, конечно, могло быть известно, что там готовился динамит, но для какой цели—он, вероятно, не знал, так как у него с А. Ульяновым было лишь обычное, а не кружковое знакомство. Ульянов мог обратиться за разрешением готовить динамит даже к самому Новорусскому. Но весьма сомнительно, чтобы он сообщил при этом Новорусскому для чего он предназначается: к этому времени люди уже научились конспирации. Таким образом, можно утверждать, что Новорусский ни в какой мере не был причастен к самому замыслу. И все-таки он был приговорен к смерти. Притом замечательно то, что, попав к нам в Шлиссельбург, Новорусский никогда не жаловался на то, что, несмотря на свою невиновность, он должен нести такую же кару, как и настоящие участники покушения. Мало того. Однажды, как мне передавали, ему представилась полная возможность избавиться от тюрьмы и приобрести свободу. Начальство якобы предложило ему поехать в Китай, в качестве миссионера, откуда он легко мог бы, конечно, уйти на все четыре стороны. Новорусский, однако, не захотел кривить душой и отказался.

От моих первых встреч с Новорусским в Шлиссельбурге у меня составилось впечатление о нем, как об очень молодом, не особенно крепкого сложения, человеке,—я даже предполагал в нем предрасположение к чахотке. Попади он в Алексеевский рavelин, он, наверное, не выжил бы. Но в Шлиссельбург он попал именно в тот период, когда начались у нас маленькие послабления: разрешено было заниматься огородничеством, появились мастерские, стало постепенно увеличиваться время прогулок. Эти нововведения, развиваясь и ши-



рять, привели под конец к возможности составить очень хорошую библиотеку.

И Новорусский ухватился с жаром как за физическую работу, так и за пополнение своих знаний по естествоведению и общественным наукам. Он весь ушел в работу, и благодаря этому окреп настолько, что стал одним из наиболее деятельных работников. Он сделался столяром, токарем, переплетчиком, занимался огородничеством, составлял коллекции, выращивал разных гусениц, исправлял испорченные модели, часы и т. д. Когда понадобилось вставлять стекла в парниковые рамы, Новорусский покупает в складчину резец и делается нашим стекольщиком. Дорожа временем, он, уходя из мастерских в огород, обычно захватывал с собой коробку с инструментами, чтобы и на прогулке мастерить что-либо. Он приготавливал также разного рода фруктовые напитки для торжественных случаев (имений и пр.). Он даже ухитрился на глазах жандармов гнать спирт: он ставил в кухне на плиту чайник с брагой и со стеклянными трубками и, охлаждая трубки, получал по каплям спирт. Он первый сделал у нас инкубатор и вывел в нем цыплят. Когда у нас завелся писанный журналчик, Новорусский сделался непременно его сотрудником. Словом, не было предприятия, не было занятий, в которых он не принимал бы активного участия. Благодаря этому, когда у нас явилась возможность через доктора Безроднова получать из Петербургского Музея разные коллекции, и Лукашевич стал читать лекции по зоологии, минералогии, геологии,—Новорусский и тут, набросившись на естественные науки, хорошо ознакомился с ними; это и дало ему возможность воспользоваться всем этим на воле. Далее, постепенно обогащаясь знаниями, думая, беседуя с товарищами, он за время сидения выработал себе и вполне определенное мировоззрение—он стал марксистом.

М. В. буквально не оставлял себе времени для отдыха. До чего он дорожил временем, видно, между прочим, из того, что когда наши льготы расширились настолько, что нам, кроме свидания с одним товарищем на прогулке и в мастерских, позволяли еще свидания вдвоем по вечерам в камере, то я не помню, чтобы М. В. пользовался этой льготой и ходил в гости. Между тем, это была очень ценная льгота. В камере с глазу на глаз можно было поговорить по душе обо всем. Через глазок жандармы могли только смотреть, подслушать разговор им было уже невозможно. Запирались такие пары после прогулок; они ужинали вместе, беседовали, и только в 9 часов вечера гостей разводили по своим камерам.

В одном лишь случае М. В. не выдержал характера,—когда льготу эту распространили и на В. Н. Фигнер. Беседы с ней не были глупым переливанием из пустого в порожнее, а обычно представляли очень интересный обмен мнений о прочитанном, по поводу разных начинаний и работ для музея; подчас шел идейный спор. Значит, и тут время не пропадало даром. Таким образом, 18 с половиной лет, про-



веденные М. В. в тюрьме, не только не надорвали его здоровья, не убили его морально, но, напротив, он физически окреп и развился умственно. Поэтому-то, выйдя на волю, он сейчас же оказался вполне приспособленным к жизни человеком.

В тюрьме же, занятый всегда работами, М. В., конечно, меньше других тосковал, тюремный режим меньше его раздражал, и нервы его оставались в более спокойном состоянии. Тут помогло еще и то, что главная причина наших столкновений с жандармами—перестукивание—после расстрела Мышкина, происшедшего до поступления к нам Новорусского, прекратилось. При Новорусском у нас ухитрились переговариваться через отводные трубы из параши-стульчака. Но это кончилось лишь тем, что в трубах сделано было какое-то приспособление, которое задерживало воду и лишало нас возможности переговариваться. А жандармы и не догадались воспользоваться этим для подслушивания и участия в беседах.

По выходе из Шлиссельбурга в 1905 г. М. В. попал на поруки к архиепископу финляндскому Сергию, в Выборге, и тут принялся за писание своих воспоминаний о пребывании в Шлиссельбургской крепости<sup>1</sup>. Но вскоре представилась возможность поселиться в самом Петербурге. Михаил Васильевич берет на себя заведывание хозяйственной частью Института Лесгафта, а затем, уже в качестве лаборанта, снабжает студентов реактивами, учит их производить анализы и пр. Вступив в 1909 году в должность заведующего музеем прикладных знаний, М. В. устраивает доставку на дом коллекций, что способствовало более широкому пользованию ими.

В 1905 году, после нашего выпуска из Шлиссельбурга, тюрьма на время была прикрыта; но революционное движение, возродившееся в 1906—1907 г.г., снова принесло обильную жатву. Правительству не только вновь понадобилась наша старая Бастилия, но ему пришлось воздвигнуть еще целых два, если не ошибаюсь, громадных новых здания. Сидящим заключенным—как уголовным, так и политическим—необходимо оказывать помощь и книгами, и деньгами. Михаил Васильевич становится деятельным членом б. Красного Креста и целых 11 лет, как мне передавали, неустанно хлопотал о доставке денег, продуктов, книг. Он даже меня однажды хотел перетянуть с юга на север для этого; задумав устроить молочную ферму под Шлиссельбургом для снабжения молоком заключенных, М. В. предлагал мне взять на себя заведывание фермой; но у меня на юге было уже свое маленькое дело, и я отказался.

Музей, которым М. В. заведывал, находился в ведении Русского технического общества, и М. В., войдя в тесную связь с обществом, всецело уходил в работу по техническому образованию. Он высту-

<sup>1</sup> Они печатались в «Былом», 1906 г. и в других журналах и затем переведены на шведский и немецкий языки. В 1920 г. «Записки Шлиссельбуржца» вышли отдельным изданием (Гос. Изд.).—*Ред.*



пает с докладом в качестве эксперта выставки. С 1917 года он становится директором сельско-хозяйственного музея в Петрограде, и его деятельность развивается еще шире. Он организует экскурсии—то в Финляндию, то в Шлиссельбург, часто лично сопровождая экскурсантов. Вскоре его командировуют на Урал с комиссией по восстановлению нормального хода работ. Далее ему поручается организовать комиссию по обследованию заводов «Респиратора». Кроме того, заботясь об улучшении показательной стороны своего сельско-хозяйственного музея, он к мертвым образцам присоединил и устроил еще живое показательное хозяйство под Петроградом, на острове, на 100 десятинах земли. Здесь разводились племенные коровы, свиньи, козы, породистые куры и другие птицы, были устроены оранжереи, огород, поле. Все это требовало больших хлопот и забот, так как то наводнение, то чума, то другие невзгоды страшно тормозили дело. М. В., как мне говорили во время его похорон, немало обязан этому своей преждевременной смертью.

Мною, конечно, очень неполно представлены занятия М. В., ибо я не знаю всего, но и этого достаточно, чтобы видеть, как много он работал. К этому необходимо еще прибавить, что он сотрудничал и в газетах, и в журналах, и в сборниках и издавал отдельные труды.

М. В. умер 21 сентября 1925 года, но хоронили его только 27. Жена его находилась в Крыму и прибыла в Ленинград лишь 25. Поэтому труп пришлось набальзамировать. 26 из квартиры он был перенесен в зал Филармонии (б. дворянское собрание); несмотря на сильный дождь, прах сопровождала довольно большая толпа близких и почитателей Новорусского. А 27 уже с 10 часов утра к зданию Филармонии прибыла конная и пешая милиция. В зал пускали лишь по билетам; хотя их выдано было более 3.000, но это не удовлетворило всех явившихся отдать последний долг покойному. Зал был декорирован, у гроба стоял двойной караул—военный и общий. Гроб с помостом сверху донизу был завален венками.

Похоронили Новорусского на Волковом кладбище, около могилы Панкратова. Сам Новорусский при жизни не раз выражал желание быть похороненным в Шлиссельбурге, где он воздвиг некогда памятник над могилами товарищей; он высказал также пожелание быть сожженным, как мне передавала его жена, Полина Матвеевна. Но за незнанием этих пожеланий раньше, комиссия, распоряжавшаяся похоронами, выбрала Волково кладбище и не могла в столь короткий срок переменить форму погребения.



## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН.

Аксельрод, Пав. Бор., чайковец, впоследствии с.-д.—58, 97, 181, 299.

Александр II—67, 78, 156—158, 160, 161, 164, 168, 183, 301, 310, 311, 313, 314, 316.

Александр III—183, 188, 316, 327.

Алексеев, «маликовец»—50.

Алексеев, брат предыдущего—50, 118.

Алеша Попович, см. В. Ф. Костюрин.

Алёшка, см. А. Оболенев.

Аносов, Николай Мих., чайковец—47, 49, 93—95, 308.

Антоний, митрополит—254.

Антонов, Петр Леонтьевич, народоволец, шлиссельбуржец, осужден в 87 г. по процессу 21—228, 234, 241, 242, 250, 252, 253, 263.

Армфельд, Нат. Ал—ровна, чайк., карийка, осужд. в 79 г. по процессу киевских террористов—116, 308.

Арончик, Айзик Бор., народоволец, шлиссельбуржец, осужд. в 82 г. по процессу 20—179, 185, 187, 188, 192, 200, 206, 207, 214, 304.

Ашенбреннер, Мих. Юльевич, народоволец, шлиссельбуржец, осужд. в 84 г. по процессу 14—223—226, 242, 248, 255, 256.

Бакунин, Мих. Ал—рович, анархист—93, 94.

Балмашев, Степан Валерьянов., с.-р., казнен 3 мая 1902 г. в Шлис. креп. за убийство мин. вн. д. Сипягина—250.

Бальзам—58, 299.

Баранников, Ал.—р Ив., народоволец, осужд. в 82 г. по процессу

20—40, 68, 103, 135, 158—160, 162, 169, 183—185, 188, 192, 198, 199.

Баранниковы—159.

Безроднов, Никол. Серг., врач Шлис. креп.—239, 328.

Бобринский, граф, моск. губернский предводитель дворянства, сословн. представитель на процессе 20—185.

Богданович, Юрий Никол., народоволец, шлиссельбуржец, осужд. в 83 г. по процессу 17—201, 208, 209.

Боголепов, Ник. Павл., мин. вн. дел—250.

Бок, Карл Эрнест, изв. анатом, автор мног. популярн. медицинск. сочин-ий—209.

Бокль, Генри-Томас, англ. историк, автор «Истории цивилизации в Англии»—296.

Бохановский, И. П., бунтарь—63, 82, 101, 102, 129, 134—136, 148—151, 171, 176, 177, 208, 324.

Брешко-Брешковская, Екат. Конст., карийка, осужд. в 78 г. по процессу 193—315.

Бух, Ник. Конст., народоволец, кариец, осужд. в 80 г. по процессу 16—59.

Буцевич, Ал—р Викентьевич, народоволец, шлиссельбуржец, осужд. в 83 г. по процессу 17—209.

Буцинский, Дмитр. Тимофеев., кариец, шлиссельбуржец—240.

Вагнер, автор «Технологии» 189, 194.

Валь, пет. градонач.—209, 254.

Варынский, Людвиг-Фаддей Северинов, шлиссель-



буржец, осужд. в 85 г. по процессу «Пролетариата»—208, 209.

В а с и л ь е в, студ. Петр. с.-х. академии—39, 40.

В а х р а м е е в, ярославский городск. голова, сословный представитель на процессе 20—185.

В е й м а р, О р е с т Э д у а р д., врач, кариец, осужд. в 80 г. по делу об убийстве Мезенцева—324.

В о й н а р а л ь с к и й, П о р ф и р и й И в а н., кариец, осужд. в 78 г. по процессу 193—7, 46, 49, 64, 94, 104, 113—115, 160, 171, 178.

В о л о ш е н к о, И н н о к е н т и й Ф е д о р о в., кариец, осужд. в 79 г. по процессу киевских террористов—102, 103, 129, 299, 324.

В о л х о в с к а я, М а р и я О с и п о в н а, жена Ф. М. Волховского—52, 123.

В о л х о в с к а я, дочь М. О. Волховской—123.

В о л х о в с к и й, Ф е л и к с В а д и м о в., чайковец, осужд. в 78 г. по процессу 193—50—52, 95, 96, 121.

В о л ь к е н ш т е й н, Л ю д м и л а А л—р о в н а, народоволка, шлис., осужд. в 84 г. по процессу 14—227, 230, 231, 241—243, 255, 256.

В о р о н к о в, чайковец—121.

В о с к р е с е н с к и й, препод. истории в ставропольск. гимназии—26

Г [о л и ц ы н], князь—32.

Г а м б е т т а, Л е о н, адвокат, знамен. франц. полит. деятель—74.

Г а н г а р д т, полковник, комендант Шлис. креп.—226, 227, 229, 233, 234, 236, 239.

Г а п о н, Г е о р г. А п о л л о н., священник, провокатор—257.

Г а р и б а л ь д и, Д ж у з е п п е, знамен. итальянск. полит. деятель—27.

Г а р т м а н, Э д у а р д, нем. философ—221.

Г е й к и н г, жандармск. офицер—102, 103, 171, 177.

Г е л и с, М е е р Я к о в л е в и ч, кариец, шлиссельбуржец—208.

Г е л ь в а л ь д, Ф р и д р и х—А н т о н—Г е л л е р, изв. этнограф, географ и историк—209.

Г е л ь ф м а н, Г е с я М и р о н о в н а, народоволка, осужд. в 77 г. по процессу 50 и в 81 г. по процессу 1 марта—180.

Г е р а р д, В л а д. Н и к., прис. повер.—36.

Г е р н е т, Н и к., секретарь одесской городской управы, адм.-сс.—105, 172.

Г е р ц о-В и н о г р а д с к и й, С е м е н Т и т о в и ч (псевд. Барон Икс), изв. одесск. журналист, адм.-сс.—105, 172.

Г е р ш у н и, Г р и г. А н д р., с.-р., шлиссельбуржец, осужд. в 1904 г. по делу о боевой организации партии с.-р.—222, 257, 265, 267.

Г и н с б у р г, С о ф ь я М и х., народоволка, шлиссельб., осужд. в 89 г. за подготовку покушения на жизнь Александра III—207, 226.

Г о г о л ь, Н и к. В а с., писат.—27.

Г о л ь д е н б е р г, Г р. Д а в., народоволец, предатель—78, 105, 156, 164, 167, 179, 180, 182, 186, 312.

Г о р е м ы к и н, И в. Л о г г и н о в и ч, мин. вн. дел—235, 255.

Г о р и н о в и ч, Н и к. Е л и с е в и ч, член киевской «коммуны», провокатор—62, 100, 119.

Г р а ч е в с к и й, М и х. Ф е д о р о в., народоволец, шлиссельбуржец, осужд. в 83 г. по процессу 17—183, 205, 207, 226, 305.

Г р и б о е д о в, Н и к. А л е к с е е в., примык. к кружку чайковцев—324.

Г у з ь, ротмистр, смотритель Шлиссельб. креп.—244, 245.

Г у м е л ь, препод. греч. яз. в ставроп. гимн.—25, 26.

Д а в и д е н к о, О с и п Я к о в л., рев., казнен 10 авг. 79 г. в Одессе по процессу 28—67, 105, 171.

Д а н т о н, Ж о р ж-Ж а к, знам. деят. франц. революции—26.

Д а у г у л ь, влад. садоводства в Юрьеве—237, 238.

Д е б о г о р и й-М о к р и е в и ч, В л а д и м. К а р п о в и ч, бунтарь—59—61, 98, 99, 101, 102, 111, 129, 146—148, 151, 208, 299, 319, 323, 324.

Д е б о г о р и й-М о к р и е в и ч, И в. К а р п о в., брат предыдущего—299.

Д е г а е в, С е р г е й П е т р о в и ч, народоволец, провокатор—186, 224.

Д е й ч, Л е в Г р и г., с.-д.—63, 82, 100—102, 119, 129, 134—136, 148—151, 171, 176, 177, 208, 322, 324.



Дзвонкевич, Ник. Ник., народоволец, кариец, осужд. в 83 г. по Стрельниковскому процессу—299.

Дмоховский, Лев Адольфович, осужд. в 74 г. по процессу Долгушина—309.

Добржинский, А. Ф., прокурор—72—76, 78, 80—82.

Добродеев, полковник, комендант Шлисс. креп.—226, 227.

Долгушин, Ал—р Вас., кариец, шлиссельбуржец, осужд. в 74 г. по процессу его имени—208.

Дондукова - Корсакова, Мария Мих., княжна—253.

Достоевский, Федор Мих., писат.—27, 68.

Дрентельн, Ал—р Ром., шеф жандармов—105.

Дреппер, Джон Вильям, америк. ученый—90, 209, 296.

Дробязгин, Ив. Вас., рев., казнен в Одессе 7 дек. 79 г.—54, 58, 59, 61, 62, 67, 99, 100, 105, 111, 124, 155, 171, 296—298, 321, 322.

Дубенская, В. Д., см. Лебедева, В. Д.

Дубенская, Ек. Дм., сестра предыдущей—316.

Дурново, Ив. Ник., мин. вн. дел—209, 317.

Дурново, Петр Ник., дир. деп. пол.—210.

Емельянов, Ив. Пантелеймон., народоволец, кариец, осужд. в 82 г. по процессу 20—185, 188.

Жебунев, Серг. Ал—ров., осужден в 78 г. по процессу 193—44, 295—296.

Желтоновский (Жуков), чайковец—120—122.

Желябов, Андр. Ив., народоволец, казнен по процессу 1 марта 1881 г. 3 апр. того же года—66, 106, 157, 158, 161—163, 165, 169, 172, 179, 180, 182, 183, 312.

Заркевич, Ник., врач Шлис. креп.—205.

Заславский, Евгений Осипович, основатель «Южно-Российского Союза Рабочих»—97.

Засодимский, Пав. Влад., писатель—91.

Засулич, Вера Ив., с.-д.—60, 64, 98, 102, 129, 170, 177, 319—325.

Зеленой, Ал—р Ал—еев., ген.-ад'ют., мин. госуд. имущ.—40.

Златопольский, Лев Соломонов., народоволец, кариец, осужд. в 82 г. по процессу 20—185, 188, 196, 201, 208, 297, 300, 311.

Златопольский, Савелий (Александр) Соломонов., народоволец, шлиссельбуржец, осужд. в 83 г. по процессу 17—54, 58, 62.

Зубатов, Серг. Вас., нач. моск. охран. отдел.—257.

Зунделевич, Аарон Исаакович, народоволец, кариец, осужд. в 80 г. по процессу 16—325—326.

Иванов, Вас. Григ., народоволец, шлиссельбуржец, осужд. в 84 г. по процессу 14—205, 206, 243, 247.

Иванов, Ив., студ. Петр. с.-х. академии—36, 37, 88.

Иванов, Игнатий Кириллович, народоволец, кариец, шлиссельбуржец, осужд. в 80 г.—196, 199, 200, 206, 209.

Иванов, Серг. Андр., народоволец, шлиссельбуржец, осужд. в 87 г. по процессу 21—232, 234, 240, 241, 249, 263.

Изабо, автор руководства по сельск. хоз.—229.

Иоанн Антонович—232, 245.

Исаев, Григ. Прокофьевич, народоволец, шлиссельбуржец, осужд. в 82 г. по процессу 20—179, 185, 188, 192, 200, 209, 212—214, 310, 314.

Каракозов, Дм. Влад., рев., за покушение на Александра II 4 апр. 66 г. казнен 3 сент. того же года—301.

Карпович, Петр Владим., шлиссельбуржец, осужд. в 1901 г. за убийство мин. нар. просвещ. Боголепова—250—252, 267.

Квятковский, Ал—р Ал—ров., народоволец, казнен 4 ноября 80 г. по процессу 16—64, 103, 104, 106, 169, 178.

Кибальнич, Ник. Ив., народоволец, казнен по процессу 1 мар-



та 1881 г. 3 апр. того же года—68, 69, 310, 311, 314.

К л е м е н ц, Д м и т р. А л—р о в и ч, чайковец—58, 299, 316.

К л е т о ч н и к о в, Н и к. В а с., народоволец, осужд. в 82 г. по процессу 20—180, 185, 188, 192, 198, 199.

К л и м е н к о, М и х. Ф и л и м о н., народоволец, шлиссельбуржец, осужд. в 83 г. по процессу 17—205, 305.

К н я з е в, чайковец—93, 308.

К о б и е в—44, 295—296.

К о б о з е в ы—под этой фамилией жили в П. на М. Садовой ул.—в качестве владельцев сырной лавки—Ю. Н. Богданович и А. В. Якимова—7.

К о б ы л я н с к и й, Л ю д в и г А л—р о в., кариец, шлиссельбуржец, осужд. в 80 г. по процессу 16—209.

К о в а л е в с к а я, М а р. П а в л., карийка, осужд. в 79 г. по процессу киевских террористов—60, 98, 100—102, 129, 208, 319, 321, 323.

К о в а л ь с к и й, И в. М а р т ы н о в., рев., казнен в Одессе 2 авг. 78 г. за оказание вооруженного сопротивления при аресте—54, 57—59, 62, 96, 100, 103, 105, 155, 171, 172, 177, 296—300.

К о л е н к и н а, М а р. А л—р о в н а, карийка, осужд. в 80 г. по делу об убийстве Мезенцева—129, 319, 320, 323.

К о л о д к е в и ч, Н и к. Н и к., народоволец, осужд. по процессу 20—66, 68, 106, 161, 169, 182, 183, 185, 188, 192, 200, 311.

К о м и с с а р о в, О с и п—301.

К о н а ш е в и ч, В а с. П е т р о в., народоволец, шлиссельбуржец, осужд. в 87 г. по процессу 21—206.

К о р е н е в, полковник, комендант Шлис. креп.—226.

К о р о л е в, директ. Петровск. с.-х. академии—37—41.

К о р о л е в, один из защитников на процессе 20—84.

К о с т о м а р о в, Н и к. И в а н., историк—218.

К о с т ь о р и н, В и к т о р Ф е д о р о в., бунтарь, кариец—7, 59, 63, 97, 101, 102, 119—128, 221.

К о т л я р е в с к и й, тов. прокурора—102, 103, 171, 177.

К о ш у р н и к о в, нелег. фамил. Ал—ра Ив. Баранникова (см.).

К р а в ч и н с к и й, С е р г. М и х., литер. псевдоним Степняк, рев., 4 авг. 78 г. убил шефа жандармов Мезенцова, эмигрировал за границу и жил в Лондоне—44, 45, 48—50, 57, 58, 93, 95, 105, 108, 170, 299, 308, 316, 326.

К р а е в, елисаветградский житель, в квартире которого собирались революционеры—119, 120.

К р а у з е, преподав. геометрии в ставроп. гимназ.—23.

К р о п о т к и н, Д м. Н и к., кн., харьковск. губернатор, убит в 79 г. Гр. Гольденбергом—105, 164, 171.

К р о п о т к и н, П е т р А л—е е в., чайковец, впоследствии анархист—45, 94, 100, 108, 109, 221, 308—309.

К р ы л о в, И в. А н д р., баснописец—17, 27.

К у з н е ц о в, А л е к с е й К и р и л., кариец, один из главных обвиняемых по делу нечаевцев—36, 37.

К у л я б к о—46, 114, 115.

К у р о п а т к и н, А л е к с е й Н и к., ген., главнок. в японск. войну—210.

Л а в р о в, П е т р Л а в р., литер. псевдон. Миртов, видн. теоретик народничества, эмигрант, изд. журн. «Вперед»—90, 93, 109, 296.

Л а в р о в с к а я, Е л и з. А н д р., актриса, позже проф. пения Моск. консерват.—102, 173.

Л а г о в с к и й, М и х. Ф е д о р о в., народоволец, шлиссельбуржец—24, 226, 256.

Л а н г а н с, М а р т ы н Р у д о л ь ф о в., народоволец, осужд. в 82 г. по процессу 20—79, 83, 106, 172, 180, 185, 188, 192, 198, 200, 212.

Л а с с а л ь, Ф е р д и н а н д, нем. соц.—90.

Л е б е д е в, В л а д. П е т р., плем. Т. И. Лебедевой—280, 318, 319.

Л е б е д е в а, В е р а Д м., мать предыд.—85, 275, 292, 315—319.

Л е б е д е в а, Т а т ь я н а И в., народоволка, карийка, осужд. в 82 г. по процессу 20—67, 68, 70, 72, 78, 85, 160, 161, 185—188, 280, 301, 309—315, 316, 319.

«Л е б о н», прозвище офицера, завед. мастерскими в Шлис. креп.—239, 241, 242.

Л е в ч е н к о, Н и к и т а В а с., кариец, осужд. в 80 г. по процессу Мих. Попова и др.—146, 151.



Лепешинская, Мар., жена В. Лепешинского—125, 126.

Лепешинский, Вас., бунтарь—64, 320.

Лермонтов, Феофан Никандрович, бакунист, судился по процессу 193—46.

Лесгафт, Петр Францевич, анатом и педагог—329.

Лесник, смотритель Трубецкого бастиона Петроп. креп.—73, 84.

Лизанька, см. Фроленко, Елиз.

Лизогуб, Дм. Андр., рев., казнен в Одессе 10 авг. 79 г. по процессу 28—105, 171.

Лион, Соломон Ефремович («Касьян»), адм.-сс.—296.

Личкус, Фаня, жена С. М. Кравчинского—326.

Лозинский, рядовой, казнен в Киеве в 80 г.—171.

Лозовский, уголовный в киевской тюрьме—148.

Лопатин, Герман Ал-ров., шлиссельбуржец, осужд. в 87 г. по процессу 21—211, 251, 263.

Лорис-Меликов, Мих. Тариелович, граф, мин. вн. дел—68.

Лукашевич, Иосиф Дементьевич, шлиссельбуржец, осужд. в 87 г. по процессу «второго первого марта»—226, 234, 246, 247, 263, 328.

Люкос, автор руков. по садоводству—237.

Люстиг, Фердин. Осип., народоволец, осужд. в 82 г. по процессу 20—185, 187, 188.

Лютер, Мартин, герм. реформатор—203.

Майданский, Лев Осипов., рев., казнен в Одессе 7 дек. 79 г.—124.

Макаревич, Анна Марковна (нелег. фам.—Кулешова), бунтарка—59, 60, 63, 97, 100, 122—124, 126, 127.

Максимов, Серг. Вас., писатель—47.

Малавский, Владим. Евгеньевич, кариец, шлиссельбуржец—151, 152, 208.

Маликов, Ал-р Капитонов., в 66 г. привлек. по каракоз. делу, впоследствии основатель «бого-человечества»—8, 113—118.

Малинка, Викт. Алексеев., казнен в Одессе 7 дек. 79 г.—59, 119, 124, 171.

Манучаров, Ив. Львов., народоволец, шлиссельбуржец, осужд. в 85 г.—256.

Марат, Жан-Поль, франц. революц.—26.

Марго, учебник фр. яз.—21.

Мартынов, Калинин Федулов., народоволец, шлиссельбуржец, осужд. в 84 г. по процессу 12—256.

Медведев-Фомин, Алексей Федоров., кариец, осужд. в 79 г. за попытку освобождения Войнаральского—103, 104, 169.

Мезенцев, Ник. Влад., шеф жандармов—64, 105, 170, 171, 177, 178.

Мельников, Мих. Мих., с.-р., шлиссельбуржец, осужд. в 1904 г. по делу о боевой организации партии с.-р.—257, 265, 267.

Менделеев, перев. «Технологии» Вагнера—189.

Менделеев, Дм. Ив., знам. химик—209.

Меркулов, Вас. Аполлонов., народоволец, предатель, судился в 82 г. по процессу 20—66, 74—76, 78, 81, 82, 185—188, 312, 313.

Милль, Джон Стюарт, англ. мыслитель, экономист—90, 296.

Мильченко, старш. надзир. киевск. тюрьмы—130—135, 138, 140, 141, 143, 147, 152.

Минаков, Егор Иван., кариец, шлиссельбуржец—205.

Мирский, Леон Филипп., в марте 79 г. покушался на уб. Дрентельна—105.

Михайлов, Адриан Фед., землеволец, кариец, осужден в 80 г. по делу об убийстве Мезенцева—103, 177, 178.

Михайлов, Ал-р Дм. («Дворнику»), народоволец, осужд. в 82 г. по процессу 20—64, 105, 106, 161—163, 169, 176, 178, 180, 181, 182, 185, 186, 188, 192, 200.

Мокриевич, см. Дебогорий-Мокриевич.

Морейнис, Фанни Абрам., народоволка, карийка, осужд. в 83 г. по Стрельниковскому процессу—83, 310.

Морозов, Ник. Ал-ров., народоволец, шлиссельбуржец, осужд.



в 82 г. по процессу 20—24, 106, 176, 177, 180, 181, 184, 185, 188, 192, 263.

Моцарт, знам. нем. композитор—330.

Муравьев, Ник. Валер., прокурор, впоследствии мин. юстиции—85, 187, 189.

Мышкин, Ипполит Никитич, кариец, шлиссельбуржец, осужден в 78 г. по процессу 193—65, 95, 113, 160, 196, 201, 206, 207, 259, 301—304, 329.

Н, ключник в киевск. тюрьме—135.

Н, заключенный киевск. тюрьмы—146.

Н, помещик—146.

Н, лицо, подпись которого требовалась при освобождении Ф. из крепости—277.

Н, знаком. Ф. [Праск. Сем. Ивановская]—277.

Натансон, Ольга Ал—ровна, чайковка—64, 178.

Некрасов, Ник. Ал—еев, поэт—27.

Немоловский, Аполлон, народоволец, шлиссельбуржец, осужд. в 84 г. по процессу 14—208.

Нечаев, Серг. Геннад., орг. тайн. «Общества Народной Расправы»—37, 87, 88.

Николаев, Николай Николаевич, один из главных обвиняемых по делу нечаевцев—36, 37.

Николай, II—235, 252.

Никольский, жанд. полков.—72—74.

Новиков, одесск. домовладелец—100.

Новицкий, жанд. полковн.—78, 81, 82.

Новицкий, Митрофан Эдуардович, народоволец, кариец—221.

Новорусская, Полина Матв., жена М. В. Нов—го—327, 330.

Новорусский, Мих. Вас., шлиссельбуржец, осужд. в 87 г. по процессу «второго первого марта»—233, 242, 243, 247, 251, 263, 326—330.

Оболешев, Ал—ей (нелег. фам. Сабуров), землеволец—64, 178.

Обух, полковник, комендант Шлис. креп.—239, 268.

Оловенникова, Елиз. Никол., народоволка—185.

Оловенникова, Мария Никол., народоволка—66, 103, 158, 159, 162, 179.

Ольхин, присяжн. поверенный—36.

Оржевский, Петр Вас., тов. мин. вн. дел и шеф жандармов—199, 209, 216.

Оржих, Борис Дмитр., народоволец, шлиссельбуржец—306, 307.

Осинский, Валер. Андр., казнен в 79 г. по процессу киевских террористов—64, 102, 103, 129, 130, 150, 151, 169, 176, 177, 184, 323, 324.

Островский, прокурор—187.

Островский, Ал—р Ник., драматург—197.

Охременко, чайковец—48, 49, 51, 52.

Панина, графиня—247.

Панкратов, Вас. Семен., народоволец, шлиссельбуржец, осужд. в 84 г. по процессу 12—256, 330.

Пантелеев, ключник в киевск. тюрьме—135, 137, 140, 141, 144, 146, 147.

Панютин, правитель канцел. одесск. ген.-губ.—67.

Перовская, Софья Львовна, народоволка, казнена по процессу 1 марта 1881 г. 3 апреля того же года—52, 65, 106, 160, 169, 172, 174, 179, 183, 309, 310, 314.

Перовские—52.

Петр I—157, 162, 272.

Петров, ген., нач. штаба корпуса жанд.—209.

Плеве, Вяч. Конст., мин. вн. дел—268.

Плеханов, Георгий Валентинов., теоретик марксизма—104, 174, 178, 180, 310.

Погорелов—155.

Покрошинский, Каспер Казимирович, полковн., комендант Шлис. креп.—226.

Поливанов, Петр Серг. народоволец, шлиссельбуржец, осужд. в 82 г.—196, 200, 201, 210, 215, 216, 219—223, 238.

Попко, Григ. Анфимович, кариец, убит в Киеве 25 мая 78 г. жанд. офиц. Гейкинга—62—64, 102, 103, 120—122, 129, 169, 177, 299, 324.



Попов, Мих. Родионов., земледелец, кариец, шлиссельбуржец—64, 156, 178, 196, 198, 204, 206, 207, 234, 242, 245, 248, 249, 254, 263, 293, 294, 300—308.

Попов, Мойсей, народоволец, кариец—76.

Посников, Ал—р Сергеевич, экономист—37, 38.

Похитонов, Ник. Данил., народоволец, шлиссельбуржец, осужд. в 84 г. по процессу 14—206, 231, 255, 256.

Прыжов, Ив. Гавр., один из главных обвиняемых по делу печавцев—36, 37.

Прядка, крестьянин, участник чигиринского восстания—97.

Пугачев, Емельян Ив., вождь народного восстания при Екатерине II—42, 44, 59, 91, 219.

Пушкин, Ал—р Серг., поэт—311.

Разин, Степан Тимоф., организатор народн. восстания при Алексее Мих.—42, 44, 91, 110, 219.

Райко, Мих. Дм., участник освобождения из сарат. тюрьмы М. Э. Новицкого—221.

Рачковский, Петр Ив., нач. заграничн. агентуры деп. пол.—257.

Рейнштейн, Ник. Вас., провокатор—301, 309.

Реклю, Элизе, знам. фр. географ, анархист—209.

Робеспьер, Максимилиан, видн. деятель фр. революции—26.

Рогачев, Ник. Мих., народоволец, казнен в Шлис. 10 окт. 84 г. по процессу 14—44, 45, 93, 108, 308.

Розенштейн, см. А. М. Макаревич.

Розовский, Осип Исааков., студент, казнен в Киеве в марте 80 г.—171.

Рождественский, Зиновий Петр., адмирал—210.

Росляков—22.

Росикова, Елена Ив., жарийка, осужд. в 80 г. по делу об ограблении херсонск. казначейства—62, 65, 153, 154, 161.

Рысаков, Ник. Ив., народоволец, казнен по процессу 1 марта 1881 г. 3 апреля того же года—185, 314.

Саблин, Ник. Ал—еев., народоволец—180.

Сажин, Мих. Петр., лит. псевдон. Арман Росс, бакунист—58.

Сватиков, Серг. Григ., писатель—301.

Святополк-Мирский, Петр Дм., князь, мин. вн. дел—209, 210, 253.

Селиванов, Ив. Федор., чайковец, привлекался к процессу 193—48, 95, 113.

Семенов, надзир. в киевск. тюрьме—150.

Сергий, архиеп. финляндский—329.

Сикорский, Шимель Вульф-фов., с.-р., шлиссельбуржец, осужд. по делу об убийстве мин. вн. дел Плеве—267.

Сипягин, Дм. Серг., мин. вн. дел—250.

Смайльс, Самуил, англ. писатель—27.

Созонов, Егор Сергеев., с.-р., шлиссельбуржец, осужд. в 1904 г. за убийство мин. вн. дел Плеве—267.

Соколов (Ирод), Матвей Ефимов., смотритель Шлис. креп.—190—201, 207, 209, 304.

Соколов, Ник. Вас., эмигрант, автор книги «Отщепенцы»—296.

Соловьев, Ал—р Конст., 2 апр. 79 г. покушался на жизнь Александра II, казнен 28 мая того же года—105, 106, 156, 157, 171, 172, 179, 180, 301, 304.

Соловьев, Серг. Мих., историк—84, 194, 218, 220.

Спасович, Влад. Дан., прис. пов.—36, 188.

Спенсер, Герберт, англ. философ—90, 194, 209, 296.

Стародворский, Ник. Петр., народоволец, шлиссельбуржец, осужд. в 87 г. по процессу 21—255—258.

Стасов, прис. повер.—36.

Стед, Вильям Томас, англ. публицист—210.

Стенюшкин, чайковец—96.

Стефанович, Яков Вас., бунтарь, кариец, осужд. в 83 г. по процессу 17—63, 82, 98, 100—102, 129, 134—136, 148—151, 171, 176, 177, 182, 208, 319, 322, 324.



Суровцев, Дм. Яковл., народоволец, шлиссельбуржец, осужден в 84 г. по процессу 14—211, 235—239, 240, 256.

Суханов, Ник. Евгеньевич, народоволец, казнен 19 марта 82 г. по процессу 20—185, 188, 260.

Тан-Богораз, Влад. Герман., народоволец, этнограф, писатель—211.

Терентьева, Людмила Дементьевна, народоволка, осужд. в 82 г. по процессу 20—154, 185, 188.

Тетерка, Макар Вас., народоволец, осужд. в 82 г. по процессу 20—75, 185, 186, 188, 192, 198, 199.

Тиханович, Ал—р Пахомов., народоволец, шлиссельбуржец, осужд. в 84 г. по процессу 14—205, 206.

Тихомиров, Лев Ал—ров., народоволец, впоследствии монархист—91, 162, 163, 180—183.

Тихонов, под этой фамилией служил Ф. в киевской тюрьме—82, 135, 140.

Тищенко, землеволец—308.

Толстой, Дм. Андр., мин. вн. дел—197.

Тотлебен, Эдуард Ив., одесск. ген.-губ.—67, 80, 105, 172, 175, 183.

Трепов, Федор Федор., ген., пет. градоначальник—64, 102, 177, 324.

Тригони, Мих. Ник., народоволец, шлиссельбуржец, осужд. в 82 г. по процессу 20—76, 185, 188, 192, 193, 197, 222, 242, 255, 256.

Тун, А., нем. проф.—историк, автор «Истории революционного движения в России»—134.

Турати, ит. соц.—124.

Тургенев, Ив. Серг., писатель—27.

Тырков, Аркадий Владимирович, народоволец—185.

Ульянов, Ал—р Ильич, казнен 8 мая 1887 г. по процессу «второго первого марта»—327.

Успенский, Петр Гавр., один из главных обвиняемых по делу нечаевцев—36, 37.

Федоров, смотритель Шлис. креп.—226, 227, 239, 242.

Фигнер, Вера Ник., народоволка, шлиссельб., осужд. в 84 г. по процессу 14—183, 186, 211, 230, 231, 236, 237, 241—243, 245—247, 249, 250—253, 255, 256, 258, 310, 327, 328.

Фидлер, Ив. Ив., содержатель реального училища в Москве—286.

Филонов, Андр. Гр., педагог—17, 27.

Флеровский—псевдоним Берви, Вас. Вас., писатель—90.

Фоменко, так ошибочно назвал Ф. в своих показаниях Гольденберг—186.

Форхати, содержатель «Театра Буфф» в Одессе—79.

Франжолли, Андр. Афан., народоволец—51, 52, 181.

Фрей, Вильям, он же Владимир. Конст. Гейнс, б. член кружка «чернышевцев», основ. в Америке религиозную секту—115.

Фриденсон, Гр. Мих., народоволец, кариец—185, 188, 312.

Фроленко, Елиз., мать М. Ф. Фроленко—16.

Фукс—37.

Халтулари, прис. повер.—36.

Хрущов, Ник., рабочий, кариец—302.

Цакни, чайковец—308.

Цебрикова, Мария Констант., писательница—41.

Цезарь, Юлий, римский император—25.

Цицерон, Марк Туллий, римский госуд. деятель, философ, оратор—25.

Чайковский, Ник. Вас., основатель кружка его имени—89, 92, 115, 116.

Чубаров, Серг. Федор., казнен в Одессе 10 авг. 79 г. по процессу 28—171, 177.

Шалберов, волостн. старшина, сословный представитель на процессе 20—185.

Шебалин, Мих. Петр., народоволец, шлиссельбуржец, осужден в 84 г. по процессу 12—242, 256.



Шебеко, тов. мин. вн. дел, шеф жандармов—209.

Ширяев, Степ. Григ., народоволец, осужд. в 80 г. по процессу 16—179.

Шишко, Леонид Эмман., кариец, осужд. в 78 г. по процессу 193, писатель—49, 94, 95.

Шпильгаген, Фридрих, изв. нем. писатель—91.

Шредер, автор руководства по садоводству—237.

Шульце-Делич, Герман, нем. экономист и полит. деятель—42.

Щедрин, Ник. Павл., кариец, шлиссельбуржец, осужд. в 81 г. по делу Южно-рус. раб. союза—196, 200, 206.

Щербина, примык. к чайковцам, адм.-сс.—120, 300.

Энгельгардт, Ал—р Ник., изв. ученый, сельск. хоз. и публицист—236.

Ювачев, Ив. Павл., народоволец, шлиссельбуржец, осужд. в 84 г. по процессу 14—235.

Южак, Серг. Ник., изв. публицист—105, 172.

Южак, Елиз. Ник., рев., сс.-пос., осужд. в 80 г. по делу об ограблении Херс. казначейства—154.

Юрковский, Федор Ник., кариец, шлиссельбуржец, осужд. в 80 г. по делу об ограблении Херс. казначейства—58, 62, 66, 100, 103, 153, 155, 161, 196, 231, 234, 297, 299.

Ядринцев, Ник. Мих., изв. путешеств.-археолог, публицист и исследователь Сибири—47, 94.

Якимова, Анна Вас. («Баска»), народоволка, карийка, осужд. в 82 г. по процессу 20—83, 179, 185, 188, 314.

Яковлев, полковник, комендант Шлисс. креп.—252—254, 269.

Янович, Людвиг Фомич, шлиссельбуржец, осужд. в 85 г. по делу «Пролетариата»—256.











10818

Цена 3 р. 25 к.

Нн. XX—XXI.



---

**К О Н Т О Р А:**

МОСКВА, Лопухинский пер., 5. Тел. 3-64-73.

**С К Л А Д И З Д А Н И Я:**

МОСКВА, Книжный склад „Маяк“ Общества политических каторжан, Петровка, 7. Тел. 3-63-20.







